

ISSN 0130-7673

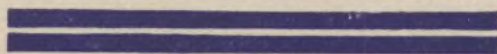
ЖО В Ы И
М И Р

|| 5 ||

ЖО В Ы И
М И Р

|| 1986 ||

5



1986



НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 5

Май, 1986 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
НИКОЛАЙ СТАРШИНОВ — Стихи	3
ЕВГ. ДОЛМАТОВСКИЙ — Международный вагон, повесть без вымысла	6
ЮРИЙ ВОРОНОВ — Стихи разных лет	81
ЮЛИУ ЭДЛИС — Антракт, роман Окончание	84
ВАСИЛИИ СУББОТИН — Восемь стихотворений	152
ВЛАДИМИР ДАГУРОВ — Сокровенное, стихи	154
БОРИС ШИШАЕВ — «Я встретил вас...». На огни. Рассказы	157
ЮРИЙ РАЗУМОВСКИЙ — Стихи	171
ЮРИЙ ВИГОРЬ — Свой почерк, рассказ	172
ПУБЛИЦИСТИКА	
ИГОРЬ БЕСТУЖЕВ-ЛАДА — Средняк в науке	180
ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ	
П. Л. КАПИЦА — Письма к матери (1921—1926). Публикация и примечания П. Е. Рубинина	192
ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ	
ПИСАТЕЛЬ И ВОЙНА — Всеволод Азаров. Дом и корабль Александра Крона; Константин Поздняев. Встречи с Павлом Антокольским; Зигмунд Хирен. Овечкин, Павленко — 1945-й...	217
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
С. ПИСКУНОВА, В. ПИСКУНОВ — Между быть и не быть. Натурфилософский роман: опыт прочтения	238

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	247
Б. Рунин. Книга памяти. Евг. Винокуров. Присяга верности. Вадим Сикорский. Стихи и время. Б. Сарнов. Дорога. Наталья Старосельская. Ханамити Такэси Кайко	
<i>Политика и наука</i>	260
Е. Савицкий. Отдать себя без остатка.	
ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ	
МАРК СОБОЛЬ — Прошу слова	265
КОРОТКО О КНИГАХ:	
Н. Демин.— Лев Николаев. Кабульские рассветы. ✦	
В. Лобачев.— Карэн Симонян. Микаэл Налбандян. ✦	
И. Лапин.— Исаак Фридберг. Арена. Пять новелл о человеческих странностях. ✦	
Ген. Сухорученко.— В. И. Фролов. Земной поклон. Стихи. ✦	
И. Дрейцер.— И. Г. Сапего. Предмет и форма. Роль восприятия материальной среды художником в создании пластической формы. ✦	
Ю. Лукасик. — Александр Асеевский. ЦРУ: шпионаж, терроризм, зловещие планы. ✦	
Михаил Буянов.— Т. Н. Гусарова. Воины в белых халатах. Документальная повесть.	267
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	272

НИКОЛАЙ СТАРШИНОВ

★

* * *

Под небом смоленских
Лесов и болот
Прошел мой родной,
Пулеметный мой взвод.

В промозглых ночах,
В беспросветных ночах
Станки и тела
Выносил на плечах.

Пылающим днем,
Ослепительным днем
Он шел под прямым
Под прицельным огнем!..

Еще и сегодня
У старых солдат
Разбитые ноги
От маршей гудят.

Еще и сегодня
У однополчан
Давнишние раны
Болят по ночам...

Забыть эти дни,
Эти ночи нельзя.
Их помнят доньше
Враги и друзья.

И слышат доньше
Друзья и враги
Победные,
Грозные наши шаги!..

* * *

На просторах Европы
Бессчетные ночи и дни
Против полчищ несметных
Мы насмерть стояли одни.

В эти годы, когда,
Все сжирая, сжигая, топча,
По Европе прошлась
Бронированная саранча,—

Утопая в болотах,
Увязая по горло в снегу,
Это мы,
Только мы
Преградили дорогу врагу.

А союзники нас заверяли:
Мол, скоро,
Мол, не за горой,
Вот накопим резервы
И фронт мы откроем второй.

Как мы этого ждали,
Сколько тягостных зим,
Сколько лет!..
А подмоги все нет,
А подмоги все нет!

В эти годы отбили мы
Тысячи тысяч атак.
Не согнешь нас,
Не сломишь —
Мы сами двужилые, враг!

Против полчищ несметных
И крупповской черной брони
На просторах Европы
Мы насмерть стояли одни!..

А когда мы врага измотали
И стала победа близка,
Тут как тут появились в Европе
И ваши войска.

Появились в Европе
Под победное наше «ура»...
Да, чужими руками
Вы жар загребать мастера...

А теперь вы кричите
На всех перекрестках земли,
Что Европу спасли,
Что свободу вы ей принесли.

Мол, теперь вам за это
Все почести — вынь да положь...
Господа, это — ложь,
Это — самая низкая ложь!!

Все познали мы —
Голод, и холод, и зной.
Я-то знаю,
Какой нам нелегкой
Досталась победа ценой.

Сам прошел я болота
И сам утопал я в снегу.
И позволить вам лгать, господа,
Я никак не могу!

* * *

Этот город неуютный и угрюмый,
Он такой, что неприглядней трудно быть...
Только ты его, пожалуйста, не вздумай
Разлюбить или навеки позабыть.

Этот город задыхается от пыли,
От фабрично-производственных дымов.
В нем строители нелепо налепили
Десять сотен одинаковых домов.

Он железными дорогами обтянут
Так, что рельсами набита вся земля.
В этом городе цветы на клумбах вянут
И до срока облетают тополя.

Почему ж его никак не позабуду,
Ни за что не променяю на любой?
Почему же он со мной всегда и всюду?
Потому что здесь я встретился с тобой...

* * *

Нам жить в одной семье,
 Нам петь в одном кругу,
 Идти в одном строю,
 Лететь в одном полете...
 Давайте сохраним
 Ромашку на лугу,
 Кувшинку на реке
 И клюкву на болоте.
 О как природа-мать
 Терпима и добра!..
 Но чтоб ее
 Лихая участь не постигла,

Давайте сохраним
 На стрежнях — осетра,
 Касатку — в небесах,
 В таежных дебрях — тигра.
 Коль суждено дышать
 Нам воздухом одним,
 Давайте-ка мы все
 Навек объединимся.
 Давайте
 Наши души сохраним,
 Тогда мы на земле
 И сами сохранимся...

* * *

Вознеслась ты — не выдумать выше,
 Вся Москва под тобой — как чертеж.
 Поселилась почти что на крыше,
 До тебя этажей — не сочтешь.

И следил я восторженным взглядом,
 Лишь вокруг становилось темно,
 Как с луной и со звездами рядом
 Ты свое зажигала окно.

Если понизу дула поземка,
 А под небом буран бушевал,
 Возле дома бродил я и громко,
 Не смущаясь ничуть, напевал:

«Пронеситесь, метели, над крышей,
 И, мороз, налетай с высоты,
 Для моей для единственной вышей
 На стекле неземные цветы!..»

Ну а если случалось, что летом
 Возле этого дома бывал,
 То, обласканный солнечным светом,
 Я негромко совсем напевал:

«Друг мой, солнце! Явись на просторы
 И не прячься в течение дня.
 Подними на окне ее шторы
 И потом расцелуй за меня!..»

И поземка взвивалась до крыши,
 И цвели под луною цветы.
 Я и сам поднимался все выше —
 До небесной почти высоты...



ЕВГ. ДОЛМАТОВСКИЙ

★

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВАГОН

Повесть без вымысла

Перед дорогой присядем

Присядем перед дорогой. Старинный обычай соблюдается нашей семьей неукоснительно перед каждым отъездом.

Вероятно, он необходим как рубеж покоя и движения, момент, разделяющий пребывание на месте и путешествие. Понимаю: суеверие, условность, пустяк, примета — и все равно надо присесть, помолчать всем — и уезжающим и остающимся, вскочить по кивку провожаемого и — вперед. Я слышал, что и космонавты присаживаются перед отбытием на космодром. Значит, и нам не в укор.

Даже если я в одиночестве покидаю свой дом или номер гостиницы, все равно соблюдаю ритуал, хотя, если бы кто-то увидел меня в этот момент, ну, скажем через окно, пожал бы плечами: странно ведет себя человек, когда остается с собой наедине.

Сегодня мы с женой отправляемся вдвоем, брестский, а для нас парижский, поезд в шестнадцать часов двадцать минут, таксист нетерпеливо звонит в дверь, пора, но мы еще присядем, заглянем друг другу в глаза. Путешествие начинается.

Такси бежит в привычном направлении — по улице Горького. Она у памятника Алексею Максимовичу перейдет в Ленинградский проспект, а тот, в свою очередь, в Ленинградское шоссе, а если в десяти километрах за Химками повернуть направо, широченная, без ограничения скорости трасса приведет в международный аэропорт Шереметьево, откуда я вот уже лет двадцать подряд улетаю и улетаю. Отправлялся я отсюда и во Францию и — через Париж — в африканские страны, но сегодня у меня в кармане билеты на поезд номер пятнадцать. Так что в конце улицы Горького изменим маршрут, нырнем под мост, подкатим к Белорусскому вокзалу, двинемся на посадку.

Приближаясь к площади вокзала, я улавливаю сладковатый и нежный запах, принесенный ветерком с севера, с Ленинградского проспекта. Печеньем пахнет! Запах — старый знакомый, друг юности; кондитерская фабрика «Большевик» выдает продукцию. Более пятидесяти лет назад, когда между Песчаными улицами и площадью Пушкина толпы высоких домов не загораживали пространство, этот запах иногда доносило ветерком до ВРЛУ — Вечернего рабочего литературного университета, где я учился. Запах печенья особенно остро воспринимался тогда тощими молодыми поэтами. Мы в начале семестра на фабрике «Большевик» нанимались по ночам грузить это самое пахучее печенье. Еще привлекательнее запаха было данное нам дирекцией разрешение набивать карманы раскрошившимся печеньем, негодным для упаковки.

Из этой крошки мы в общежитии научились приготавливать роскошные лепешки и пудинги — ощутимую прибавку к скудному студенческому рациону тех времен.

До свидания, сладкий ветер с кондитерской фабрики, предвкушая час возвращения, когда снова вдохну тебя, как в юности.

И вот уже Белорусский вокзал, его глуховатая музыка, тревожное сердцебиение, гудочки, да еще какие-то особые, исключительно вокзальные шумы, свистки и звуки, и неразборчивые сообщения местного радио, и чей-то нервный смех, специально громкий, чтоб его слышали, и еще плач, но почти беззвучный, — его умеют слышать только хорошие люди...

Мы сегодня уезжаем с Белорусского, и, наверное, не случайно один из самых проникновенных фильмов о людях, вернувшихся с войны, назван по имени этого вокзала. Песни о Белорусском вокзале, кажется, нет или еще нет, но с одной замечательной песней он связан в истории: в первые дни Великой Отечественной поэт Василий Лебедев-Кумач и композитор Александр Александров создали песню «Священная война» — ее можно по значению приравнять к фронтовому знамени. И первое исполнение песни состоялось 26 июня 1941 года на платформе Белорусского вокзала, вот где-то здесь, песня провожала эшелоны...

Мы с вокзалом однополчане...

Наверное, с километр надо проталкиваться по платформе, пока доберешься до пятнадцатого вагона. Мы с женой преодолеваем это расстояние молча, но, кажется, она думает то же, что и я: несовременный способ передвижения выбрали мы. Зачем трястись в вагоне без малого двое суток, когда можно за три часа с минутами долететь до Парижа на крыльях Аэрофлота? Удобные кресла с опускающейся спинкой, стерильная чистота, командир корабля, пилот первого класса, и экипаж приветствуют вас на борту, просьба не курить, затянуть привязные ремни и оставаться на местах, пока не погаснет табло... Очаровательная стюардесса, для не любящих иностранных слов — бортпроводница, после набора высоты доставит вам на подносе завтрак. Вы не успеете вернуть пластмассовый поднос и прочитать в газете «Воздушный транспорт» про загадки экстрасенсов, и табло засветится опять, вам по-русски и по-французски сообщит мелодичный голос, что в Париже отличная погода и мы прилетаем в аэропорт Орли.

Странное, не такое уж французское название — Орли. Сподвижник гетмана Ивана Мазепы и тоже изменник Филипп Орлик сбежал за границу и в результате долгих скитаний оказался во Франции, открыл близ Парижа харчевню, где, как теперь бы сказали, — фирменным блюдом был судак, запеченный в тесте, — чисто украинское угощение. Оно пришлось французам по вкусу, получило название «судака орли», а беглый генеральный писарь разбогател на этом деле, купил землю, ставшую поместьем Орли, — через двести лет здесь раскинулся аэродром... Нет, мы не прилетим в Орли, мы прибудем на Гар-дю-Нор, Северный вокзал.

Конечно, надо было лететь! Зачем я изменил авиации, с которой дружу вот уже полвека?

Мое знакомство с авиацией началось трагическим эпизодом. Предстояли первые демонстрационные полеты крылатого гиганта «Максим Горький», и нас, юных ударников Метростроя, премировали небесной экскурсией да еще обещали нам самый первый полет. Мы прибыли на Ходынский аэродром, расположенный километрах в пяти за Белорусским вокзалом, и уже перед самой посадкой попали в ситуацию, когда надо было уступить свое первенство: веселый автобус привез инженеров и рабочих, построивших самолет-гигант. Они требовали, чтобы в первый полет отправили их. Они безусловно имели на это право. Мы остались ждать своей очереди. Крылатый гигант поднялся над улицами тогдашней окраины Москвы. Около него сновал, кружился, исполнял немислимые, отчаянно опасные фигуры истребитель, казавшийся совсем крохотным рядом с «Максимом Горьким». Его, наверное, снаряди-

ли для сравнения. В какое-то проклятое мгновение истребитель задел гиганта крылом, и оба самолета стали разваливаться у нас на глазах. Истребитель стремительно врезался в землю, а гигант медленно раздвигался на куски, и это было ужасно.

До сих пор помню испытанный тогда ужас, помню строки поэта Копштейна о пилоте истребителя: «Тихо вьются траурные флаги, вся страна склоняется, как мать. Очень нелегко, товарищ Благов, о твоей кончине горевать». Только в стихах и сохранилась фамилия летчика. Нам рассказывал в Литературном институте руководитель семинара поэт Владимир Луговской, бывавший в доме Алексея Максимовича у Никитских ворот, что гибель самолета «Максим Горький» потрясла Горького. К накопившимся за жизнь хворобам прибавилось нервное состояние, с которым врачам трудно было бороться. К тому же кто-то из недоброго окружения Горького настаивал на том, что катастрофа не результат несчастного случая, а преднамеренное злодеяние, удар по Алексею Максимовичу.

Что же касается свидетелей катастрофы, то у нас, случайно уцелевших, произошла необъяснимая обратная реакция: несколько наших парней пошли в аэроклуб, иные — добровольцами в летные училища (теперь портреты троих из них, с Золотыми Звездами на гимнастерках, — на стенах Дворца культуры Метростроя).

И там, на Ходынском аэродроме, я дал самому себе слово — летать и летать, вопреки зародившемуся в душе страху, летать, как только представится возможность. Гибель — это не для нас! Только летать! А поезда — это девятнадцатый век.

Возможность летать представилась на войне (правда, как теперь говорят, не было альтернативы): в период сталинградских боев наша фронтовая редакция дислоцировалась на краю пустыни у соленого озера Эльтон, и мы летали через Волгу в сражающиеся дивизии, пока еще удавалось приземлиться на удерживаемых ими участках. Самолеты назывались «У-2», или «кукурузники», шли на бреющем полете со скоростью сто километров в час.

В послевоенные десятилетия по железным дорогам ездил я лишь в дачных электричках, а весь мир излетал вдоль и поперек, упрямо вытесняя из глубин подсознания подлый страх — видение громадного самолета, разваливающегося над городом.

Так-то оно так, но самолет, летящий со скоростью шестнадцать километров в минуту, не знаю, в равной ли степени поэтичен и, если можно так выразиться, антипоэтичен: поэзия обожает и полет и все земные подробности, которые авиаскорость сглаживает и стирает. Да и земные скорости — спидометр автомобиля и расписание поездов, — пусть в меньшей степени, но закручивают впечатления в пестрый и невнятный калейдоскоп. Можете считать меня ретроградом, но я полагаю, что истинный носитель поэзии — пешеход, а если взять другую крайность, — космонавт (крайности сходятся!).

Не будучи ни тем, ни другим, я решил на этот раз отправиться в Париж по железной дороге, чтобы стоять у окна, выходить на станциях, чтобы находиться в движении днем и ночью и хоть как-нибудь почувствовать расстояние: оно по воздуху 2700 километров и 2969 километров по рельсам.

Пусть из окна вагона, но я увижу Подмосковье, Смоленщину, Белоруссию, пересеку шесть стран — Польскую Народную Республику, Германскую Демократическую, Западный Берлин, Федеративную Республику Германии, королевство Бельгии и, наконец, северо-восточную часть Франции. Существует и психологическая сторона движения по железной дороге — оно активизирует мысль и призывает к общению между людьми, все-таки ограниченному при моей стихотворной профессии, когда для работы необходимо одиночество. Удобные самолетные кресла отделяют пассажиров друг от друга, а коридор международного вагона — совсем другое дело. Не знаю, полезна ли мгновенная смена впечатлений, пейзажа, языка, окружающих условий.

Есть еще одно соображение в пользу путешествия по железной дороге, которое я тщательно скрывал от самого себя: вполне вероятно, что я в последний раз в жизни еду в Париж, — как ни петушись, возраст есть возраст и исполнение приговора природы приближается. Как же не увидеть напоследок Варшаву и Берлин, Кёльн и Льеж...

В общем, не надо тосковать по небу и искать оправдания, люди так любят усложнять себе жизнь. Полети я самолетом, достаточно было бы одной французской визы, а тут пришлось посетить в Москве два консульства — бельгийское и западногерманское, стоять в очереди, заполнять анкеты, запрашивать транзитные визы. Нам, гражданам социалистических стран, не нужны ни польская, ни гэдээровская визы, зато французам и другим «капиталистам» необходимо их получить. Такова сегодняшняя обстановка, нравится она вам или не нравится.

Ну а бельгийцы теперь ставят визы в паспорта граждан из своих бывших колоний... Я с интересом наблюдал за этой процедурой вчера в канцелярии консульства Бельгии, куда ходил за транзитной визой. У окошечка, где принимали и выдавали документы, толпились парни и девушки из этих самых бывших колоний. Впрочем, колонии рухнули в 1960 году, и, судя по стройным спортивным фигурам и загадочно-красивым черным-пречерным лицам с сияющими глазами и жемчужными улыбками, все эти — наверное и даже наверняка — студенты, обучающиеся в Москве, родились уже в освободившихся странах. Да, это были дети свободной Африки, и держались они со спокойным достоинством, любо-дорого было смотреть.

И вот теперь славные ребята, на которых я засматривался вчера в консульстве королевства Бельгии, здесь, на Белорусском вокзале, радостные, шумные — ведь каникулы; они тоже едут парижским поездом, кто домой, а кто путешествовать.

Состав подан. Это брестский поезд, но несколько вагонов проследуют дальше: Москва — Париж, Москва — Остенде, Москва — Хук ван Холланд, Москва — Варшава, Москва — Берлин.

Вагоны, которые пойдут в Западную Европу, отличаются от обычных: они кажутся чуть приземистее, крыши у них горбатые, придающие некоторую обтекаемость их форме. И цветом они отличаются, хотя тоже зеленые, почему-то краска их темновата, матово-груба и напоминает брезент. Занавески на окнах хорошо задраены, не углядишь, что внутри. Над окнами выпуклые буквы, составляющие надпись: «Спальный вагон» («Шляфваген», «Вагон-ли», «Кароцца кон летти»).

Есть и наше советское официальное наименование — СВПС, то есть спальный вагон прямого сообщения. Но я личность старомодная, помню, что когда-то эти самые СВПС именовались международными вагонами. Да и те, настоящие международные вагоны выглядели несколько иначе, чем нынешние. Попробую вспомнить...

Они были деревянными, красно-коричневого цвета, их очертания, форма окон, ступенек, дверей были выдержаны в стиле, характерном для рубежа девятнадцатого и двадцатого веков, именовавшемся ар нуво, а еще югендстиль (имелась в виду, надо полагать, молодость века). Век начинался не с прямых линий, преобладали овалы, синусоиды. Обращали на себя внимание медные (или бронзовые) поручни, ручки. Над ступеньками, как у крыльца, — маленькая крыша с резными краями. А внутри! Это был не просто вагон, а вереница гостиных с витражными дверьми и узкими окнами, выходящими в коридор. Вся отделка — красное дерево. Полки назывались диванами да и были ими. Каждые два купе соединялась одним умывальником, тоже отделанным красноедервяной вагонкой. Внутри вагона сияла медь, как на корабле перед адмиральским смотром.

Международных вагонов было сравнительно много в царской России, в годы гражданской войны часть их переоборудовали под штабные вагоны, и если приспособляли как штабы для управления конной

армией, прицепляли и теплушку с лошадьми, и платформу с пулеметами «максим», а то и с пушкой.

В мирное время международные вагоны превратились вновь в вагоны первого класса — СВПС и курсировали на многих маршрутах, всегда выделяясь своим щеголеватым обликом.

В Великую Отечественную вагоны вновь поступили на военную службу, были переоборудованы под штабные салоны, а еще их подцепляли к санитарным поездам. Международных вагонов становилось все меньше.

Но после сорок пятого года они опять побежали по всем дорогам, вновь обращая на себя внимание и сохраняя некоторую таинственность: профиль какого артиста виден в зеркальном окне?

Чего греха таить, иные средневеликие начальники тщились сделать международные вагоны дополнением к служебному кабинету, своей квартире и даче, иногда им удавалось продержаться довольно долго, но концовка бывала печально-однообразной: строгий выговор за нескромность и понижение по службе — это как минимум.

Те вагоны, отделанные красным деревом, постепенно выбывали из строя или становились реквизитом киностудий. Теперь их вытеснили зеленые спальные, изготовляемые на заводах Германской Демократической Республики, — в таком вот международном мы сегодня отбудем в Париж. Мой путь к международному вагону был долог и извилист: начиналось с комсомольских эшелонов, на теплушке надпись: «Сорок человек и восемь лошадей»; приходилось путешествовать и на платформах вместе с тракторами, накрытыми брезентом; были и боковые полки жестких бесплацкартных и санитарные составы (с одного из них я бежал осенью сорок первого в Воронеже, когда узнал, что нас, раненых, отправляют в Восточную Сибирь долечивать — право же, далеко вато, как, выздоровев, добираться до фронта?).

Но не будем приbedняться, настало время и плацкартных и мягких, а вот теперь СВПС.

Между прочим, те шикарные, отделанные красным деревом и сверкающие медью изготавливались (а может, и сейчас изготавливаются) в Бельгии, где мы будем послезавтра транзитом. А там и до Парижа рукой подать. Впервые я побывал в Париже три десятилетия назад, когда в нашу жизнь прорвались заграничные путешествия. (Раньше на вопрос: бывали ли вы за границей? — отвечали: только в рядах Красной Армии как освободитель.)

Меня познакомили с Луи Арагоном и Эльзой Триоле. Влюбленные в свой город, они охотно взялись поводить меня по Парижу. Обидчивый Арагон прямо-таки страдал, когда ему не удавалось стать открывателем, а я проявлял некоторое знание, раньше его называя улицы и площади, открывавшиеся перед нами Арагон несколько успокоился, когда я сказал, что о бульваре Сен-Жермен, на который мы сейчас вышли, я знаю из его стихов, переведенных нашим общим другом Павлом Антокольским, — «кружится в вальсе бульвар Сен-Жермен»...

Я, конечно, слухавил, и ироничная Эльза женским наитием сразу это уловила и сделала мне знак одними ресницами, наверное предупредая: не завирайся. Пришлось помалкивать и делать вид, что не только впервые вижу, но и впервые слышу то, что он рассказывает о своем любимом Париже. Мне с трудом удалось скрыть, что моими путеводителями, вот такими или еще более умелыми экскурсоводами с детства были и Дюма, и Бальзак, и Гюго, и Мопассан, что окно в Париж нам открыли импрессионисты, что бульвары Распай и Монпарнас, и Пляс де ля Конкорд, и Этуаль, и Нотр-Дам, и Елисейские поля, и Булонский лес известны мне из стихов Маяковского.

Арагон, как самый дорогой сюрприз, показал кафе «Ротонда», и мне стоило большого труда промолчать, что меня в это кафе дважды водили стихи Маяковского, я их с детства помню наизусть.

Неугомонный Арагон как самое лакомое и избранным подаваемое

угощение показал улицу Кота-рыболова и улицу Ищу полдень, и я опять удивлялся, и, кажется, весьма натурально, и не выдал, что знаю стихи Ильи Эренбурга с этими волшебными названиями.

И все же хождение по Парижу с Арагоном и Эльзой впечаталось в душу как самое прекрасное воспоминание, и конечно же, именно они познакомили меня с Парижем очно и передали мне свою восторженную влюбленность и в город и друг в друга.

У Арагонов я познакомился с замечательным поэтом Полем Элюаром, всегда похожим на стеснительного ребенка, а в годы оккупации ставшего железным бойцом. По предложению Арагона, я перевел стихотворение Элюара, начинавшееся строкой «Как холодно, как голодно в Париже». Несколько раз я останавливался в Париже, когда работал над книгой стихов «Африка имеет форму сердца», — путь на Черный континент лежал через Францию.

Однажды наша делегация, возвращавшаяся в Москву, вынуждена была задержать свой транзит из-за забастовки персонала аэропорта Орли. Это случилось под рождество, в центре происходили гулянья, в наскоро возведенном шатре близ знаменитой ратуши действовал тир, удачливым стрелкам выдавались призы — глиняные копилки в образе кошки, набивные платки с изображением Эйфелевой башни и даже шампанское в маленьких бутылках.

В составе делегации была Герой Советского Союза Людмила Павличенко, знаменитый севастопольский снайпер Отечественной войны. Мы зашли в тир, стали подзадоривать Людмилу: постреляй. Она отказывалась, но мы ее уговорили. С каждым метким выстрелом духового ружья призы с полком перекочевывали на барьер, к Людмиле. После десятого выстрела хозяин тира возмутился и отобрал у героини ружье, крича, что мадам поступает нечестно. Наша снайперша смутилась: «Ребята, не ввязывайте меня в международный скандал!» «А ты разок промахнись!» — советовали мы. «Не получается, стараюсь, но тщетно».

Мы вернули хозяину начисто лишенных французского изящества и вкуса кошечек и платки, шампанское, правда, откупили, пригубили и покинули тир.

Позже на международных конгрессах в защиту мира в разных краях планеты, да и при посещениях Франции, завязывались новые знакомства с писателями, художниками, журналистами. Легко завязывались, но и развязывались они легко, особенно в те или иные острые моменты, когда новые знакомые начинали вибрировать, робеть, метаться и ссориться с нами. Они вскоре остывали, успокаивались, наверное, готовы были вернуться к прежним отношениям, но мы долго не могли им простить, а уж вновь начать было совсем трудно, и холодок оставался. Правда, наша семья сохранила прежнюю дружбу с одним из верных товарищей из моего «первого захода» во Францию. Он — участник движения Сопротивления, один из постоянных соратников Жолио-Кюри в его борьбе за мир. Мы бывали друг у друга в Москве и Париже, обоюдно гордимся откровенностью и стажем наших отношений и бесед. Несколько лет тому назад товарищ прислал мне и моей жене приглашение посетить Францию в частном порядке, проще говоря, приехать в гости. Не удалось реализовать приглашение сразу, поездка откладывалась, приглашение оказывалось просроченным и возобновлялось дважды. И вот теперь мы едем.

Заняли свои места, наш — на ближайšie двое суток —двигающийся дом. Надо поскорее обжить его, поставить в банку из-под компота букетик, купленный на вокзальной площади, извлечь из сетки-авоськи провиант (еще не изучен феномен дорожной прожорливости, вспыхивающей, лишь тронется поезд).

Мы и не заметили, как поезд отчалил от платформы и поплыл по новым кварталам столицы параллельно линии метро, проложенного на уровне подвала или оврага и рождающего сомнения: может, мы еще и не уехали из Москвы? Но мы уже едем в Париж, в Париж мы едем, и наш международный вагон набирает скорость.

Он не слишком вместителен — десять купе, в каждом из них один над другим — два дивана, и тогда это купе первого класса. Оно может быть переоборудовано во второй класс, для этого надо опустить из-под самого потолка на ремнях еще один диван. Итак, в вагоне двадцать пассажиров, а если есть люди с билетами второго класса, все равно не намного больше.

К достоинствам международного вагона относятся чистота, тщательно поддерживаемая проводниками, и отсутствие радиотрансляции, незамолкающей и преследующей пассажиров в поездах дальнего следования. Благословенная радиотишина!

Но здесь, в международном вагоне, можно было бы иногда транслировать записи классической музыки, беды бы не было. Вот видите, дорога вносит свои поправки, размягчает душу.

Поезд идет, и в сознании человека происходят неожиданные превращения. Но и московские мысли едут со мной.

Какие задачи я поставил перед собой в связи с поездкой во Францию? Точнее будет, если я спрошу себя, в связи с какими замыслами и планами я решил воспользоваться приглашением и этим летом отправиться не в санаторий, не в дом отдыха, а в Париж. (Хотя и просто побывать в Париже — счастье, чего греха таить!)

Несколько лет было отдано книге о начале Великой Отечественной войны, о мужестве наших войск прикрытия и героической гибели 6-й и 12-й армий юго-западного направления. При сборе материалов и позже, когда книга уже вышла двумя изданиями, я натолкнулся на интереснейшую тему, до сих пор недостаточно мною изученную: оказывается, многие захваченные врагом красноармейцы и командиры, умиравшие не один раз, бежали из тюрем и концлагерей на Западе и участвовали в движении Соппротивления, сражались в составе партизанских отрядов во Франции, Италии, Греции, Польше, Норвегии, Голландии, Бельгии, Чехословакии, Югославии, активно действовали в подпольной антифашистской борьбе, даже на территории самой Германии.

Сообщали об этом наши историки, появилось несколько художественных фильмов на документальной основе, и, особенно после Двадцатого съезда партии, опубликовали мемуары участники борьбы.

Я встречался с этой темой, но поначалу воспринимал ее не так остро. А вот когда выяснилось, что в Альпах, в норвежском Заполярье, в Татрах и на Балканах продолжали сражаться с фашизмом не вообще советские воины, но мои товарищи из 6-й и 12-й армий, я загорелся по-настоящему.

И в снах и наяву я примеривал свою судьбу к этим невероятным судьбам и представлял, что если бы мне не посчастливилось бежать под пулеметами конвоя и, собрав последние силы, переползти через линию фронта, я мог бы оказаться в их рядах и осуществить свою юношескую, если не мальчишескую, лелеемую со времен Валенсии и Гвадалахары мечту об интербригаде.

Есть достоверные данные: родные мои красноармейцы, защитники Перемышля и лесного урочища Зеленая Брама сражались в Нормандии и участвовали в парижском восстании!

Буду искать их следы во Франции. Должны все-таки сохраниться документы, свидетели. архивные материалы гам, в Париже.

Известно, что на земле Франции сражались в отрядах франтиреров, макизаров, партизан, подпольщиков примерно около двадцати тысяч бежавших из тюрем и концлагерей советских воинов и рабов фашистской Германии.

О советских партизанах на польской земле, об участии их в словацком восстании, о борцах за свободу Греции, Италии, Югославии существуют мемуары, исторические исследования. Рассказано миру о советских военнопленных в Норвегии. Надо отдать справедливость норвежским писателям — они первыми рассказали о стойкости русских,

брошенных умирать на скалы Севера, за Полярным кругом. Гораздо менее известно о борьбе наших товарищей на территории Франции.

Не желая подчищать историю, скажу, что были у нас времена, когда воспоминания советского франтирера, оказавшись в наличии такая рукопись, не могли бы быть опубликованы. Такое существовало общественное настроение, и счастье, что ныне этого нет. Но слишком поздно!

С каждым годом все труднее: открываются факты, но стираются подробности.

Недавно, откликаясь на книгу «Зеленая Брама», один из моих товарищей по сорок первому году прислал текст присяги, которую он подписывал в Париже в 1943 году и сохранил в памяти:

«Выполняя долг перед моей Советской Родиной, я клянусь всегда оставаться честным и верным по отношению к народу Франции, на территории которой я защищаю интересы своей Родины».

Какие благородные, мудрые, политически точные строки!

Может быть, оттуда, из Парижа, удастся протянуть нить поиска сюда, к нам, обнаружить маки и франтиреров, доживающих свой век на Украине, Смоленщине или в Казахстане, Магадане, Ташкенте и любящих и неумевших рассказывать о себе. А что я потом напишу? Позвольте умолчать!

Газеты уже, кажется, образумились и не печатают интервью с писателями, спрашивая, над чем они работают. Читателям желанны книги, а не обещания. Растеряли свой, какой бы ни был, а все же авторитет заядлые саморекламисты. Особенно постоянные участники всевозможных литературных дней, недель и праздников на периферии.

В нашей и французской печати сообщалось, что во Франции похоронено семнадцать тысяч советских людей, погибших в партизанских боях или замученных в концлагерях. Много ли имен известно? Я уже сообщил, сколько советских сражалось — около двадцати тысяч. Может быть, их было и больше.

Иные имена невероятно трудно, если не невозможно, восстановить потому, что они были неправильно записаны (наши фамилии на другом языке труднопроизносимы, искажаются по фонетическим причинам), и потому, что наши соотечественники, захваченные врагами, может быть, наивно, но благородно полагали, что, взяв другое имя, они со своим подлинным именем и фамилией остались как бы на свободе и продолжают сражаться. И не один воин, а двое! Да, у многих были французские имена и клички.

Я буду счастлив разыскать и расшифровать хоть несколько имен! Для выполнения такой задачи стоит ехать во Францию. Но заранее сообщать «всем-всем-всем!» о поисках и дальнейших замыслах противопоказано делу и в какой-то мере безнравственно, так же как и рекламировать свои еще не написанные книги.

Жене проще объяснить свое стремление в Париж. Она искусствовед, специалист по западной живописи и ваянию. В Мадриде мы десять раз побывали в музее Прадо. Пока жена перекаладывает вещи в чемодане — мы собирались поспешно, все помято, плохо уложено, — пройду по ковровой дорожке коридора, пригляжусь к соседям, проведу «рекогносцировку», познакомлюсь с расписанием, закажу у проводника чаю.

...Двери всех десяти купе еще открыты, все места, по-видимому, заняты. Национальность пассажиров с ходу не разберешь, но на первый взгляд в международном вагоне представлены все расы, весь земной шар.

А ведь интересно во всех подробностях разглядеть наш Ноев ковчег, проникнуть в жизнь людей разных стран, связанных между собой хотя бы общим движением по планете. Двое суток, конечно, невеликий срок. Но Временем с большой буквы люди связаны — завершается двадцатый век, приближается новое тысячелетие.

Как это ни удивительно, но именно движение предоставляет мне

возможность остановиться и оглядеться, ведь в суматошных буднях то я проношусь мимо жизни, то жизнь проносится мимо меня. С особой четкостью проявляется относительность движения в замкнутом пространстве международного вагона.

Разноплеменные пассажиры, незнакомые люди, которых я раньше не видел да и потом, наверное, никогда не увижу, на двое суток — мои попутчики, а этот вид человеческой связи подчас принимает форму дружбы, в иных случаях, при всей своей краткости, оказывается если не прочней, то значительней дружбы, потому что не успевает обрасти противоречиями и обязательствами, а то и противостоянием.

Мой рассказ о путешествии не привязан к графику движения и железнодорожному расписанию, да и нумерация купе не имеет существенного значения, хотя не собираюсь ее нарушать.

Только оторвались от города, глянули на поляну и опушку леса — и опять проезжаем городок, напоминающий наши Черемушки. Одиноково на моей памяти — невеликий дачный поселок, здесь провел я в лагере «Горнист» два пионерских лета, но где стояли фанерные павильоны, уже не найдешь.

Далше вновь курчавый лес и кустарник, из зеленого сумрака сейчас может выйти лось, и опять городские семиэтажки и двенадцатиэтажные башни — таково современное Подмосковье.

Первое купе

Из первого купе вышел в коридор пассажир, которого я заметил еще на платформе. Он демонстративно, вызывающе, завидно молод, одет с небрежностью шеголя, возбужден и весел. Он улыбается, так сказать, в пространство, но ты ловишь эту улыбку и готов ответить на нее тоже улыбкой, которая выправит настроение, каким бы оно до этого ни было.

Батистовый, весь в бурбонских лилиях платок вокруг шеи при расстегнутом, если не распахнутом, вороте ярко-красной рубашки выдает в нем иностранца. Он весьма схож с героями французских фильмов пятидесятых годов (начиная с известного «Папа, мама, служанка и я»), и это наводит на предположение, что он киноактер, приезжавший, ну, скажем, на «Мосфильм» пробовать роль короля или коммерсанта в совместной советско-французской постановке.

Иностранца провожали двое наших тоже молодых соотечественников. Но это уже явно не киношники. Один золотоволос и веснушчат, из-под аккуратно закатанных, пристегнутых специальным матерчатым хвостиком рукавов пламенеет солнечный ожог. Глаза голубые, как у рыжей кошки, добрые-предобрые. Увалень и простак, сразу видно. Конечно, он в джинсах и невиданных кроссовках, на которые все молодые люди, находившиеся на платформе, обращали пристальное внимание.

Второй — тощий и нервный брюнет, между прочим, мне знаком. Где-то мы встречались. Вспомнил! Он состоит в активе Советского комитета защиты мира, в комиссии по разоружению, мы не раз бывали вместе на собраниях, помню, я давал ему слово для выступления на вечере, посвященном первому председателю Всемирного Совета Мира Фредерику Жолио-Кюри. Этот самый провожающий брюнет выступал тогда лаконично и четко и поделился одним наблюдением, очень меня заинтересовавшим французский выдающийся физик-ядерщик, один из лидеров грозной науки двадцатого века, рассказывая о могуществе расщепленного ядра, никогда не упоминал о разрушительной силе атома; Жолио-Кюри говорил: атом — волшебная сила, открытая в помощь человеку, можно передвинуть гору, проложить путь, заживить рану, растопить айсберг. Тем досаднее, что Французская Республика и сегодня продолжает ядерные испытания у атолла Муруроа в южной части Тихого океана. Неужели государственные мужи Франции полагают, что собственная атомная бомба престижна?

Нервный физик и меня признал, поздоровался. Я представил себе, в какой области он трудится и чем непосредственно занимается. Раньше он и такие, как он, были засекречены от макушки до пят, не показывались и на людях, а теперь их даже по телевизору показывают. Итак, чего скрывать, он — доктор технических наук, старший научный сотрудник одного исследовательского института Академии наук и занят конструированием приборов, которые устанавливаются на космических кораблях и несут свою фантастическую службу.

Когда я занес в купе наши вещи и вновь спустился на платформу, доктор наук подошел.

— Провожаем французского коллегу. Он уже третий раз приезжает, способный физик, а еще, что называется, золотые руки, умелец, изобретатель. Проводим совместный эксперимент, вот он привозил новую аппаратуру, ее Владимир Джанибеков и Виктор Савиных испытывают сейчас там. (Физик показал рукой на небо, и жест его был какой-то молитвенный.)

Наш активист комиссии по разоружению познакомил меня со своим французским коллегой. Он назвался Батистом и вежливо, но несколько заученно улыбнулся. Так улыбаются продавщицы в парижских универсальных магазинах.

Ученые беседуют на английском языке, наши не владеют французским, а Батист по-русски знает только «пожалуйста» и «разумеется», причем последнее слово он произносит как «резюме» — «резюмеется».

Обе стороны с академической аккуратностью, как на уроке, произносят английские фразы, но главным средством коммуникации между ними остаются улыбки и жесты. Мое знакомство с французским ученым и началось и закончилось вежливыми улыбками на платформе еще до отправления состава. В купе он забрался на верхнюю полку и все сорок шесть часов пути читал покетбуки — книжечки, с лакированных обложек которых неотразимые обнаженные блондинки целятся в читателя из крупнокалиберных пистолетов. Наверное, этот Батист и поехал-то поездом, чтобы начитать детективов...

Он впивался глазами в свой детектив, а я стоял в коридоре и как бы впитывал в себя голубое и зеленое пространство России, чтобы надыхаться им и повезти с собой в Европу, в Африку, за океан, куда угодно, лишь бы оно заполнило тебя и окрылило, лишь бы оно всегда было рядом с тобой, в тебе.

Поезд несся без остановок. Однако названия станций я успевал прочитывать, и когда на бежевом фронтоне вокзального нового здания возникло и исчезло слово «Гагарин», мелькнула мысль о том, как просто и всеобъемлюще вошел космос в быт человечества, если за тонкой вагонной перегородкой развалился на полке и иступленно читает пеструю книжку французский спец по приборам, а пока наш поезд добрался от Москвы до города Гагарина, последователи Юры — Джанибеков и Савиных — дважды облетели земной шар по своей орбите.

Недавно тот же путь к звездам проделал вместе с нашими французский летчик.

Гагарин навсегда остался первооткрывателем космоса. Гжатск стал Гагарином. Недалеко от Гжатска, под Оршей, в сорок первом году дала первый залп реактивная установка, ушли в небо огнехвостые ракеты, которым предначертано было прекрасное мирное будущее и дорога к звездам. Родина межзвездных ракет и родина Гагарина одна — древний Гжатск, через который в свое время прокатились, бесславно наступая, а потом обращенные в бегство дикие орды захватчиков из Европы. Века, люди, гибель, безумие и победа разума — все затянуто в единый узел.

И вот город Гагарин. Человека этого еще при жизни короновали возвышенными словами, именем его называли во многих городах проспекты и площади, а теперь еще родина его получила имя своего сына.

И странно и удивительно, что я разговаривал с ним, радуясь есте-

ственности его поведения, искренности всего его существа, ну и, конечно, тому, что именно я вижу его, слышу его слова, стою около него...

Военное, голодное детство, наверное, повлияло — он не был великаном и казался даже низкорослым. Не знаю, во сколько килограммов укладывался его вес, но, наверное, при придирчивом отборе первых молодых летчиков в отряд испытателей — еще неизвестно, каких летательных аппаратов, — академик Королев учел, что Юра маленький и легкий: каждый килограмм имел тогда значение, да и рост тоже, надо было вложить человека на специальном ложементе в снаряд мирного кругосветного назначения.

Я познакомился с ним в том знаменательном апреле, через несколько дней после полета.

Он пришел к нам в Центральный Дом литераторов в новеньких майорских погонах, такой счастливый, двадцатисемилетний, казавшийся еще моложе. Наверное, он был на самом деле моложе всех в зале, а уж в президиуме — наверняка. Он явно стеснялся, когда с ним фотографировались, делал неловкие попытки отойти за чью-нибудь спину в отличие от писателей, знаменитых и незнаменитых, но очень старавшихся оказаться на фотографии рядом с ним. Когда рассаживались, Александр Твардовский попросил, чтоб его поместили поближе к герою — на правах земляка. Что-то было в той встрече неземное, возвышенное и возвышающее. Как отголосок чуда — только что промелькнувший справа по ходу поезда, недавно отстроенный вокзал с фамилией на фронтоне, ставшей именем города. Наверное, здешние люди, где бы ни находились, говорят с гордостью: «Я из Гагарина».

И эпоха наша вправе сказать о себе: «Я из Гагарина».

И если постепенно, в трудах и муках, возникает и создается образ нового человека, то будущий этот человек паломником придет сюда, на смоленскую землю, чтобы с гордостью говорить потом: «Я из Гагарина!»

Отправляясь в первый полет вокруг Земли, он взял с собой мою песню «Родина слышит, Родина знает». А теперь, отправляясь путешествовать по белу свету, я всегда беру его образ с собой.

Международный вагон продолжает бег. Французский участник космической программы не отрываясь читает свои легкомысленные детективы.

Бородинское поле

Миновали стокилометровый дорожный столб. Скоро Бородинское поле. На дачных электричках не удавалось его достигнуть, а в дальних поездах я всегда пропускал момент, когда сквозь ветви и листву придорожных деревьев можно увидеть и поля и перелески, уставленные обелисками и памятниками, разными по очертаниям, но всегда увенчанными бронзовыми орлами с расправленными крыльями. Мгновенно, как мысль, промелькнула станция Бородино, мало чем отличающаяся от других платформ, часто расположенных на этом участке пути, и вот уже в просветах между зеленью видно Бородинское поле, вернее — не вся панорама, которая могла бы составить вид исторического сражения, но отдельные картины. Сейчас Бородино уже не просто поле — выросли леса, изменился рельеф, нашли более для себя удобные русла реки — их здесь много

Я ходил по Бородинскому полю давно, в юности, до Великой Отечественной войны. Старший товарищ поэт Александр Жаров ездил проведать родственников в село Бородино, где он родился и провел детство, и взял меня с собой. Надо признать, экскурсоводом он был не просто хорошим, но особенным, не без оснований считавшим себя здесь хозяином.

Мы побывали и на Шевардинском редуте и у Багратионовых фле-

шей, прошли по берегам речек. Запомнилось название одной из них, узенькой, но с крутыми берегами,— Война. Я решил, что у речки имя, рожденное исторической битвой 1812 года, но Жаров объяснил, что оно древнее тех событий и, может быть, Кутузов, выбирая диспозицию для генерального сражения, учел и то, что речка называется Война, а значит, здесь уже когда-то русские сражались...

Мне запомнилась запись Баркляя-де-Толли, которую привел комбриг, рассказывая нам о войне 1812 года, что шестнадцать иноплеменных народов, томящихся под железным скипетром его властолюбия, привел он на брань против России. Может быть, «железный скипетр его властолюбия» — слишком пышное выражение, могущее сегодня показаться обветшалым, а все-таки трудно представить, что так сказано более полутора веков назад.

В словаре истории, к сожалению, не сохранилось наименование саперных войск — пионерные (они в невероятно короткие сроки провели инженерную подготовку Бородинского сражения). Сохранились термины: флешы, люнет, редут,— а вот «пионерные войска» теперь не говорят...

В зрелые годы я много читал и думал о Наполеоне, когда работал над сценарием о своем любимом художнике Верещагине. Его последняя в жизни серия картин о 1812 годе не так широко известна, как другие циклы, повести, исполненные средствами живописи. Однако на меня картины о нашествии Наполеона произвели огромное впечатление, особенно образ французского императора в трактовке Верещагина. Пожалуй, он был более политиком, чем стратегом, полководцем, знаменитые победы, в общем-то, доставались счастливицу легко. Бородинская битва тоже трактовалась во Франции как победа Наполеона, однако в Париже не называли ни улицы, ни бульвара, ни площади в честь Бородинской битвы, подобно бульвару Севастополя или улицам Риволи, Фридланда, Аустерлица.

Верещагин лишил образ Наполеона помпезности, но сумел запечатлеть самовлюбленность завоевателя. Его военная доктрина распространялась только на успехи и победы. Отступать он не умел, а значит, его маневр на поле боя всегда носил догматический характер. (Говорю современным языком, но другого нет в моем распоряжении.)

Война, которую я веду против России, есть война политическая, говорил Наполеон, опережая лексикон своего времени.

На всю жизнь врезались в память надписи на памятниках: «Доблестным героям Бородина — потомки третьей пехотной дивизии», «Бессмертной дивизии Неверовского», «Славному своему предку — батареей № 12 роте лейб-гвардии третья артиллерийская бригада».

В тяжелых раздумьях остановились мы тогда у памятника, увенчанного бронзовым орлом несколько иных очертаний, чем на многих памятниках, с надписью на французском языке: «Мертвым великой армии. 5—7 сентября» Мы переводим «мертвым», но во французской речи это слово звучит как погибшим. Родители Александра Жарова помнили, как сооружался обелиск: и бронзового орла и все каменные блоки после празднования столетия со дня сражения привезли из Франции и смонтировали на месте, где когда-то находился командный пункт Наполеона.

Моей комсомольской прямолинейности претило нахождение французского памятника среди дорогих нам русских обелисков. Надо было прожить еще столетия, чтобы понять, что не Наполеону поставлен памятник, а французским воинам, брошенным на русские штыки по его тщеславной воле.

Позже, когда мы с Жаровым и другими писателями (в том числе с Константином Симоновым, Юрием Жуковым, Львом Славиним) учились на курсах при Военной академии, мы узнали, что не только французы участвовали в наполеоновском нашествии и сложили свои головы на Бородинском поле. Завоеватель бросил в беспощадный омут

войны и поляков, и бельгийцев, и саксонцев, и голландцев,— своих, как теперь бы их называли, сателлитов.

Русские сражались против «антанты девятнадцатого века», как высказался по праву бородинского жителя Александр Жаров на семинаре, но комбриг, проводивший занятия, резко сказал, что историю вспять не поворачивают.

Есть немало материалов и исследований о войне 1812 года, но для меня самыми достоверными и волнующими источниками сведений о ней остаются «Война и мир» Льва Толстого, картины Василия Верещагина, и — в самом сжатом виде — «Бородино» Михаила Юрьевича Лермонтова. Строки из знаменитого стихотворения, высеченные на мраморе, можно прочитать на часовне — памятнике погибшим егерям, — там, на поле, поставленной: «И умереть мы обещали, и клятву верности сдержали мы в Бородинский бой».

Надо полагать, что это самое первое применение стихов в мемориале, если иметь в виду не погребения поэтов, но именно памятники на исторических местах. Высокое предназначение поэзии с особой силой проявляется здесь, и стало примером для потомков помещать строки из стихов и песен на памятниках Великой Отечественной войны. Я знаю лермонтовское «Бородино» наизусть и однажды, выступая по радио с разговором о любимых стихах, прочел его. Как всегда бывает, пришли отклики на передачу, среди них — письмо, которое требовало ответа, но автор не сообщил обратного адреса. А ответить мне очень хотелось, прежде всего — самому себе.

Радиослушатель писал: «В настоящий период заметно улучшаются отношения между нашей страной и Французской Республикой. В тот день, когда вы выступали по эфиру и расхваливали поэму М. Ю. Лермонтова «Бородино», в утренних газетах было опубликовано культурное соглашение, рассчитанное на несколько лет вперед. А вы тянете нас на полтора-два столетия назад. Сейчас надо убрать поэму из хрестоматий как несвоевременную».

Бородино — и образец военного искусства и бессмертный подвиг русского народа, таким оно должно предстать перед потомками.

Там, на поле русской славы, среди увенчанных орлами обелисков высятся теперь и скромные пирамиды, на острие которых устанавливались красные пятиконечные звездочки, выпиленные из фанеры или вырезанные из жести,— тяжкий бой происходил на этом месте в октябре 1941 года. В дни окончания Великой Отечественной мне рассказывал о том бое один из наших полководцев, командир корпуса, штурмовавшего берлинский рейхстаг, Семен Никифорович Переверткин. С большим трудом, а все-таки мне удалось в те невероятные берлинские дни и ночи разговорить его, с корреспондентской настойчивостью заставить что-то рассказать о себе. Генерал был в сорок первом подполковником, офицером штаба 5-й армии и 13 октября возглавил контратаку на Бородинском поле. Помню слова Переверткина:

«Сражение восемьсот двенадцатого года и бой, который мы вели на том же поле в сорок первом, несопоставимы, и отвага и мужество нашего народа остаются знаменателем». Наш разговор на этом оборвался — командир корпуса принял к трубке телефона. Сообщали, что один из батальонов подошел к рейхстагу вплотную. Ураганный огонь.

...Увеличиваются цифры на километровых столбах, удаляется, удаляется Бородино. Новые картины и пейзажи поплыли в окнах международного вагона. Подошел ко мне иностранец (как я вскоре узнал, немец из Дортмунда, я расскажу о нем позже) и спросил, что за памятники мы видели только что.

— Бородинское поле,— ответил я кратко, занятый своими мыслями.

Немец оживился:

— Ах да, знаю, поле из романа Льва Толстого «Война и мир»...

Далеко до Парижа

Что за пассажир занял верхнюю полку, взгромоздил на нее чемодан, а сам спросил разрешения и скромно присел к столу?

Всегда интересно разгадывать для себя незнакомого, рассчитывая потом познакомиться с ним и сверить свои предположения с действительностью. Всегда радуюсь, если сложенный по внешнему впечатлению портрет окажется правильным.

Он роста среднего, сухощав, чтоб не сказать худ, узкоплеч и тонколиц. Высокий лоб поранен ранними морщинами. Глаза спокойные, карие, возможно, близорукие или дальнозоркие, во всяком случае, отклонение от нормы есть, из верхнего кармана пиджака выглядывает дужка очков. Чисто выбритые щеки бледны — то ли всегда так, то ли наружу проступает усталость.

На шуплой фигуре аккуратный, придающий стройность костюм, кажущийся, однако, на номер меньше, чем следовало бы. Рубашка белая и свежая, галстук повязан умело, но легкомысленные цветочки по его полю, пожалуй, возрождают прошлогоднюю моду. Кем бы он мог быть?

Я представил его себе и врачом, и чертежником, и синхронным переводчиком, работающим в какой-нибудь международной организации.

Однако не угадал. Чтоб дальше не мучаться, подошел, когда он сосредоточенно смотрел в окно, и спросил, откуда и куда он едет. Подобная бесцеремонность в поездах дальнего следования разрешена, этим я воспользовался.

— Еду-то в Париж, как все мы, из Москвы, но откуда я, ответить трудно,— веду кочевой образ жизни.

Мое любопытство распалилось, когда пассажир поведал, что он сибиряк, таежник, вырос в Красноярском крае.

Разве так выглядят таежники? Оказывается, бывает, что и так. Здорово я промахнулся! Он стал рассказывать о себе, скучно, словно заполнял анкету:

— По образованию я строитель, учился на заочном, завершил и аспирантуру, несколько растянувшуюся во времени, но с защитой диссертации сложно вот из-за этого самого кочевого положения.

Все-таки я его расшевелил!

Он, оказывается, причастен к строительству трансконтинентального газопровода Сибирь — Западная Европа (рабочее название Уренгой — Помары — Ужгород). Ну и что же? С годами я уже спокойнее стал относиться к стройкам, о которых пишут в газетах, говорят по радио и показывают через день в телевизионной программе «Время». Для меня важно не где работает человек, а как он работает, что думает и чувствует. Невелика честь для литературы — писать о готовеньких героях, куда важнее находить их и создавать. Чем хуже тех, кто на виду, электросварщик или тракторист с маленькой и никому не известной стройки?

В восьмидесятых годах заговорили о «стройке века», но больше о грандиозных масштабах, чем о людях и проблемах. Вот и появились серые очерки и несколько посредственных повестей. Причина неудач в том, что авторы положились на величие самой стройки, упустили из виду, что каждая книга сама по себе — стройка и от писателя зависит ее масштаб.

Настоящая большая литература не успела присмотреться к стройке, такими темпами она велась. Ее завершили примерно за три года, и сразу замолкла о ней печать, отвернулись телевизионные камеры, нацелясь на новые дела.

Но пятилетка не нуждается в рекламе, она действует, как волшебник, выводит из глухомани на мировые трассы и озаряет своими прожекторами подслеповатые селения, превращая их в города.

Я и не знал, представить себе не мог, что протяженность газопровода 4450 километров. А трубы почти полутораметрового сечения! Такая безответственная приблизительность не устраивает строителя, он уточняет: 1420 миллиметров диаметр труб, уважаемый товарищ.

Газопровод называется экспортным, но мне не нравится столь торговое наименование, лучше воспользуюсь другим его именем — трансконтинентальный, в нем и простор и размах. По трансконтинентальной нитке (хороша нитка — почти полтора метра толщиной!) сибирский газ течет в Западную Европу — во Францию, ФРГ, Италию, Австрию и Западный Берлин. Тянется нитка через территории социалистических стран и их тоже снабжает газом.

Мой собеседник дождался, когда промелькнул километровый столб, и сказал, что минут через пять мы увидим одну нитку слева по ходу поезда. Правда, будет не трансконтинентальный, а, так сказать, внутренний образец, но интересно, заметите ли вы, обратите ли внимание без подсказки.

Я пригласил строителя в вагон-ресторан, он свой рассказ продолжал за ужином. За другими столиками сидело несколько иностранцев, кажется немцев и французов, оглядываясь на них, он говорил о том, что, продавая газ Европе, мы не обделили себя, хотя не забыты времена, когда во многом приходилось себе отказывать и в экспортных целях и во имя братской помощи. Так он сказал, я его понял и подумал о том, что поставка газа в Западную Европу — наглядное свидетельство нашей мирной политики. Все ли это понимают на Западе?

— Ой, не все! — Так громко произнес инженер, что другие посетители ресторана обернулись, прислушались. — Неужели вы не помните, что творилось на первом этапе стройки?

Да, мы не злопамятны, это хорошо. Но на крыльях быстро летящего времени проносимся порой мимо важных событий так стремительно, что они не успевают попасть в историю. Надо все-таки помнить, что было. Когда уже состоялось заключение международных деловых соглашений, мирнейших по своей сути, — мы даем газ Сибири европейским странам, а они поставляют механизмы и трубы, — заволновались заокеанские претенденты на мировое господство: не слишком ли сближаются Восток и Запад? (Прошу перед читателем прощения за политическую терминологию в почти лирическом дневнике, что поделаешь, она наиболее точно отражает картину современного мира.)

Началась настоящая борьба с нашим газопроводом, как поединок рыцаря со змеем в какой-нибудь древней легенде. Правда, рыцарь и змей поменялись местами, нарушив фольклорную символику: змей олицетворяет теперь добро, а рыцарь — зло!

Промышленникам Европы пригрозили, пообещали разорить. Еще подняли крик о «польских событиях», за которые надо наказать Советский Союз. Впрочем, не будь этих событий, придумали бы еще какой-нибудь повод.

Собеседнику показалось, что он многословен. Завел он речь о литературе:

— Вот вам готовый сюжет для романа! Золя и Бальзак не отказались бы! Значит, так: трансъевропейский газопровод строится, разворот работ огромен, позади трудные международные переговоры, заключены многомиллионные договоры и контракты. Мы и они.

Над строительством нависла угроза. Мы не получим компрессоров и труб, не получим трубоукладчиков. Огромный урон будет нанесен и нашему хозяйству и европейским странам.

Тут вступает в действие наша советская система. Внешне все выглядит примитивно: надо — значит, будет! Ожило старое, верное, безотказное «даешь!». А Западной Европе нужен газ. Фирма, ну, скажем «Дрессер-Франс», производящая оборудование по американским лицензиям, все-таки отказывается подчиниться команде из-за океана.

В суровую игру включаются расчетливые японцы. Оказывается, им

выгодно по дешевке продать оборудование. Простите за вульгарный комментарий, погорела на этом деле американская фирма, между прочим, весьма известная, — «Катерпиллер». Мы не злорадствовали, честное слово, заранее знали, что и как будет. Сложнее всего было решить проблему компрессоров — газ ведь не самотеком идет по трубам. Примерно через каждые сто километров на трассе — целый завод по перекачке газа. — Наша беседа прервалась.

Этот эпизод стоит запомнить. Соседи по столику, французы или бельгийцы, закончили ужинать; неуклюжий, суетливый и неловкий официант подошел с маленькими детскими счетами в руках, спросил, что кушали, что пили. Иностранцы перечисляли закуски, а официант отбрасывал костяшки на счетах, делая это с показной лихостью.

Иностранцы обратили внимание на счета, и один из них, с натугой выговаривая русские слова, насмешливо заявил, что чувствует себя в девятнадцатом веке, смотря на советский счетный «агрегат». Он достал из жилетного кармана изящный микрокалькулятор, попросил официанта повторить цены и, едва касаясь пальцем кнопочек, выполнил простейшую операцию на сложение.

Официант глянул на образовавшиеся цифры и бесстрастно произнес:

— Не сходится!

Мой строитель заинтересовался происходящим. Действительно, сумма на счетах не совпадала с показателем микрокалькулятора. На две копейки, а все же не совпадала.

Официант презрительно хмыкнул:

— Подводит ваша техника!

У строителя в кармане оказался свой микрокалькулятор. Он понырнул компьютер на ладони и объяснил соседям по столу, что предназначенный для сложных операций прибор иногда ошибается, решая примитивную задачу. Прибавляйте цену обеда к миллиону, а еще лучше к миллиарду, все цифры непременно сойдутся.

Рекомендованный опыт был произведен, суммы на счетах и на калькуляторе сошлись. Мой собеседник проконтролировал операцию своим аппаратиком, прибавив цену салата и пива к миллиарду. Все в порядке!

Торжествующий официант вернул иностранцам сдачу до копейки и важно проследовал в торец вагона, там восседал у столика-стойки надменный директор вагона-ресторана. Официант рапортовал ему:

— У француза комьютерчик выдал ошибку. Если так, человеку сам бог разрешил ошибаться, не обессудьте.

Видимо, проблема точности расчета с посетителями здесь не раз обсуждалась.

Инцидент, однако, был исчерпан, и мы отправились в свой международный вагон через другие вагонные коридоры, как через десятки человеческих жизней и судеб. Я всегда в такой ситуации испытываю и любопытство и неловкость... Сам страсть как люблю заглядывать в чужие купе, но терпеть не могу, когда зыркают глазами по моему временному пристанищу.

За время путешествия мы с инженером сходились несколько раз, он вновь и вновь принимался рассказывать о своем газопроводе:

— Мы прокладывали его через горы, леса, болота, степи, по дну тридцати двух больших рек — Оби, Волги, Камы, Днепра, Дона и других. Оказывается, дело не просто в ширине реки, есть едва заметные на карте местного значения реки, а перешагивать их куда трудней, чем, скажем, Дон.

А болота! Надо было научить тяжеленные тракторы ходить по ним, не проваливаясь в топи! А горы! Конечно, старый Урал не для альпинистов, но скалолазами становиться приходилось. А поля колхозов и совхозов, их исконные земли, да еще и с урожаем. Мы все понимаем, но и конфликтов хватало. Научились работать филигранно, чтобы вписать газопровод в природу, не принося ей вреда.

Я уходил в свое купе, беседовал с другими пассажирами, но мой новый знакомый подстерегал меня в тамбуре, в коридоре и сразу, что называется, с запятой продолжал рассказывать.

Мне все показалось назойливым и тут же стало неловко за себя: это я его завел, и он рассказывает такие интересные вещи.

Он спросил, читал ли я роман Василия Ажаева «Далеко от Москвы», и тут уж вздохнул заговорил я, так что он мог посчитать меня говоруном без тормозов. Мы с Василием Ажаевым вместе поступали в Литературный институт, а потом на Дальнем Востоке встречались на стройке, и я был первым читателем рукописных страниц его романа, принесшего автору через годы широкую известность.

— Слушайте, а почему бы вам не сесть за роман, подобный ажаевскому? Познакомлю вас со всеми нашими делами, отыщем и представим вам самых лучших людей, героев, мастеров, первопроходцев. И название носится в воздухе Ну, хотя бы «Далеко от Парижа», а еще лучше — «Далеко до Парижа»... Не пожалеете, если возьметесь.

О, наивный энтузиаст, спасибо за искренность, за доверие.

Я не напишу роман «Далеко от (или до) Парижа». Даже если бы съездил на трассу, познакомился с героями. Таких попыток было немало, но удач что-то не помню. Не писатель выбирает себе тему, а тема выбирает себе творца из близких и причастных к ней литераторов, настоящих или будущих.

Делюсь сам с собой наблюдением о судьбе заказанных писателю сочинений. Заказ всегда делается, что называется, с дорогой душой, с надеждой и уверенностью. Мне, правда, заказывали поэму или песню, не роман.

Несколько раз на своем длинном литературном пути я попадался, загорался, брался за дело. Сколько времени и сил затрачено. Мучали сомнения: надо ли было браться за дело, которое мог бы с меньшим успехом выполнить другой литератор? Наконец готово сочинение. Но злободневность его остыла, разъехались с завершенной стройки и герои и начальники, так сказать, заказчики. Где их теперь найдешь, помнят ли они о своих просьбах и посулах?

Киснут у меня в столе и песня китобойной флотилии, расформированной в связи с ограничением китобойного промысла, и марш дорожников (где и зачем его петь?), и песня, написанная по настоятельной просьбе подготовительного комитета съезда, посвященного переливанию крови.

Я уверен, что гигантская стройка газопровода раньше или позже найдет своих летописцев и певцов, но не из тех, кто будет писать по заказу. Строитель, кажется, немного обиделся на меня, во всяком случае, огорчился, однако своей идеи не оставил, продолжал очень интересно рассказывать, и меня потянуло записать встречу с ним, уже как эпизод из своей жизни и судьбы.

Возникла необходимость вновь расспросить его о многом, прежде всего о нем самом. Я был, правда, абсолютно уверен, что мой собеседник увяз где-то в сибирских топях, в карпатских ущельях и никогда не был за границей. Задал вопрос, и опять оказался никуда не годным прорицателем и человековедом.

Так вот, мой строитель, оказывается, три года работал в Алжире, помогал арабам строить трубопроводы, когда в Сахаре стали добывать нефть и газ.

Три года в Сахаре? Неужели в этой печке нашей планеты можно три года провести, если ты северянин, сибиряк? Я ездил в Сахару, когда был в Алжире. Экспедиция была прогулочной и продолжалась всего три дня, запомнившиеся мне как пылающая вечность. Солнце пустыни целится в тебя сверху, как добела раскаленная спица, угрожает пробить череп. Колеса нашего вездехода, буксовавшего в песках, были обуты специальной тропической резиной, но она самовозгоралась, плавилась, смердела. Во рту пересыхало, тяжело ворочался шершавый язык.

Я никак не мог объяснить бедуину, что такое дождь,— он никогда дождя не видел. Набрякшее небо пустыни безоблачно, хотя в нем хозяйничают и корчатся в судорогах молнии. Они часто вонзаются в землю так, что песок спекается в причудливые темно-желтые каменные розы с лепестками острыми, как шипы.

Три дня, проведенные мной в Сахаре, помогли составить представление о трех годах, которые прожил в пустыне мой собеседник.

Я вспомнил и зябкие ночи тех мест, похожие на озноб лихорадки, и спросил инженера:

— Работали только по ночам?

Он не без гордости улыбнулся.

— Мы были первыми и единственными, работавшими в Сахаре днем, да еще и в самый палящий период. Невозможно, но у нас получилось. Пожалуй, вся загвоздка в том, что полюсно противоположные явления сходятся: при сорокаградусном морозе вкальваем, почему бы не преуспеть в сорокаградусной жаре?

Я предложил инженеру встречу в Париже, но он мое предложение отклонил:

— Найдется ли свободная минутка? Заводы фирмы, с которой буду иметь дело, к тому же не в самом городе, на достаточном отдалении. Лучше встретимся на родине. Я вам сообщу, когда будут интересные дела на новых грассах, приезжайте, не пожалеете!

Только бы хватило жизни...

Потомок легендарных инков

Молодой человек с третьей полки, видимо, неуютно чувствует себя там, наверху, под самым потолком вагона в опасном соседстве с безжалостно охлаждающим вентиляционным прибором, издающим к тому же, правда иногда, какой-то жалобный неземной звук. Пассажир почти все время проводит в тамбуре, курит тоненькие черные сигареты, пахнущие пожаром. Я давно уже не курю, но мне мил запах чужого табака, и я всегда готов присоединиться, чтобы подышать дымом. Так что знакомство наше оказалось делом простым и естественным. Молодой человек, оказывается, из Перу. Он — индеец, принадлежащий к народу кечуа (то есть потомок легендарных инков, некогда могущественных и талантливых хозяев Южной Америки).

Индеец неплохо говорит по-русски, но немного шепелявит, как это получается у испанцев. Его прическа напоминает крыло орла, да и во всем его облике есть что-то орлиное — независимое и гордое. Резко очерчены скулы, остро начертаны брови, губы, пока не улыбнется, жестки и строги.

Учится в Москве, будет строителем, а точнее — архитектором, через год. Приветливый, открытый, как теперь говорят, контактный мальчик. Родился в городе Арекипе, там у него родители. Боже мой, Арекипа, город на высокогорье, на юге страны, я побывал там три года назад, даже выступал в Обществе советско-перуанской дружбы с докладом о годовщине Октябрьской Революции и давал интервью для прямой передачи местного телевидения. Правда, вопросы, заданные арекипским журналистом, кроме традиционного: как вам нравятся наш город? — были типично американские, давно набившие оскомину и свидетельствующие об абсолютном незнании нашей советской жизни...

Я поведал индейцу о своем пребывании в Арекипе, вспомнил о посещении тамошнего старейшего университета — ему за полтора года — и заинтересовался, почему он не учится дома, отправился на другой край планеты. Индеец снисходительно улыбнулся.

Ну ладно, а разве путь из Москвы в Арекипу лежит через Париж? Но индеец едет вовсе не домой. Немножко попутешествует по Франции, надо на нее посмотреть, родители продали отару овец, прислали денег, а потом он поедет — как это вам объяснить? — к своему новому

пристанищу в финскую столицу Хельсинки. Оказывается, у него в Хельсинки жена и перуанско-финское дитя, которое отец еще не видел. Чудеса двадцатого века! Индеец и финка познакомились на берегу Черного моря в международном молодежном лагере, когда ездили на субботник в виноградарский совхоз, и полюбили друг друга. Товарищи убеждали и его и ее, что любовь, родившаяся на курортном берегу, легкомысленна и непрочна, но они оба, может быть, и из упрямства, отвергли все сомнения и зарегистрировали свой брак в Москве. Любовь способна все преодолеть

Теперь возникает новая проблема: где будет жить семья?

Он считает, что не для того государство посылало его учиться и выплачивало стипендию, чтобы он преспокойно обитал на берегу Финского залива. А жена (ее зовут Кюллики — почти индейское имя!) филолог, специалист в области угро-финской группы языков, не сможет найти в Арекипе применения своим знаниям и способностям, а это может привести к семейной катастрофе. Ко всему прочему неясно, как подействует высокогорный климат Анд на северное дитя.

Индеец делился со мной своими волнениями и сомнениями, но что я могу ему сказать, что посоветовать...

Сложные загадки ставит перед людьми двадцатый век, или это они сами придумывают и создают себе невероятные ребусы?

Не мог я ответить на некоторые вопросы перуанца, но и он не все мои сомнения разрешил, когда мы говорили о его стране.

Получив приглашение перуанских сторонников мира, я сразу согласился на далекое и трудное путешествие через полземного шара. Как не поехать в сказочное Перу! И еще — мне казалось, удастся побывать в непосредственной близости к Чили, подышать воздухом, которым дышали Альенде и Неруда, почувствовать сегодняшний пульс земли, именуемой Огненной.

Но, даже если это было бы простое любопытство, мне не удалось бы его утолить в Перу. Я спрашивал перуанцев о Чили, они вежливо отмалчивались. Вблизи южной границы страны я надеялся встретить чилийских эмигрантов, но не нашел их. Старая история. Сто лет тому назад между Перу и Чили была война, Чили оккупировало две перуанские провинции; часть этих земель не возвращена и поныне, распря тлеет, но не гаснет.

Молодой человек объяснял мне, что обида передается из поколения в поколение, но современная молсдежь Перу ставит солидарность с народом Чили, живущим в условиях фашистской диктатуры, гораздо выше националистических споров. Мне очень хотелось поверить этому парню, и я не стал расспрашивать его, почему в наши времена на севере его страны, на границе с Эквадором, тоже происходят бесконечные конфликты и даже стычки

Сложно и трудно живет Латинская Америка, сразу не разберешься в ее проблемах, а все же хочется верить, что планета поворачивается к солнцу. Ведь на нашей памяти фашистская диктатура в Лиме и ее свержение. Перуанец учится в Москве, а я в переписке со многими хорошими людьми Лимы и Арекипы.

Само собой разумеется, поговорили мы о таинственных площадках, считающихся местом приземления кораблей инопланетян, о поглощенном сельвой городе — древней столице инков, о хирургических инструментах из золота, при помощи которых древние индейцы успешно осуществляли грепанацию черепа. Студент, оказывается, уже приступил к дипломной работе, она посвящена синтезу современной и древнеиндейской архитектуры. А историю он знает глубоко и разносторонне. Индеец охотно рассказывал мне о жизни латиноамериканских студентов в Москве, об их землячествах. Вот тут уже никаких противоречий между эквадерцами и перуанцами, конечно, нет, никаких конфликтов с чилийцами. Таса два мы разговаривали в тамбуре, и, кажется, оба выговорились, да так, что больше не подходили друг к другу до самого Парижа. Но я посматривал в его сторону: какой от-

кровенный, веселый и легкий этот человек. На остановках индеец каждый раз надевал коричневую шляпу с широкими полями, сомбреро, и шел искать земляков в железнодорожных составах на соседних путях. Не знаю, находил ли, но при отправлении его не оказывалось в вагоне, а потом он появлялся запыхавшийся, разгоряченный. Дважды он терял свою прекрасную шляпу, но она все равно возвращалась к нему, однажды, как бумеранг, влетела в окно.

Индеец всю дорогу монтировал свой невеликий багаж: матрац и пачку книг, алюминиевую посуду и свитер из альпаковой шерсти и еще неведомо что. Когда все шнурки и ремешки были завязаны и затянуты, образовался продолговатый ранец, прекрасное сооружение с универсальными свойствами: дом, постель, шкаф, чемодан.

Где твоя родина?

Переборки, разделяющие купе международного вагона, ненадежны, звукопроницаемы. Покой нашего временного обиталища нарушен криками, рыданиями, руганью, сливающимися в один неясный, но раздражающий звуковой поток. Он прорвался, лишь только поезд отчалил от московской платформы, и теперь то затихает, то нарастает. Неужели для бурного выяснения отношений людям надо было пускаться в заграничное путешествие? Сидели бы дома и ругались!

Время от времени дверь купе оказывалась приоткрытой. Я заметил, что вещи остались лежать кучей на полу, не разобраны. Тут и старый потрескавшийся чемодан, и деревянный ящик, и неуклюжий мягкий узел, обернутый потертым деревенским одеялом и вчетверо перевязанный телефонным проводом.

Узел был использован в качестве обеденного стола: на нем покоится чудесный золотой пшеничный каравай — такие подносят на полотенцах, вышитых петухами, в торжественных случаях как хлеб-соль, символ сельского гостеприимства.

Чего они ругаются? Хоть бы хлеба постеснялись!

Их трое. Глава семейства — в подчеркнуто изношенной и мятой одежде: пузырящихся на коленях брюках и дерюжном, коротком, с чужого плеча пиджаке. Клетчатая, пакистанского, что ли, происхождения рубашка с засаленным воротом имеет только верхнюю пуговицу, а ниже полы расходятся, так что в их проеме заметен пучок седых волос на груди. Однако голова еще не седа, вихры свалились, как войлок, и прилипли к мокрому лбу. В вагоне отнюдь не жарко, пожалуй, это нервный пот, который человек безуспешно старается согнать с лица рукавом. Он в растоптанных ботинках, такие раньше именовали штиблетами.

Глаза испуганно бегают... А может, это мне показалось.

Женщина — судя по тому, как они ругались, — его супруга, одета поаккуратней, но тоже во все старое, явно извлеченное из сундука, застиранное, выцветшее. Мне не приходилось видеть, чтобы люди, отправляясь за границу, надевали на себя худшее что у них есть. А тут — хуже некуда! Мне почему-то вспомнилась притча о том, что наследники делятся на две категории: одни, провожая в последний путь своих родственников, обряжают их в жалкие лохмотья, а другие — в самое лучшее, парадно-выходное платье.

Третий в семействе — долговязый мальчик (уже бреется, на подбородке красные пятна), заметно выросший из школьной формы серо-стального цвета, вот уже два учебных года как замененной на элегантную синюю, напоминающую обмундирование летчиков Аэрофлота, в черных ботинках сорок пятого размера, хорошо начищенных, но зашнурованных коричневыми тесемками. Я их мальчика заметил еще на платформе Белорусского вокзала: отец взял его за локоть, подталкивал к поручням, но мальчик упирался, не хотел подниматься в вагон, что называется, бодался. Мать уже тогда плакала, но мужская часть семейства на нее не обращала внимания. Так до отхода поезда маль-

чик в устаревшей школьной форме топтался около вагона. Он вскочил на ступеньку, когда поезд уже тронулся, проводник подхватил его, не преминув сделать замечание: осторожней, мол, молодой человек, не фасоньте.

По выражению лица мальчика, сосредоточенному, хмурому и даже жалкому, никак нельзя было сказать, что он фасонит, так что замечание — на совести проводника.

Дверь была все время приоткрыта, я видел, как глава семьи достал длинный и опасный кухонный нож, прижал каравай к груди и стал нарезать прекрасные ломти, так что у меня слюнки потекли.

Для завтрака семейство использовало не вагонный столик, а тот самый возвышающийся посреди купе узел. Они ели курицу, складывали косточки так, что их грудка напоминала разбившийся самолет в сильно уменьшенном масштабе. Женщина, успокоившаяся было, несколько раз вновь принималась плакать. Муж шикал на нее, просто шипел, а мальчик гладил ее темнопергаментную руку, безнадежно пытаясь ее успокоить.

Главе семьи, видимо, надоело заниматься пререканиями, он стал бродить по вагону, заговаривать с пассажирами, напряженно улыбаясь по поводу и без повода. Что-то неубедительна эта неожиданная веселость.

Я стоял у окна, вглядывался в быстро меняющиеся и повторяющиеся дорожные пейзажи. Притягательная сила зеленого мира, как лента разматывающегося перед тобою, в общем-то, необъяснима, но, быть может, это и есть момент слияния человека и природы.

Дорога необходима еще и как возбудитель памяти, она выстраивает воспоминания, как на смотр. Какого черта неопрятный гражданин подобрался ко мне, неловко заговаривает? Его сыну явно не нравятся поведение отца: мальчик вышел из купе, поглядывает в нашу сторону, делает какие-то жесты, имеющие целью пригласить отца в семью, предупредить его болтовню, заведомо пустую и никчемную. Я отворачиваюсь, но гражданин все равно заговаривает:

— Посмотрим, как загнивает капитализм!

Терпеть не могу подобных иронических фраз! Прежде всего на них надо иметь право.

Советскому туристу или командированному товарищу капитализм, между прочим, представляется фасадом: отели, рестораны, аэродромы, вокзалы, автобусы, ну, разумеется, и магазины с товарами, которые у нас стыдливо именуется сувенирами, — много ль приобретешь с нашими-то скупо обмененными купюрами? Двухнедельный калейдоскоп, исторические памятники, музеи, соборы, гды, сувениры. Все это дорого стоит при любом пересчете — нам самим или государству. Сколько ни сетуем — денег было ноль целых, кофе не выпьешь, — ирония отдает ханжеством. Как действительно живут люди на Западе, мы не постигаем и не постигнем. А на те деньги, которые отсчитываем за интуристские путевки, можно и дома пороскошествовать. Но эти трое собрались не в туристскую поездку. Они уезжают совсем и навсегда, теряют одну родину и рассчитывают обрести другую. Проводник рассказал мне: несмотря на чистый русский разговор, они — немцы и репатрируются в Федеративную Республику Германии. Ладно, репатрируются, и пусть, мне-то какое дело! Между тем на душе как-то больновато, тревожно, особенно за их парня. А он в весьма растерянном состоянии, и не надо быть психологом, чтобы заметить это. Они разговаривают бурно, слышно на весь вагон.

Сын. Вы как хотите, а я только до Бреста. Провожу вас и обратно в Кустанай.

Мать. Где ты возьмешь денег на обратную дорогу?

Сын. Пойду в райком комсомола и попрошу, они меня отправят.

Отец. Не стыдно попрошайничать?

Сын. У своих и попросить не стыдно, меня поймут.

Отец переходит на немецкий язык, говорит на каком-то квадратном наречии, напоминая мне военные времена, когда мы не могли слышать даже с четвертого класса известное нам стихотворение «Лоре-лея», когда в каждое немецкое слово хотелось стрелять.

Отец. Абер ду бист дойче!

Сын (отвечает по-русски). Какой я, к черту, немец! И по-казахски говорю лучше, чем вы по-немецки. Я русский, и все! (Мать плачет.)

Отец. У дяди Фридриха есть легковушка и грузовичок. Он писал, что приобрел советскую «Ладу». Ты сдал на права, если дядя разрешит, будешь управлять грузовичком на ферме.

Сын. На кой мне сдался дядин грузовичок! Пусть сам ездит одновременно и на «Ладе» и на грузовичке!

Отец. Ду бист дум...

Юноша начинает дерзить: еще бы, передалось от родителей, гены, наследственность! Отец с грохотом катанул дверь. Замок защелкнулся, но отдельные фразы вырывались в коридор и носились по вагону, как электрические разряды.

— Двести лет мы жили в России... Могилы наших прадедов...

— Ого, ты вспомнил о прадедах! Ты бы лучше отца уважал, чем о прадедах говорить. Ты бы вспомнил, как нас выселили из Покровской слободы.

— Не могу я помнить, я родился в Кустанае.

Кустанайские немцы не спали две ночи и нам не давали спать. Жена требовала, чтобы глава семьи оделся поприличней, все-таки едем в Европу, и дядя Фридрих будет встречать. А муж распаялся: пусть Фридрих видит, какой я есть, пусть знает, что барахло из его поганых посылок мне не нужно, пусть не думает, что купил себе батрака-ударника из Казахстана. Да, с новыми родственниками дядя Фридрих явно не соскучится!

Дюссельдорф на рассвете. Я решил, что все равно уже не усну, погляжу, как противоречивые репатрианты ступят на землю своих далеких предков, какое впечатление они, эти трое из Казахстана, производят на благодетеля дядю Фридриха и какое он сам, дядя Фридрих, владделец «Лады» и грузовичка, произведет впечатление на них. Серые платформы Дюссельдорфа были тщательно подметены и девственно пусты. Светящиеся желтые надписи гасли одна за другой и казались единственными живыми существами на станции. Дядя Фридриха и в помине не было. Новые граждане Федеративной Республики Германии медленно спускались по вагонной лесенке со своими чемоданами и некрепко перевязанным узлом, словно с трудом отрываясь от последнего участка советской территории.

К отцу

Человек, медленно, степенно, ни у кого ничего не спрашивая прошедший в купе, обратил на себя мое внимание прежде всего полным отсутствием багажа. Он держал в руке только старый, черный, с потертыми побелевшими углами кожаный портфель, правда туго набитый, пузатый, но все же лишь портфель, который не считается багажом не только на железной дороге, но даже в аэропортах, где милосердные регистраторши, возвышающиеся за стойками, всегда готовы бесстрастно сообщить, сколько надо платить за перевес.

Несмотря на жаркий летний день, пассажир облачен в темный, на все пуговицы застегнутый пиджак, который почему-то хочется назвать сюртуком. Он в новой апельсинового цвета рубашке и при галстукке, повязанном широким узлом.

Привлекательное смуглое, но не от курортного загара, лицо в резких, как резьба по дереву, морщинах; жесткие, коротко, ежиком подстриженные волосы русы, а если пристально взглядеться, пересыпаны сединой. Сильные и узловатые кисти рук, пальцы несколько расплюсченные, с серыми, как морская галька, ногтями, говорят сами за

себя: может, шахтер, может быть, сталевар, во всяком случае, человек рабочий, вероятно, не москвич, но и провинциалом называть его не хочется.

Когда проводник собирал и распределял по карманчикам клеенчатого портфеля билеты, я краем уха уловил, что пассажир едет только до Бреста. Попросил в кассе билет на ближайший поезд, но время летнее, великое движение отпускников, командировки, так что свободным оказалось лишь единственное место в международном вагоне. Дорогавато, конечно, накладно, но что поделаешь, не сидеть же до ночи на вокзале. К вечеру мы оказались рядом у окна в коридоре, смотрели, как солнце окунается в леса. Заговорили, и вот что я осторожно, чтоб не спугнуть беседу, выведал.

Да, он едет до Бреста, хотя раньше за границей бывать приходилось. Только до Бреста едет, на какой срок, еще не сообразил и неизвестно, удастся ли заполучить койку в гостинице. В Бресте служил до войны и там пропал, как сообщено официально, еще в июле 1941 года без вести его отец. Пропать, конечно, нетрудно было в первые дни, но уже тогда прорвались в глубь страны вести о том, как сражаются и честно гибнут пограничники и личный состав войск прикрытия.

— Пора бы отменить и вычеркнуть из биографий предков и из судеб потомков эту запись — «Пропал без вести», — печально, но с некоторым раздражением утверждает мой собеседник.

Пассажир купе собирается на обратном пути заехать в город Кобрин, где 23 июня 1941 года в последний раз видел мать и старшую сестру. Его, пятилетнего, вместе с другими детьми пограничников вывезла на грузовике райпотребсоюза — буквально из-под огня — воспитательница, уже успевшая овдоветь и потерять сына в первые часы нашей истории. Грузовик под бомбежками и обстрелом кочевал по дорогам Белоруссии, дотянул до Брянской области. Детей приютил колхоз, а когда и в эти края хлынула оккупация, детей спрятали в лесу.

— Держали на лесной базе, — сказал пассажир, и было заметно, как он искал именно эти слова — «на лесной базе», — очевидно стесняясь сказать «на партизанской базе», чтоб я не подумал, будто он приписывает себе какие-то военные заслуги.

Потом был детский дом в Ульяновске, ремесленное училище, срочная служба в армии («Оказался в Будапеште в пятьдесят шестом году, сами знаете, что там произошло...»). Я не ошибся — он шахтер, только не угольщик, как в старину говорили, рудокоп. Есть у него семья, недавно появился первый внучок. Дом свой, жизнь нормальная. Цель поездки рудокоп определил жестко:

— Наконец вырвался на поиски отца, матери, сестры.

— Но почему так поздно?

Мой собеседник ответил не задумываясь:

— В детстве не ощущалась потеря. У всех мальчиков и девочек родители были где-то на войне, их когда-то виденные и единственные образы забывались, распылялись, превращались во всем знакомую фигуру красноармейца, идущего в бой, и женщины с плаката, именуемой «Родина-мать зовет». Поскольку где-то были красноармеец и женщина, таяла память о тех реальных родителях, удаленных расстоянием, а постепенно и временем, перегруженным новыми впечатлениями, насытой жизнью, окружающей со всех сторон опасностью. Потом — в отрочестве, в юности — наступило что-то вроде примирения с судьбой: некоторые совсем не многие родители нашли своих детей, а другие, наверное, ищут. Ну, а как меня найти, если тогда в брянском лесу фамилию мою записали неправильно?

Теперь, когда все дети войны куда старше своих родителей, у многих возникла и мучает не стихая жажда найти отца, мать, родственников. Они погибли, это ясно, но где-то таится след, кто-то должен знать, наверняка сохранились свидетели, существуют архивы, документы.

Рудокоп десяток лет ищет. Обращался к юным следопытам — брестским, кобринским... Фамилия обнаружена в ведомости о получении обмундирования пограничниками брестской комендатуры. Выяснено, что эшелон с семьями пограничников был разбомблен сразу же по выходе из Кобрина. Отец и мать были ровесниками Октябрьской революции, не дожили они до двадцать четвертой годовщины, а сыну скоро полвека, можно считать, на пороге пенсии, у шахтеров свои сроки. Он едет, не ведая, сумеет ли найти след отца и матери... Может быть, сестра осталась тогда жива вот так же, как он остался?

Я жажду, чтоб он нашел хоть кого-нибудь, хоть что-нибудь, хоть отдаленную и неясную надежду. Но кто-кто, а я-то знаю, как это трудно, почти невозможно оставить эти поиски. Есть силы искать, но нет сил поставить точку, сказать себе: все, остановись, забудь. Забыто уже было, теперь остается сказать только: помни...

Помнит ли он отца? Узнал бы по фотографии?

Грустно улыбнулся, закурил «Приму», откашлялся, признался: на всех групповых фотографиях, появляющихся вкладкой в книгах мемуаров, в одном из юношей в островерхих богатырских буденновских шлемах он непременно находит черты отца. Пишет письма, шлет запросы авторам и издателям, не спит ночами до получения ответа. Фильмы о войне смотрит по пять раз. Опять не отец: снимок сделан на Южном фронте, а отец был в Бресте, это уж точно. Тут артиллеристы, а отец был пограничником.

Смотрю в чистые глаза этого немолодого человека, годящегося и мне в сыновья. Трудно не отвести взора: он верит, что я помню его отца, ведь я был там, на границе, в сорок первом, и какое ему дело, что граница шла от Белого до Черного моря. Я должен помнить! Промелькнул Кобрин, я поймал себя на том, что стараюсь отвлечь своего собеседника, пусть он не заметит, что Кобрин проехали.

И вот уже явился проводник, нашел в своем клеенчатом портфеле билет до Бреста, вернул пассажиру и сказал, что надо выходить сразу как остановимся, пока не придут пограничники.

По своей корреспондентской привычке (пора бы от нее избавиться!) я спросил, в какой он был дивизии. Оказывается, в дивизии Родимцева, значит, мы могли встречаться на той тревожной земле, а может, и встречались.

Но и этого моей корреспондентской, испорченной штампами душе было мало, я спросил, имеет ли он какие-нибудь награды, и узнал, что получена в Венгрии медаль «За отвагу», а потом еще две медали и два ордена на руднике, но та первая, боевая, медаль особенно дорога — ведь у отца была такая же с сорокового года за штурм Выборга. Я слушал его рассказ о тихом домике, о благополучной семье, о приусадебном участке, о недавно приобретенной пятой модели «Жигулей», но все это как бы просвечивало и накладывалось на серо-стальной фон осеннего Дуная между Будой и Пештом. С той поры прошло почти три десятилетия... Три десятилетия! С какой тревогой и болью в сердце проходил я тогда по улицам венгерской столицы, мучительно стараясь разобраться, что случилось и как это могло случиться. Но и тогда мне становилось понятно, а сейчас абсолютно ясно, что мы отразили попытку интервенции против социализма в центре Европы, что в Будапеште мы вынуждены и обязаны были вступить в схватку со старым врагом — фашизмом, только бесчинствующим в ином пропагандистском обрамлении.

В свое время Гитлер и заклятые враги будущего, фашисты, не смогли обойтись без слова «социализм», только сочетали его с ядовитым «национал». Интервенция, откинутая от границ Венгерской Народной Республики, тоже сопровождалась воплями о спасении социализма, а я видел, как ошалевшие от ярости спасатели выбрасывали коммунистов из окон верхнего этажа горкома партии.

Да, да, это правильно, что сын пограничника, погибшего при обо-

роне Брестской крепости, через пятнадцать лет после гибели отца отстаивал социализм и свободу в Будапеште, и хорошо, что отстоял. Мой новый знакомый снял с полки свой портфель с потертыми углами, прикрыл голову летней шляпой из пластмассовой соломки, торопливо покинул наш международный вагон, но на платформе остановился и ждал, когда начнут контрольный обход уже годящиеся ему в сыновья однополчане и сослуживцы того безвестного героя сорок первого года. Появился наряд — розовощекие гиганты в фуражках с верхом цвета лесов и полей, а рудокоп все еще не трогался с места, пристально вглядывался в их исполненные достоинства лица своими глубоко затаенными, грустными глазами, словно надеялся узнать отца...

Брестская крепость

Сдав свои паспорта пограничникам, мы с женой выбежали на при вокзальную площадь в надежде поймать такси и успеть съездить в крепость.

Но на остановке — длиннющая очередь. Постояв в ее хвосте и прикинув, что к отправлению поезда, пожалуй, не успеем, я решил воспользоваться своим преимуществом — на стоянке ведь печатное объявление: участники войны по своим удостоверениям имеют право посадки вне очереди. Вот и отправились мы в голову очереди, приглядываясь, кажется, все помоложе меня, здесь никто не мог участвовать в войне... Я никогда не пользовался этой льготой — робел, что ли. Испытывая ужасную неловкость, я все-таки заставил себя произнести: «Позвольте, как ветерану...»

Очередь неодобрительно загудела. Какой-то здоровенный малый вроде бы добродушно предложил мне показать зеленую книжицу — удостоверение участника войны. Но я не взял ее в путешествие, не полагается брать. Дотошный малый хмыкнул себе под нос: может, товарищ на самом деле отправляется за границу и предъявит нам, как говорил Маяковский, «краснокожую паспортину». Я пролепетал, проклиная себя, что наши паспорта у пограничников. В очереди засмеялись. Какая-то женщина в теплом платке раздраженно произнесла, что вот наши отцы гибли на фронте, а теперь всякие (это был эпитет — существительное во множественном числе) выдают себя за ветеранов.

Самое досадное, что никто и не подумал меня защитить или хотя бы поверить, что я участник войны. Двое активничали, остальные помалкивали. Жена оттягивала меня за рукав куда-то в сторону: только не ввязывайся! Вдруг откуда-то сбоку возник неказистый человечек в куртке из искусственной кожи. Он покручивал на коротком пальце связку автомобильных ключей.

— В крепость могу подкинуть,— сказал он небрежно.

По московскому обычаю, я спросил:

— Сколько возьмешь?

— То есть как это — возьмешь? Ты ж говоришь, участник, ветеран, значит, нисколько. И не обижай, а то не повезу.

Люди, стоявшие в очереди на такси, опять зашумели, а тот парень, что хотел поглядеть мои документы, неожиданно сделал шаг назад, уступая нам место.

— Пожалуйста, товарищ, раз у вас право, машина подходит, занимайте.

Но мы все-таки последовали за курткой из искусственной кожи к стоящему в стороне древнему кургузому «Запорожцу» и отправились на нем в крепость. Ехали недолго, хозяин малолитражки оказался куда моложе, чем выглядел, и был явным автолихачом. Он на войну опоздал, годков не хватало, а теперь его грызет совесть: как это опоздал? И хочется что-то сделать, хоть теперь принять участие, вот он, когда нахлынут такие мысли, едет к вокзалу, высматривает ветерана, везет его в крепость и даже стал почти что экскурсоводом. Он очень огор-

чился, когда я попросил не показывать мне мемориал, хочу сам походить, хоть и не был здесь в сорок первом, но участвовал в освобождении Бреста, видел крепость, когда она музеем не была. Хороший этот человек проглотил обиду, а все-таки холодным тоном сказал, чтобы мы не беспокоились, он будет ждать на автостоянке и к отходу поезда мы не опоздаем.

Я уже начал казнить: не надо было отказываться, пусть он поводит бы нас по крепости, зря я его обидел, и ведь интересно, как он расскажет,— но поздно было перестраиваться. Мы прошли по музею, развернутому в частично сохранившемся и реставрированном здании. Экспозиция умно и с любовью составлена, и, конечно, она необходима и все большее значение приобретает с отдалением трагических событий (скоро полвека... невероятно... а все-таки скоро полвека!). Но будь на то моя власть, я бы сохранил Брестскую крепость в том страшном виде, в каком она предстала перед нашими усталыми и воспаленными глазами тогда, 28 июля 1944 года. Никогда не казался мне таким кровавым кирпич, никогда я не мог себе представить, что столько ранений возможно нанести каждому камню.

Я приобрел в газетном киоске отлично изданный, цветной, в лакированной суперобложке альбом, и он показался мне неуместно крикливым и пестрым. Внутреннее несогласие вызывает во мне словесное обрамление истории защиты Бреста — фразы о невиданных и неслыханных героях, о невероятном мужестве, львиной отваге и прочем.

Считал, считаю и буду считать всегда, что подвиг героев Брестской крепости тем и велик, что красноармейцы и командиры ее гарнизона и пограничники 17-го краснознаменного отряда вели себя нормально, в соответствии с уставом. Чувство самосохранения, извечное, непреодолимое, преобразовалось в чувство родиносохранения, лишь только прозвучал сигнал пионерского горна с крепостной стены. Из документов музея я узнал, что атаковала Брест и почти месяц безуспешно силилась низложить его 45-я пехотная дивизия вермахта, та самая, что первой входила в Варшаву и торжественно маршировала на Елисейских полях, именуя себя победительницей Парижа. Что ж, уместная подробность на пути в Париж, возьму ее с собой.

Между прочим, эта 45-я пехотная дивизия была разгромлена под Орлом, и как раз из трофейных документов впервые стало известно, как наши вели себя в Бресте. Стоя на священной земле крепости, ныне всемирно известной и всенародно почитаемой, я думал еще о том, как много сделано было моими товарищами-писателями для того, чтобы осветить начало Великой Отечественной войны и восстановить славу героев, сражавшихся до последнего в фортах и казематах при слиянии Буга и Мухавца.

Вряд ли мы, свидетели тех событий, успеем все разыскать и обо всем рассказать. Нас осталось так мало, и хватит ли у нас жизненного запаса? Будут ли искать и как овладеют и распорядятся найденными материалами люди новых поколений, войны на себе не испытавшие? Время безжалостным катком заравнивает дорогу в прошлое, а оно так необходимо нам для жизни сегодня и для будущего! Надо спешить, и не только нам, но и юным искателям. Я был как-то загнипнотизирован, отчужден от всего повседневного, даже от этого летнего утра и дороги, не говоря уж о расписании поездов.

Владелец «Запорожца» разыскал нас в третьем дворе крепости, тихо и спокойно предупредил, что, если через пять минут не поедет, рискуем опоздать к отправлению поезда... Впрочем, если товарищи хотят задержаться в Бресте на несколько дней, это можно, у него дом свой, не тесно, пожалуйста.

Есть у человека в жизни крылатый багаж — груз вновь увиденного и пережитого сегодня поедет со мной в Париж, я провезу его через Европу, и отныне он будет со мной всегда и всюду, необходимый,

единственно мой и в то же время наш, всеобщий, всем принадлежащий. На вокзальной площади мы обнялись с водителем и поспешили на западную платформу.

Выдворен из СССР

Опустевшее соседнее купе всегда вызывает у меня неопределенное, но, в общем-то, грустное чувство: только что оно было одухотворено присутствием человека и вот уже осиротело, проводник быстро навел порядок, и все стало чужим и холодным.

Однако купе номер два недолго пустовало. После того как его покинул сын героя (я уверен, что героя!) обороны Брестской крепости, брестские вагоны отцепили и отвели в одну сторону, а международные — два Москва — Париж, один Москва — Хук ван Холланд и один Москва — Остенде — поспешно оттянули в другую. Надо сменить то, что железнодорожники называют тележкой, а пассажиры — просто колесами. Железнодорожная колея на Западе на четырнадцать сантиметров уже нашей. Впрочем, когда мой 1-й Белорусский фронт перешел через границу, наши военные железнодорожники решили проблему по-иному — расставили рельсы, и эшелоны шли до самого Берлина по колее советской ширины.

Теперь западная колея начинается от Бреста. Вернее, от западной платформы брестского вокзала, куда поезд подают после смены тележек. И вот когда короткий состав из четырех международных вагонов, переставленных, так сказать, на среднеевропейские колеса, выстроился вдоль западной платформы, из зеркальных дверей таможенного зала вышла обратившая на себя внимание группа. Впереди шел рослый молодой человек, вызывающе небрежно облаченный в светло-лиловый, давно не стираный и не глаженный комбинезон с множеством накладных карманов различного формата, они и на груди, и на спине, и на руках, и на штанах выше и ниже колен. Обутый в кроссовки с условным цветком фирмы «Адидас», этот пассажир ступал мелкими и почему-то неуверенными шагами, явно стараясь идти не в ногу со своими спутниками. А спутников двое. Одним из них был стройный, подчеркнуто спокойный, но несколько напряженный пограничник первого года службы. Сужу по детской улыбке и первозданной розовощекости, которой рядовой явно стеснялся. Нашему юноше хотелось казаться суровым и непреклонным, и, в общем-то, ему это удавалось. Он сопровождал, именно сопровождал, нового пассажира. Более того, пассажир шел с пустыми руками, а пограничник катил его огромный, поставленный на колесики, не слишком набитый вещами, можно сказать, тощий чемодан. Пограничник брезгливо, зацепив одним пальцем, держал ручку чемодана и катил его, как если бы то был не шикарный кожаный кофр, а ассенизационная бочка. Третьей в этой группе шагала казавшаяся маленькой рядом с этими двумя миловидная девушка с прилежно уложенными золотистыми волосами в серо-стальном мундирчике таможенной службы. В пальцах она держала какую-то широкую, как ведомость или накладная, бумагу зеленоватого цвета.

Все трое вошли в вагон, нашли только что освобожденное рудопом купе, пограничник легко одним махом закинул огромный чемодан наверх, в нишу для багажа, и брезгливо стал вытирать ладонь о ладонь, как бы бесшумно аплодируя.

Таможенница, не глядя на пассажира, протянула ему свою зеленоватую ведомость и шариковый карандаш, но он стал рыться в несимметричных карманах комбинезона, нашел паркеровскую ручку и написался в нижнем правом углу листа, зацепившись пером за его шершавую поверхность, отчего рядом с подписью возникла клякса, похожая на огромную запятую.

Пограничник и таможенница, не прощаясь с пассажиром, которого довели до места, повернулись на каблучках и деловито покинули международный вагон. Проводник нашего вагона дядя Ленья, так же

как и я наблюдавший за этой молчаливой сценой, встретился со мной глазами, весело подмигнул и исполнил ладонью красноречивый жест, похожий на шлепок по чьей-то предполагаемой ягодице.

Уже когда вагон катился на запад по польской земле, дядя Леня шепнул мне, что этот тип в лиловой хламиде получил от ворот поворот: он вчера прибыл в Брест из-за рубежа с американским паспортом, при таможенном досмотре у него в чемодане было обнаружено огромное количество поганых листовок (как сказал дядя Леня, сектантских, но с фашистским уклоном). Незадачливый гость заявил в таможенной декларации, что у него двести долларов и пять советских рублей. Но многочисленные карманы его лилового комбинезона столь красноречиво оттопыривались, что ему было предложено познать таможенников с их содержимым. Подсчитали, советских денег двадцатипятирублевыми купюрами — семь тысяч, долларов — две с половиной тысячи. Доллары ему вернули, а советские деньги подлежали конфискации. Кроме денег в кармане пониже колена было несколько гармошкой сложенных чистых листов бумаги, а в кармане на плече — плоская пачка какого-то порошка. Без особого труда установили, что порошок, если его растворить в воде и опрыскать на непорочные листы бумаги, проявит столбики адресов...

Признаюсь, время от времени появляющиеся в газетах репортажи из таможни я читал с некоторым раздражением: опять одно и то же, теми же стандартными словами изложено — молодой наглец, изучающий в заморском университете русский язык, листовки, адреса каких-то таящихся среди нас подонков, бдительность наших пограничников и таможенников и выдворение из СССР как наиболее гуманная акция. Скучно и стандартно — на грани недостоверности. Но вот абсолютно реальный, на моих глазах развернувшийся эпизод. Действительно ничего нового, все до тошноты однообразно. Я слышал разговор лилового молодого человека с ехавшим в нашем вагоне до Берлина студентом Мамаду из Харькова, вернее, из города Фритауна, столицы Сьерра-Леоне, обучающимся в Харькове. Выдворенному из СССР, видимо, необходимо было высказаться, а может, и оправдаться, и он избрал чернокожего студента своим доверенным лицом.

Мамаду. Ты учишься в Советском Союзе?

Молодой человек. Нет, я стажируюсь в Бельгии и никогда не бывал в России.

Мамаду. А сейчас долго пробыл?

Молодой человек. Нет, совсем недолго...

Мамаду. Сколько же?

Молодой человек (*раздраженно*). Тебе какое дело? Вы, черные, ужасно любопытны. Ну ладно, можешь порадоваться — я провел в СССР лишь... Как это называется? (*Заглянул в словарик.*) В каталажке! День и ночь. В этой стране всех арестовывают, вот и меня арестовали.

Мамаду. За что?

Молодой человек. Ни за что... За то, что я американец. Я два с половиной года изучал русский язык. Я очень способный лингвист, ты ж слышишь, как я хорошо говорю.

Мамаду. Нет, не очень хорошо. У нас в Харькове за год и по-русски научился бы говорить свободно и по-украински немножко. Так за что же тебя арестовали?

Молодой человек. Я собирался совершенствоваться в русском языке. Мне помогли, дали денег, сколько я никогда не имел. Я должен был отработать, мне дали список борцов за свободу, чтоб я их посетил и приветствовал, передал листовки...

Мамаду (*заинтересовался*). Покажи листовки.

Молодой человек. Отобрали листовки.

Мамаду. А деньги?

Молодой человек. Советские деньги конфисковали, выдали

расписку. Кому она нужна? А доллары все при мне, не понимаю, почему не отобрали. Я предлагал барышне в сером мундире — конечно, она КГБ — хорошую пачку «баков», чтоб отстала, а она смеялась мне в лицо: «Успокойтесь, мистер, вы не в Америке, спрячьте свои доллары, вон сколько у вас карманов».

Мамаду. А ты верующий?

Молодой человек. Какого черта задаешь глупые вопросы? Мы с русскими молимся, кажется, разным богам.

Мамаду. Я-то мусульманин, но у них и мусульмане есть...

Молодой человек. Ты у них насквозь пропитался пропагандой!

Я проникся нежностью к харьковскому чернокожему студенту и почувствовал, что люто ненавижу выдворенного из моей страны проповедника. Будь я на месте пограничников и таможенников, будь на то моя воля, я бы раздел его догола, да и высек (именно высек! Вон сколько ивовых лоз разрослось у Мухавца, притока Буга, ими бы и сек!) и нагого пустил бы обратно к наглым хозяевам. А пограничник еще нес его чемодан, а таможенница, которой он сулил взятку, вежливо предложила расписаться в ведомости...

Молодой лингвист следовал в международном вагоне до самого Парижа, заговаривал с соседями и по-английски и на плохом русском языке, больше не обмолвился о том, что его вытурили из СССР, предлагал индейцу сыграть в карты, но тот, видимо проинформированный Мамаду, сказал, что не любит карточных игр.

Мне очень хочется спокойно и объективно, как пишут литературные критики, «исследовать феномен» поездки этого негодяя в Советский Союз с подрывной целью. Я порой в одиноких раздумьях упрекаю себя в упрямой пристрастности: потому ты и не великий писатель, что у тебя рефлексы часового на посту, и не реальная опасность, а лишь тень опасности мелькнет, ты уже грозно клацаешь затвором... Воспитание, ничего не поделаешь. Еще на грани детства и юности, когда я вступил в комсомол, был у нас секретарь ячейки Ваня Степанов, он учил меня определенности взглядов: есть только мы и они, мы — будущее, они — прошлое, мы — свет, они — тьма, мы — хорошие, они — плохие. Есть, правда, в их стране одно исключение — прекрасные киноартисты Мэри Пикфорд и Дуглас Фербенкс, чудесные, восхитительные. (Справка для новых поколений: это были действительно обаятельные и к тому же первые иностранные киноартисты, приезжавшие к нам, дело было в 1928 году, потом приезжали многие, а другие пытались с экранов обворовать нас, но успеха Мэри и Дугласа достичь поныне никому не удалось.)

Выдворенный, получивший от ворот поворот американец — яркий представитель тьмы. и все тут. И незачем заниматься психологией! Не забывай уроков секретаря ячейки!

И все же я ловил себя на том, что присматриваюсь к негодяю, спрашиваю себя, единственный ли вариант его жизни — эта подлая, хорошо, что сорвавшаяся, поездка в нашу страну.

А он между тем мотался по вагону, тшилсь возместить неудачу своего вояжа и неловкость ситуации пустой болтовней. Контакт не удался, возникала лишь неловкость.

Тогда он пристал к Мамаду из Фритауна, предложил ему играть в номера на денежных купюрах и вытащил из кармана свои доллары: моя — четная или нечетная, а твоя — сумма цифр. Но черный мальчик сказал, что это не африканская игра и, вообще, он любит пейзажем, не мешайте.

«Еще Польша не сгинела...»

А в квадратном окне международного вагона почему-то медленней, чем поезд, проходила Польша — пустынный рельеф, на грунтовой дорожке пароконная телега с автомобильными шинами на деревянных обо-

дах и потоками дегтя на ступицах, мальчик, пасущий гусей, крестьянские дома, обведенные заборами и обставленные амбарами и сараями, костелы на горизонте.

Помню, как на рассвете 17 сентября 1939 года за станцией Негорелое впервые увидел западные земли, подобные лоскутному одеялу. И вот теперь они опять такие.

Расплываются, не останавливая на себе внимания, отдельные подробности, а общее впечатление тяжелое, словно сегодня свидание со старым знакомым, которого давно не видел, а он болел и только-только начинает приходить в себя, пошел на поправку, а все ж на плечах больничный халат, и лицо озабоченное, и взгляд тревожный... А ты стараешься улыбнуться, чтобы его поддержать.

Уже несколько лет смутные времена Польской Народной Республики — личная моя боль и тревога: слишком много душевных сил побратски были поделены с Польшей и поляками. В поезде — редакции фронтовой газеты «Красная Армия», моей воинской части на Отечественной войне — был один вагон особого назначения. В вагоне жили и работали польские товарищи, они подготавливали и выпускали газету-листовку «Вольность» на польском языке. Тираж листовки увозили на аэродром, по ночам наши авиаторы, перелетев линию фронта и оккупированные области, сбрасывали «Вольность» над Польшей. Одно купе занимали немцы-антифашисты, вещавшие в рупора с переднего края.

В соседнем вагоне жили и работали товарищи, выпускавшие «Красную Армию» на узбекском языке, азербайджанцы (когда прибыло пополнение из Баку и Кировабада), дальше вагоны с линотипами, ротацией, складом бумаги, еще несколько купейных вагонов для личного состава. Вагон, в котором размещались поляки и немцы, именовался у нас международным, а второй, где жили узбеки и азербайджанцы, носил внештатное наименование — восток-запад.

Надо сказать, что наш передвижной интернационал связан был верной и откровенной дружбой. Мы знали, как трудно немцам-антифашистам, несладко было и полякам из распушенной незадолго до войны партии ППС-левица... Сложные и драматичные беседы проходили у нас в редкие часы, когда нас отпускала газетная поденка.

Товарищи из «Вольности» знакомили меня со своими проблемами и горестями. Ко всему прочему они тяжело переживали уход за границу (через Иран) сформированной и вооруженной в трудную пору на советской территории польской армии генерала Андерса. Они воспрянули духом, когда родилась первая польская дивизия имени Костюшко, которую генерал Зигмунд Берлинг повел на бой с фашизмом.

Несомненно, и «Вольность», рождавшаяся в том международном вагоне, сыграла немалую роль в сплочении поляков, в развертывании партизанского движения. Первая дивизия, а вскоре и первая польская армия входили в состав нашего фронта, у них была своя газета, но и в газете фронтовой мы писали о боевых успехах друзей, сотрудничали и дружили с польскими писателями, надевшими погоны офицеров и жолнегов.

На территорию Польши мы вступили вместе. Я пересекал песчаный брод на Буге в одном вездеходе с польским поручиком, вместе прощались с советской землей, оба припали на том берегу к первому клочку освобождаемой польской земли.

Бывают в жизни моменты, когда необходимо дать волю чувствам, общим или глубоко личным, но сближающим и объединяющим. Не годятся для выражения волнения уже ни молчание, ни крик, единственное, что может помочь, — песня. Поляки запели, и поручик и жолнежи прижались друг к другу плечами, словно старались слиться воедино: «Еще Польша не сгинела, пока мы жиём».

Я раньше слышал эту песню от товарищей по редакции газеты «Вольность» — они дружно пели ее, она была для них как молитва. Так что теперь я даже смог подпеть, поддержать хотя бы мотив. Я и не

предполагал, что на следующий день песня вновь вторгнется в мою жизнь и я окажусь свидетелем ее нового утверждения, если можно так выразиться. Эту историю надо рассказать. Пусть стучат колеса поезда, спешащего в Париж, а я вспомню лето сорок четвертого года, встречу с Польшей, первый город на нашем пути по Европе к Берлину — Хелм.

Моего старого знакомого генерала Николая Труфанова назначили комендантом первого освобожденного польского города. (У него был опыт, он был и комендантом освобожденного Харькова.) Генерал, тогда еще совсем молодой, восседал в резном кресле в парадном зале городской управы, и солнечные лучи, проникая через разноцветные стеклышки витража, бликовали на его лице.

У советского коменданта собрались представители политических партий и ксендзы, обсуждались вопросы, связанные с возрождением города, снабжением... Польские представители были возбуждены, их улыбки казались не просто торжественными, но и величавыми, и, наверное, такими они и были.

Старый ксендз сказал Николаю Ивановичу, что фашистами была запрещена великая польская песня и он просит теперь эту песню разрешить. Труфанов был изумлен. Все фашистские приказы отменены победой советских и польских войск, какое еще нужно разрешение. Но ксендз заявил, что речь идет о самой главной песне и необходим торжественный акт возвращения песни народу. Труфанов ответил, что здесь в городе есть поэт, пусть он послушает песню, и послал за мной в политотдел адъютанта. Пришел еще генерал из 1-й Польской армии, сражавшийся в интербригаде в Испании и вступивший теперь на свою многострадальную землю.

Представители партий и ксендзы запели: «Еще Польша не сгинела...»

Мы вскочили с деревянных скамей. И польский генерал и я подпевали, он — громко, красиво, а я как мог. Представители партий развернули перед нами свиток вошеной бумаги (может, это был пергамент?), на котором старинным шрифтом была начертана песня. Нас попросили расписаться в верхнем углу свитка. «Зачем? Почему?» — «Так надо, просим вас, товарищи...» Мы вняли этой странной просьбе, тогда еще не понимая, что становимся свидетелями исторической минуты. Потом, когда увлекался историей песен, я узнал, что «Марш Домбровского» почти ровесник и соратник «Марсельезы». Написан Юзефом Выбицким как «Мазурка Домбровского» (первое название) в 1797 году. Адам Мицкевич писал о песне, что это великая и таинственная национальная сила, которая исходит из какого-то источника и вдохновляет всех граждан, даже помимо их воли. В огненные дни того лета песня была утверждена национальным гимном народной Польши, с 1976 года о ней есть параграф в конституции страны. В поместье Бендомин учрежден Музей национального гимна.

...Через несколько минут песню запели на площади. Я вышел из управы и на ступенях здания столкнулся с полковником Вандой Василевской. Она была в мундире Войска Польского и конфедератке, по ее строгому лицу неудержимо текли слезы: «Шесть лет песня была под арестом! Ты понимаешь? Еще Польша не сгинела...»

А потом начались тяжелые бои за предместья Варшавы, и мы с Романом Карменом базировались на даче, называвшейся «Вилла Виола», и выезжали на нашем «виллисе» на берег Вислы, смотрели на дымящуюся столицу. Наблюдательный пункт был в камышах, я там за ночь простудился, затемпературил. Кармен отвез меня в тыл, в город Бела Подляска (вот он только что промелькнул) и определил на квартиру в семью булочника, помню его фамилию — Пьенкса (наш товарищ писатель Лев Славин эту фамилию дал одному из героев своего изящнейшего рассказа). Оказалось, что я подхватил воспаление легких, болезнь проходила тяжело, и вся семья Пьенксы меня выхаживала, а все товарищи приезжали меня навещать и угощались неслыханными булоч-

ками. Была у булочника дочка, красивая и беззаботная. Помню имя — Халинка. Она любила петь, голосок у нее был хороший, во всяком случае, нам так казалось. Одна песенка просто обворожила меня: оборвалось чье-то сердце, полетело за войском, а солдат подобрал это сердце на дороге, спрятал в походный ранец и понес с собой, и ничего ему уже не было страшно, потому что в ранце он нес второе сердце.

Я перевел песенку, когда приезжали Симонов, Горбатов, Кармен, Славин, мы ее хором, но тихо пели, а Халинка пела по-польски под милыми, но бдительными взглядами своих родителей.

Конечно, в Бела Подляске был и советский лазарет и вообще наши корпусные тылы, но я отпросился у замполита, и меня опекала и окружала теплом и дружелюбием семья Пьенксы. Я навсегда сохранил об этом память, возвращаясь после победы из Берлина, очень хотел заехать в знакомый дом в Бела Подляске, но, уж не помню почему, не получалось, проехал мимо, а в послевоенные годы, дважды навещая Польскую Народную Республику, просил принимающую сторону включить в маршрут поездки по стране Бела Подляску, но план пребывания был уже составлен, опять не удалось.

А все же весточку я получил. Была в Москве польская писательская делегация, и один новый знакомый — поэт, рассказал, что бывает в Бела Подляске у родственников, а рядом с их домиком, совсем рядом живут старики Пьенкса с престарелой дочерью (уж не та ли Халинка, что пела про сердце, которое солдат взял с собой в походный ранец и пошел сквозь дождь и ветер?). Так вот, они, семейство Пьенкса, помнят пана Бориса Горбатова, который, приезжая из предместий Варшавы, очень опасно чистил пистолет, а потом раскладывал пасьянсы и сам с собой разговаривал; пана Льва Славина; пана Константина Симонова, неизвестно, когда спавшего, он ночами что-то писал и писал; пана Романа Кармена, который в лушко (постель) клал с собой кинокамеру; и пана Евгениуша, у которого было крупное воспаление легких. Все офицеры вели себя пристойно, любили слушать, как поет Халинка и делились своим пайком. Однажды даже привезли муку, из которой были испечены первые булочки после оккупации.

Памятна мне Польша..

В летнем Люблине 1944 года мы с Борисом Горбатовым и Константином Симоновым прослышали о лагере смерти Майданеке, помчались на отсеченную рвами и колючей проволокой окраину города, и именно нам пришлось увидеть первыми апофеоз фашизма и торопливо написать в свои газеты о том лагере, а чуть позже побывали мы еще и в Треблинке и в Освенциме. До сих пор мне является в ночных кошмарах тысяча маленьких близнецов (пятьсот пар), бегущих, взявшись за руки, навстречу освободителям. Близнецы были жертвами преступных медицинских опытов, имевших целью ценой жизни этих малышей раскрыть тайну природы — почему бывает двое одинаковых.

...Обтекаемые ветром международные вагоны несутся по печальным полям Польши.

Находя ритм в перестуке колес на стыках, я повторяю: польский вопрос, польский вопрос.

Всю жизнь, сколько я себя помню, всегда говорилось о польском вопросе.

Освобожденная Октябрьской революцией Польша не оказалась свободной: ее втянули в борьбу с Советской Россией. И правильно написал Алексей Сурков в когда-то знаменитой песне: «Помнят польские паны конармейские наши клинки».

А потом ее тшились сделать своей полуколонией и придатком западных стран, вели опасную игру и доигрались до того, что Гитлер растоптал Польшу за несколько дней.

Опасные игры продолжались и тогда, когда, освободив родину, не останавливаясь и не жалея своих жизней, мы пошли освобождать Польшу. Уинстон Черчилль выискивал способы затолкнуть страну, Ко-

стюшки, Мицкевича и Шопена в карман своего мундира, а когда мы лежали в зябких камышах на правом берегу Вислы, лондонцами было спровоцировано безнадежное варшавское восстание. Генерал Бур-Комаровский отдал героев на растерзание гитлеровцам, а вину за провал неподготовленного восстания он и лондонское правительство постарались взвалить на Советский Союз.

Они старались удержать Польшу в ярме, так старались, что дали фашистам всю страну обмотать колючей проволокой. На красно-белом знамени страны им мечталось сохранить только белую полосу.

И теперь, как тогда, западные соблазнительницы воспользовались обостренным национальным достоинством поляков, чтобы преобразовать его в оголтелый национализм, от которого, как история свидетельствует, нельзя ждать ничего хорошего.

В своих попытках прикарманить Польшу и восстановить поляков против своих истинных освободителей не унимались растерявшая колонию Великобритания и мечтающая о колониях благотельница Америка. Польский вопрос...

«Заинтересованным лицам» не удалось захватить Польскую Народную Республику, но в ее новом разорении они все-таки преуспели. Теперь нам помогать ей стать на ноги, обрести себя. И помогаем и поможем. Пригород Рембертув. Слева на углу «Вилла Виола». Вот она, на своем месте.

Нет ни Симонова, ни Горбатова, ни Славина, ни Кармена. Еду я один через Польшу в международном вагоне. «Поки мы жиими» относится к полякам, а из нашей компании — ко мне одному.

Надо спешить рассказать, что видел, как мы жили...

Варшава — подземный вокзал, что-то вроде метро...

Три континента

Три пассажира — три континента; они едут вторым классом в одном купе. Представитель Черной Африки, почти всю дорогу проводит в коридоре, стесняясь, робея и опасаясь потревожить своих соседей. Он из Народной Республики Конго, или из Конго-Бразза, как называли его страну, когда на противоположном берегу одной из самых величайших рек планеты находилось Бельгийское Конго, ныне именуемое Заиром.

Конголезец учится в Москве на геолога, в Париже собирается встретиться с братом, они вместе отправятся в Браззавиль.

Его соседи по купе — американец и японка, которым он старается не мешать, — жених и невеста, или что-то в этом роде, им принадлежат первый и второй этаж, а ему третий — полка под самым потолком вагона.

Собственно говоря, вторая полка все время пустует, можно было обойтись без третьей: эти влюбленные пользуются только нижним диваном, то он прикинется к ее плечу, то она свернется у него на коленях. Они улыбаются друг другу, но безмолвно. По-видимому, особой нужды в разговоре нет, к тому же, как мне объяснил парень из Браззавиля, японка слабо знает английский, а американец, что называется, ни бумбум по-японски.

Парень из Браззавиля худенький, низкорослый и в свои девятнадцать лет похож на мальчика. Он первым делом представился мне и, не ожидая вопросов, рассказал, что принадлежит к племени маленьких людей, не пигмеев, но все-таки маленьких, но в Конго есть и племя, в котором каждый — метр восемьдесят, не меньше. Он очень правильно говорит по-русски, медленно и прилежно составляет каждую фразу, сперва составит, нашепчет про себя, потом произнесет. Он в трикотажной рубашке с короткими рукавами, с портретами Патриса Лумумбы на груди и на спине, в укороченных штанах и разношенных кроссовках.

С мальчиком из Браззавиля мы поговорили об африканской засухе (она не коснулась его лесов, но терзает его душу), о взаимоотношениях племен в африканских независимых странах. Я рассказал ему о встречах с Агостиньо Нето (Конго-Бразза граничит с Анголой), но он, кажется, не очень поверил этому.

Поскольку он все время проводил в коридоре вагона, а мне не сиделось в купе, я в несколько приемов узнал о его соседях. Невероятная история, обычная в наши времена.

Американец медик, специалист по болезням крови, отправился в Японию изучать последствия атомного взрыва во втором, третьем и четвертом поколениях жертв Хиросимы и Нагасаки. (В Хиросиме работает научно-исследовательский институт, учрежденный сочувствующими американцами.) Американский врач среди обследованных им больных или кандидатов в больные очень скоро нашел эту самую японку, возникла любовь, а может быть, какое-то другое, только в атомном веке появившееся чувство, и вот они жених и невеста, и он везет ее в Штаты, в штат Висконсин — представить своим родителям, а затем жениться. Врач несколько раз и только в случаях крайней необходимости покидал купе, и я имел возможность оглядеть его. У него очень не типичная для американца, похожая на стог сена шевелюра, седоватая, хотя лет ему не более сорока. Мелкие черты лица подчеркивают очки, стекла узенькие, в виде двух горизонтально лежащих полумесяцев. Ресницы беледые или тоже седые, а глаза беспокойные, растерянные, что ли. Еще бы! Что привело к сегодняшней ситуации — неожиданный порыв? Чувство вины за события, происходившие до его рождения? Или ощущение вины за новые действия его страны, которых он уже был современником и свидетелем? Или просто любовь? Или непостижимая для американца нежность японки? Не смейтесь, я расскажу о себе.

Будучи в Японии, я был приглашен одним писателем в ресторан, где каждому участнику ужина подсадили гейшу. Наше наивное, пошловатое и невежественное представление о гейшах не имеет ничего общего с действительностью. Гейшу нанимают для создания сказки о счастье. Она улыбается вам, тихонько музицирует, говорит что-то ласковое. Я был в положении американского ученого — не понимал ни слова, а беседовать с гейшей через переводчика, согласиться, как-то неловко. Гейша вела прелестную пантомиму, что-то напевала, улыбалась, гладила мою руку, между прочим поглядывая на часы. Ровно через два часа спектакль, оплаченный наперед нашими гостеприимными хозяевами, закончился, рабочее время гейши истекло, а профсоюз на страже интересов трудящихся. Гейша, однако, покидала свой пост с обворожительными улыбками, чтобы завершить, но не нарушить сказку.

Может быть, японка из Хиросимы владеет секретом сдержанной нежности, в которой мы, мужчины, и советские, и американские, и все прочие, безнадежно нуждаемся; а может быть, действительно полюбила доктора или просто благодарна ему за стремление спасти человечество от атомной радиации.

Несчастные мои соседи по вагону, милые жених и невеста с двух континентов, да, с радиацией надо бороться, но еще необходимей требовать запрещения проклятой бомбы, столь деловито и бессмысленно сброшенной на Хиросиму четыре десятилетия назад. Вряд ли ваша свадьба, если она состоится в штате Висконсин, поможет очищению атмосферы, а впрочем, нужны разные действия, и любовь — действие, поступок...

Жених и невеста одеты подчеркнуто просто и небрежно: он — в розовой кофте и разлохмаченных внизу тоже розовых штанах, она — в голубой майке и узких штанишках до колен, оба в туфлях, состоящих из каучуковой подошвы и кожаного колечка для большого пальца (у нас такие именуются вьетнамками).

Забавные зигзаги моды: полутона, вообще, — ее последний крик, для мужчин предпочтительно розовое, а для женщин голубое. Легкие одежды лета — как приданое для новорожденных, хотя мир никак нельзя признать младенцем, но и стариком полагать не хочется.

Мы с юношей из Браззавиля стоим в коридоре у окна, но нет-нет, да заглянем в несколько откатившуюся дверь купе.

Японка робко смотрит на робкого американца. Она появилась на свет после атомного взрыва, зловеще открывшего новую эпоху в жизни (а может быть, смерти) нашей планеты. Как осталась жива беременная мать нашей соседки по международному вагону и надолго ли спаслась? Вылечит ли американский врач свою невесту или только отсрочит приговор, вынесенный ей американским президентом 6 августа 1945 года?

Какая роль предназначалась чудовищному извержению смерти? Я не специалист в вопросах стратегии, но и мне ясно, что это была операция, направленная не только против милитаристской Японии, но и против моей страны. Строжайшая военная тайна — дата объявления Советским Союзом войны с Японией — была, конечно, известна американскому президенту и командованию на Тихом океане: СССР вступит в сражение на Востоке в ночь с 8 на 9 августа. Американскому командованию было известно, какими силами располагает наша Красная Армия: уже переброшены с запада и готовы сокрушить милитаристскую Японию три фронта и Тихоокеанский флот. Нашим неблагодарным союзникам было ясно, что советское наступление быстро сокрушит дальневосточную империю. По их представлению, наше участие в приближающейся победе подорвет превосходство Америки на Тихом океане. Значит, надо скорее сбросить атомную бомбу, взрывом выбить Японию из войны и обеспечить свое превосходство.

Атомная бомба была сброшена на Хиросиму за два дня до вступления СССР в войну. Разрушения были ужасными, человечество было потрясено, но американские надежды на немедленную капитуляцию Японии перед Америкой все-таки не сбылись. Вторая атомная бомба была сброшена на беззащитный город Нагасаки в тот день, когда наши войска уже двинулись в могучее наступление по всему фронту, — этим и последующими ударами, а не двумя атомными бомбами, была за три недели повержена милитаристская Япония.

Конечно, история японки и американца дразнит не только мое любопытство, но задевает всех пассажиров международного вагона. Глазая на чужую любовь, люди подчас оказываются неспособными разобраться в своих делах и чувствах и, уж во всяком случае, поглядеть на себя со стороны. Стараясь завладеть вниманием вышедших в коридор соседей, лепится к нам и лезет со своим мнением подонок, выдворенный из СССР:

— Не понимаю, что он в ней такого нашел? Ну, уложил японочку в постель, пусть она останется благодарной. Не американское это дело — жениться на большой японке...

Студент из Браззавиля явно огорчен: зачем он рассказывал в коридоре о своих соседях по купе? Соседи помалкивают, стараются отодвинуться от болтуна, не вступая в дискуссию. Однако неудачливый контрабандист хитрее и по-своему образованней, чем мне показалось, когда я присматривался к нему после Бреста. Я думал, он лопух, плейбой, облапошенный спецслужбой. Ан нет!

Он рассуждает о Хиросиме:

— Русские стараются перед всем миром представить американцев варварами. Но ведь надо было испытать атомную бомбу в деле на людях: оружие без испытаний — пустая техника. Раньше русские писали, что мы уложили в Хиросиме сто две тысячи жителей, а в Нагасаки — семьдесят пять тысяч. А теперь пишут, что жертв полмиллиона.

Юноша из Браззавиля молча смотрит на американца своими чистыми, лучистыми глазами. Что у него сейчас на душе?

Надо мне ввязаться, одернуть подлеца, но не хочу к нему приближаться. Вспомню, полмиллиона — это данные японские, они опубликованы в Токио еще тридцать лет назад и были тогда, в 1953 году, точны. А после цифра росла и продолжает расти: атомная смерть не толь-

ко мгновенна, она действует и постепенно распространяется и на последующие поколения

Нет, я не смею молчать! Сейчас подойду к этому дешевому типу, доведу до его сведения все, что думаю о нем. И по проблеме выскажусь, чтоб не давать спуску.

Но наглец словно предугадал мои намерения, воровато нырнул в купе и залег на верхнюю полку, притворяясь, что задремал.

Наконец-то мы вместе

Это не из песни строчка, а из моей жизни, из суматошного быта нашей семьи. В замкнутом и узком пространстве купе мы, как карандаши в пенале школьника. В этом положении, кажется, можно хоть ненадолго вернуться к детской наивности.

Нам редко удается быть вместе, вдвоем, да еще так близко друг к другу. Не смейтесь! Речь идет о сегодняшней семье — о двух взрослых людях, выбравшихся в путешествие из-под тяжелой груды своих и чужих дел, оторвавшихся от бессонной работы, наэлектризованных тревогами. (Если у вас есть дети и внуки, можно без разъяснений.)

Обуреваемые жаждой не отстать от космических скоростей века, мы просто не успеваем поглядеть друг на друга, тихо поговорить, обсудить все, что происходит с нами и вокруг нас. Мы в долгу перед собой, а кажется нам, будто перед кем-то еще, и, наверное, не зря кажется.

В Москве нам всегда не хватает дня, бывает, что не успеваем увидеться, либо заметить друг друга. Ложимся за полночь, засыпаем, когда книга выпадает из рук. Встаем чуть свет, врываемся в круговерть еще не наступившего дня... Любим красные дни календаря: можно выключить телефон, обложиться своими бумажками, писать, молчать. Вырвались, оторвались от своих будней и предназначенных для счастливой работы праздников. Отключаемся. Принадлежим путешествию!

Путешествие — желанный порог близости. Мы и познакомились-то в дороге, в путешествии, точнее в плавании на «корабле мира», двигавшемся под свинцовому морю, под свинцовыми тучами к самой северной точке Европы — мысу Нордкап.

«Вы тоже из Москвы? И живем-то, оказывается, на одной улице! И никогда не встречались!» — «Будучи пионеркой, я пела у костра песню, кажется, вашу — «Любимый город может спать спокойно». Это было перед самой войной».

Путешествие легко сближает людей, но редко узел выдерживает испытание на прочность. Так что мы — почти исключение. Мы поздно друг друга нашли — у каждого свои взрослые дети, хорошо, что внуки общие, и если б только они понимали, какие светлые надежды им посвящены.

На этом этапе они приносят не только тревоги, но и радуют душу. Мы не успели проинформировать друг друга относительно последних высказываний пятилетней внучки, так что сейчас самое время поведать! Будучи постоянной поклонницей телевизионных передач «Камера смотрит в мир», «Международная панорама», «Спокойной ночи, малыши» и «Служу Советскому Союзу», она, оказывается, спрашивала бабушку: «А у президента Америки есть папа и мама?» Этой информацией мы не располагали, и она продолжала изрекать: «Неужели папа и мама президента не говорят ему, что надо бороться за мир?»

Да, необходимо отнестись к нынешнему путешествию с полной серьезностью, все видеть, все запоминать — внучка потребует подробнейшего отчета.

Дети на работе, внуки распределены по яслям и детсадам, а старики вырвались в замечательное путешествие, возможность которого открыта хельсинкскими договоренностями 1975 года.

Мы растянулись на своих диванах, полнейший покой, отдых, как это на Западе называется, кейф. А разговор идет все о тех же проблемах, волнующих внучку.

— Неужели они посмеют напасть на Никарагуа?

— Будут ли у нас осуществлять проект поворота сибирских рек, или мы оставим природу в покое?

Местоимение «мы» относится не к нам двоим непосредственно. Вошло в привычку, впиталось в душу полагать все, происходящее у нас в стране, нашей судьбой, включать себя в великие и малые события и дела, как будто мы лично отвечаем и за успехи и за провалы...

Я уже признался, что мы поздно нашли друг друга. Путешествия возмещают нам молодость, проведенную врозь, друг от друга вдали. Новые впечатления компенсируют отсутствие общих воспоминаний. Путешествия заменяют нам друзей. Дело в том, что на данном отрезке жизни новые друзья приобретаются трудно.

А старые... Положа руку на сердце, правда бракованное (был уже и инфаркт), могу признаться, что их совсем мало осталось. По моим друзьям с юности велся прицельный огонь из разных точек и из многих видов оружия. Поначалу — из кулацких обрезов, про которые в литературной среде нынче и говорить-то не принято («Да бросьте, вам с детства мерещится классовая борьба, а были одни перегибы!»).

Но кулаки все-таки целились в меня, а в будущего моего тестя стреляли. Правильный он был человек: директор совхоза, если он выпивал на ферме кружку молока, немедленно шел в контору заплатить за молоко по квитанции.

Было среди моих друзей и немало бедолаг, безвинно пострадавших. Они теперь обелены, но про беды умалчивается. Зато всякая сволочь — беглая и изгнанная — лезет с новой клеветой. Напрасно мы отмалчиваемся. Правда нас не унижит, какой бы суровой ни была. Жена принадлежит к другому поколению, но и на его долю выпало многое. Она тоже помнит войну. Она строго отбирает друзей, это позволяет мне даже немного зазнаваться, правда тайно. Я не всегда включаю ее в ее дела и заботы, а она, кроме своих, принимает близко к сердцу все мои дела и заботы. Спрашивает:

— Что, если ты в Париже, скажем, на улице встретишь того отщепенца, с которым был в окопах Сталинграда. Перейдешь на другую сторону улицы? Отведешь глаза?

— Мне нечего бояться! Пусть он прячется от меня. А столкнемся — скажу все что думаю. Как всегда.

Но у меня друзья в Париже есть. Правда, мало их осталось, но если верно, что поэты не умирают, то еду к Арагону, Элюару, Превьеру. С каждым из них я имел счастье встречаться, говорить, и разговор наш продолжается. Переписываю парижские телефоны друзей. Столбик невелик, но как дорого, что могу позвонить Эжену Гийевику, мудрому и веселому старшему товарищу. С ним встречались на поэтических фестивалях, съездах и симпозиумах в Греции, Марокко, Югославии. Чудесный старик с легким крылатым характером, упрямец, мечтатель. Для меня он — образ и модель парижанина, однако, когда он приезжал в СССР и мы ездили вместе по стране, его нередко принимали за москвича, что его очень радовало.

Жена составляет план посещения музеев. Согласно прихваченному нам с собой справочнику их в Париже семьдесят. Да, тяжелое испытание мне предстоит!

Снова о пассажирах четвертого купе

В нашем международном вагоне жених и невеста — американец и японка — да еще и индеец из Арекипы, собирающийся к жене в Хельсинки. Не многовато ли смешанных браков и не слишком ли это подробный и вышедший за пределы Европы комментарий к пункту хельсинкских договоренностей о воссоединении семей? А может быть, после того, как космонавты убедились сами и убедили жителей планеты, насколько она мала, люди разных континентов и стран стали ближе друг к другу, ощутили себя единой семьей?

Мы с женой принялись рассуждать на эту обнадеживающую тему, однако социологического открытия не произошло. Теория наша разбилась о факты, стоило только вспомнить, как обстояло дело раньше.

«Император французов» — диктатор Наполеон Бонапарт в поисках пути к захвату России сватался к сестре русского царя, но получил от ворот поворот, женившись на австрийской принцессе Марии-Луизе, как теперь бы сказали, прибрал к рукам последнюю крупную империю в Европе и начал открытую подготовку к походу на Восток. Быть может, оскорбленное жениховское достоинство он лечил, размещая конюшни в кремлевских соборах.

Браки между царствующими дворами были не просто традицией, но и строгой обязанностью: Наполеон вынужден был развестись с Жозефиной Богарне, взойдя на престол. Эти древние порядки дожили до наших времен. Я помню нашуевшую историю Эдуарда VIII, не имея к нам никакого касательства, она, однако, сильно взволновала мою комсомольскую ячейку в 1936 году: женившись на американке, лишился короны.

Никогда мы с женой не заводили подобной дискуссии. Только в путешествии возникают диковинные экскурсии в области, столь далекие от повседневных дел и забот.

Попробуем развить теорию дальше.

То, что было характерно для феодализма, получило новое развитие в современности. Простые люди из разных стран ищут способ соединиться... Будущее покажет... Стоп!

Не рано ли прогнозировать? Есть ли возможность говорить о новом явлении? Куда отнести Бальзака с Ганской, Тургенева и Полину Виардо?

Жена вспоминала (материал для субботнего номера вечерней газеты!), что многие художники двадцатого века: Пабло Пикассо, Фернан Леже, Анри Матисс и — вот уж не предполагал — Сальвадор Дали — были женаты на русских женщинах.

Так что хельсинкские договоренности здесь ни при чем. Социологическое открытие не состоялось. Зато установили мы довольно быстро (километров сто пути это заняло) занятую подробность в жизни искусства двадцатого века: наиболее крупные художники Европы вдохновлялись русской красотой. И это не открытие в искусствоведении, а все-таки приятно.

Японка и американец молча смотрят друг на друга.

Деликатный юноша из Конго, переминаясь с ноги на ногу, скучает в коридоре.

Эдик и Виктория

Семья. Преждевременно, а может быть, и своевременно состарившийся молодой человек с женой и сыном. Возвращаются из отпуска к месту его службы. Несмотря на достаточно теплый летний день, глава семьи в шерстяном жилете, из-под которого крахмально топорщится рубашка с замысловатым галстуком, обращают на себя внимание тяжелые позолоченные запонки на манжетах.

Он уже нескольким соседям по вагону и проводникам объяснил, что жилет натянул по необходимости. Видите ли, в Москве он в одной особой компании, в которую не так-то просто попасть, побывал в финской бане, пространщик принес замороженное баночное пиво, и вот в результате сухого пара и ледяного баночного пива он сильно простудился, у него появились хрипы в легких, и мама настаивала, чтобы он задержался: ну, погуляешь лишнюю неделю, бюллетень мы выправим, наша лечащая врачиха не откажет, придется подарить ей коробку конфет. Однако было уже поздно возвращать билеты — огромный начет, куда смотрит министр путей сообщения товарищ такой-то, лучше бы позаботился, чтобы поезда не опаздывали! Достали редкий антибиотик, швейцарский кажется, полегчало, но все же здоровья нет...

До меня все время долетали его рассказы об особой компании, баночном пиве, швейцарском антибиотике, я злился и удивлялся тому, что никто не послал его к черту, все снисходительно слушают его пустую болтовню. Притягательная сила чепухи трудно объяснима. А потом он подкатился ко мне, предложил сигарету «Мальборо» — и не подумайте, не кишиневской табачной фабрики, а еще из парижских запасов, выстрелил себе в рот щелчком по твердой пачке, закурил и стал рассказывать, как ему вреден дым, поскольку он побывал в Москве в особой компании в финской бане и неосторожно хлебнул баночного пива.

И я тоже не послал его к черту и, ощущая, что молча и с глупой улыбкой слушаю дурацкий треп, стал про себя ругать уже не его, а собственную ложную вежливость и не свойственную мне робость. Более того, я продолжал стоять в тамбуре и в той же необязательной манере разговаривать с ним.

Ему лет тридцать с небольшим (я вычислил, когда он сообщал какие-то неинтересные сведения о себе), и непонятно, откуда взялись морщины около ушей и над бровями. На его шее обращало на себя внимание адамово яблочко, огромный кадык, похожий на сгиб локтя. Но и этот ничемный собеседник после нескольких сигарет вычислил меня и с дорожной бесцеремонностью сообщил, что узнал сразу. Я хотел сделать вид, что это и вообще все, что он несет, меня абсолютно не интересует, но, кажется, мне не удалось скрыть тщеславного удовлетворения, а он, полагая, что польстит, добавил:

— Не обессудьте, век телевидения. Вы — композитор.

Он так картинно, как на дипломатическом приеме, проявлял интерес к моей персоне, что я попался на крючок, покорно продолжал заглатывать наживку и все дальше увязал в болоте болтовни. А он докурив до половины сигарету, загнул ее и бросил на пол, спросил на западный манер:

— Что-нибудь выпить?

Тут бы мне и отказаться и вернуться в свое купе, но я, чтобы не ударить в грязь лицом, с важным видом небрежно произнес:

— Не прочь пригубить мартини с лимоном и, разумеется, со льдом.

Я дал знать мальчишке, что не меньше его понимаю в напитках и ставлю его в положение вне игры: где он найдет мартини с лимоном?

Однако, мелко хихикнув, он подвел меня к полуоткрытым дверям своего купе и небрежно произнес:

— Виктория, плесни нам красного мартини, не забудь лимон. Лед в контейнере, надеюсь, не успел растаять!

Мне пришлось выпить из пластмассового стаканчика мартини, которого я, признаться, терпеть не могу. Они настойчиво и приветливо затянули меня в свое купе.

Виктория — полнеющая женщина, чуть постарше мужа, в туго натянутом трикотажном платье из черных и желтых треугольников. Ее холеное лицо выражало и превосходство над окружающими, и одновременно некую плохо скрываемую, но очевидную обиженность.

Муж оказался не совсем дипломатом — работником нашего торгпредства, даже не совсем и торгпредства, а какой-то смешанной фирмы (что это за смешанная капиталистическо-социалистическая фирма, наверное, никогда не пойму, да мне и нет нужды понимать). Однако стороннее его положение не мешало ему все время повторять «наша посольская колония», а жену послал он с ироничной улыбкой называл «мать-игуменья», что, кажется, не нравится Виктории, намекнувшей на то, что ее отношения с первой дамой посольства хороши.

Супруги, по-моему, были довольны тем, что я отказался от второго стаканчика мартини, и стали допытываться, знаком ли я с эстрадной певицей Аллой Пугачевой. Я ответил утвердительно, и, кажется, курс моих акций несколько повысился. Однако, когда я не сумел ответить, кто муж певицы, акции вновь упали. Супруги разговаривали преимущественно между собой, а мое присутствие было предназначено ис-

ключительно для того, чтобы выслушивать их треп и проникаться пониманием, какие они значительные люди.

Потом они стали сетовать на инфляцию франка и на дороговизну и зачем-то старались убедить меня, что чуть не бедствуют в безжалостном Париже и половину их сегодняшнего багажа составляют манная, гречневая и перловая крупы, а также шпроты, и хорошо, что некий Семен Семенович достал для них несколько банок югославской ветчины, предназначенной вообще для антарктической экспедиции, так что в Париже можно будет продержаться до полочки.

Несчастный простак, я начал выдавать советы:

— А вы позычите у друзей, разве мало у вас друзей в Париже. Возьмите в долг тысячу франков, и все дела.

Но оказалось, что это не все дела, Виктория провела разъяснительную работу. Я кожей чувствовал, как она меня презирает, и, сам не знаю почему, терпел. Она втолковала мне, что люди нашего круга (их, не моего), находясь подолгу за рубежом, умеют ценить твердую конвертируемую валюту. Не принято просить в долг и не принято давать в долг.

Я сделал ей знак глазами: давайте закроем тему, ребенок слушает, не надо ему такого слушать.

Но Виктория не унималась:

— Денису полезно (модное имя они дали своему мальчику, забыты все Октябрины, Вилены, Майи, пришло время Денисов и Никит, а девочки все Марфы и Дарьи!) и даже необходимо знать правила и порядки той среды, в которой ему придется находиться.

— Почему полезно и почему придется? Подрастет, станет рабочим или инженером,— продолжал я наивничать.

— Что вы! Неужели непонятно, что мы готовим Дениску к заграничной работе? Поскольку он, что называется, с младых ногтей знакомится с деятельностью в наших командировках и изучает иностранный язык, лучше для заграничной работы использовать такого молодого человека, ну, разумеется, когда он вырастет. Почему, если есть династии сталеваров, не быть династиям деятелей внешней торговли?

А что, если размахнуться, дать ей пощечину? Ведь слов она все равно не поймет, не воспримет. Но она женщина, а я до этого момента, кажется, был интеллигентом.

Ладно, пусть живут как хотят. Оболью их безразличием!

Сын этих несчастных, очаровательный мальчуган младшего школьного возраста, по моему, не слушал болтовню, сосредоточенно вертел в руках разноцветный кубик Рубика, венгерское изобретение, озадачившее все население планеты. Заметив мое безразличие и то, что я заскучал, внешторговец принялся веселить меня анекдотами. Я высоко ценю анекдоты как предмет литературоведения, миниатюрный сюжет, но анекдотчиков не выношу. И почему анекдоты забываются так быстро? Именно из-за того, что они — отключение в постороннюю нам сферу, что их сюжеты не имеют никакого отношения к нашему бытию.

Виктория за моей спиной делала мужу знаки, которые ему, кажется, понятны: утихни и не вздумай выдать какую-нибудь хохму за политику! Я вырвался из паутины их купе, когда прошли польские лейтенанты — контроля погранична — и появились немцы в высоких фуражках с деревянными раскрытыми ящичками на груди. В отделениях ящичков размещались всевозможные штампы, их с треском впечатывали в наши паспорта.

Между тем поезд по ажурному мосту пересек Одер метрах в трехстах от того места, где я переправлялся в 1945 году по зыбким понтонам. На крайнем понтоне стояла еще со Сталинграда знакомая мне регулировщица младший сержант Надя, торопя взбирающиеся на берег автомашины и призывая их рассредоточиться, потому что бомбежки чередовались с интервалом в четверть часа.

В руках у Нади, как всегда, были два красных флажка, она ловко

указывала ими направление каждому грузовику, жонглировала ими искусно, как теперь действуют на стадионах участники спортивных празднеств.

Как получилось, что мы — старые знакомые? Очень просто: отряд ВАД (военно-автомобильной дороги) принадлежал Юго-Западному фронту, в газете которого я служил. Фронт наш менял свои названия — был и Сталинградским, и Донским, и Центральным, и Белорусским, стал 1-м Белорусским, а вот наша редакция «Красная Армия» и отряд ВАД оставались той же редакцией и тем же отрядом регулировщиков. Корреспонденты фронтовой газеты — народ кочевой, без регулировщиков они беспомощны. Мы познакомились со всем личным составом ВАД (а это были, главным образом, военные девчата), часто встречались с ними на дорогах и, как говорится, в отдельных и не предусмотренных уставом и войной случаях дружили с ними. Мой закадычный друг старший лейтенант Ванька Самойлович всегда норовил попасть на ту дорогу, где может дежурить эта самая Надя, непременно находил ее, отвлекал ненужными разговорами, так что, случалось, на дороге возникал затор. Осенью сорок третьего на идущей через болото сцепленной дороге-лежневке они вновь встретились, поклялись друг другу в вечной любви, а реализацию клятвы назначили на «шесть часов вечера после войны». Клятвы клятвами, но через год, уже после форсирования Вислы, на дороге, где на фанерных шитах постоянно менялась цифра — сколько километров остается до Берлина, они встретились опять, явились к командиру ВАД и объявили, что сразу же после победы распишутся, но теперь уже просят считать их супругами. Командир ВАД, между прочим, бывший метростровец, мой довоенный приятель, сказал, что закрывает глаза, разрешает расположиться на ночь в опустевшем немецком доме, а документальное обоснование откладывается до завершения берлинской наступательной операции...

После той ночи ранней весной старший лейтенант Ванька Самойлович совсем обезумел. Избрав меня своим душеприказчиком, хватая меня за ремни португепи, он только о Наде, о Наде и говорил, орал, что вопрос решен, у них будет сын Виктор или дочь Виктория, что они после демобилизации поселятся у Надиной мамы в селе Шипунове Алтайского края...

Увы! Война распорядилась по-своему. Несколько южнее этих мест мы с Ванькой, подъезжая на попутном грузовике к крепости Кюстрин, попали под обстрел. Мы успели выскочить из кузова, но до кювета не добежали, распластались на холодном и мокром асфальте, слясь врасти в него, лежали почти рядом, голова к голове, осколки, свистя и воя, бесновались над нами. Ванька сказал мне: «Только бы Надин пост не был поблизости». Потом мы оба притихли: не поговоришь в этом грохочущем аду. Артналет иссяк. Я поднялся, огряхивая шинель, но Ванька почему-то оставался все так же неуклюже лежать на шоссе среди щепок разбитого кузова грузовика. Я нагнулся над ним, потянул его за плечо, перевернул. На его бескровном лице, забрызганном грязью, застыла улыбка.

Прибежал санитар, долго искал — вроде бы нет ранения, но потом все-таки нашел миллиметровое отверстие на шее и объяснил, что попало в сонную артерию, а это все. Конечно, Надя еще ничего не знала. Я понимал, что рискую встретить ее на этой переправе, искал другую дорогу через Одер, страшась встречи с любовью моего бедного друга, не представлял, как объявлю ей ужасную правду. Но переправа оказалась единственной, мне уже некуда было деться.

Надя на посту на левом берегу, у самой воды, я вижу ее, голову спрятать некуда, да и не смею я проявить трусость. Машина натужно взбиралась на левый берег. Я соскочил с подножки, подбежал к Наде. Она почувствовала недоброе еще на расстоянии, крикнула мне: «Ваня ранен?» И это было скорее утверждение, чем вопрос. Когда я приблизился, она, уже не спрашивая, закричала: «Убит!» И грохот переправы,

как эхо, повторил ее крик. В ее руках беспомощно опустились флажки, и на какое-то мгновение замерло движение на переправе. Но это не было паузой скорби, минутой молчания. Грохот не прекращался, и хотя я уже стоял рядом с Надей, она вынуждена была кричать, чтобы я услышал, а может быть, хотела себя услышать сама: «Я его любила и люблю. У него будет сын Виктор или дочь Виктория!»

До сих пор не понимаю, был это крик отчаяния или торжество жизни над смертью. Вновь вскинулись флажки, торопя движение и указывая дорогу. Ревели грузовики, хлопала шрапнель над темным и мутным течением Одера.

Я ничего не мог рассказать Наде, если бы и кричал, все равно бы не был услышан — такое творилось над переправой и на переправе. Товарищи жестаами торопили меня, мы поехали дальше, на высоту Рейтвейн, откуда 16 апреля началось наступление на Зеловские высоты, переросшее в штурм самого Берлина. В мае, когда пришла победа и расцвела сирень, я набрал огромную охапку и помчался в восточные пригороды, рассчитывая встретить на постах девчат из управления военно-автомобильной дороги и через них найти Надю. Демобилизация уже началась, но, наверное, она еще не уехала на Алтай в свое Шипуново? Нет, она не уехала. Случилось несчастье....

Мне рассказали, что в тот день на переправе бомба разорвалась в двух шагах от ее поста. Ее засыпало песком, долго откапывали, искали. Подруги тихо и словно удивляясь, что все это произошло не с ними, поведали мне, что она была жива, но вся черная, словно окаменевшая. Подруги ездят к ней в госпиталь в Лихтенберг.

Я погнал машину навстречу движущимся колоннам грузовиков на восток, в Лихтенберг, выспросил, где госпиталь для тяжелых, с трудом нашел младшего сержанта Надю.

Лишенная способности двигаться (контузия позвоночника? нервное потрясение?), она лежала вытянувшись, несмотря на теплый майский день укутанная трофейным одеялом. Лицо ее представляло сплошной отек, на котором, как маленькие озерца, стлыли полные слез синие глаза. Мы долго молчали, уж не знаю, как я выдержал этот страдальческий взгляд. Ей надо было что-то сказать мне, но было трудно и высказать и еще преодолеть заикание, связывавшее рот. Я просил ее не стараться, я и так понимаю, после наговоримся, когда выздоровеет. Но она все-таки сумела составить фразу и чужим голосом произнесла:

— Доктор сказал, что у меня никогда не будет детей!

Наш международный вагон Москва — Париж катился по высокой насыпи, Франкфурт-на-Одере лежал как бы внизу. Тут до Лихтенберга рукой подать. Во всех подробностях вспомнилось мне посещение госпиталя, последняя встреча с младшим сержантом Надей и ее горькие слова: «...никогда не будет детей!». Я отгоял от себя злую мысль: а вдруг бы, Надя и Ванька, вашей дочерью оказалась эта вот Виктория?

Приближалась ночь и Берлин.

Жан-Поль армянского происхождения

Пассажир шестого купе привлек мое внимание: крупное, несколько асимметричное лицо боксера с приплюснутым носом и готовыми к улыбке широкими губами, ростом он повыше других обитателей международного вагона. Общителен, заговаривает с соседями и по-русски и по-французски. Могучий рост вынуждает, сутулясь, нагибаться к собеседнику, под определенным углом опускать голову. Может быть, он просто глуховат, но все равно кажется, что он проявляет интерес к вам, прислушивается, а это всегда подкупает.

Все первоначальные данные об обитателях нашего Ноева ковчега в вагоне становятся быстро общедоступными, и я уже знаю, что он не просто француз, а француз армянского происхождения, — таких во Франции много, сотни тысяч. Так как гражданство адекватно нацио-

нальности, то, конечно, он француз, имя у него католическое, двойное — Жан-Поль, а фамилия с окончанием на «ян» сохранилась (впрочем, иные французские фамилии звучат как армянские).

Он коммерсант, кажется, не очень крупный, но все-таки, по моим меркам, капиталист и ездил к нам по каким-то парфюмерным делам. Прослышав о его причастности к парфюмерии, жена бойкого молодого человека Виктория спросила его, какие духи он предпочитает — «Шанель» номер пять или номер девятнадцать — и куда запропастились ее любимые духи, почему-то называющиеся «Банди» (то есть бандит.— *Е. Д.*). Человек с лицом боксера терпеливо объяснил Виктории, что он как опытный дегустатор духов сам ими не пользуется, но должен определять достоинства каждого запаха, а что касается духов «Банди», то вряд ли подобное название может стать популярным в наше жестокое время. Кажется, «Банди» выпускают, но эти духи успехом не пользуются.

Парфюмерный разговор французский армянин вел неохотно, и я его понимаю: что за дурная манера — заговаривать с сапожником о каблуках, с астрономом непременно о звездах, с парфюмером про духи, а с писателем про то, к кому ушла вторая жена его модного коллеги... Жан-Поль присматривался к пассажирам, примеривая и размышляя, с кем бы ему поговорить, кого-то искал и выбирал среди них, наконец подошел ко мне и начал с объяснения:

— Вы самый седой и, наверное, самый старший в нашем вагоне...

Я огляделся по сторонам: а ведь он, кажется, прав, сколько бы ни считал себя молодым, потому что бывал моложе всех, теперь оказываюсь старше всех в самолете, в международном вагоне, в театре, на собрании, на улице, надеюсь, что и у себя дома...

— Вот я смотрю на вас и думаю: наверное, вы участвовали во второй мировой войне, а мне крайне необходимо поговорить с человеком, видевшим то, что мы увидеть и пережить не успели, со свидетелем, который способен объяснить многое из происходящего сегодня. Может быть, вы были солдатом, офицером или партизаном?

Я ответил, что он не ошибся, я был политработником, у нас акклиматизировалось французское слово «комиссар», так вот я был политработником, комиссаром

— Мой отец тоже был в движении Сопротивления, был партизаном в Нормандии. Его схватили боши, казнили. Я родился через месяц после его гибели в Париже, где оставалась моя мать. А вы не были партизаном?

Я ответил, что партизаном не был, но у партизан бывал, прихотилось. В зеленых глазах собеседника недоумение: как это — человек бывал у партизан, но партизаном не был.

Я понял, что он не в курсе наших правил: если у тебя нет удостоверения и тот или иной факт твоей жизни не записан в личном деле, значит, его просто не было. Что ж, поговорим о партизанах, я кое-что все же могу засвидетельствовать... Почему этого парфюмера интересуют партизанские дела? Нет, это не пустая вагонная беседа, а нечто более серьезное.

Мне вспомнилась первая моя экспедиция в партизанский отряд «Мститель» зимой сорок второго года на белгородской земле, когда в линии фронта образовалась брешь и удалось на ту сторону пробраться за одну ночь.

Командир отряда старый большевик Проскурин, сорокапятилетний человек с внешностью мастерового, обладал драгоценной способностью завязывать дружбу в первый момент знакомства, будто мы час назад не успели обо всем переговорить и вот теперь продолжаем. Наш разговор, все-таки начатый, а не продолженный тогда, растянулся на многие годы: его письма были такими же, как беседы, начинались с многозначия и завершались запятой. Я был в переписке с несколькими бойцами белгородского партизанского отряда, только сейчас оскудела эта

линия жизни — ушел из жизни Проскурин, не слышно и других голосов.

Только одна учительница из отряда «Мститель» О. Соловьева изредка шлет мне добрые, возвышающие душу письма. Подписывается так: «Оля, партизанка из вашей песни». Верно, я написал в отряде песню, в которой звучало ее имя. Недавно я попросил ее в ответном письме прислать фотографию. Не прислала. Я понимаю ее: ей хочется остаться в моей памяти юной, в кубанке с красной лентой наискосок, с трофейным автоматом в руках. А тогда было не до фотографирования. Напрасно она тревожится, какой бы ни была теперь.. Ну, пенсионерка, чего уж тут! В ее учительский стаж входят и два года беспощадной борьбы с фашизмом в отряде «Мститель».

Жан-Поль ошарашивает вопросом:

— Можно ли считать, что партизаны были террористами?

Вот уж не ожидал такого вопроса.

Но Жан-Поля, оказывается, это интересует неспроста. Я узнал от него, что во Франции на экран телевидения вытащили подлый фильм, одно название которого привело меня в ярость, — «Террористы на пенсии». В программе «Антенн-2» террористами называют партизан. Эта гнусная ложь исходит от мастеров клеветы и провокаций, делающих вид, что они беспристрастны и излагают современные новые взгляды на события прошлого. Но взгляды эти отнюдь не новы. Не сегодня партизан стали называть бандитами и террористами.

В годы войны террор был оружием фашистов. Достаточно вспомнить, как 10 июня 1944 года головорезы из дивизии СС «Райх» сровняли с землей деревню Орадур-сюр-Глан и сожгли в деревенской церкви более шестисот ее жителей — и женщин, и детей, и стариков. Всех.

Геббельсовская пропаганда представила эту гнусную расправу как борьбу с бандитами и террористами. Излюбленной формой палачества гитлеровцев был расстрел заложников. Их тоже называли террористами.

Установив террор как едва ли не основной метод ведения войны вообще и как систему правления на оккупированной территории, фашисты бесстыдно именовали террористами, бандитами всех участников Сопротивления и всех, кто, по их предположению, мог воспротивиться «новому порядку». Так что терминология фильма «Террористы на пенсии» взята, заимствована авторами пасквиля из фашистского лексикона.

Жан-Поль погружен в свои проблемы, когда мы вспомнили об Орадуре, у него дрожали руки, я заметил. Наша беседа с Жан-Полем прерывалась и вновь продолжалась на протяжении всего маршрута Москва — Париж. Мы расходились по купе, а потом поганая история с фильмом вновь и вновь сводила нас, и мы говорили, говорили, оба никак не могли успокоиться.

Фильм «Террористы на пенсии», вообще-то, выполз из фашиствующего подполья не сегодня. Смутно припоминаю рассказы товарищей, два года тому назад возвратившихся с очередного Каннского фестиваля. Тогда его показали, и он с треском провалился. А теперь эту клевету вновь выкатили на позицию, как пушку, чтобы стрелять по прошлому Франции, а целиться в будущее.

Жан-Поль сжимает кулаки.

— Как они смеют называть партизан террористами? Подумайте, партизанам ставится в вину, что они двадцать пятого октября тысяча девятьсот сорок третьего года взрывом на железной дороге Париж — Бельфор пустили под откос немецкий состав с боеприпасами.

Жан-Поль, не переживайте так, берегите сердце! Новая фашистская плесень распространяется по многоотрадальной Европе: не об угоне самолетов, взрывах в театрах, кафе, в метро, на вокзалах и в аэропортах, не о «серых волках», не об отравителях источников, не об убийствах из-за угла фильм «Террористы на пенсии». Задача сфабрикован-

ших фильм — очернение французского народа, компрометация коммунистов Франции.

В качестве мишени в фильме представлен истинный герой Франции — командир партизанской группы, действовавшей в парижском районе, Миссак Манушьян. Что я помню о Манушьяне? Это был француз армянского происхождения (он вырос во Франции, жил там с 1926 года, приехав из Турции). Он был рабочим столяром и еще поэтом, а стихи писал на французском языке, что еще раз доказывает, что он француз. Он возглавил отважных, среди которых были не только французы, но и поляки, испанцы, армяне, итальянцы, мадьяры, русские, евреи. Откуда я знаю о Манушьяне? Прежде всего — из стихов. Разве можно забыть поэму Луи Арагона, светлые строки: «Их было двадцать три, влюбленных в жизнь настолько, чтобы умереть за нее». Двадцать три партизана — это те, что были расстреляны по приговору фашистского трибунала на холме Мон-Валерьен. Мы, поэты Алексей Сурков, Эдуардас Межелайтис и я, побывали там однажды, положили цветы.

Современные провокаторы выступают в фильме как ...защитники Манушьяна. От кого? Невероятно — от Коммунистической партии Франции! Историю они трактуют так: Манушьян в определенный момент почувствовал, что его отряд в Париже обложен со всех сторон, что ему грозит разгром, и спросил у руководства своей коммунистической партии разрешения уйти на юг. Разрешения не последовало, Манушьян и его товарищи продолжали борьбу, но беда все же настигла их.

Для меня, для любого современника, знающего законы борьбы, абсолютно ясно, что тактика строится с учетом реальной обстановки. Мы вполне можем, правда задним числом, предположить, что уход группы из Парижа был бы более опасным, чем продолжение действий.

Риск — неперенный спутник борьбы. Если война — игра, как пишут иные поэты, то, во всяком случае, не игра в поддавки. Война имеет свои правила и свою мораль. Разумеется, я говорю это о справедливой войне, о защите свободы и независимости. Защитник родины, убивающий ее палача, совершает акт справедливости. Захватчик — всегда террорист, защитник родины — рыцарь возмездия.

— Я не коммунист, я самый что ни на есть правый, — говорит Жан-Поль, — но я патриот Франции. Франция уже однажды пострадала из-за своего благодушия. Фашисты опять наступают. Или я чего-то не понимаю?

Нет, вы все правильно чувствуете, месье Жан-Поль. Я улавливаю, почему мой собеседник болезненно реагирует и на возникшую в связи с «делом Манушьяна» подлую версию, будто в движении Сопротивления почти не участвовали французы, с фашистами продолжали сражаться преимущественно инородцы, иностранцы, занесенные бурей войны во Францию, — югославы, армяне, поляки, евреи. Но сейчас новым фашистам неметается — они жаждут во что бы то ни стало скомпрометировать Коммунистическую партию Франции. Пытаются распространять недоверие к тем, кто спас честь преданной и поверженной республики, к партии, которую горестно называли тогда партией расстрелянных.

Теперь Манушьяна судят и казнят вторично. Метастазы фашизма привели к новой опухоли. Уже орет на митингах последователь гитлеровцев, новый фашист Ле Пен.

Миссак Манушьян был арестован 16 ноября 1943 года. Его расстреляли 21 февраля 1944 года после судебной инсценировки. До потомков дошли строки его предсмертного письма: «Сейчас я умру вместе с моими товарищами с чувством мужества и ясным умом человека, у которого спокойная совесть...»

Еще тогда в листовке, выпущенной патриотами Франции, суд над Манушьяном был охарактеризован как расистская кампания.

Вскоре после гибели Манушьяна на улицах Парижа вновь появи-

лись листовки. В них говорилось, что Манушьян, «так же как в свое время Гарибальди, который принял участие вместе с французами в борьбе за нашу родину, был объектом гнусных выпадов со стороны капитулянтов и предателей...».

Я видел могилу Ярослава Домбровского на кладбище Пер-Лашез. Мой собеседник не знал или запамятовал, что командующий 1-й армией коммуны, а затем и главнокомандующий, 23 мая 1871 года погибший на баррикаде близ Монмартра, был поляком. Он считал Домбровского, и правильно считал, национальным героем Франции. С чисто французской экзальтацией он обнял меня и сказал, что у него теперь есть крепкий аргумент для споров с соседями (значит, все-таки приходится спорить).

Очень мне хотелось рассказать Жан-Полю, что одна из организаторов Центрального женского комитета в дни коммуны была сражавшаяся на баррикадах двадцатилетняя русская революционерка Елизавета Дмитриева. Но я удержался и думаю, что остановился вовремя: мой спутник сильно разволновался, кровь прилила к лицу, мне даже тревожно стало за него.

Позже, когда поезд бежал уже по территории Франции, я смотрел... Мы вновь стояли у окна, и в его квадрате наплывали и уходили, сменяясь новыми, прекрасные голубовато-зеленые пейзажи, старинные деревни и новенькие виллы, полуразрушенные замки на холмах, автомобильчики, катящиеся на гладких дорогах, игрушечные коровы в отдалении.

Приближение к дому несколько успокоило и ублаготворило моего собеседника, и теперь волнение уже охватило меня.

Пусть негодяи из программы «Антенн-2» клеветуют на тех, кто бесстрашно воевал вдали от своей хаты за свободу этой красивой и славной земли. Я говорю с гордостью, громко, чтобы слышал международный вагон:

— Весной тысяча девятьсот сорок четвертого года во Франции насчитывалось восемнадцать партизанских отрядов, укомплектованных советскими воинами. Первый советский партизанский полк, действовавший на юге страны, насчитывал более двух тысяч красноармейцев и командиров, а среди них были и стоявшие насмерть защитники Бреста и Зеленой Браны, Лиэпаи и Севастополя. Они продолжали свой бой на этой благословенной земле. В интернациональных отрядах наши парни и девушки, например лейтенант французской армии Надежда Лисовец, сражались бок о бок с французами. История все помнит...

Не могу определить, французское или армянское гостеприимство в характере Жан-Поля. Да это и не существенно: человек-то какой душевный, открытый, славный! Он несколько раз за время пути повторял, что хочет принять нас с женой в своем доме.

— От Парижа полчаса езды, только позвоните. Я найду вас в городе, покажу все достопримечательности, съездим на холм Мон-Валерьян, а потом к нам обедать. Какую предпочитаете кухню — французскую или армянскую?

Проезжая Берлин

Я знаю, что с воспоминаниями надо обращаться осторожно. Как ни интересны эпизоды, которыми владеет память, они повернуты в прошлое, и для слушателей, особенно молодых, в избытке невыносимы. Бывалый человек обязан всегда контролировать себя: не забалтывается ли, не перегружает ли слушателя. Нельзя компенсировать день сегодняшний, а тем более завтрашний, неуемными запасами прошлого, как бы ни было оно значительно и занимательно. Неизбежна и «кобкатка» воспоминаний, когда возникают и домыслы и умолчания. А дорога Москва — Париж выстелена воспоминаниями. Поезд идет по Берлину, вернее — над Берлином, так как железнодорожная линия приподнята над улицами города, в переводе называется высокой дорогой.

Я впервые оказался в Берлине 21 апреля 1945 года. Мы пересекли кольцевую автостраду, и хотя казалось, что мы ведем бой в смыкающихся друг с другом дачных поселках, все равно карта утверждала: это Берлин. Вскоре мы пробились на улицы и проспекты с высоченными домами. Параллельно нашему поезду, навстречу и в обгон идут составы городских электричек; в вагонах полно народу, когда поезда идут рядом, я пытаюсь взглянуть в лица, уловить облик берлинцев. Это похоже на немое кино: разговаривают, смеются, уступают друг другу места... И все — молодые. Я не заметил никого, чтобы, по виду конечно, были старше сорока. Неужели я один видел и помню все то, что здесь было? Кажется — да, один-единственный.

Некоторые товарищи по далеким временам вспоминали, что, пока не закончились бои и до самой капитуляции Германии, они не видели ни единого штатского берлинца. А я вот видел. На Франкфуртер-аллее стоило пройти сквозь брешь в стене или спуститься в провал на мостовой, и мы оказывались в подвалах, в лабиринте, где было полно народу: прятались от обстрела жители, дрожащие, с безнадежностью и отчаянием в глазах. В углах навалены чемоданы, узлы, сумки, всякий домашний скраб. Люди чаще всего таились в крошечной тьме, их выдавали детский плач, приглушенная речь, истерические вскрики, стоны. Освещенные лучами наших фонариков, они хмурились и защищали лица ладонями, словно ожидая удара.

Чего только не наговорили им о нас геббельсовские пропагандисты! Факельщики, вешатели, мародеры, они рисовали нас себе подобными. Не только гром непрерывного боя доводил берлинцев до нервного потрясения. Проходя сквозь квартиры, мы видели страшные картины: родители, прежде чем покончить с собой, отравляли детей, полосовали ножами по горлу стариков-родителей.

Среди спрячавшихся в подвалах были и раненные при обстрелах граждане. С нашим проникновением в подвалы увеличивалась опасность для жителей: оказавшиеся в лабиринтах фаустники и автоматчики, подстерегая наших, не принимали во внимание, что могут поразить огнем и пулями собственных детей и матерей.

Жестокая память войны отбрасывала нас в сталинградские дни: на взгорье у хутора Вертячего атакующие егеря гнали перед своей цепью толпу наших детей и женщин, прятались за их спины, зная, что мы не посеем стрелять.

Нашим медикам на Франкфуртер-аллее пришлось выполнять двойную работу — перевязывать и своих раненых, и немецких граждан, да еще и немецких солдат, глядевших на нас с безнадежной ненавистью. Наши санитары и бойцы, стиснув зубы, продолжали исполнять свой долг. Честное слово, я бы не вспомнил через сорок лет тех уже достаточно известных всем эпизодов, описанных и в мемуарах и в художественной литературе, если бы ко мне не подошел сосед по вагону, немец из Дортмунда, и не предъявил (именно предъявил) пестрый, отлично выполненный с точки зрения полиграфии самый, кажется, последний номер западногерманского журнала «Шпигель». Читатель, прости меня за подробности, не «Огонек» же и не «Работнику» он мог предъявить...

Немец раскрыл передо мной журнал на странице, посвященной сорокалетию нашей победы. Я увидел две фотографии, обе сорокалетней давности.

На одной из них такая сцена: на улице Берлина, может быть, какого-нибудь другого, но явно немецкого города штатский немец в шляпе держится за велосипед, примитивное транспортное средство отбирает у штатского молодой советский солдат. Вот какие ужасные эти русские! Сейчас Иван отнимет у нашего милого велосипедиста его сокровище.

Господин редактор журнала «Шпигель»! Позволю себе напомнить вам, что половину нашей страны пытались вырвать из рук моего народа гитлеровские захватчики. Солдаты вермахта беспардонно отби-

рали у жителей все подряд, убивали за цыпленка женщину, мальчугана — кто под руку попадется. Не сохранилось ли в вашей фототеке снимочка грабежей и зверств?

Фактическая сторона эпизода с велосипедом вряд ли может быть ныне восстановлена. Если снимок еще периода боев, то правильно поступал красноармеец, отбирая велосипед, и неизвестно, был ли немец в шляпе действительно штатским гражданином. Могла возникнуть военная необходимость реквизиции велосипеда.

Ну, а если наш полумальчишка с погонами на плечах на радостях захотел прокатиться на велосипеде? Вот он и варвар из Москвы!

Все это я изложил деятелю из Дортмунда на своем бедном по словарному запасу немецком языке, не знаю, все ли он понял, однако задумался. Еще интересней показалась попутчику вторая фотография. Признаться, и мне тоже.

Поскольку дорога у нас длинная, опишу фотографию и расскажу вам ее историю. Фотография сделана в Берлине 2 мая 1945 года. На улице — артиллерийская конная упряжка, танк или самоходка, наши красноармейцы, вдали еще дымится рейхстаг, но знамя — то самое, что имело задачу стать Знаменем Победы и стало им, развеваясь над ребристым куполом.

А на переднем плане, говоря высоким слогом, — ваш покорный слуга, а если проще — майор Евгений Долматовский в фуражке, заломленной явно не по-уставному, в длиннополой шинели.

В левой руке у майора — штатская трость, а под локтем правой он держит бронзовую голову Адольфа Гитлера, отлитую в размерах чуть больше натуральной величины. Я смеюсь, глядя на фотографии, и попутчик, сосед по международному вагону, смеется, смеется сегодня, сейчас. В то утро под гулкими сводами рейхстага еще стреляли, каждый выстрел дублировался — очень гулкое эхо в его помещении. Из подвала валил горький дым. Оттуда выводили захваченных только что эсэсовцев. Санитары выносили раненых немецких офицеров. Я вошел в рейхстаг с парадного входа и попал в зал заседаний. На скамьях депутатов сидели несколько старых наших вояк. Кто курил, кто перематывал портянки.

На председательском кресле восседал боец, по внешности узбек. Он писал письмо. Я подошел, увидел нерусскую вязь слов, спросил: «Кому пишете?» «Маме в Хорезм», — ответил он.

Мы обратили внимание на трибуну и возвышающуюся над ней несколько левее бронзовую голову Гитлера. Очень мрачно она выглядела, и мы с красноармейцем, занявшим председательское место, сочли необходимым сбить эту голову: достали ее прикладами, она выскочила из гнезда и с грохотом покатила по ступенькам, ведущим к трибуне.

Потом мы решили, что Гитлеру, пусть и в виде бронзовой балды, все равно в рейхстаге делать нечего. Я взял бронзовую голову себе под локоть и вынес этот никчемный, но тяжелый предмет наружу, решив отнести его подальше и выбросить на какую-нибудь свалку. Оказавшиеся на площади красноармейцы веселым улюлюканьем встретили появление оригинального трофея. Уж не знаю, кто сфотографировал меня в этот момент, и не знаю, как фотография в послевоенные годы попала в западногерманскую печать. Публикация «Шпигеля» не первая. Судя по текстовке, «Шпигель» намеревался позабавить своих читателей.

— А почему вы с тростью, — спросил немец из Дортмунда, — разве разрешалось советским офицерам пользоваться тростью?

Я объяснил ему, что пришлось мне опереться на палку потому, что в те дни у меня разболелась нога, раненная в Сталинграде. Пора кончать воспоминания о далеких временах и событиях. Лучше поведаю с последнем своем посещении Берлина. Каком по счету? Не скажу точно — я приезжал не раз сюда по приглашению Союза писателей ГДР, Комитета мира, был и на молодежном фести-

вале. А последняя поездка была связана с пятидесятилетней годовщиной трагических событий: 10 мая 1933 года фашисты устроили огненный шабаш — на площадях городов и в Берлине около оперного театра сжигали книги. В Германской Демократической Республике было решено: на той площади (она теперь названа именем Бебеля) 10 мая 1983 года будет митинг, чтобы никто не забывал о страшном прошлом Германии.

Были приглашены писатели из разных стран, я представлял на митинге Советский Союз.

Вот слева по ходу нашего поезда виден музей немецкой истории (когда-то музей назывался Цейххаузом, между прочим, одним из его экспонатов был салон-вагон — место подписания капитуляции кайзеровской Германии, а потом — петеновской Франции). А чуть подалее площадь Бебеля, та самая площадь. На площади немецкие мальчишки запускают змея, а тогда, когда я выступал на митинге, она была заполнена берлинцами, десятками тысяч берлинцев. Но для того чтобы были понятны дела восьмьдесят третьего, надо вспомнить о тридцать третьем годе. Нет, я не свидетель — той весной я только учился в техникуме на улице Кропоткина, бывшей Пречистенке. Тогда не было телевидения, но мне кажется, я видел и пожар рейхстага, и костры на площади, где сейчас мальчуганы запускают змея. О том, что происходило: о поджоге рейхстага и гитлеровском терроре, — я, мои товарищи-комсомольцы знали из «Коричневой книги», изданной антифашистами, не имевшими тогда возможности назвать свои имена, изданной подпольно в Германии, над которой сгущалась ночь, переизданной во многих странах. В Москве в том же 1933 году книгу выпустило издательство МОПР (Международного общества помощи революционерам).

В «Коричневой книге» опубликован список литературы, преданной огню 10 мая 1933 года на площади Оперы, вблизи Берлинского университета. Это сочинения Ленина, Маркса, Энгельса, Бебеля, Лассаля, Карла Либкнехта и Розы Люксембург, Зигмунда Фрейда и многих немецких философов. Пламя поглотило книги Брехта и Барбюса, Арнольда и Стефана Цвейгов, Генриха и Томаса Маннов, Фейхтвангера, Гашека, книги советских писателей. О них сказано, что должна быть уничтожена «вся пробольшевистская литература по истории России».

Мне запомнились такие слова из «Коричневой книги»: «Не погибла в огне на костре на площади Оперы способность Германии служить человеческой культуре... Действительные культурные творческие силы Германии воплощены в тех миллионах людей, которых со звериной жестокостью преследуют и терроризируют фашисты: в рабочих антифашистах, ученых, художниках и интеллигентах. Эти миллионы людей служат залогом того, что Германия в будущем станет ведущей социалистической культурной страной...»

Из «Коричневой книги» я узнал, что министр пропаганды, ближайший подручный Гитлера считался у фашистов писателем: «Д-р Йозеф Геббельс — министр пропаганды — написал роман под заглавием «Михаил, или Судьба немца», роман-дневник. Зло является Михаилу в образе русского Ивана и хочет сорвать его благородную душу в большевизм. Душа Михаила борется с искусителем». Дальше идет цитата из романа: «Но я его сильнее и хватаю его за глотку, бросаю наземь, он лежит, хрипя, с набухшими от крови глазами. Издохни, стерва! Я разбиваю ему череп! И теперь я свободен». Вот, оказывается, когда еще они запугивали мир русским Иваном.

Еще через десять минут наш поезд будет на подходе к местам, откуда откроется вид на Бранденбургские ворота и холм, насыпанный на месте входа в имперскую канцелярию, куда мы ходили осматривать трупы Йозефа Геббельса и членов его семьи.

А сейчас в памяти очень отчетливо заполненная народом, освещенная прожекторами площадь. Как ни тесно, но есть место столам, на них горы книг, и это те же произведения, что сжигались фашистами

именно на площади Оперы ровно пятьдесят лет назад. Секрет возрождения из пепла несложен, но удивительно изобретательно поступили издательства Германской Демократической Республики: фотоспособом воспроизведены точные копии изданий, погибших в пламени в 1933 году.

Как у нас на Дне поэзии (форма пропаганды книги, возникшая в Москве четверть века назад, а ныне распространившаяся во Франции, Югославии, Венгрии, Германской Демократической Республике и во многих других странах), идет торговля. Книги разлетаются быстро, уже можно убирать опустевшие столы, чтобы хоть немножко разрядить тесноту на площади. Выступали видные писатели новой Германии, гости из Англии, из социалистических стран. Перед поездкой в Берлин я побывал в нашей Книжной палате, узнал, сколько миллионов книг было сожжено фашистами на нашей земле, сколько уничтожено библиотек... Цифры были у меня в записной книжке, но я не смог их произнести в своей речи на площади. Спазм сжал горло, пришлось ограничиться чтением стихотворений... Книги, возродившиеся из пепла!

Митинг длился более двух часов. Я потом никак не мог уснуть, вышел из гостиницы, прошел к Бранденбургским воротам, на то место, где 2 мая 1945 года читал стихи товарищам, только что вышедшим из боя, который мы тогда считали последним боем. У Бранденбургских ворот начало, а возле площади Бебеля конец улицы Унтер-ден-Линден.

Мне пришлось выступать здесь на двух митингах с интервалом в тридцать восемь лет. Не относится ли закон сохранения материи к сфере духовной? И не доказательство ли бессилия факельщиков — бывших и тех, что сегодня готовят огонь, способный много раз мгновенно испепелить нашу планету? Только они сами сгорят в распаленном ими пламени, тут уж никакой закон сохранения материи не подействует...

Наш поезд затормаживает воспоминания, мы прибываем на вокзал Фридрихштрассе — на границу двух Берлинов...

Берлин-вест

Половина вокзала Фридрихштрассе находится в столице Германской Демократической Республики и половина — в Западном Берлине. Бетонная платформа разделена чертой, нанесенной белой жирной несмываемой краской, какой маркируют направление движения на проезжей части улиц и дорог.

Есть еще и надписи: «Не перешагивать», «Стоять здесь». «Ждать», «Переход». Надписи, разумеется, на немецком языке, и невозможно определить, какая сторона начертала эти указания и приказания. Так буднично и лапидарно определилась граница, говоря газетным языком, двух миров. Пустынно, безлюдно. Под сводами вокзала — только полицейские в похужей, но не одинаковой форме. Группируются по своим сторонам, на определенной дистанции. И те и другие держат на коротких поводках классических немецких овчарок, породистых — каждая на собачьей выставке могла бы получить медаль. Но это не выставочные экземпляры. При всей любви к собакам гляжу на них с неприязнью. Постараюсь не вызывать в душе воспоминаний. Ну, собачки, красивые, несут свою службу, умеют улыбаться или скалиться. Будем считать, что никакого отношения к уманским, освенцимским, бухенвальдским они не имеют. Те давно передохли, успокойся!

Поезд простоял у расчерченных стрелками и линиями платформ недолго. Из нашего вагона никто не выходил. На окнах капли дождя. Всегда в Берлине дождь. Едва состав тронулся, слева — рейхстаг. Стоит, как стоял. Крыша плоская, отсутствует ребристый купол, на котором было водружено Знамя Победы. Прикручивали древко проволокой, чтобы ветром не снесло, Егоров и Кантария. Вел двух разведчиков на опасную вершину политрабтник лейтенант Алексей Берест...

Это известно всему миру, и уже никому не интересно, что я видел их восхождение своими глазами. Начну рассказывать — все равно не поверят. Несколько лет тому назад западноберлинское телевидение, воспользовавшись пребыванием советской делегации, пригласило меня выступить со ступенек главного входа в рейхстаг.

Кинохроникер сунул мне в руку толстенный фломастер, предложил расписаться на колонне, как расписывались тогда. Объективы целились на меня с двух сторон. Но стены и колонны рейхстага не сохранили ни одной надписи, ни одного автографа: все тщательно счищено пескоструйными аппаратами, заглажено, отремонтировано. Не стал я расписываться, сказал телевизионщикам, что на таких камнях расписываются лишь однажды, повторения быть не может. Я в Западном Берлине в тот приезд расписывался под протоколом о сотрудничестве в Обществе германо-советской дружбы. Достаточно!

Занимающее целый квартал здание серое и мрачное. Замечаю, мелькнула вывеска «Ресторан». Углы здания подсвечены прожекторными лучами. Но не для эффекта, а в целях охраны.

Ловлю себя на полнейшем отсутствии интереса к рейхстагу, к трехцветному флагу над ним, к пляске огней, начавшейся через минуту, когда проезжали над улицей Курфюрстендамм.

Смотрю на пестрые, сияющие и на затемненные, спящие кварталы старинного города. Если бы поезд остановился и нашелся у меня час, я бы отправился на улицу Шуленбургринг, она недалеко от Темпельхофского аэродрома. Там есть примечательный дом — его я часто вспоминаю. Дом номер два по Шуленбургринг был в конце берлинского сражения командным пунктом двух гвардейских армий — 8-й и 1-й танковых. 2 мая в квартире, в бельэтаже, была подписана капитуляция берлинского гарнизона. Через тридцать лет мы с западноберлинским журналистом разыскали этот дом, рассказали его жильцам, что живут они в историческом здании. Чудеса, да и только! Жильцы дома организовали у себя ячейку Общества германо-советской дружбы, устроили постоянную выставку, принимают все советские делегации. Дети обитателей исторического дома приезжали в Москву на фестиваль, приходили ко мне в гости.

Не такое великое событие, как штурм рейхстага, но сквозь него виден двадцатый век, неправда ли? Вскоре проплыла в окне вновь станция с платформой, расчерченной белыми полосами и надписями: «Не перешагивать», «Ждать»...

Наш поезд вновь в Германской Демократической Республике, но уже прошли западногерманские пограничники с гуттаперчевыми штемпелями для наших паспортов.

Ростов и Дортмунд — побратимы

Аккуратный, несколько полноватый и сравнительно молодой немец с двумя чемоданами и еще картонными коробками из-под кипрского вина (Продинторг, фирма «Лойел», 12 бутылок), крепко перетянутыми тонкими бечевками, и, по-видимому, тяжеловатыми. Я, грешным делом, полагал, что картонные коробки из-под вина — чисто русская современная упаковка багажа, а иностранец ездит непременно с фансонистыми чемоданами.

Любопытство к людям, мучающее меня с пользой и без пользы всю долгую жизнь, было удовлетворено, когда я узнал от проводника дяди Лени, что пассажир следует из Ростова-на-Дону к себе на родину, в город Дортмунд. Это более заинтересовало меня, потому что я в некоторой степени ростовчанин: нас с братом вскоре после нашего рождения и незадолго до Октябрьской революции отвезли из Москвы в Ростов на попечение родственников. В Москву я вернулся девятилетним. Я навсегда запомнил и улицы, круто спускающиеся к Дону, Сенную площадь, на которой стояли подводы, а перед лошадьми лежало сено. Только закрою глаза — и как сегодня вижу вступление Первой

Конной армии в город. Стихи Лермонтова о горах и горцах, заворожившие меня, видимо, так пронзительно звучали потому, что Ростов в ту пору считался Северным Кавказом. В Ростове я научился читать, писать, переболел всеми смертельными болезнями, свирепствовавшими тогда, и набрался если не ума, то впечатлений...

Гражданская война кончилась, наступило мирное время, мы с братом пошли в первый класс, то есть, по нашему представлению, стали взрослыми. В Ростове я освоил прекрасное занятие — голубиный гон, и когда через двадцать лет узнал, что при оккупации героем и мучеником города стал голубятник пионер Витя Черевичкин, без оснований, но с гордостью почувствовал себя его предшественником.

Немец в купе едет из Ростова в Дортмунд. Ну, он из Дортмунда, это понятно, а что делал в Ростове?

Оказывается, Ростов и Дортмунд — породненные города, а он муниципальный советник, как раз занимается этим самым породнением и получил командировку, чтобы пригласить в Рейнско-Вестфальскую область группу художественной самодеятельности Дома культуры завода сельскохозяйственных машин.

Мое сознание как-то замедленно, сопротивляясь, с трудом осваивает эти понятия применительно к Ростову и Дортмунду: побратимы, братство, породнение, родня.

Семьи моих дедов были многодетны, в Ростове проживали родственники и по материнской и по отцовской линии. Жаль, что из быта нашего народа ушли, исчезли такие понятия, как родословная, род, генеалогическое древо. Зачем мы отнесли их к атрибутам дворянства? А теперь я даже не знаю имен всех погибших в боях, попавших в руки оккупантов, расстрелянных и повешенных, закопанных живыми и удушенных ростовских родственников.

Упоминание Дортмунда в сочетании с Ростовом вызвало ошущимую и непроходящую боль в сердце. Почему? Причин много. Вот одна из них. Я об этом эпизоде никому не рассказывал, а теперь расскажу. В поездках — и порой случайным попутчикам — люди открывают душу, делясь сокровенным. Так вот послушайте...

В Ростовском крайкоме комсомола работала моя двоюродная по материнской линии сестра Зина, которую мы с братом называли всегда Зина-кузина. На сохранившейся, но выцветшей довоенной фотографии Зина смеется. Кудрявая, большеглазая, задорная, она была совсем ненамного старше меня. Мы росли рядом.

Когда враг подступал к городу, Зине поручили уничтожить крайкомовские документы. Она жгла бумаги в казенном умывальнике, это оказалось затяжным делом, и когда она вышла из законченной туалетной комнаты, на первом этаже крайкома уже гомонили немцы. Зина выпрыгнула из окна второго этажа, подвернула ногу, была схвачена, брошена в тюрьму. Мы посчитали Зину погибшей — кто-то из выживших рассказывал после скорого освобождения Ростова, что видел ее в камере смертников, в кровоподтеках, в изорванной одежде. Но случилось чудо. Примерно через год после победы я получил телеграмму на адрес «Комсомольской правды», где работал когда-то, задолго до войны: «Спаси меня гвоя сестра Мария Иванченко». Кто такая Мария Иванченко? У меня нет и никогда не было такой сестры. Из телеграммы явствовало, что она подана на почтамт в Одессе, но как разыскать в этом большом городе Марию Иванченко? И надо ли разыскивать, раз у меня нет такой сестры?

Я все же послал письмо фронтовому другу, работавшему после демобилизации в редакции газеты для моряков, сообщил ему о странной телеграмме. Через два месяца пришел ответ: «Представь себе, Мария Иванченко реально существует. Она утверждает, что ты ее брат. Она работает в совхозе, в полеводческой бригаде. Попала к нам по репатриации, кажется, была рабыней. Она так молчалива, что поначалу ее посчитали глухонемой, но потом поняли, что это нездоровье,

психический шок. Ее взяла к себе одна вдова, Мария и ей ничего не рассказала. Не помнит, откуда она и кто она, ничего не помнит о довоенном времени. Помнит, что была в Германии, вернулась из города Дортмунда, но забыла, где ее дом. Твердит одно: у нее в Москве брат, работает в «Комсомольской правде». По всем данным это ты. Может, и вправду так?»

Я показал телеграмму матери, она сказала:

— У нас в семье никогда не водилось Марии Иванченко. Но была такая война, что все перепуталось. Может быть, теперь у нас есть такая родственница. Надо помочь этой Марии. В этом месяце не давай мне денег, пошли ей.

Я переводил деньги на имя товарища, он сообщал, что передал их по назначению, а потом была еще одна телеграмма: от той же неизвестной Марии Иванченко: «Встречай на Киевском вокзале». Признаюсь, превращение легенды в быль весьма растрожило всю нашу семью.

Я стоял на платформе, шла толпа с одесского «пятьсот веселого». Но как я узнаю таинственную Марию Иванченко, назвавшуюся моей сестрой? И вдруг мимо меня прошла, не замечая или не узнавая, старая, сгорбленная и прихрамывающая женщина с остановившимся взглядом. Однако черты ее лица чем-то близки чертам лица моей матери, ее многочисленных сестер и братьев — они все были похожи друг на друга. Наша бабушка немного не дожила до новых времен, а то была бы матерью-героиней. И всем детям и внукам щедро дарила свои черты. Наверное, и на меня похожа эта женщина с поезда...

— Зина! — окликнул я старую женщину.

Она не оглянулась, может быть, не услышала, продолжала свой неровный шаг в человеческом потоке.

— Зина-кузина! — закричал я почему-то детским, не своим голосом, но она продолжала идти, уставясь взором куда-то выше голов.

Я нагнал ее в несколько шагов, зашел спереди и сказал громко:

— Здравствуй, Мария Иванченко.

Тут она встрепенулась, остановилась, а потом упала лицом на мой погон (я еще донашивал военную форму) безмолвно и не плача. Я привел Зину в комнату матери на Гоголевском бульваре.

Первые дни она молчала, а мы старались не потревожить ее сомнамбулического состояния, ничего не спрашивали, называли Марией. Мама растапливала колонку и мыла-купала Зину, как маленькую, а потом всю ночь рыдала, уткнувшись в подушку, чтобы не разбудить племянницу. А я все равно не спал. Оказывается, все тело Зины было в рубцах и на голове шрам.

Ее сознание навсегда заволкло черными тучами, но бывали проблески, рождались и гасли воспоминания. Приговоренная к расстрелу, она назвала себя Марией Иванченко в Ростове на первом допросе гестапо и уже не вернулась к своему настоящему имени. Оккупанты, оставляя Ростов, увезли заключенных, а потом забыли расстрелять приговоренных. Мария Иванченко оказалась в Дортмунде среди ост-рабочих. Там случилось несчастье, прорвало шлюзы, были затоплены бараки, очень много наших погибло, а с ней случилось что-то. Но что? Ничего, ничего, ничего она не помнит...

Так мы и жили в узкой комнате на Гоголевском бульваре — мама, я и опасно молчаливая, замкнутая в своих суровых раздумьях племянница.

Приближалось 7 ноября 1946 года, я должен был участвовать в радиопередаче — трансляция парада и демонстрации с Красной площади. Прослышав об этом, Мария-Зина сказала, что должна пойти на Красную площадь вместе со мной, подойти к Сталину, стоящему на трибуне Мавзолея, и рассказать ему, как ее и других девушек мучали в тюрьме и на работах в Дортмунде. Пусть Сталин знает, что они не виноваты.

Мы ласково отговаривали мою двоюродную сестру от этого поистине безумного шага, но она настаивала, требовала, рыдала. 7 ноября мы с мамой вынуждены были запереть ее в комнате, а когда я вернулся с площади, то узнал, что Мария-Зина слегла, ее лихорадило. Она вскоре тихо скончалась, так и не вспомнив, что работала в Ростовском крайкоме комсомола, что была веселой девчонкой и ценой своей жизни спасла тайны крайкомовского архива...

...Советник из магистрата Дортмунда рассказал мне о побратимских связях с Ростовом-на-Дону, он говорил очень четко по-немецки, но я с трудом понимал его, думая о другом. Мне стало немного легче, когда я выяснил, что ему тридцать шесть лет, а значит, он родился после всего, что было, и, как говорится, ответственности не несет. Оказывается, побратимству Ростова с Дортмундом уже почти десять лет, хотя первый визит бургомистра и ответный председателя горсовета были раньше. А еще раньше там была Зина...

Идет обмен туристскими группами. В Ростове демонстрировалась выставка «Реконструкция Дортмунда». В рейнско-вестфальскую столицу на ее тысячелетие выезжали официальная делегация горисполкома, концертная группа «Донской сувенир» и женская гандбольная команда... А Зина в Дортмунде называлась Мария Иванченко...

Потом проводились дни Дортмунда у нас и дни Ростова там. Ростов увидел выставки «Антифашистское сопротивление», «Графика Дортмунда», приезжал на Дон камерный хор университета, духовой оркестр. В Ростове именем Дортмунда называли сквер, и в нем была установлена скульптура пивовара, естественно, доставленная из Федеративной Республики. Скульптура немецкого пивовара в Ростове — чудеса да и только!

Камерный хор нашего Музыкально-педагогического института недавно участвовал в Неделе европейской музыки.

Оказывается, и мои коллеги-писатели отдали дань побратимству. В Ростов приезжали профессор Дортмундского университета Деннигхаус, новеллист Рединг, мой друг поэт Николай Егоров выступил с рефератом «Человек, экономика, природа» на встрече с ними. Ростовские писатели подарили гостям свои книги, но делегация отбыла самолетом с перевесом багажа, а книги везет теперь господин муниципальный советник...

Не знаю, зачем я рассказал немцу, что происхожу из Ростова и в детстве гонял там голубей. Про Зину я ему не сказал ни слова. Что-то удерживало, защищало горло. Немец, оказывается, тоже голубятник. Видите, как много у нас общего! Но его сыновья лишены возможности пользоваться голубиной почтой, раньше имевшей распространение в Федеративной Республике. Столько установлено всяких военных устройств, радиолокационных приборов, что голуби теряют ориентировку и утрачивают свою многовековую способность находить кратчайший путь между двумя точками, сбиваются с курса. Дортмунд показался на рассвете третьего дня путешествия. Очень аккуратный, не носящий на себе следов войны город.

Из окна вагона

Много ли увидишь из окна вагона? Не проплывает — пронесится перед глазами страна, которую я по привычке, по-старому называю Западной Германией. Ухоженные поля, леса, словно подстриженные под одну гребенку, реки, похожие на каналы, и каналы, похожие на реки. С высокой насыпи открывается вид на типичный немецкий город: справа — его старинная часть, наследство веков, слева — сборище гигантов домов с черными, взглядоотталкивающими стеклами, даже при самом ярком солнце остающимися мрачными и недобрými. А на площади... Смотрите, смотрите!

Толпы, шеренги, колонны. Над головами плакаты и транспаранты. Разглядеть бы, что на них написано. Кое-что разобрать успеваю.

«Нет — ракетам, да — чистому небу!», «За ядерное разоружение!», «Детям — мир, генералам — отставку!»

Насколько я могу увидеть из окна, демонстранты движутся по нескольким направлениям, колонны и толпы сходятся, образуя круговорот. Я не обнаруживаю трибуны, не вижу центра этого действия. Вернее, центра, или, как теперь любят писать в газетах, эпицентра, демонстрации не существует, подтверждая правильность старинного, а все-таки точного образа-штампа — людское море.

Тщусь зафиксировать различия воли бушующего моря. Группа женщин катит детские коляски. Неровной шеренгой выступают инвалиды.

Успеваю заметить конных полицейских и две машины с водометами. Слава богу, кажется, они в бездействии, но опасны, как артиллерийское орудие на позиции. Не пойму, да и не узнаю, кто проводит демонстрацию — Комитет за мир, разоружение и сотрудничество, «Крефельдская инициатива», «Христиане за разоружение», зеленые?

А поезд не снизил и не увеличил скорость, и вот уже и город, и люди на площади, и плакаты исчезли за поворотом, а в окне только леса, и поля, и серые ленты автострад, и каменные сараи, и отары овец, как на старинных картинах.

Шведка-путешественница

У безлюдных и пустынных, стерильно чистеньких платформ Дюссельдорфа поезд стоял как бы в раздумье. Время тянулось неторопливо, международный вагон пребывал в рассветном сне.

Когда уже прозвучал свисток отправления, откуда-то из-под земли, из подземного тоннеля-перехода шустро выскочило прелестное, невероятно юное создание, обвешанное квадратными и шаровидными сумками из тонкого, химически поблескивающего материала. Девушка явно опаздывала, но мило улыбалась, ничуть не паникуя.

Поезд между тем отчалил. Девушка оказалась ближе всего к нашему вагону и легким спортивным прыжком достигла верхней, уже опущенной проводником железной ступеньки. Дяде Лене пришлось подхватить ее. Она мгновенно оказалась подле только что освободившегося купе. Вошла туда стремительно, как хозяйка, раскидала по обоям диванам свои разноцветные сумки, а одну, круглую и на вид мягкую, примостила в угол у окна, легла, свернувшись калачиком и мгновенно уснула. Вся эта мизансцена заняла так мало времени, что проводник не успел спросить, куда она едет и где ее билет.

Дверь купе осталась открытой. Вагон просыпался, пассажиры выходили в коридор, и каждого тянуло посмотреть на этого спящего ангела. О том, что ангел вообще-то попал не в тот вагон, проводник дядя Ленья догадывался по своему опыту, но выяснил, лишь когда поезд мчался по территории Бельгии. Девушка пробудилась. Она бы, пожалуй, еще спала, но ее заставил удивленно вскопчить крикливый мальчишка с белым фаруком на груди, прикативший на многоярусном лотке искусно сооруженные из ветчины, сыра, всевозможной столовой зелени и яиц словно завитые сэндвичи. Он зазывал пассажиров к завтраку на французском, немецком, английском и еще каком-то — неизвестном — языке, оказавшемся языком Тилия Уленшпигеля.

Воспользовавшись пробуждением новой пассажирки, дядя Ленья попросил показать билет, и тут выяснилось, конечно, что у девушки сидячее бесплацикартное место, а она попала в международный спальный вагон прямого сообщения, и надо доплатить за первый, в крайнем случае за второй класс.

Но ангел, с милой улыбкой влетевший в наш вагон в Дюссельдорфе, объявил себя неплатежеспособным. Барышня что-то говорила, но понять ее было трудно, и мы с женой, не раз бывавшие в Скандинавии, объяснили дяде Лене, что говорит она на шведском языке. На-

верное, это была маленькая хитрость, ангельское лукавство — ничего не понимаю! — чтобы обезоружить и очаровать русского проводника, говорящего только «я» и «найн».

Но дядя Леня показывал на пальцах — четыре поднятых пальца, а за ними полк — сорок и добавлял: долларов, или франков, или марок по курсу. Оказывается, русский проводник знает еще такие слова, как «битте» и «сильвулле». К невнятным объяснениям прислушался американец, тот лиловый, высланный из Советского Союза, достал из наколенного кармана зеленую пачку долларов и громогласно на весь вагон по-русски объяснил, что заплатит за плацкарту, подумаешь, какая мелочь — сорок долларов. Наверное, это были те самые несправедливые деньги, которыми его снабдили для подлого вояжа в мою страну. Мне стало ужасно обидно, что прелестная юная шведка воспользуется грязными долларами. Однако барышня оказалась куда строптивее, чем можно было предположить, глядя на ее юность и миловидность. Она не пожелала принять американскую помощь — утихомириться с вашей благотворительностью, у нее в этом же составе едет шведский друг, с которым условлена встреча. Деньги у него есть, он появится, заплатит сколько надо за плацкарту, и отстаньте вы от меня!

Эти слова она произносила на довольно внятном английском языке со шведским акцентом. Потом достала из сумки свернутый трубкой плакат, на котором изображены играющие дети и написано: «Господин Рейган — ракеты не игрушки», разгладила бумагу и на оборотной чистой стороне написала жирным фломастером следующее объявление на шведском языке: «Андрес! Куда ты запропастился? Я жду тебя здесь!» Плакат был прилажен клейкой лентой на двери купе.

Проводник дядя Леня заволновался — что за плакат вывесила? что она там написала? Но моя жена Мирослава, изучавшая творчество шведского скульптора и фонтанных дел мастера Карла Милесса, объяснила проводнику, что ничего страшного, просто барышня назначила свидание в этом поезде, предупреждает некоего Андреса, что находится в данном купе. Потом Мирослава призвала на помощь все свои знания и воспоминания и решила поговорить по-шведски.

Однако взбалмошная барышня едет с нами в Париж! Она из Упсальского университета, изучает философию и теологию, все лето путешествует, была уже в Югославии и Италии, заглянула и в крохотную страну Сан-Марино. Ездил по системе автостоп. Ее сопровождал друг Андрес из Стокгольма.

Что такое автостоп? Если упростить и сказать по-нашему — голосование на дорогах, подсок на попутных машинах, только узаконенный, вошедший в быт. (Кстати, не пора ли перенять этот гуманный и ни для кого не накладный способ путешествовать? Увы, не очень это принято. Машины с одним шофером, без пассажиров проносятся мимо, хоть дотемна стой на обочине и протягивай руки в мольбе.) Слабым утешением для меня был рассказ шведки, как голосовал Андрес и никто на автостраде не останавливался; она попросила друга уйти в кусты и сама вышла на дорогу. Тут же притормозил новенький «мерседес», и элегантный итальянец распахнул перед ней дверцу. Она села рядом с водителем, не успела позвать своего Андреса, итальянец газанул и в одно мгновение набрал скорость 140 километров, хотя она била его кулачком по плечу, негодяй не остановился, но она надеется, что Андрес нагнал экспресс в Аахене и сейчас едет в одном из вагонов. Между прочим, бородастый, напоминающий мифического тролля ее друг Андрес нашел-таки свою подругу по объявлению, начертанному на оборотной стороне антивоенного плаката, правда уже за час до завершения нашего пути.

Он, оказывается, все-таки был подобран на автостраде, но машина шла не в Дюссельдорф, а в Аахен, он даже дождался прибытия экспресса, а потом в сидячем вагоне попал в симпатичную компанию датчан и не торопился искать Ингрид по вагонам — куда она денется!

Святой отец

Священник в широкорукавном, просторном облачении, очень искусно сшитом, насколько я понимаю, из черного тропикаля. Хороший материал для рясы — не жарко. Под складками одежды атлетическая фигура. Лицо молодое, тронутое свежим деревенским загаром. Глаза карие, как мне показалось, с лукавинкой. Красивая, ухоженная борода, аккуратно расчесанные длинные волосы, чтоб не сказать — кудри, из-под темно-лиловой бархатной шапочки, напоминающей по своему строению купол сельской церквушки. Она называется, если я не ошибаюсь, камиллавкой. Я, конечно, полюбопытствовал, выведал у проводника, куда едет священник. Оказалось — в Бельгию, в командировку. В Брюсселе состоится какой-то коллоквиум.

У батюшки в портфеле-чемодане, именуемом кейсом, а чаще — дипломатом, было несколько журналов с кроссвордами. Священник не выходил из куле, сосредоточенно трудился над разгадыванием и решением словесных задач, шепча предполагаемые слова и подсчитывая количество букв постукиванием пальцев по краю столика. Можно было предположить, что он вспоминает какую-то мелодию. Я ему немножко завидовал — так он быстро и удовлетворенно заполнял строки по вертикали и по горизонтали: я за свою жизнь не сумел до конца решить ни одного кроссворда, хотя, казалось бы, по своей профессии должен умело находить и выбирать нужные слова, как бы замысловато они не были объявлены автором игры (что-нибудь вроде «птица из отряда воробьиных», пять букв, — догадайся, что кенар, или «спортивный аппарат для воздухоплавания», десять букв, — кажется, дельтаплан).

Справившись с кроссвордами, пассажир принялся читать журнал «Юность» номер четыре, тот самый, в котором опубликованы мои стихи. Мне страсть как хотелось, чтобы он прочитал мои сочинения и узнал автора по фотографии — он тут, рядом, в одном международном вагоне, поди ж ты неожиданность. Но, кажется, это не состоялось и не могло произойти, причем по моей вине: не надо молодиться, сопровождать стихи фотографией пятилетней давности — в той возрастной зоне, куда тебя беспощадно затянуло, изменения черт лица и наступление седины происходит быстро, неотвратимо и только для тебя, наивного, незаметно! Потом он достал из кармана своей волнистой необъятной рясы целлофановый пакет с провиантом, засучил рукава и обстоятельно, не торопясь позавтракал. Стали видны фланелевые пестрые рукава ковбойки и широкие крепкие запястья. Священник тщательно вытер пальцы тремя бумажными салфетками, а четвертой — усы и бороду, вновь раскатал черные рукава и вышел в коридор.

Там торчал после мелкой размолвки со своей Викторией Эдик в пижонском свитере и безо всякого интереса смотрел в окно. Он был явно наедине со своими скучными тщеславными мыслями, а когда увидел рядом с собой могучего священника в рясе и с золотым крестом на груди, мгновенно сообразил, что такое соседство не к лицу ему, полуответственному заграничному работнику. Мало ли что люди подумают!

Не отрывая подошв от ковровой дорожки, молодой деятель переместился влево, в сторону — так отстраняются от печного жара. Для того чтобы закрепить этот успех, он вернулся в купе, где наткнулся на демонстративное молчание вздорной Виктории. Свято место пусто не бывает. И к священнику немедленно подкатился выворенный из нашей страны незадачливый американец. Безо всякой подготовки, беспардонно, с ходу он попытался навязать святому отцу дискуссию:

— Скажите, пожалуйста, спасибо за ответ, я хотел бы знать, как вы относитесь к тому, что в России распространилось неверие, что ревнителей веры преследуют и держат в тюрьме.

Священник, когда разгадывал кроссворд, только шептал слова, чуть шевеля губами, а тут обнаружилось, что у него густой и сильный, хорошо поставленный, молодой голос. Не берусь точно цитировать, ограничусь изложением. Вот что он ответил американцу:

— Вы правы, молодой человек, в Российской Советской Федеративной Социалистической Республике,— он со вкусом произносил каждое слово,— так же как и в других республиках Советского Союза, соседствуют верующие и неверующие. Ни за веру, ни за неверие у нас никого не преследуют. Наверное, и в Америке до сих пор в точности неизвестно, верующими или неверующими были два разбойника, которых распяли рядом с Иисусом Христом на Голгофе. Их распяли за то, что они были разбойниками, и никому за почти две тысячи лет еще в голову не приходило объявить их святыми. Но это история, а вы, судя по акценту, американец, интересуетесь сегодняшним днем? Так вот, церковь взывает к милосердию и снисхождению, это правда, но если преступник — верующий, это только отягощает его вину. Он еще и перед богом ответит! Напрасно вы поддаетесь на крючок пропаганды, у нас не преследуют за веру, мой юный друг...

— Но как вы терпите распространение неверия? — пробился в его плавную проповедь американец.

Священник продолжал тем же ровным и красивым голосом:

— Знаете ли вы, молодой человек, принципы демократии? Тот, кто хочет верить,— верит, тот, кто не хочет,— не верит. Это и есть свобода и советская демократия.

— А антирелигиозная пропаганда?

Батюшка мягко улыбнулся:

— Я знаю, что у вас слово «пропаганда» употребляется всуе, имеет, так сказать, отрицательное значение. Я же полагаю пропаганду публичным выражением мыслей и взглядов. Мои проповеди — это религиозная пропаганда. Так же свободно выражают свои взгляды те, кто в бога не верит.

— Но в Соединенных Штатах...— только успел протиснуть между его речей американец, и священник, не меняя тембра голоса, продолжал: — Я бывал в Америке и удивлялся, как люди, объявляющие себя верующими, призывают к новой мировой войне! Бог им такого не простит. Ведь он свою паству именуется мирянами!

Весь наш международный вагон притих и слушал эту дискуссию. Я думал — расскажет ли американец о своей миссии в СССР, пресеченной пограничниками и таможенниками станции Брест? Захочет ли исповедаться, покаяться? Нет, расширять круг разговора он не стал, достал сигарету и ушел в тамбур. Священник величественно проплыл в другой конец вагона.

Вечером вагон услышал разговор студента из Сьерра-Леоне с американским соседом. Студент говорил мягко и дружелюбно:

— Куда тебе со священником разговаривать. Ты слабак перед ним!

Никогда еще не приходилось мне слышать более убедительное звучание этого слова, народившегося во второй половине XX века,— «слабак», и особенно приятно было услышать его из уст африканца — московского студента.

Серафима Андреевна и мадемуазель Ивонн

Пассажиры четвертого купе — молодые и звонкоголосые женщины, болтавшие друг с другом на французском языке. Не хочу придать слову «болтающие» дурного оттенка. Я перевел его с французского — легкая беседа, козери...

Что я увидел в полуоткрытую (или полузакрытую) дверь купе.

На семнадцатом месте лежала картонная коробка из-под импортных дамских сапог. Неужели эти чудачки везут за рубеж импортные сапоги из магазина Мособуви в белой фирменной картонной упаковке?

Женщины вообще-то любят показывать друг другу обновы, что тут особенного? Но в коробке не сапоги, а нечто живое, пестрое и яркое. Мое распаленное любопытство, или любознательность неопытного прозаика, заставило просунуть нос в купе. В коробке лежат вовсе не сапоги,

а небольшие букеты хорошо сохранившихся и завядших цветов. Каждый букет аккуратно упакован в целлофан, поблескивающий, как вода.

По-видимому, женщинам польстило внимание постороннего, и они любезно пригласили меня в купе, стали показывать свою странную коллекцию. Я напряг всю память, чтобы понимать торопливую и не очень четкую французскую речь одной из пассажирок. Она представилась, назвала свое имя — Ивонн. Она пианистка из Бельгии, лауреат конкурса имени королевы Елизаветы. Правда, получила всего лишь поощрительную премию, но гастролирует теперь по всему миру и вот впервые ездила по Советскому Союзу с гастрольями.

Эти гладиолусы подарены в Свердловске. Какой замечательный музыкальный город, зал филармонии переполнен, чудесно слушают музыку! Играла там несколько экспромтов Шуберта, «Карнавал» Шумана, сонаты Гайдна...

Законсервировавшиеся, не осыпавшиеся розовые розы — память о Ленинграде. О, Ленинград! Но вам ли, русским, рассказывать об этом городе! А вот такой дорогой подарок — как называются ярко-синие цветы? Одну минуточку, я записала, да, да, васильки. Из города Максима Горького. Не знаю, садовые ли они, а если полевые, это еще дороже. В Максиме Горьком (так она называла наш город) играла только Шопена — мазурки, полонезы, два скерцо...

Как это здорово, что цветы наших полей и оранжерей движутся в международном вагоне к границе родины, что их нянчит в руках наша музыкальная гостя. Ловлю себя на том, что чувствую гордость, будто цветы и от меня, от нашей семьи, от нашего купе. Все большую роль играют цветы в моей судьбе. Уж не возраст ли тому причиной? А ведь цветы — это молодость, так что дело не в моей жизни, а в том, что все большую роль играют цветы в жизни страны и, если формулировать бюрократическим языком, участвуют в формировании настроения народа.

Никому не в упрек времена, не затуманившиеся в памяти старшего поколения, когда не до цветов нам было. Нас без цветов провожали в огонь, без цветов встречали, если удавалось возвратиться, без цветов хоронили погибших.

Примите цветы Советской страны, мадемузель Ивонн!

Я обратил внимание на живой мрамор маленьких нежных рук пианистки. Пальчики кажутся совсем беспомощными — как они охватывают октаву? Бельгийка, конечно, уловила мое молчаливое восхищение, но хотела сделать вид, что привыкла к подобным взглядам и даже немножко устаёт от них. Но к такому женщины не привыкают. Она все же не удержалась, развернула свои ладони, как бы не зная, что с ними делать, и, потупив очи, сообщила, что руки застрахованы дважды — в Бельгии и во Франции, но в некоторых других странах приходится страховать их только на срок гастрелей, такие там правила. Думаю, что моя оценка была выше страховочной.

Рассказывает бельгийская пианистка:

— В каждой стране по-другому. Иногда зал огромен, но на сцену не бросят ни цветочка, словно сговорились! Бывает — букеты, венки привозят из цветочного магазина в отель. Был и такой случай — на сцену служитель вынес большущий пакет, я имела неосторожность его распечатать, и вся публика увидела вовсе не цветы, а пышный фиштаксового оттенка пеньюар с кружевами, такой спальный, что дальше некуда. В зале закатывались от смеха. Даритель, как оказалось, — старик-миллионер!.. Когда я вернулась в свою уборную, он в смокинге уже дежурил у дверей. Он стоял с таким видом, с таким нагло-ублагодотворенным лицом, будто если пеньюар теперь моя собственность, то я — собственность этого старикашки. Наверное, со стороны забавно было смотреть, как я швыряла ему его подарок, а он ловил, чтобы вновь преподнести мне злополучный пеньюар. Все-таки мне удалось далеко отшвырнуть двусмысленный дар, после чего меломан взял его обратно, даже попросил пакет. Очень красивый был пеньюар... У нас на Западе даже дарители

цветов непременно снабжают букет визитной карточкой. а у вас подарки чаще всего безмянны, и тем они дороже, словно любой зритель дарит от всех, от всей публики.

Но бельгийка, оказывается, знакома с каждым букетом — свердловским, ленинградским, горьковским. Разбирая цветы, мы совершали экскурсию по ее гастрольному маршруту. Помимо восторгов я еще услышал, как в городе К. и еще в городе Н. концерты сорвались, хотя это для гастролей не имеет финансового значения — контракт есть контракт. Импресарио объяснил, что поздно сообщили из Госконцерта — как такое могло произойти? Не раскупили билеты, а на самом деле в тот день в филармонии три раза выступала разрекламированная на листе фанеры у входа рок-группа, с лихвой покрывая все расходы на бельгийскую пианистку. Мне живо представились музыкальные шабашники, наивно полагавшие, что иностранку легко обмануть и ей даже лучше — не выступать, а деньги все равно получит!

— Я так плакала, так плакала! — признается Ивонн, а я не знаю, куда деваться от стыда за порядки в филармонии города К. и Дворце культуры города Н.

Пытаюсь перевести разговор на иную тему:

— Почему, мадемуазель, вы едете поездом, обычно артисты пользуются воздушным сообщением?

Оказывается, Ивонн всегда летала, но прошлой зимой попала в жуткую историю: самолет направлялся в Австралию — у нее там был ангажемент, — была ночь, все пассажиры проснулись над Африкой от странного, никогда не слышанного хлопка, потом выяснилось, что это был выстрел. В проходе между креслами совсем рядом лежал и хрипел смуглый мужчина, по его бороде текла кровь.

В общем, вы понимаете, он угрожал пилотам револьвером, требовал, чтобы они куда-то повернули самолет, а один из экипажа его убил. Убил человека — она впервые такое видела!

Так с мертвецом в проходе между креслами они и летели до самого Кейптауна, вы можете себе представить?! Ивонн после того случая старается пользоваться другими видами транспорта: несмотря на потерю времени, плавала в Японии на теплоходе, а в Европе ездит исключительно по железной дороге, ну а в соседние страны — на автомобиле.

Бельгийка рассказывала, волнуясь, нервно перекладывая букеты в коробке. Сухая колючка, прятаясь под листиком розы, больно кольнула застрахованный нежный пальчик пианистки. Появился маленький и яркий шарик крови. Ивонн, как обиженный ребенок, принялась сосать свой безмянный с трагической гримасой на гладком, ухоженном личике. К счастью, все обошлось и сразу забылось.

Соседка Ивонн, разумеется, оказалась нашей соотечественницей. Я мог бы об этом догадаться в первую минуту своего нахального вторжения в купе, но поддался глупой привычке сперва обращать внимание на иностранцев, потом уж на своих. Догадаться можно было и по тому, как правильно и аккуратно вторая пассажирка говорит по-французски, и по тому, как покорно и внимательно слушала она рассказ новой знакомой — так участливо умеют слушать только русские женщины.

Впрочем, она не имела никаких оснований таиться и сообщила мне, что преподает французский язык в пединституте в одном из городов центра России, в городе, полностью разрушенном в войну и полностью восстановленном теперь, да еще и выросшем втрое.

Ее зовут Серафима Андреевна, будем знакомы. Сколько ей лет? Пожалуй, она ровесница бельгийке, им обоим за тридцать. Возраст женщины угадывать предосудительно, я знаю, но Серафима Андреевна молодая и прекрасная! Чистые русые волосы гладко расчесаны на прямой пробор, коса на затылке образует крепкий узел, который в деревне называется кичкой. Наверное, у нашей преподавательницы никогда не было времени ухаживать, да и просто думать о своей красоте, потому и окружающие мало внимания обращали на брови, неожиданно темные,

какие в девятнадцатом веке иначе как соболиными не называли, на милую курносость и четкий рисунок губ сердечком.

Поскольку я только что рассматривал мраморные ручки бельгийки, способные извлекать божественные звуки из холодных клавиш, я перевел взгляд на руки Серафимы Андреевны. Материал, из которого они изваяны, не мрамор, пожалуй, песчаник, порода, выдерживающая испытание тысячелетиями. На них выделяются не складочки, скорее — морщинки. Знают они, конечно, и стирку, и чистку картофеля, но содержатся в деловой чистоте. К нашему стыду, умеют они поднимать тяжести, но, наверное, как нежно гладят они головки детей. Детей у нее, оказывается, двое — мальчик и девочка, погодки, совсем маленькие. Бабушек нет, няня — несбыточная мечта, так что ребята с понедельника до пятницы в яслях и детсаде на пятidineвке, надо успеть в «уик-энд» забрать после шести тридцати. На время маминой французской командировки соседка обещала присмотреть за ними. Вот такова наша русская жизнь.

— А ваш муж с детьми не возится? — грустно, выдавая свое одиночество, спросила пианистка.

— Нет, почему же, он их обожает, когда дома, от них не отходит. Но он военный, капитан, вот уже год как в Афганистане.

— В Афганистане! — вскрикнула Ивонн, и глаза ее потемнели... — И он стреляет в людей!

— Он защищает людей, — сдержанно парировала Серафима Андреевна, явно не желая вступать в дальнейшую дискуссию.

Но Ивонн не унималась:

— У нас такое пишут о ваших в Афганистане! И ваш муж сейчас там. Невероятно... Вот было написано...

— Я знаю, я читала, — оборвала ее Серафима Андреевна и не очень последовательно, но четко перевела разговор на другую тему.

Она едет во Францию в командировку. У себя она преподает французский, а там будет учить русскому. Русский как иностранный язык — так это именуется. Там, на берегу Средиземного моря, раскинут учебный лагерь. Курсы русского языка организованы обществом «Франция — СССР», они существуют уже не первое лето, но Серафима Андреевна будет на таких курсах впервые, да и в Западную Европу она выезжает впервые. По своей стране много путешествовала: вы же представляете, офицерская семья — это кочевники. Ну, еще в Германской Демократической Республике мы несли службу три года...

Ивонн встrepенулась: как это — несли службу?

Ну как объяснить простейшие сложности нашего бытия этой наивной бельгийской пианистке?

— Так у нас говорят, просто я была вместе с мужем... В Германии я преподавала, конечно, русский язык в школе для советских детей.

Разговор вновь коснулся преподавания языков. Ивонн сказала, что русский язык такой же трудный, как английский, и она никогда не могла ему научиться, даже когда ездит на гастроли в Канаду, заключает контракт, чтоб выступать только во франкоязычных городах, хотя музыку если понимают, то и без перевода.

Ивонн слышала, что в Бельгии какие-то люди изучают русский язык в кружке, про них даже писали в газетах что-то плохое, но она не помнит что — так много плохого пишут про вашу страну, что многие люди привыкли и даже не стараются разобратъся, что правда, а что наговоры.

После второй мировой войны распространился интерес к изучению русского языка, а потом интерес спал. Теперь только в университете учат русский язык...

Серафима Андреевна возразила: ее подруга, советская учительница, находится сейчас в Льеже. При обществе дружбы «Бельгия — Советский Союз» существуют — и уже не первый год — курсы, учатся сейчас двести бельгийцев, а во Франции, куда она направляется, и в Италии сейчас по три тысячи слушателей в кружках и на курсах.

Русский язык изучают и в Японии и в Португалии, в Бирме, Коста-

Рике, Мавритании и Великобритании, вообще в восьмидесяти странах, среди которых есть и такие, названия которых вы и не слыхивали, например Буркина Фасо. В масштабе земного шара только при обществах дружбы полмиллиона учатся на курсах и в кружках. Но в эту цифру не входят русисты, студенты университетов, а в некоторых странах, например в Финляндии и Японии, проводятся уроки русского языка по телевидению, и количество учащихся нельзя определить. Серафима Андреевна открыто радуется, что все это знает и может рассказать. Ивонн ахает и всплескивает руками.

— А я все-таки выучила и после каждого концерта говорила по-русски «до свидания, друзья», и это вызывало аплодисменты публики... Да, я вспомнила, что у нас в газете писали, будто русские учат бельгийцев, чтобы потом, когда коммунисты завоюют всю Европу и Америку, ввести повсеместно единый русский язык.

Серафима Андреевна звонко смеется:

— Правда, у бельгийцев своего языка не существует, но это совсем не значит...

Ивонн тоже улыбается, и мне странно и приятно, что они так скоро подружились и не только потому, что Серафима Андреевна знает французский, понимают друг друга. Может быть, в международном вагоне есть свой климат? Женщины весь день провели в разговорах, но и дня им не хватило, слышно ночью, как щебечут, а Ивонн иногда ахает и вскрикивает, наверное, узнав что-то для нее новое и невероятное.

Утром, когда Федеративная Республика Германии незаметно осталась вдали и до Льежа всего несколько минут, соседки обмениваются адресами, прощаются:

— Огромного успеха вам, Ивонн! Первой премии на новом международном конкурсе!

— Когда вернетесь в Россию, поцелуйте от меня своих маленьких, передавайте привет от вашей бельгийской подруги.— И после некоторой паузы:— И мужа своего поцелуйте.

— Да, да, обязательно!— дрогнувшим голосом отвечает Серафима Андреевна.

А вот и Льеж. Бельгийскую пианистку встречает высокий и стройный старик с зонтиком на сгибе руки. Он подкатывает к вагону тележку с никелированными поручнями. Наверное, отец. А может быть, муж? А может быть, друг? Теперь уже не спросишь — старик и пианистка удаляются, сосредоточенно катят тележку. Сверху на чемоданах плывет белая коробка из-под дамских сапог. Цветы моей страны прибыли в Бельгию.

Кузнец стучит

После чистенькой и полированной Западной Германии Бельгия, в которую мы вкатились незаметно, показалась мне похожей на кузницу. Может быть, это впечатление возникло оттого, что как раз шахты, сталеплавильни, лабазы, паровозные депо, котельные издавна притиснуты к железнодорожной магистрали, несколько заслоняют, загораживают дальние пейзажи, зеленую и голубую природу?

Скорее всего, я глядел на эту предпоследнюю на нашем пути страну через воспоминание юности: огромное воздействие на меня оказало когда-то стихотворение Эмиля Верхарна «Кузнец». Я помнил и помню Брюсовский перевод, могучий образ Кузнеца, удивительный и новый для своего времени. Будь я унылым литературоведом, я бы сказал, что бельгийский поэт Э. Верхарн (1855—1916) на рубеже девятнадцатого и двадцатого веков открыл в европейской поэзии тему гегемона рабочего класса, написал о труде его как главной движущей силе общества. Но я просто люблю Верхарна, без всяких формулировок.

У меня не так много любимых книг мировой литературы, стоящих в моем кабинете на полке в первом ряду за спиной. Но среди них том Эмиля Верхарна и «Легенда об Уленшпигеле и Ламме Гудзаке и об их приключениях отважных, забавных и достославных во Фланд-

рии и других странах» Шарля Де Костера. Великие произведения бельгийских писателей.

Тиль Уленшпигель! Гигант, обладающий всеми человеческими чертами, простой, как мы, и возвышающий имя человека, великий рыцарь свободы, образец в дружбе и любви, романтическая фигура, почерпнутая из народных легенд и отвечающая народным идеалам, сближающая века и события.

Автор книги был поэтом и журналистом, то есть человеком нашего времени, и неудивительно, что нам в юности он казался нашим современником. Я впервые держал в руках книгу об Уленшпигеле, выпущенную издательством «Земля и фабрика» в переводе поэта Осипа Мандельштама в начале тридцатых годов, когда делал начальные шаги по жизни. Не только события, но и книги — наш жизненный опыт, если это такие книги. Быть может, потому сегодня увиденная Бельгия кажется мне черно-белой гравюрой, что отец Тиля — угольщик Клаас?

Может быть, наши комсомолки с Метростроя были прекрасны потому, что мы видели их сквозь волшебный образ любимой Тиля — Неле?

Оптимисты всех времен состоят в тайном и нерушимом союзе, но и пепел сожженных в разные эпохи не то чтобы одинаково, но так же стучит в сердце. Эмиль Верхарн говорил о книге Шарля Де Костера, что это первая книга, в которой его страна обрела себя. Сквозь поэзию Верхарна и Де Костера я смотрю на Бельгию.

Вспомнилась первая встреча с этой страной. Тогда отмечалось полвека со дня трагической гибели Эмиля Верхарна. Я был приглашен на симпозиум, прилетел в Брюссель вечером и поселился в отеле «Космополит». Утром к отелю подкатил автобус, уже заполненный участниками симпозиума, и мы отправились в путешествие. Городок, где родился поэт. Мы добирались до него не меньше трех часов.

В пути мы перезнакомились: мои спутники — три университетских профессора, а остальные — поэты. Некоторые (увы, не все) выпустили (на свои средства) тоненькие книжки стихов тиражом триста — пятьсот экземпляров. Все они где-нибудь служат, заработать на жизнь литературным трудом практически невозможно. Один из спутников так отрекомендовался:

— Я поэт, нищий, как Шарль Де Костер.

Я не успел в Брюсселе позавтракать и, пока собирались местные участники дискуссии, решил угостить кофе моих автобусных спутников в кафе напротив, наскоро что-нибудь съесть, потому что тоже почувствовал себя голодным, как Шарль Де Костер. Но, оказывается, я был не только голоден, но и нищ, как он: по дорожному чеку, привезенному из Москвы, я не смогу получить франки до понедельника, а сегодня суббота. Наличной валюты — ни сантима! Хорошо, что я не успел пригласить поэтов в кафе, вот был бы конфуз!

Меня предупредили, что выступление должно быть кратким — впереди торжественный обед, его дает мэр города в память великого земляка. Симпозиум был любопытный. Один оратор утверждал, что Верхарн — певец мировой скорби и поэт отчаянья, а другой называл его провидцем и оптимистом, если на что и смотревшим мрачно, то — на капитализм. По накалу страстей и схематичности позиций дискуссия напоминала мне заседание московской секции поэтов: одни кричали до хрипоты, другие посмеивались. Немолодой исследователь в пенсне, похожем на верхарновское, тихим голосом поведал, что несчастье поэта в том, что он увлекался политикой и изменил Бодлеру и Верлену.

Свою речь я написал заранее (на импровизацию меня бы не хватило!), она была переведена еще в Москве, оставалось только прочитать французский текст. Мне показалось, что аудитория больше обращает внимание на мое ужасное произношение, чем на содержание выступления. Но когда я сообщил, что в воспоминаниях жены Ленина Надежды

Константиновны Крупской есть строки, что Владимир Ильич в 1909 году «в бессонные ночи зачитывался Верхарном», несколько человек заплодировали. Это воспоминание Надежды Константиновны зовет меня к раздумью о поэте: не могла «эстетика отчаянья и смерти» заставить такую цельную натуру, как Ленин, зачитываться. Да была ли она у Верхарна? Я рассказал бельгийцам, как популярен был Верхарн в начале советского летосчисления (реплика: «У нас он тоже давно забыт!»), о том, что Маяковский, а может быть и Блок, перенял верхарновское отношение к городу, а Есенин почувствовал угасание деревни так же, как бельгийский поэт (реплика: «А кто такой Блок?!»).

Возник еще спор, был ли Верхарн новатором формы, потом кто-то пустился доказывать, что гибель поэта под колесами поезда была не несчастным случаем, а самоубийством, но никто уже не слушал ораторов — у всех на уме был торжественный обед у мэра города. Признаюсь, и я хотел бы поскорей расстелить салфетку на коленях — ведь я вчера ужинал дома, в Москве, а в Бельгии еще не держал вилки в руках или ложки.

Как публикуют в отчетах, «обед прошел в обстановке теплоты и добросердечия», все участники дискуссии улыбались друг другу, забыв о своих несогласиях и спорах. Один распалившийся стихотворец случайно, и трижды произнося слово «пардон», плеснул мне на пиджак красного вина.

Я насыпал горсточку соли и отправился в туалет отмывать побагровевшую полу пиджака. Запасного костюма у меня не было, а мне еще предстояла неделя в Бельгии. Вино оказалось высшего сорта. Я оттирал пятно бумажной салфеткой, полотенцем, сыпал соль и размывал его, но тщетно. Пятно разгоралось все ярче, я продолжал экспериментировать.

Огорченный и обессиленный я вышел в зал. А зал был откровенно, категорически и безнадежно пуст. Я пытался выяснить, где мои коллеги, у официанта, но, явный фламандец, он ни слова не понимал по-французски. Жестами он объяснил мне все-таки, что господа разошлись, разъехались, финиш, ваше пальто на вешалке — последнее. Он повернулся ко мне спиной и протянул ладонь лодочкой, ожидая чаевых. Но, как сказано выше, московский гость был абсолютно нищим.

Официант сразу потерял ко мне интерес, холодно кивнул и, если смотреть суровой действительности в глаза, выпроводил меня на улицу. Щелкнул дверной замок, в ресторане погас свет.

Лился, капал, лепетал безнадежный, никогда не кончающийся средневропейский дождь. Улица была черна, зловеще безлюдна, и трудно понять — то ли передо мной верхарновский город-спрут, то ли, тоже верхарновская, умирающая деревня... Забыли меня после обеда... Местные дискуссионты и представители мэрии разбрелись по домам, брюссельские и вообще приезжие укатили.

Ни одного адреса, ни одного телефона в записной книжке. Да и будь у меня телефоны, как бы я позвонил без монетки? Советского участника симпозиума облили красным вином и оставили под дождем вдали от Брюсселя. Только хранимый в душе образ Тиля Уленшпигеля спасет меня от отчаянья. Ведь первоначальное значение слова «гёз» — нищий, бродяга. Ладно, перевоплощусь в гёза.

Я пытался представить обстоятельства: покидая ресторан, хозяева предположили, что я уехал раньше их. Все были веселы и сыты. Как я доберусь до Брюсселя, до своего отеля «Космополит» (три звездочки на вывеске у входа)? Но ведь это Европа, здесь существует система авто-стоп. Подберут, довезут, ничего страшного! Надо только выбраться на шоссе. Смутно помня, как мы въезжали на автобусе, я поплелся по улицам. Но город ночью не тот, что днем, не разберешься в лабиринте. Наверное, существует станция междугородных автобусов, найду автобус на Брюссель, заберусь в его глубину, а когда обнаружат, признаюсь, что нищ, как гёз, но только до утра. Получу в банке по чеку франки, принесу долг, куда скажут. Выезд на шоссе я нашел. Никаких

автобусов. Машины идут редко, все сюда, в город. Пешком до Брюсселя добреду к послезавтра?

Я — Тиль Уленшпигель двадцатого века, шагаю по дорогам, славлю свободу и пою свою не последнюю песню. Шел дождь, текло время. Несколько машин промчалось, обдав меня водяной пылью. Я несколько раз проголосовал, но безнадежно. Имею ли я в Бельгии право голоса? Наконец одна длинная, антрацитно-черная, блистающая дождевыми бриллиантами машина притормозила. Опустилось стекло, мне задали какой-то вопрос на каком-то языке. Прижатый усталостью, я уже забыл все французские слова и только твердил: Брюссель, «Космополит». Мне казалось, что, произнося название отеля, я даю понять, что я иностранец, остановился в «Космополите». Распахнулась вторая дверца, кажется, я приглашен.

За рулем — женщина, справа от нее мужчина. Вижу только затылки. А все же типичная пара. Автоматриархат? Нет... Я слышал, что на Западе деловые люди предпочитают, чтобы автомобиль был на имя жены: в случае банкротства не конфискуют. Очень славные оказались бельгийцы. Правда, узнав, что я из Советского Союза, мужчина ахнул и спросил, сколько у меня жен, но потом мы и посмеялись и хорошо поговорили, а когда добрались до «Космополита», они пригласили меня к себе, но я уже обессилел, с огорчением отказался.

...Бельгия — на исходе, из окна вагона видны последние терриконы угольных шахт. Странно, что на французской стороне шахт уже не видно, словно угольные пласты соблюдают под землей государственную границу. Мы въезжаем во Францию.

Компьенский лес

Поезд стремительно приближается к столице Франции.

Я едва успеваю прочитать названия станций, мелькающих, как страницы книги под ветром.

Мне интересно углядеть станцию Ритонд — она знаменита: неподалеку от нее, в Компьенском лесу, дважды в двадцатом веке происходили события, врезавшиеся в историю.

11 ноября 1918 года маршал Фош вручил условия перемирия германским представителям, а 13 ноября перемирие было подписано — германский милитаризм был строго наказан за агрессию... 22 июня 1940 года здесь же Гитлер поставил на колени Францию, торжественно провел церемонию реванша.

Станцию Ритонд я так и не заметил. Зато могу утверждать, что мы проехали станцию Компьен. Может быть, это и есть Ритонд, и чтобы четче выглядела история (да и в целях развития туризма), станцию переименовали? Помню, что писалось когда-то: от станции Ритонд была проложена железнодорожная ветка в Компьенский лес, по ней проследовал белый салон-вагон маршала Фоша, которому предстояло стать историческим экспонатом.

Не просто военное поражение потерпела кайзеровская Германия: первую мировую войну прикончили приближающиеся революционные события в Европе, наша Великая Октябрьская социалистическая революция (как ни трудно было молодой Советской республике заключить Брестский мир).

8 ноября германские уполномоченные прибыли в Компьенский лес. Им были переданы условия перемирия и отпущено семьдесят два часа на размышление. В условиях были не только эвакуация германских войск из оккупированных стран и территорий на востоке, не только аннулирование Брестского и Бухарестского мирных договоров, но и требования разоружения Германии: выдача пяти тысяч исправных пушек, двадцати пяти тысяч пулеметов, тысячи семисот самолетов, выдача военного флота.

Уж не помню, в какой книге мемуаров я читал рассказ о компьенских переговорах. Запомнилось, как германский делегат Эрцбергер ска-

зал маршалу Фошу, что тогда они пропали и как теперь будут защищаться против большевизма... Он недвусмысленно развил эту мысль, что, мол, вы не понимаете, что, отбирая у нас средства защиты против большевизма, вы нас губите и губите самих себя.

Идея реванша оказалась удобрием, которое содействовало выращиванию фашизма в сознании нескольких поколений немцев...

22 июня 1940 года Адольф Гитлер разыграл в Компьенском лесу трагический спектакль, утоливший жажду реванша. Преданная своими капитулянтами и разгромленная Франция должна была прислать делегацию в Компьенский лес и подписать капитуляцию в том же белом вагоне, где двадцать два года назад на колени поставлена была Германия.

На каком железнодорожном кладбище был найден салон-вагон маршала Фоша? Белый международный вагон был доставлен на станцию Ритонд, а оттуда — в Компьен. Установленная когда-то французами здесь, в лесу, металлическая памятная доска в память перемирия 1918 года была задрапирована военными знаменами фашистской Германии. Сюда же притащили личный штандарт Гитлера.

Между прочим, эти штандарты и знамена уже в качестве советских военных трофеев 24 июня 1945 года гвардейцы, со всех фронтов прибывшие на Парад Победы, под торжествующую дробь барабанов проволокли по мокрой (только что прошел звонкий летний дождь) брусчатке Красной площади и швырнули к подножью ленинского Мавзолея. Эти трофеи и сегодня можно увидеть в Музее Вооруженных Сил на площади Коммуны. Для них отведен специальный зал.

А здесь, в Компьене, тогда, за год до нападения Германии на нашу страну, рядом с несколько поржавевшим на швах корпусом салон-вагона была разбита армейская палатка как резиденция для французских делегатов. Делегацию поверженной Республики возглавлял французский генерал с немецкой фамилией Хюнцигер.

Гитлеровцы распорядились французской делегацией как хотели. Они повезли ее в город Тур, затем в неделю тому назад взятый Париж, где в отеле «Руаяль-Монсо» состоялась предварительная встреча с генералом Типпельскирхом, чьи дневники позже составили своеобразную историю действий гитлеровского вермахта. Затем французов повезли в Компьен. Там уже находились главнокомандующий вооруженными силами фашистской Германии Вильгельм Кейтель, тогда генерал-полковник, а в будущем фельдмаршал и подсудимый Международного Нюрнбергского трибунала, главнокомандующий сухопутными силами и тоже будущий генерал-фельдмаршал Вальтер фон Браухич, избежавший суда лишь потому, что ссорился с Гитлером. Были там и Герман Геринг, и Иоахим фон Риббентроп, и Рудольф Гесс, и другие военные преступники, будущие подсудимые Нюрнбергского процесса. Ждали Гитлера, он явился и молча вручил французский экземпляр условий капитуляции. Куда потом девался белый салон-вагон, где подписывалась дважды капитуляция?

Третья в двадцатом столетии историческая капитуляция подписывалась уже в другом месте. Кстати, мы вчера его проезжали, и, когда оставалось несколько минут до берлинского Останхофа, из окна нашего международного вагона был виден Карлсхорст и в торце прямой улицы, идущей от станции, — здание инженерной школы, теперь музей.

Мне посчастливилось присутствовать на церемонии в Карлсхорсте, происходившей в ночь с 8 на 9 мая 1945 года. У нас День Победы отмечается 9-го, а в странах Европы — 8-го, потому что подписание происходило, когда по средневропейскому времени еще длилось 8-е, а в Москве уже наступило 9 мая.

Такие дни не забываются, и я как сейчас панорамно вижу зал столовой инженерной школы, и флаги держав-победительниц над столом, во главе которого — маршал Жуков, и американец — командующий стратегическими воздушными силами США генерал Спаатс, и главный мар-

шал авиации Великобритании Теддер, и главнокомандующий французской армией генерал Жан-Мари Габриель де Латр де Тассиньи.

Мы, военные журналисты, разместились вдоль окон, и оказавшийся моим соседом американский корреспондент (он кое-как объяснялся на украинском языке) поведал, что первоначально не было предусмотрено участие французского представителя в церемонии, но маршал Жуков, увидев де Тассиньи, распорядился включить его в состав лиц, принимающих капитуляцию, и пригласил занять место за столом.

Через много лет, во Вьетнаме, мне рассказали, де Тассиньи командовал французскими экспедиционными войсками, и под Дьенбьенфу в 1954 году корпус потерпел решающее поражение, а генерал потерял сына...

Купе проводников

В международном вагоне два проводника, но их вместе мы видели только в Москве до отправления поезда. Работал, принимал пассажиров лишь один, другой прошел в вагон, покачивая портфелем-кейсом, всем своим независимым видом демонстрируя, что на дежурстве не он, а напарник, которому не надо мешать.

Вот и получилось, что я познакомился с тем, кто дежурил на Белорусском при посадке, и общался преимущественно с ним в пути. На долю другого выпали как раз обе ночи — и та, что до Бреста, и та, что при пересечении Федеративной Республики Германии.

Итак, надо познакомиться читателя с дядей Леней. Так его все стали называть с самого начала путешествия, хотя он лет на двадцать старше своего напарника, а того все пассажиры величают Федором Григорьевичем.

Дяде Лене явно за пятьдесят, он грузноват, а может быть просто крепок в плечах. Мне было интересно выяснить, как становятся проводниками международных вагонов, и оказалось, что все очень просто: он потомственный железнодорожник, работал с юности в депо, но врачи заметили ослабление слуха и посоветовали перенести работу. Вот уже более десяти лет дядя Ленья — проводник, исколесил всю нашу страну, даже трудно сказать, где не был. Его и сейчас направляют не только за границу, говорит, что особо нравится ему сибирская магистраль — ощущаешь размеры страны. А Европа что — Бельгию проскакиваем за два часа! Но маршруты за границу, конечно, замечательны. Он побывал и в Вене, и в Пекине, и в Хельсинки, ну а в Париже случается бывать два раза в месяц.

Мне хотелось разобраться его приветливость, внимательность — профессиональные приемы или свойства характера? — и я пристально вглядывался, наблюдал и изучал каждое его движение. Могу теперь сказать определенно — вот человек, для которого приветливость и доброта естественны, как дыхание, они и основа профессионального мастерства.

К какой сфере относится работа проводника? Конечно, к сфере обслуживания, про которую много говорят сегодня. Дяде Лене и его напарнику приходится и пыль вытирать, и заниматься тем, что называется черной работой. Но это их ничуть не смущает. Да и стакан чая можно подать пассажиру по-разному — иные труженики сферы обслуживания считают услугу унижением, а он вот угощает пассажира чаем так приветливо, что и чай слаще! Насколько я понимаю, и дядя Ленья и Федор Григорьевич равны по службе, однако младший по возрасту величает своего товарища не иначе как «директор» или «шеф», без подобострастия, но с уважением.

Не знаю, недостаток ли это, но любит дядя Ленья побеседовать с пассажиром. Я заметил за границей, когда приходилось ездить по внутренним железнодорожным линиям в Норвегии, Румынии, Испании, что иностранные проводники работают четко, быстры в движениях, но неразговорчивы, и скорей может показаться, что они надменны, чем скромны. (Возможно, просто едет много разноязычных пассажиров — со всеми

не поговоришь.) Совсем не похож на них наш проводник. Может, кому-то его разговорчивость и не нравится, но мне, его открытость показалась признаком доверия, я даже внутренне загордился — значит, я показался ему симпатичным.

А мне всегда хотелось поговорить с новым для меня человеком, узнать, кто он, что у него на душе и за душой. Разумеется, не всегда удастся — есть опасность показаться болтуном, потом места себе не найдешь и будешь казнить: чего тебе было надо? Вот получил щелчок по носу — и поделом! Не лезь!

Существуют люди в панцире, похожие на изобретенную в наше время водоотталкивающую ткань, только они человекоотталкивающие. Странно, но, кажется, их количество не уменьшается, а наоборот — растет. Но не берусь категорически утверждать. А может, это я им неинтересен, и вина в том не их, а моя?

Дядя Леня довольно сносно объяснялся с пассажирами по-английски, а его напарник — на французском языке. Правда, с произношением у них не все гладко, вернее — все слишком гладко. Оказывается, пользуются самоучителем, а курс на граммофонных дисках — игрушка, требующая хлопот: не возьмешь же с собой в дорогу патефон. Очень весело рассказывал проводник, как он после двух рейсов в Пекин усердно взялся за китайский язык. Добыл самоучитель в букинистическом магазине — и за работу. А получилось так, что послали в последующие полгода исключительно в другую сторону, а все же сулили, что завтра предстоит рейс в Пекин, так что готовься. В очередной рейс брали пассажиров в Варшаве, и вдруг — удача-то какая! — предъявляет билет китаец. Вот уж наговоримся вдоволь! Дядя Леня приветствовал нового пассажира по всем правилам конфуцианской вежливости, но тот, никак не реагируя, прошел в купе. Он был в синей тужурке с накладными карманами, не военной, но и не гражданской, и дядя Леня решил, что он важная персона и не снисходит до разговора с простым проводником. Уже в пути проводник предпринял новую попытку объясниться на китайском языке. И опять никакой реакции. Китаец вежливо спросил по-русски, на каком языке с ним разговаривают. На китайском? Но такого наречия у нас не существует! А если проводник вздумал его разыгрывать, то китайская сторона заявляет первый решительный протест.

Конфликт был кое-как улажен, видимо, обаяние дяди Лени сказалось благотворно. Но с тех пор он не решается демонстрировать свое знание китайского языка. Кстати, и на Восток не посылали, другой был график. Проводники вполне квалифицированно объяснялись с европейскими пассажирами, но когда учительница Серафима Андреевна изъявила готовность устроить маленькую устную проверку его знаний, дядя Леня сказал, что его на этот раз заменит Федор Григорьевич, который пока отдыхает. Я все хотел определить, какое главное человеческое качество преобладает в этом человеке. Пожалуй, достоинство, не наигранное и не раздутое, а уверенное, степенное и ставшее — не знаю, сразу или постепенно — естественным состоянием.

Наверное, проводник не первое лицо в сложной железнодорожной иерархии. Но утверждаю — в международном вагоне он главный представитель государства, сопровождающий многоцветную и многоязычную группу жителей земли по территории нашей страны и еще четырех стран. Он и дипломат, и пограничник, и таможенник. Какими бы непредсказуемыми и неожиданными ни были возникающие вопросы, их решать и разрешать должен он, а посоветоваться не с кем. Странно, что до сих пор проводник не стал персонажем художественной литературы или хотя бы очерка!

Во мне с отрочества, с тех далеких времен, когда я был деткором «Пионерской правды», за книгами стихов и прозы прячется газетный репортер. Вот я и стал спрашивать дядю Леню, какие интересные случаи, необычные эпизоды запомнились ему по службе. Разумеется, я имел в виду погоню, стрельбу в тамбуре, «Интерпол», преследующий

похитителей и террористов, и всяческий международный детектив. Дядя Леня задумался, потер подбородок.

— Знаете, нас поощряют за порядок, а не за скандал. Работаем помаленьку. Был, правда, в прошлом году случай: ночью слышу стоны и крики. Вагон был прицеплен к австрийскому составу, так что мы, можно сказать, одни во всей Европе. Вагон был почти пустой, хорошо, если в купе по одной полке занято. Стучу в купе, откуда вопли, — не открывают. Пришлось кое-как откатить дверь. Представьте, пассажирка рождает. Итальянка, кажется. Разбудил напарника, он в майке и трусах бежит на помощь. Мы ребенка приняли, уж не знаю, по правилам или нет. Славный пацан, между прочим, крикун отменный. В казенной простыне сдали его в Вене вместе с мамашей. За пропавшую простыню хотели дома взыскать с меня в трехкратном размере. Пересудов сколько было! Подразнивали меня, нет-нет, а кинут фразочку: как ваш международный родильный дом? готов ли к увеличению потока пассажиров? А я отвечаю: мы с Федором Григорьевичем как пионеры — всегда готовы... Благодарность получили от какой-то австрийской конторы. Наши тоже в долгу не остались, но сути дела в приказе не обнародовали, премировали глухо — «за отличное обслуживание». Однако мы с напарником после этого случая стали нервничать, когда посадка: если пассажирка подходит, мы невольно зыркаем глазами — не собирается ли она посадить нам еще одного пассажирчика?

— А если бы случилось?

— Справились бы. Опыт есть.

Когда я разговорил дядю Леню, он принялся не то чтобы хвастать, но с гордостью сообщать, какие встречались знатные или интересные пассажиры. Каждое отдельное воспоминание начиналось с небрежного «мы возили», дальше шла новелла.

Некоторые его рассказы запомнились.

— Мы возили во Францию самого Игорька! (Кто такой Игорек, я не знал, тогда не разобрался, а после не уточнял. Знаю только, что Игорек — хоккеист, кумир, первая клюшка, но, кажется, уже закатилась его звезда...) Команда должна была отправиться самолетом через два дня, а Игорьку доктора прописали ледовые примочки и покой, вот он и поехал вперед поездом. Команда его провожала скопом, все парни обращались к нам, проводникам, а мы их успокаивали — полный порядок, мы вашу первую клюшку вылечим, не сомневайтесь. Ему в матче с «Торпедо» здорово рассадили коленку, а в воскресенье в Марселе все равно надо отстаивать честь команды. Дело было зимой. На первой же остановке мы с напарником заготовили снегу и стали прикладывать примочки. Одновременно в холодильнике намораживали кубики льда. В Бресте опять провели снегозаготовки. Ногу чемпиона держали в состоянии замороженном состоянии, хотя Игорек уже и стонал и ругался, даже в купе не хотел нас пускать. Но мы тоже болельщики, не отступились! Слякоть в вагоне развели — распутица да и только. Но на подступах к Парижу выяснилось: ногу мы излечили, но простудили чемпиона, все носовые платки ему отдали, оказалось — мало. В матче в Марселе он все-таки загнал в ворота две шайбы, о чем даже в газете «Советский спорт» была заметка... К той победе мы причастны.

Второй рассказ:

— Возили мы из Парижа в Москву миллионера с переводчицей. Она сразу предупредила, что он миллионер. Переводчицей она ему приходится, или еще кем — неизвестно, мы в подробности не вдавались. Только тронулись, заявила переводчица, предупреждает, что ее миллионер — кофейник страшной силы. Не улыбайтесь, бывают чаевники, а он кофейник. У нас был запас порционных кофейных пакетиков с фабрики имени Микояна. Поили мы миллионера и переводчицу всю дорогу, кипятильник едва за нами поспевал. Еще понравились им вафли лимонные, наш запас весь перевели. Разменяли третью тысячу километров, едем по родной территории, близко Москва. Собираем деньги. Миллион-

нер объясняет через переводчицу: у меня только франки и доллары, советских денег нет, я советские порядки знаю, на своей земле вы должны получать только своими рублями, иначе это будет называться фарцовкой, у вас возможны неприятности, так что могу записать вам благодарность, джентльмены. Разумеется, мы такому жиле не предоставили возможности писать благодарность — нужна она нам! Проходили мы все это, присвоение прибавочной стоимости. Мелочиться не стали, чести своей не посрамили — можем сами рассчитаться за кофе, не пообедем. Он еще кофе попросил, но я развел руками — запасы кончились... Мы возили молодежь со всей Европы на фестиваль и с фестиваля, дипломатов, министров. Всегда все в порядке, никто не жалуется. Между прочим, в связи с годовщиной победы возили ветеранов их и наших, — и, представьте, интересная подробность: летчики любят ездить за границу поездом. Это народ был из эскадрильи «Нормандия», французы, действовавшие совместно с нашими и с наших аэродромов. Симпатичные стариканы, отставные истребители.

Стариканы? Да что такое он говорит? Я виделся с ними, познакомился сразу после войны. Все они были моложе меня! Ладно, все же «старикан» — это солидная характеристика, в ней есть что-то могучее. Не сказал же дядя Леня «старички», «старикашки», нашел настоящее слово. Быть может, я занимаю то купе, в котором совсем недавно, этой весной, ехали старые знакомые — французские летчики? А познакомилась мы — не буду врать — не в бою, а сразу после победы и в Москве, еще не пришедшей в себя после народного ликования.

Приехав на несколько дней — уже не с фронта, а из Советских оккупационных войск в Германии, — я позвонил по телефону Илье Григорьевичу Эренбургу. Услышал в трубке его надтреснутый, чуть насмешливый голос, к которому, признаться, с трудом привыкал, но, кажется, привык:

— Значит, вы остались живы, выскочили из мясорубки почти целым? Удивительно, даже невероятно! И конечно, сегодня еще не обедали? Тогда считайте, что вы напросились ко мне на обед. Приходите к трем, не опаздывайте. Я угощу вас новым знакомством, у меня будут такие же безумцы, как вы, только они французы.

Я, конечно, с трепещущим сердцем явился на улицу Горького за полчаса до назначенного срока и топтался около подъезда, помня, что Эренбург не выносит торопыг. Мимо меня прошли в подъезд три красивых подтянутых молодых человека в нерусской форме, но с нашими орденами на мундирах — Красного Знамени, Отечественной, Звездочки.

Я сразу понял — французские летчики — и побежал вслед за ними наверх, перескакивая через две ступеньки на третью.

Эренбург приготовил французам угощение, которое можно отведать, как он утверждал, лишь рано утром в харчевнях парижского рынка (чрево Парижа!), — луковый суп и петух в красном вине. Петуха подали на второе, но хозяин не позволял гостям взяться за вилки, пока они не выслушают инструкцию, как готовить петуха. Оказывается, его надо варить, шпиговать свиным салом, а потом жарить четыре часа.

— Ну и как получается? — спросил один из летчиков, рассчитывая скорее получить свою порцию.

— Получается отвратительно, — в обычной своей манере сказал хозяин. — Как вареная автомобильная шина!

Петуха мы съели, но уверенности, что хозяин не прав, не обрели.

Запомнились все подробности того счастливого дня. Прекрасные ребята эти летчики! Поначалу в эскадрилье их было всего четырнадцать, они себя называли райками.

Они прибыли в СССР из Англии, Марокко, Туниса, Индокитая, Ирака. Собрали их на базе Раяк на Ближнем Востоке. Сражались они отчаянно и бесшабашно, поначалу их боевой почерк отличался от почерка наших советских асов: каждый французский пилот беззаветно воевал в небе, но сам за себя. Это вело к потерям, которых могло бы не быть.

Терпеливо и упорно советские товарищи передавали свой опыт французам — бой в воздухе требует взаимодействия, дружбы, спаянности коллектива, будь то эскадрилья или только пара истребителей в полете.

Тогда у Эренбурга французские летчики вспомнили историю, относящуюся ко времени Курской битвы. Эскадрилья «Нормандия», только что преобразованная в полк, дислоцировалась на правом фланге, летчики жили в селе Хатенки. Советская разведка знала, что противник охотится за французскими летчиками, готовится диверсия, заброшены в наш ближний тыл диверсанты, не один, не два — сорок головорезов!

Беспечность французов была известна нашим. В районе Хатенок действовали усиленные патрули, советские и французские. Одна из патрульных групп заметила «виллис» на дороге. Пассажиры автомашины в советской военной форме, но один вызывает подозрение: на голове какая-то странная шапка, шинель без погон (тогда уже были в Советской Армии введены погоны) небрежно расстегнута, а под ней нечто похожее на фуфайку. Французы были подняты по тревоге. Два советских лейтенанта вместе с летчиками «Нормандии» выбежали на дорогу. «Виллис» был задержан этой группой готовых ко всему офицеров, уже извлекших пистолеты из кобур. Если учесть, что французы были в разном и довольно необычном обмундировании, могло случиться все что угодно. Вдруг это советские офицеры, они не поймут, кто на них нападает, откроют стрельбу, станут отбиваться гранатами! Если же это немцы... Но тот, в странной шапке и шинели без погон, улыбался, немного кривя губы, а точнее — ухмылялся. Патруль еще пуше распалился: вот какую птицу мы поймали! Однако храбрец — он еще улыбается. А храбрец заговорил по-французски.

Эренбург громко захохотал, что с ним случалось не часто: за мной и за вами охотились немцы, а в плен я попал к французам!

Хозяин и гости обнимались, держались за руки. Я никогда не видел Илью Григорьевича Эренбурга таким растроганным.

Грустно было то, что эти трое лишь знают о том, как Эренбурга приняли за немецкого диверсанта, но в Хатенках не были, прибыли в полк позже из Индокитая и с Мадагаскара. Многие друзья Ильи Григорьевича погибли в 1943 году, «Нормандии» пришлось пополняться, переформировываться.

А всего за войну летчики «Нормандии» (позже полк назвали «Нормандия — Неман») сбили двести семьдесят три фашистских самолета. Тогда, в сорок пятом, после победы стало известно, что они улетят домой в Париж на самолетах «ЯК», тех самых, на которых летали на войне. Им было подарено тридцать семь самолетов, на фюзеляжах красовался герб Нормандии — лев с золотой пастью, а на хвостовом оперении — советская красная звезда. Вот о чем вспомнил я, слушая рассказ проводника о ветеранах, следовавших недавно в нашем международном вагоне.

Мелкое тщеславие — его так трудно перебороть — подтолкнуло меня, и я спросил дядю Леню, не пели ли французы каких-нибудь советских песен. Наводящий и хитрый вопрос был вызван тем обстоятельством, что через десять лет после войны я сочинил стихотворение «Воспоминание об эскадрилье «Нормандия». Композитор Марк Фрадкин положил его на музыку, а артист Марк Бернес стал первым ее исполнителем: «В небесах мы летали одних, мы теряли друзей боевых, ну а тем, кому выпало жить, надо помнить о них и дружить...» Песня распространилась, была переведена на французский язык, так что я могу предположить, что она известна и тем летчикам, которых вез дядя Леня. Проводник, кажется, перехватил тайный ход моих мыслей:

— Нет, французы не пели. Понимаете, международный вагон, пение как-то не принято. Правда, те, что на фестиваль отправлялись, пели все двое суток, но им положено. Вспомнил — мы еще возили в Париж тех, что встречали французских летчиков на Белорусском вокзале. Тоже

в возрасточке люди, наши советские механики, работавшие с ними. Может быть, они пели, только я запамятовал, пели они или нет, не скажу.

Не надо было заводить разговор о песне. А я вот завел да и попался.

— У вас, кажется, песенка про «Нормандию — Неман» написана? — с хитрой улыбкой как бы между прочим спросил проводник. — Слышал ее по телевизору. Конечно, интересно было бы вам, если бы я сказал, что слышал, как ее пели те, о ком она написана. Но я слышал только по телевизору, врать не буду.

Чтобы снять неловкость, я спросил, существует ли в вагоне книга благодарностей. Правда, я помню, что у нас на Комсомольском проспекте в магазине «Дары природы» красуется объявление: «Книга жалоб находится в медовом отделе», но мне не по душе книга жалоб, даже если она в медовом отделе, и я спросил про книгу благодарностей. Дядя Леня смутился, и я понял, что не в его характере выпрашивать у пассажира комплименты, тем более в письменном виде. Кажется, он был очень собой недоволен, и ему показалось, что рассказом про международный родильный дом он немножко прихвастнул. Смутился и я — не надо было впритык к его воспоминанию лезть со слабо замаскированным предложением тоже записать благодарность.

Проводник ответил, что существует не книга благодарностей, но книга отзывов и предложений, она сейчас под подушкой у Федора Григорьевича. Я пошел в открытую: хочу написать благодарность!

Дядя Леня лукаво заметил, что, может, еще разонравится путешествие. Я отдал дань его скромности, но предупредил, что в конце пути непременно попрошу у него книгу отзывов и благодарность запишу. А когда наш поезд в венце из солнечных лучей приближался к Парижу, волнение, охватившее меня — мы приближаемся к Парижу, мы к Парижу приближаемся, к Парижу приближаемся мы! — отключило наконец все другие мысли, я не попросил вторично книгу отзывов, а деликатные проводники постеснялись напомнить мне о данном обещании. После я не раз вспоминал о своем проступке, корил себя вовсю, даже собирался послать благодарность в Управление железных дорог, но судьба благих намерений известна — они не осуществляются. Что ж, пусть хотя бы эти строки заменят мою запись в книге отзывов...

2970-й километр

Парижские пригороды выбегают нам навстречу.

Население международного вагона возбуждено, настроение приподнятое, мажорное.

А я что-то загрустил. Не могу вот так сразу объяснить почему. Может быть, сам от себя хочу скрыть, что втянулся, привык, полюбил движение. Мне бы ехать и ехать — вокруг света, так вокруг света, еще дальше, так еще дальше.

Объяснение простое, но правильное ли? Ведь мы всегда движемся, вращаемся вместе со своей планетой, поезд только придавал ускорение извечной и безостановочной круговерти, в которую мы включены.

А не потому ли такой хороший летний день подернулся дымкой печали, что за двое без малого суток я включился в новый человеческий коллектив, невольно стал его частицей, и теперь расставаться не просто? Белокожие, чернокожие, желтые и краснокожие постоянные жители планеты Земля, русские, французы, бельгийцы, немцы, перуанцы, американец, японка, конголезец, поляк.

Мы разноязычны, различны наши взгляды — от оттенков до полнейшей противоположности. Я уж умолчу о таком различии, как возраст, — с годами я придаю возрасту все больше значения. Нелегко найти понимание в другом поколении.

И все же международный вагон и его движение незаметно и помимо нашей воли образовали некий коллектив, и в нем сплавилось все, что наличествует в человеческих отношениях, — дружба, вражда, безразли-

чие, участие, любовь, презрение, восхищение, радость и горе. Как ни раскладывая наши судьбы, люди, размещенные в десяти купе, составили нечто вроде малой модели мирового сообщества. Неорганизованные, а все же объединенные нации!

Не хочу представлять международный вагон Москва—Париж как современный Ноев ковчег, не стану сопоставлять и сравнивать — семь пар чистых, семь пар нечистых. С пассажирами произошло то, что довольно часто происходит в поездах дальнего следования. Наш международный не составляет исключения. А уж о таких поездах, как дальневосточный экспресс, и разговора нет: там пассажиры спрашивают друг друга не в каком вагоне вы едете, но в каком вагоне вы живете. Наше путешествие куда короче, а все же вагон, если пользоваться знаменитым стихотворением Маяковского о советском паспорте, оказался «единым человеческим общежитием».

Вполне вероятно, что людей сплачивает страх, над всем человечеством нависшая тревога третьей мировой войны. Атомная бомба, водородная, бинарная, межконтинентальная ракета, ракета среднего радиуса действия, лазерное «звездное» оружие — безумные дети человеческого гения и злодейства — грозят уничтожить все человечество, не спрашивая, где кто родился и наивно рассчитывал на бессмертие. Может быть, нас сплачивает угроза общей гибели, перед которой мы становимся беспомощны и равны? Я не был пессимистом никогда, теперь уж ничто не заставит меня измениться. Утверждаю — люди способны понять и дальше понимать друг друга. Человек с человеком сходится, значит, не так уж страшен «текущий момент». Угроза двулика — она и сплачивает людей на борьбу с собою, но и разъединяет так, чтобы распались связи между нами, чтобы восторжествовало отчуждение!

Пора собирать чемоданы. Вот тут-то и выплывает вторая сторона угрозы, вызывающая тревогу и обиду. Еще не завершилось построение наших взаимоотношений, не стало совершенной и надежной системой... Наше не удивившийся окончательной, в связи начинаются рушиться, рваться, распыляться. Сосед уже не улыбается соседу, каждый улыбается тем, с кем скоро встретится на платформе.

Друг с другом уже не заговаривают, если говорят, то сами с собой. Общие маленькие и большие интересы и заботы растаяли, исчезли, у каждого теперь забота собственная. Если могут знакомые раззнакомиться, то именно этот процесс происходит в нашем международном вагоне.

Только в нашем купе, в нашей семье все по-иному. Приближающийся конец железнодорожного пути — как увертюра. Нас ничто не разъединяет, как раз наоборот — сближает. В московской сутолоке мы часто становились далекими друг другу. Так бывает в автозажигании: то заводится машина, то глохнет, где-то ослаб контакт.

Мне всегда казалось, что нервная система — это не одна, а две системы разного свойства и назначения. Завершается первый этап дороги, возбудители пустых гревог успокоились, то ли сгнули, то ли сходят на нет. А те, что аккумулируют радость, сейчас наполнились новыми силами, заряжают нас близостью.

В такие мгновения из далеких глубин к человеку возвращается молодость. Записываю, что необходимо в первую очередь сделать в Париже: посетить мадам Элизабет Машян, это замечательная женщина, журналистка, более полувека неустанно грудящаяся, как говорят, на ниве франко-советской дружбы; побывать в архиве — найти подтверждение того, что наш капитан Ганночка из Львова был командиром партизанского отряда; и еще более скромные задачи — купить комплект открыток видов Парижа (киоск под Эйфелевой башней)...

Дело в том, что пачка открыток, дюжина цветных картинок, — реликвия нашей семьи. В 1906 году мои родители оказались в Париже. Беглецы из России вынуждены были довольно долго находиться в Европе. У подножья тогда молодой Эйфелевой башни в киоске моя мать купила открытки «Виды Парижа» — знаменитая ратуша, Вандомская

колонна, церковь Мадлен, Триумфальная арка, Нотр-Дам, бульвар Сен-Мишель...

Открытки перед революцией были привезены в Россию и хранились в домашнем сундуке. Мы с братом часто рассматривали открытки, росли с ними, это было наше первое знакомство с Францией, да и вообще с заграницей, виденной отцом и матерью, а значит, имеющей и к нам касательство.

Мы подросли, открытки были забыты, исчезли из нашей жизни, но, оказывается, они у матери находились на вечном хранении. Ну если не на вечном, то на полувековом: в 1956 году, когда впервые я уезжал во Францию, она показала мне ту самую пачку открыток и попросила, чтобы я сходил в киоск, стоящий у подножья Эйфелевой башни; наверное, там продаются открытки с видами Парижа. Ей интересно было бы посмотреть новые открытки, сравнить их с теми, которые она покупала пятьдесят лет назад...

Я, разумеется, выполнил материнскую просьбу. В первый же день в Париже сходил к Эйфелевой башне. Башня, разумеется, стояла на своем месте, поражая масштабами и старинной новизной. Я с необычайными творениями Эйфеля теперь знаком не только по Парижу. Будучи во время американского нападения на Вьетнам в Ханое, я не раз пересекал Красную реку по длинному (железнодорожному, автомобильному и пешеходному) мосту. Американцы часто его бомбили, маленькие зенитчики в огромных касках не давали бомбардировщикам зайти на объект.

А ханойский мост удивительно напоминает Эйфелеву башню, словно это она, только в горизонтальном положении, соединяет берега Красной реки. Не ошибочно мое впечатление: на чугунной доске при въезде на мост написано, что мост воздвигнут по проекту Александра Гюстава Эйфеля, инженера-строителя (1832—1923). Рисунок моста не позволяет сомневаться, что ханойский мост и парижская башня — брат и сестра.

А открытки 1906 и 1956 годов оказались те самые, из той же типографии. Рассматриваю их, и кажется, что земля, история, судьба замерли, остановились, выпали из сумасшедшего движения по орбите времени. Теперь я буду считать себя обязанным вновь сходить в киоск под Эйфелеву башню, приобрести пачку открыток «Виды Парижа».

По правде говоря, очень хочется, чтобы комплект открыток оказался тем же самым: должно же быть что-то незыблемое вокруг нас, ну хотя бы в моей жизни. Сколько лет прошло после первого моего посещения Франции? С удивлением открываю, что тридцать. Простая арифметика: пятьдесят родительских плюс тридцать моих — итого восемьдесят годочков. Продадут ли мне в киоске те самые открытки? А сама арифметика прекрасна. Если моя жизнь обладает способностью так легко тасовать и соединять года, наверное, я обладаю секретом вечной молодости?

Как молода, свежа, умыта росой природа Франции в начале лета! Природа Франции? Неужели ты уже забыл, каким мягким и ласковым светом, не светом — сиянием провожало тебя в путешествие Подмосковье, как на закате отсвечивал куполами Смоленск, как таинственно смотрели вслед убегающему поезду чащи и пуши Белоруссии?..

Не забыл, не забуду, всегда возил и вожу с собою невесомый багаж воспоминаний и все они молоды, молоды, молоды...

Память юношески непоследовательна, но в логическую цепь выстраиваются разные времена и события.

Минск проезжали ночью, светлой и прозрачной, июньской. Красивый, новый, удивительно спокойный город. В сорок четвертом году рассвет был такой же, но разрушенный город был в росе как в слезах. Мы вступали в его пределы тяжелыми шагами, навстречу нам шла как бы взъерошенная толпа партизан, постепенно превращавшаяся в строй: они отвыкли от строя, а многие никогда его не знали. История переворачивала свою страницу.

Потом были Столбцы и Негорелое. Я их помню по 1939 году, когда именно в этом месте еще в буденовке переступал через границу Западной Белоруссии.

И еще Брестская крепость, величественные руины, где наши оказались крепче камня, иссеченного пулями. Трагическая молодость Великой Отечественной войны.

Ощущение такое, будто я вобрал в себя всю родину, как в песне поется — от края до края, — и сам открываю в себе новые силы.

А Франция стремительно движется навстречу, раскрывая передо мной и свою вечную молодость родина «Интернационала» и «Марсельезы», исток слова «коммуна»... Откуда я так подробно знаю Париж? Разве охватишь его в бысролетных командировках? Но меня водили по Парижу Бальзак и Гюго, Клод Моне, Камиль Писсарро, Альбер Марке, наконец, наш Владимир Маяковский, вернувший Парижу молодость. Здравствуй, Париж!

Гар-дю-Нор, Северный вокзал, выключил все цвета и краски, стало все вокруг старомодно черно-белым. Мы легко спрыгнули на жгуший подошвы асфальт платформы. Пассажиры международного вагона расстались друг с другом не прощаясь. То ли они потеряли всякий интерес к этому временному коллективу, то ли рассчитывают если не завтра, то послезавтра вновь встретиться как хорошие друзья?

У нас было договорено: выйдет по времени — непременно в первый же день побываем в Лувре. Будем действовать по-молодому легко и напористо.

Оказывается, еще можно успеть. Вешей у нас немного, бегом в метро (рассуждения о том, чье метро лучше всех, на потом!), и вот уже виден знаменитый королевский дворец, почти на километр распространившийся вдоль набережной Сены. Оглядываюсь: и близ и даль — все на своих местах, точно как на открытках, приобретенных родителями в 1906 и мною в 1956 годах. Вот только вход в музей обнаружить непросто: дворец в строительных лесах, а двор являет собою гигантскую, кажущуюся беспорядочной строительную площадку. Экскаваторы — динозавры будущего — вгрызаются в века, обнажая то каменную кладку стены, то таинственные мушкетерские подземные галереи. Потом нам расскажут, что королевский двор будет накрыт стеклянной пирамидой невероятных современных размеров. Назначение и смысл сооружения, кажется, неясны даже тем, кто заказал проект японскому архитектору...

Мечемся по строительной площадке, ищем вход в музей. Неужели доберемся лишь к закрытию? Тайно друг от друга загадали: если успе-ем в Лувр, все в поездке будет удаваться. Все-таки мы отыскали вход, запыхавшись, подбежали к кассе. Очаровательная кассирша почему-то уставилась на меня, бесцеремонно рассматривает. Написано, что плата за вход — шестнадцать франков.

Итак, произведем первый валютный расход — вот купюра с портретом художника Эжена Делакруа и фрагментом его знаменитой картины «Свобода на баррикадах». Итак, с нас тридцать два франка. Что-то вы много сдачи высыпали передо мной, мадемуазель.

— Мсье, вы, наверное, иностранец и не знаете, что с посетителей столь почтенного возраста плата за билет взимается в половинном размере. Так сказать, за полцены.

Это она мне говорит? Это она говорит мне?

ЮРИЙ ВОРОНОВ



СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

Выздоровление

Он чувствовал:	Тогда,
Приходит миг,	Чтоб это все опять
Когда предел — последним силам.	Въявь
И вдруг	И увидеть и услышать,
Услышал детский крик,	Больной решил,
Гудок	Что должен встать,
Охрипшего буксира,	Хотя казалось всем —
Неторопливый плеск весла.	Не дышит.
И женщина	Когда поправился,
В траве по плечи	Ему
С букетом маков поплыла,	Врачи усердно жали руки.
Как облако,	Но их терзало — почему:
К нему навстречу.	Ведь было все
	Не по науке.



Ему казалось:
Не забыт он.
Писал и верил, что ждала.
А стопка писем нераскрытых
Пылилась
В ящике стола.

Потом приехал, беспокоясь,
Нашел знакомый дом,
И вот —
Из-за дверей ее же голос:
— Она здесь больше
Не живет...

Чудак

Опоздали на паром...
Этот случай
Нас и свел тогда
С одним парнем.
Мы таскали для костра
Сучья,
Он
Усердно собирал камни.

Мы решили про него хмуро:
 Он — того,
 Хоть и могуч телом.
 Но подмигивал хитро
 Юра,
 Не бросая своего дела.

И когда
 Сошло на нет пламя
 (Мы у речки до утра сели),
 О горячие его камни
 Мы ладони
 На ветру грели...

Усилье

Еще одно усилье —
 И рекорд,
 И совершится новое открытье,
 И прозвучит
 Неведомый аккорд,
 Которым вы полмира покорите,
 И строчка,
 Неподвластная векам,
 Расправит
 На листе бумаги
 Крылья.

Все просто.
 Только этого усилья
 Как раз и не хватает
 Часто нам.

Лесоруб

Он работал, играючи силой.
 И береза —
 Хоть роща редела —
 Глаз смятенных
 С него не сводила,
 Если он
 Принимался за дело.

Замирала
 С его появлением,
 Удивляясь
 Красе и упорству.
 Но пришло
 Роковое мгновенье:
 Над березой занес он
 Топор свой.

И когда
 Пошатнулась береза,
 Ей
 На смуглых щеках лесоруба
 Вместо пота
 Почудились слезы...
 И улыбкою
 Дрогнули губы.

Горная сказка

Мы сказку эту
На Карпатах
Услышали от старика...
Жила принцесса здесь
Когда-то,
А у принцессы
Был слуга.

Он разбирался в этикете
И даже в праздники
Не пил.
Но как-то
По пути к карете
На шлейф принцессы
Наступил.

Скандал!
Отъезд на званый ужин
Принцессе отменить пришлось...
А кучер
Вскоре обнаружил:
В карете
Подпилили ось!

Слуге б
За бдительность — награду.
Однако шеф
Его распек:
«Не суй свой нос
Куда не надо!..»
Но тот
Совету внять
Не смог.

В чаду
Очередного бала,
Верша полезные дела,
Слуга,
Как с ним уже бывало,
Вел наблюденье
В зеркала.

И вот
Когда один повеса
Бокал
Принцессе передал,
Возникнув
Около принцессы,
Он локтем выбил
Тот бокал.

Слугу прогнали прочь.
И вскоре
Он пал в сраженье, как солдат.
А в замке,
Недругам на горе,
Узнали,
Что в вине был яд.

«Убить хотели?..
Без сомненья!» —
Шептал ошеломленный двор.
Принцессе ж
С этого мгновенья
Заволокло слезами
Взор.

Не помогли
Поправить дело
Ни шут, ни волшебство врачей.
В тоске
Она окаменела,
А слез хватило на ручей.

Он до сих пор
С горы сочится.
В скале —
Принцессу узнаешь.
...Ведь вот
Что может получиться,
Когда друзей
Не бережешь!

Листопад

Я к вам не строю мост,
Не думаю о вас.
А в хороводе звезд —
Смятенье
Ваших глаз.

И в шорохе листвы —
Ваш вздох тревожный вдруг.

Зачем повсюду вы,
Ваш голос,
Ваш испуг?

На спящий Летний сад
Ложится лунный свет
И ранний листопад.
Чтоб замело
Ваш след?..

ЮЛИУ ЭДЛИС

★

АНТРАКТ

Роман

8

Сюжет со «Стоп-кадром» — его удалось снять, как и предполагал Иннокентьев, далеко не сразу, только в начале февраля — был смонтирован спокойно, без вызова и вполне лояльно по отношению к Ремезову: два коротких фрагмента рабочей репетиции, пятиминутная беседа с Дыбасовым и исполнителями трех главных ролей, осмотрительный, сдержанный комментарий самого Иннокентьева. Важно было зафиксировать самый факт: спектакль доведен до конца, почти готов, ставит его один Дыбасов, Ремезов тут ни при чем. Детали не играли никакой роли.

В февральскую передачу сюжет уже опоздал, надо было ждать в лучшем случае марта. Иннокентьев решил не показывать его пока ни коллегам, ни тем более Помазневу, своему главному редактору, который всегда предоставлял ему полную свободу в выборе тем для «Антракта».

Больше всех волновался, просто-таки не находил себе места Митин, по десять раз на дню названивал Иннокентьеву. Ружин в последнее время был постоянно в крупном выигрыше, отчего пребывал в состоянии почти эйфорического оптимизма, только и делал что повторял к месту и не к месту: «Карфаген должен быть разрушен». Дыбасов не звонил, не объявлялся, денно и ночью репетировал. Что-нибудь узнать о нем и о спектакле можно было только от Насти Венгеровой, его, как однажды выразился Митин, доброй феи, но и она на все вопросы отвечала уклончиво, словно Дыбасов наложил на нее обет молчания.

Ремезов уже недели две как вернулся из Югославии, и что тревожило более всего Иннокентьева, а Митина доводило прямо-таки до обмороков, так это то, что главный режиссер, наверняка в первый же день по приезде поставленный обо всем в известность своими клеветками — «клеветы» было слово Ружина, — не только хранил полнейшее молчание, но и вообще не проявлял никаких признаков тревоги или даже малейшей заинтересованности. Он ни разу не зашел на репетицию к Дыбасову и ни о чем его не расспрашивал.

Эта неизвестность и неопределенность не могли тянуться до бесконечности, и в конце марта Иннокентьев включил в заявку на мартовский «Антракт» сюжет с репетицией «Стоп-кадра».

И, к собственному своему удивлению, сразу же ощутил, как отпустило на душе, тревожное ожидание возможных осложнений как бы ушло в тень, на безопасное отдаление.

Эля ушла с работы на телевидении, Иннокентьев сам на этом настоял — их отношения давно перестали быть тайной для сослуживцев, он не хотел пересудов и сплетен, пусть побездельничает месяц-другой,

* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 4 с. г.

а в конце сезона Дыбасов твердо обещал устроить ее в театр на освобождающееся место помрежа.

Оставалось одно — ждать.

Как раз в один из таких дней ожидания и неопределенности, идучи по коридору одиннадцатого этажа телецентра, Иннокентьев столкнулся нос к носу с Помазневым.

Когда-то они учились на одном курсе журфака, играли за университет в одной теннисной команде, дружили хоть и не близко, но все пять студенческих лет. Потом пути их разошлись: Иннокентьев занялся театром, Помазнев — международной журналистикой, долго жил за границей, не то в Чили, не то в Мексике. И лишь много лет спустя судьба вновь свела их под крышей Центрального телевидения, хоть и на разных ступенях иерархической лестницы: Помазнев в свои сорок с небольшим взобрался почти на самую верхотуру, Иннокентьев не пошел дальше должности комментатора по вопросам театра. Впрочем, ничего другого он для себя и не желал, спроси его — он не поменялся бы с Помазневым местами.

Именно потому, что все знали о его прежних отношениях с Помазневым, дававших ему как бы право рассчитывать на его дружбу и внеслужебную близость, как только Помазнев появился в Останкине, Иннокентьев сразу и решительно перешел с ним на «вы» и стал называть по имени-отчеству: пусть все, и Помазнев в первую очередь, знают, что он не ищет особых отношений с шефом, а если обстоятельства так сложатся, что он будет вынужден напомнить о них, Помазнев — Иннокентьев в этом был совершенно уверен — придет ему на выручку.

Но нужды в этом до сих пор, к счастью, не было.

Вот и сейчас, в связи со «Стоп-кадром», он тоже не кинулся к Помазневу, не стал раньше времени спрашивать совета.

Помазнев шел навстречу ему с какого-то просмотра или обсуждения в окружении целой толпы редактрис и режиссерш. Столкнувшись с ним в коридоре, Иннокентьев вежливо кивнул ему и хотел посторониться, чтобы пропустить всю эту кавалькаду, но Помазнев остановился, изобразил на лице искреннейшую радость и громко, на весь коридор вскричал:

— Борис Андреевич, старый!.. Вот кто сегодня мне нужен больше всех! — И, обняв рукою за плечо, повел с собою по коридору.

Свита его тактично поотстала, и теперь они шли вдвоем, дружески обнявшись, мимо бесконечного ряда дверей и табличек с названиями отделов.

Хоть и искренне радостное, восклицание Помазнева не на шутку Иннокентьева насторожило: зачем именно сейчас, именно сегодня он так уж спешно, так уже позарез понадобился ему?.. Никаких нерешенных и срочных вопросов по работе у Помазнева вроде быть не должно, остается лишь одно объяснение: «Стоп-кадр». Вот и конец томительному ожиданию...

— Не удивляйтесь и не гадайте, Борис Андреевич! — Помазнев был в отличнейшем расположении духа, он вообще был человек веселый, доброжелательный, что на языке подчиненных называлось демократичный и доступный. — Все проще пареной репы! Телевидение платит бешеные деньги за аренду зимних кортов в ЦСКА, а я ни разу этими благами не воспользовался. Да и вообще сто лет не брал ракетку в руки. Вот я и твердо решил завтра же вечером — наши часы с девяти до одиннадцати, я узнал — потряхнуть стариной, прямо-таки заела ностальгия по прежним денечкам! — Не убирая руки с плеча Иннокентьева, он повернул к нему лицо и очень серьезно спросил: — А может, все проще и это ностальгия по нашей молодости?.. Неужели до этого уже дело дошло, старый, неужели мы уже такие, мягко говоря, не первой свежести господа?.. Вы-то хоть играете, не бросили?

Иннокентьев не сразу мог решить про себя — то ли говорит Помазнев, что думает? Или же это просто уловка, чтобы оттянуть настоящий.

всерьез, разговор?.. Хотя зачем это Помазневу? Служебная дистанция меж ними достаточно велика, чтобы он мог себе позволить говорить и напрямик.

— Очень нечасто и нерегулярно, Дмитрий Петрович. Хоть и стараюсь не потерять окончательно форму.

— Вот! — огорчился Помазнев.— Один я махнул на себя рукой. Так согласны?

— На что? — переспросил Иннокентьев, все еще решая про себя, зачем он нужен Помазневу и чего тот на самом деле добивается.

— Завтра в девять?.. Если у вас, конечно, нет других планов на вечер. Перед вами мне хоть не стыдно будет мазать по мячу. Вы-то, надеюсь, еще помните, что я был не последний человек на корте?

Свита уже надвигалась сзади, остановилась в двух шагах, кто-то из дам осмелился напомнить:

— Дмитрий Петрович, нас ждут в седьмом зале...

— Идем, идем! — кинул через плечо Помазнев.— Так как же, Боря?..

Против этого запанибратского, студенческих незабвенных времен «Бори» уж и вовсе нельзя было устоять. Тем более, успел сообразить Иннокентьев, если Помазнев намерен о чем-то сказать ему или против чего-нибудь предостеречь, на корте ему будет легче это сделать, очень может быть, что он и зазывает его на теннис именно для этого. А что до того, что он назвал его Борей... что ж, пустим ответный пробный шар.

— Конечно, Дима, о чем речь. С удовольствием.

— Замечательно! — обрадовался Помазнев.— Ровно в девять во Дворце тенниса.— И, пожав плечо Иннокентьева рукою, отпустил его.

Вернувшись домой, Иннокентьев еще на лестничной площадке услышал, как гремит в квартире на полную мощность телевизор. Стало быть, подумал он, Эля дома, а ему бы сейчас побыть одному, хорошенько взвесить, что и как он будет завтра говорить Помазневу, если, конечно, его догадка верна и тот пригласил его не просто теннисной партии ради, а для разговора о «Стоп-кадре».

Эля сидела на ковре перед телевизором, поджав под себя ноги, и с восторженным упоением смотрела какую-то эстрадную программу. В отсутствие Иннокентьева она всегда включала телевизор или магнитофон на полную катушку, иначе она музыку не воспринимала.

Не снимая пальто и шапки, Иннокентьев прошел в гостиную и молча повернул регулятор громкости. Только тут Эля заметила его.

— Там все на столе, на кухне,— сказала нетерпеливо,— а я, пока ты кушаешь, еще посмотрю. Обалденная передача! Звезды зарубежной эстрады, прямо-таки как на пасху!

Он ничего не ответил — ее не переделаешь, ее можно принимать только такой, какая есть. Загадка тут лишь в том, как эта оглушительная пошлятина уживается в ней с тем, что она по-своему очень и очень не глупа, да не просто умом умна, вернее, не одним умом, а — чутьем, догадкой. Она может не понимать слова, которые слышит от него, она даже не очень старается их понять, потому что безошибочно улавливает за ними истинный смысл того, что он говорит, чего хочет от нее. С ней нельзя, как с другими,— говорить одно, а думать про себя другое. Иногда Иннокентьеву приходило в голову, что она его слышит и понимает даже тогда, когда он молчит и думает о чем-нибудь таком, что ей и вовсе невдомек, а подчас угадывает и то, что он сам еще в себе не услышал и не облек не то что в слова, но даже и в мысли.

Он разделся, вымыл в ванной руки, долго, раздумывая совсем о другом, тер их полотенцем, потом пошел на кухню ужинать. В гостиной Эля опять запустила телевизор на полную громкость.

Чайник не успел вскипеть, как раздался телефонный звонок, и он узнал в трубке голос Насти Венгеровой.

— Ты дома? — не поздоровалась она и тут же объявила: — Я к тебе сейчас заеду.

Только этого ему не хватало — Настиных причитаний и идолопоклонства перед Дыбасовым, ее по-актерски преувеличенных страданий и восторгов.

Но возразить он не успел — она положила трубку, а Иннокентьев совершенно вживе представил себе, как она бегло и вместе тщательно перебирает в шкафу не глазами, а на ощупь тонкими, чуткими пальцами легкие ткани платьев, не сразу решаясь, которое подходит более всего к этому наполовину деловому, наполовину дружескому визиту, как небрежно, не глядя отбрасывает ненужные за спину, на диван, и они соскальзывают неслышно на пол, как недовольно морщит переносье, разглядывая свое лицо в зеркале, и, не застегнув пальто, простоволосая, мчится по ступеням вниз на своих высоченных каблуках, дробно постукивающих по стершимся плиткам, и садится за руль стареньких, сто раз битых и латанных «Жигулей» с так давно не мытым лобовым стеклом, что сквозь него не разглядеть дорогу...

А ведь еще совсем недавно ему казалось, что он любит ее, а точнее, он очень хотел, очень старался влюбиться в нее, но из этого ничего не вышло, и они расстались добрыми друзьями, какими, собственно, и были все скоротечное время их такого милого и необременительного романа...

Он очень старался тогда. Он думал, что новая любовь излечит его от все еще живой, все еще саднящей памяти о Лере. Они виделись с Настей каждый день, он сидел на всех ее репетициях, она доверчиво прислушивалась к его советам и наставлениям, и на каждый премьерный спектакль он присылал ей корзину свежих тюльпанов или гвоздик, и она им радовалась, как ребенок, — это в балете артистки привыкли к цветам и неистовству поклонников, драматическим актрисам дарят лишь жалкие, грошовой букетики.

Но все равно из этого ничего путного не получилось. Хорошо еще, что они с Настей остались друзьями, и на том спасибо.

Музыка в гостиной по-прежнему гремела вовсю, и он не сразу услышал Настин звонок.

Он открыл ей дверь, на него сразу дохнуло от нее сырой свежестью весеннего дождя, лившего на улице. На пепельных ее волосах матово поблескивали непросохшие дождевики. Он помог ей раздеться, не слыша за громом телевизора, что она ему говорит. Заглянув в дверь гостиной, Настя не удивилась ни оглушительной музыке, ни позе Эли, все еще сидящей по-турецки на ковре перед телевизором.

Эля на мгновение обернулась к ней.

— Вы не хотите послушать? Карел Готт поет как раз. Фантастика! — И тут же снова отвернулась, прилипла глазами к экрану.

— С этим ничего не поделаешь, — извинился перед Настей Иннокентьев, — стихия. Пойдем на кухню, там не так слышно.

Он прикрыл за собою плотно дверь, сел напротив Насти за обеденный стол.

— Есть, выпить хочешь?

— Только чаю. Крепкого чаю безо всего. Даже без сахара. А пить — я же за рулем.

Чайник на плите еще не остыл, он налил ей в чашку крепкого, почти черного чаю, вновь сел напротив и стал ждать, чтобы она заговорила сама. Молчал и думал, что, собственно говоря, очень жаль, что у них с Настей так ничего и не получилось. Если кто и нужен был ему тогда, да и теперь тоже, так одна Настя. Не вышло. Жаль.

— Я знаю, что ты разговаривал сегодня с Помазным, — подняла она на него глаза.

Ему только и оставалось что развести руками — откуда?!

— Мне позвонила одна из ваших редакторш, не важно кто. Она очень любит Романа Сергеевича, — Настя всегда называла за глаза Ды-

басова по имени и отчеству,— и решила, что Помазнев говорил с тобой именно о нем. Так?

Он пожал плечами.

— Мы с ним всего-навсего условились завтра встретиться.

— Зачем? — не сводила с него взгляда Настя.

Это начинало его даже забавлять — такая ее настырность.

— Поиграть в теннис, представь себе, ни для чего более.

Она глядела на него с недоверием и едва сдерживаемым гневом.

— Ты от меня что-то скрываешь. Что-нибудь плохое?

— Да нет же! Он действительно хочет по старой памяти поиграть со мной в теннис. А уж о чем он собирается там говорить, одному ему известно.

Она помолчала, держа чашку обеими руками и грея о нее озябшие ладони.

— Как идут репетиции? — прервал он молчание.

— При чем тут репетиции? — передернула она плечами. — Все в порядке. Только вот тишина эта вокруг... И Герасимов запретил пускать в зал посторонних... Понимаешь? Полная тишина, абсолютный вакуум какой-то! Когда генеральные, когда сдача, когда премьера — известно! И Ремезов молчит, вот что страшно! Почему он молчит? Что он задумал? И делает вид, что не знает, что ты за его спиной снял для телевидения репетицию. Молчит!.. Я ведь слишком хорошо знаю Аркадия Евгеньевича, чтобы поверить, что он позволит кому-нибудь обвести себя вокруг пальца. Что-то он задумал, можешь не сомневаться!

— Конечно, задумал,— согласился Иннокентьев,— только вот что именно?.. Но вовсе не обязательно, чтобы об этом знал Помазнев. А если и знает, отчего ты думаешь, что он скажет об этом мне?

— Оттого, что ваш Помазнев женат на дочери Ремезова. Ты что, не знал этого?

Наверное, у него было очень глупое лицо, потому что Настя, не сводя с него глаз, усмехнулась сочувственно.

— Не пугайся. И не стесняйся своей неосведомленности, хотя ты, как известно, все и всех в Москве знаешь. И главное — все обо всех. Он женат на дочери Ремезова от первого брака, Аркадий Евгеньевич расстался с ее матерью чуть ли еще не в войну или же сразу после. У него от этого брака две дочери, но они с ним не поддерживают никаких отношений, даже носят не его фамилию, а материну. По-видимому, он поступил с ними тогда не слишком красиво, если они до сих пор не могут этого ему простить. Во всяком случае, не забыли. Я считала, что тебе надо об этом знать. Я и сама-то узнала эту историю несколько дней назад от нашей общей с женой твоего Помазнева педикюрши, самый верный источник информации. Вроде тебя,— не удержалась,— все про всех знает.

Но Иннокентьеву сейчас было не до Настиних шпилек, его огоршил даже не самый факт, о котором сообщила Настя, а — как он-то мог этого не знать? Он, стреляный воробей, тертый калач, который действительно знал все и всех и все обо всех, встрял в эту историю, как теперь выясняется, таким последним дураком с мороза?

Но спросил он Настю совсем о другом, вне всякой связи с тем, ради чего она пришла к нему:

— Совсем голову потеряла? Я понимаю, ты любишь его, но чтоб до такой степени?..

Она вздрогнула, словно бы испугалась его вопроса.

— Что за глупости! При чем здесь это — люблю, не люблю?.. — Но, отведя глаза и помолчав, призналась печально: — Лебединая моя песня, Боренька... Во всяком случае, ничего похожего со мной никогда не было. Ты вправе спросить — а что же у меня было с тобой?.. Я тебе скажу. И ты не обидишься, обижаться в таких делах глупо. Да и нам ли друг на друга обижаться... Нам просто было худо, и тебе и мне, вот мы и схватились друг за дружку, как утопающий за соломинку. За одно

за это тебе спасибо. А любить тебя... Чтобы тебя любить, надо либо не знать тебя, как знаю я, либо же быть таким чистым, неискушенным и, прости, недалеким существом, как... — Она кивнула в сторону гостиной, откуда все еще неслась оглушительная музыка. — Честно говоря, я ей завидую. Мне ведь тоже очень хотелось пуститься во все тяжкие, да вот беда, я умная, я тебя видела насквозь и знала все наперед — чем кончится и чего можно ждать от тебя, да и от себя тоже... Не обиделся?

— Нет, — удивился он собственному спокойствию и даже странной умиротворенности, — так оно и было, наверное... Наверное, я такой и есть, увы, ничего не попишешь. Добрая фея подарочек перепутала, не тот положила в колыбельку. По-современному называется — генетический код. — И неожиданно для себя сказал все-таки: — Перед твоим приходом я как раз подумал — как жаль, что у нас с тобой ничего не вышло. Ты бы мне очень подошла. А — не вышло. Так не плакать же нам теперь об этом, верно?

Но она уже не слушала его, думала о своем:

— Без меня он просто пропадет... Он талантливее, беззащитнее всех... — И, заметив на лице Иннокентьева невольную усмешку, повторила свое давешнее: — Он гений, да! И не делай вид, что ты этого не понимаешь! Но при этом он самый слабый человек на свете, малейшее непонимание или обида его ранят так, будто он совсем без кожи! Теряется, впадает в панику, не находит себе места, я просто боюсь за него, в этом состоянии он на все способен. У него ужасный характер, я прекрасно вижу, упрямый, грубый даже, неуживчивый, он успел переругаться со всеми в театре, но актеры его обожают! Готовы с ним хоть на край света. Люблю?.. — И усмехнулась обреченно. — Не то слово. Если бы просто любила, мне была бы нужна его любовь в ответ. Хоть какая то надежда. Но я и без этого готова обойтись. Я даже больше того тебе скажу — он моей любви и не замечает, она ему ни к чему. Он о ней даже не догадывается, а если бы кто вздумал открыть ему глаза, он бы только удивился. Но мне многого и не надо...

— Вы про Романа Сергеевича?

Иннокентьев и Настя не услышали, как Эля вошла на кухню и остановилась на пороге — босая, в его слишком просторном на ней и слишком длинном купальном халате с засученными рукавами. Музыка в гостиной смолкла, диктор заученным голосом читал последние известия.

— Как ты догадалась?! — Иннокентьев презирал себя за то, что всякий раз, как Эля заговаривала о Дыбасове, это его корежило и он едва удерживался, чтоб не заорать на нее.

— А про кого же еще такое? — пожала она плечами и прошла к электрической плите, поставила на нее остывший чайник. — Кто еще другой такой есть?.. Именно что не от мира сего. Как малый ребенок — за ним надо ходить, чтоб не упал и не убился. Я очень даже понимаю Настю.

Иннокентьев не удержался, дал волю беспричинному раздражению:

— Ты-то тут при чем?! И не вмешивайся в чужие разговоры, раз ничего в них не смыслишь! Лучше-ка налей нам всем чаю.

Она резко обернулась к нему, лицо ее залила краска гнева и обиды, если бы не Настя, она наверняка не постеснялась бы ответить ему, не слишком выбирая выражения, но совладала с собой, пропела вызывающе и насмешливо свое обычное.

— Норма-ально!..

Настя не услышала их перепалки, повторила убежденно и почти молитвенно:

— С ним нельзя, как с другими. Вы все еще будете гордиться, что жили на свете в одно с ним время.

На что Иннокентьев сказал как мог задушевнее:

— Завтра же сажусь за мемуары.

В ЦСКА Иннокентьев приехал на четверть часа раньше условленного. Как это ни смешно казалось ему самому, но он еще утром решил прийти на корт чуть пораньше и поразмяться — когда-то он запросто выигрывал у Помазнева одиночку, а уж на этот раз он просто обязан выиграть, иначе тот сможет заподозрить, что он проиграл нарочно, из чиновничества, а этого Дима и в юности терпеть не мог: однажды, когда их университетский тренер из каких-то одному ему ведомых соображений попросил Помазнева и Иннокентьева проиграть парную встречу теннисистам мехмата, Дима закатил такой скандал, что об этом наверняка и по сей день помнят на кафедре физвоспитания.

Но обе площадки во Дворце тенниса были заняты — второй день шло юношеское первенство Москвы, игры затянулись, и администратор очень сомневался, чтобы кому-нибудь из арендаторов удалось сегодня поиграть.

Иннокентьев не стал заходить в зал, остался в вестибюле, глядя сквозь стеклянную дверь наружу, в хмурую, слякотную мглу. Хоть и конец марта, а весною, похоже, еще и не пахнет, октябрь какой-то бесконечный.

А вот чего не следует ни в коем случае делать, так это самому задавать вопросы, решил Иннокентьев, пусть это делает Помазнев, а лучше, если он же и будет сам на них отвечать.

Помазнев запаздывал, и Иннокентьев не мог решить, надо ли ему его дожидаться, не правильнее ли будет уехать, подчеркнув тем самым свою независимость и не слишком настойчивую заинтересованность в разговоре о «Стоп-кадре», если, конечно, тот действительно намеревается говорить на эту тему.

Но тут к самому входу во Дворец тенниса подъехали ярко-красные «Жигули», из них поспешно выскочил Помазнев и, подняв воротник плаща, побежал под дождем к подъезду. Он был без шапки, и, когда вошел внутрь, лоб и щеки его были мокры, он вытер их на ходу тыльной стороной ладони, и этот жест почему-то очень живо напомнил Иннокентьеву прежнего Димку Помазнева. И само по себе получилось, что называть его надо на «ты», «вы» в этой ситуации как раз и прозвучало бы ненатурально.

Впрочем, первым это сделал Помазнев:

— Прости, опоздал, жуткая пробка у Белорусского. Давно ждешь?

— Да нет, — соврал почему-то Иннокентьев, — только что приехал. Но там — соревнования, так что все равно...

— Да знаю! — досадливо отмахнулся Помазнев. — Мне звонили, но поскольку мы с тобой уже условились, а телефона твоего у меня под рукой не было... Не беда, хоть поболтаем в кои-то веки. Слушай, давай-ка в машину, там решим, как быть. Может, завалимся куда-нибудь, поужинаем?

Они вышли. Помазнев открыл перед Иннокентьевым заднюю дверцу машины, пропустил вперед, сел рядом.

Они оказались в машине не одни — на переднем сиденье за рулем сидела какая-то женщина, она обернулась к ним, но в темноте Иннокентьев не мог разглядеть ее лица.

— Казенную машину пришлось отпустить, что-то со сцеплением, вот и эксплуатирую беззащитных женщин, — говорил Помазнев, располагая на сиденье свое крупное, дородное тело. — Знакомься — моя свояченица или как там это правильно называется. Одним словом, сестра моей жены. Ритуля, зажги свет, покажись моему старинному другу во всем блеске. — И сам нажал на кнопку сбоку, зажег свет в салоне.

На Иннокентьева глядело миловидное и молодое лицо с крупным ртом и подчеркнутыми голубыми тенями в подглазьях, выпуклыми скулами, приветливо и с нескрываемым любопытством улыбающееся ему.

— Отрекомендовал ее Помазнев. — Могу тебе только, Борис, пожелать чтоб ты не испытал ее чары на себе. Процент выживаемости нич-

тожен. Но в качестве родственницы не имеет себе равных. Я-то в полной безопасности, слава богу, с меня хватает и ее сестрицы.

Она протянула Иннокентьеву поверх спинки кресла мягкую, прохладную ладонь, но пожатие ее было неожиданно сильным и уверенным.

— Кстати, тоже нашего полка — теннисистка, — добавил Помазнев, — в отличие от нас с тобой спуску себе не дает, играет ежедневно. Теннис и бассейн — вот и все ее занятия. Современный тип.

— Если не считать восьмичасового рабочего дня от звонка до звонка, — сказала она, не сразу убирая свою руку из руки Иннокентьева. — Но это не в счет, тут мой свояк совершенно прав — жизнь начинается после шести вечера. — И только теперь назвала себя: — Рита. А если вам этого мало — Маргарита Аркадьевна.

И тут Иннокентьев, совершенно неожиданно для самого себя, проговорился.

— Ремезова, — закончил он за нее.

Наступило секундное молчание, и Иннокентьев угадал на себе настороженный, искоса взгляд Помазнева.

— Все знает! — удивился Помазнев полушутя-полусерьезно, а может быть, и, как слышалось Иннокентьеву, неодобрительно. — Все и всех!

— И все обо всех, — припомнил вслух Иннокентьев вчерашние слова Насти Венгеровой. — Такая работа.

— Или — призвание? — не скрыла насмешки Рита. — Но на этот раз вы почти ошиблись. Я — Земцова, по матери. Что же касается моего отца, Аркадия Евгеньевича Ремезова...

— Простите, — поспешил Иннокентьев и почему-то смутился, — я и сам только вчера это узнал.

— Навел справки? — спросил Помазнев, и опять было неясно, в шутку или всерьез. Но тут же беззаботно расхохотался. — Вот какие у меня, Ритуля, сотрудники — всегда начеку, палец им в рот не клади, отхватят по локоть и проглотят не разжевывая. С такими я как за каменной стеной.

— Важно, по одну ли ты с ними сторону, — сказала без улыбки Рита и, как бы оставляя их наедине, отвернулась.

Теперь уж Иннокентьев не сомневался — не он один Помазнев тоже готовился загодя к этому как бы случайному, ненароком, разговору. А раз так, то пусть первым его и начинает, он, Иннокентьев, может и погодить, ему не к спеху.

А Помазнев и не собирался уходить в кусты. Он закурил, пламя зажигалки осветило часть высокого лба и упрямый, выдвинутый вперед подбородок. Протянул сигареты Иннокентьеву, дал ему прикурить и сказал, будто продолжая давно начатый разговор, в котором уже все ясно и осталось лишь уточнить незначительные детали, подбить окончательный итог:

— Ну, раз ты сам об этом заговорил (хотя Иннокентьев и не думал этого делать), то давай поставим точки над «и».

— Мне — уйти? — спросила, не оборачиваясь, Рита.

— Необязательно, — коротко сказал ей в спину Помазнев. — Мне, во всяком случае, ты не помеха.

— Мне тем более, — добавил от себя Иннокентьев и попытался это сказать тоже не то шутя, не то серьезно, как недавно Помазнев.

— Так вот, Боря, — в тоне Помазнева не было и тени начальственности, он говорил так, будто они с Иннокентьевым все эти годы не прерывали близкого приятельства и он был совершенно уверен, что старый друг не только поймет его, но и полностью с ним согласится, — твоя заявка на очередной «Антракт», естественно, попала ко мне на стол. И я бы ее утвердил, как всегда, не глядя — ты сам за все отвечаешь, полный карт-бланш, — если бы все телевидение, чтоб не сказать вся Москва,

не было в курсе того, какой скандал неминуемо тут же разразится. Зная моего, с позволения сказать, тестя...

— Де-юре,— бросила через плечо Рита,— а де-факто он тебе такой же тесть, как... Видите ли, Борис Андреевич, он нас... как бы это ловчее выразить... ну, не то чтобы бросил, а, скажем так, снял с себя ответственность за наше воспитание, когда мне было четыре года, а сестре девять. С тех пор я его вижу только в театре на премьерях, когда он выходит кланяться.

— Борису Андреевичу эти фамильные предания не так уж интересны,— решительно прервал ее Помазнев. И не заметил, как и сам, опять обратившись к Иннокентьеву, тоже назвал его по имени и отчеству.— Не в них суть, Борис Андреевич, хотя танцевать нам с вами придется и от этой печки тоже. Так вот, зная Аркадия Евгеньевича, как знаем его мы оба, едва ли приходится сомневаться, что он в случае необходимости свернет горы. Я думаю, ваша передача,— и опять Иннокентьев не мог про себя решить, перешел ли Помазнев с ним на «вы», случайно оговорившись, или он это сделал сознательно, и тогда как ему самому вести себя с ним, называть по-прежнему Димой или же Дмитрием Петровичем? — как раз тот самый случай крайней необходимости.

— Отчего же он молчит, не предпринимает пока ничего? — не удержался Иннокентьев вопреки принятому решению ни о чем не спрашивать, а только слушать и мотать на ус.

— А откуда, позвольте спросить, это вам известно? — спросил в упор Помазнев.— Откуда нам с тобой это может быть известно?.. Ремезов если уж действует, то на таких верхах, куда нам с тобой — да, старый, даже мне, несмотря на всю мою номенклатуру, вернее, именно в силу номенклатурной иерархии,— ход заказан, поверь.

— Я все-таки пойду,— сказала Рита,— не потому, что мне неинтересно, просто без меня вам будет легче договориться. Да и обожаю глядеть, как мальчишки играют в теннис, очень полезное зрелище.— И уже приоткрыв дверцу, отчего сразу хлынула в машину промозглая сырость, обернулась к Иннокентьеву.— При всех моих родственных отношениях с Аркадием Евгеньевичем я — на вашей стороне, Борис Андреевич. Но вы все-таки прислушайтесь к тому, что вам скажет Дима, он у нас умница. И всегда знает больше, чем говорит.

Мужчины молча проводили ее взглядом.

Дождь пошел сильнее, заливал лобовое и боковые стекла, и от этого мир за ними казался зыбким, неустойчивым.

— Вот такие пироги, Боря,— продолжил после недолгого молчания Помазнев,— и положение мое в данной ситуации совсем не простое. Да, я тоже, как и Рита, на твоей стороне, то есть не одобряю мелких пакостей Ремезова. Но я женат на его дочери, и одно это связывает меня по рукам и ногам. Дам свое «добро» на твою передачу — он найдет способ обвинить меня в том, что я свожу с ним семейные счета. Не дам — вся ваша театральная братия кинется доказывать, что я отвожу удар от своего тестя, хоть он мне такой же тесть, как и тебе. Но этого никому не объяснишь. А уж мне-то эта сомнительная катавасия, как ты понимаешь, совсем ни к чему. Так что остается одно...

— Умыть руки? — договорил за него Иннокентьев и тут же пожалел об этом — незачем лезть в пекло поперед бабки.

— Называй это как хочешь. И я спрошу тебя напрямик, по старой дружбе,— сам-то ты как поступил бы на моем месте?

Иннокентьев не ответил.

— То-то и оно, Борис,— положил ему руку на плечо Помазнев.— Оцени, по крайней мере, что я тебе прямо это все сказал. Теперь-то ты хоть знаешь что к чему и на что тебе можно рассчитывать.

Иннокентьев решил, что понял, чего от него ждет Помазнев: еще можно сыграть отбой, еще не поздно отступить — или отступиться, поправил он тут же себя,— не рискуя оказаться в дураках. Что ж, поду-

мал он, на правах той же старой дружбы можно и себе позволить спросить Помазнева напрямик.

— Короче говоря, ты считаешь дело дохлым и советуешь забрать обратно мою заявку?

Помазнев ответил не сразу, и в его молчании Иннокентьеву почудилось что-то похожее на разочарование.

— По чести говоря, я имел в виду не совсем это, Боря... Я ведь сказал тебе — я на твоей стороне, вот только помочь тебе никак не могу. Мое вмешательство, боюсь, только бы повредило делу. Одним словом, на меня рассчитывать не приходится. Я прекрасно понимаю, что мое и твое начальство, которое, можешь не сомневаться, давно уже в курсе дела, предпочло бы, чтобы именно я принял окончательное решение. Да и Ремезов тоже. Но этого удовольствия я ему не доставлю. Хотя тянуть уже больше нельзя, и кому-то придется решать, а вот кому именно и в какую сторону склонятся весы — этого даже я пока не могу сказать. Ремезов — сила, и связей у него на самом верху хоть отбавляй. Но, с другой стороны, он уже не тот, что прежде, и не так уже, как некогда, молятся на него. Кстати, и сам Ремезов не может этого не понимать или хотя бы не догадываться, у него нос был всегда по ветру. А общественное мнение сегодня нельзя сбрасывать со счетов. Может быть, именно поэтому он и выжидает, куда и откуда подует ветер, — лиса хитрейшая, он и из поражения своего такие купоны изловчится настричь...

Теперь пришла очередь Иннокентьеву помолчать, прежде чем на что-нибудь решиться.

— Хорошо, — сказал он наконец, — тогда и я, Дима, задам тебе тот же вопрос, который ты только что задал мне: как бы ты сам поступил на моем месте? Только честно. И — не обижайся. Тем более что ты вправе мне не отвечать. Но ты сам сказал — старая дружба...

— Дружба, — согласился с готовностью Помазнев, — Борис, не отрекаюсь. Но и — служба, не будем строить из себя невинных барышень. Но, как это ни покажется тебе странным, и по службе и по дружбе я бы на твоём месте не стал забирать свою заявку и вычеркивать из нее «Стоп-кадр». Кстати, я прочел пьесу твоего Митина, она, по моему, вполне в порядке, не вызывает никаких разнотолков. А почему бы я не стал забирать заявку — очень просто: о ней уже знаю не один я, но и высшее начальство. И то, что она уже у меня на столе, — и это всем известно. Если ты ее забереешь, это не сможет быть расценено иначе как то, что либо ты, либо я, либо мы вместе отпраздновали труса. А этого ни мне, ни тебе не нужно. Тем более, повторяю, совершенно не известно, какое решение будет принято там, наверху. Публичного скандала никому не нужно, но скандал, о котором стыдливо помалкивают, иногда куда опаснее для всех. Вот как я вижу сегодняшнюю ситуацию, Боря. Но я тебе ничего не навязываю. Пока риск для тебя невелик. Вот если бы передача уже вышла в эфир, а наверху было бы сочтено правильным вступить за Ремезова — тут дело бы запахло жареным. А так — ты пока всего-навсего предлагаешь этот сюжет, ну, ошибся, ну, недодумал, тебя поправили, в крайнем случае пожурили, не более. Может быть, я не прав, ты можешь не прислушиваться к моим советам, я не обижусь. Но уж будь любезен — свое решение принимай сам, на свой страх и риск. И не торопись, обмозгуй со всех сторон. Сегодня пятница, завтра и послезавтра выходные, в понедельник я улетаю в командировку в Тбилиси, все текущие дела, в том числе и твою заявку, я оставляю на усмотрение Гребенщикова, с ним тебе и придется в случае чего иметь дело. Заявку я ему передам безо всяких комментариев. Можешь опять сказать, что я умываю руки. Но я тебе обрисовал все как на духу. А решать тебе самому. Вот так, Боря. — И без всякого перехода, будто они и не говорили ни о чем другом, кроме тенниса, заключил: — Жаль, что нам не пришлось сегодня поиграть. Сто лет не брал ракетку в руки! Нельзя себе давать в этом смысле потачки Боря, нель-

зя терять форму! Не такие уж мы с тобой божьи одуванчики, чтобы ставить на себе крест. Я твердо решил играть не реже двух раз в неделю как минимум. Так что у нас с тобой все еще впереди, Боря, держи хвост морковкой!

Иннокентьев понял, что разговор о деле Помазнев считает оконченым и возвращаться к нему бесполезно. Все, что он считал нужным сказать, сказано, теперь все бремя решения на его, Иннокентьева, собственной совести. Хотя совет Помазнев дал ему дельный и мудрый — позорное отступление хуже славного поражения. Он действительно умница, Помазнев, свояченица его права. Он знает, что говорит, не зря же вот уже два десятилетия шагает все выше и выше по жизненной лестнице. Не цель оправдывает средства, а степень риска, который ты добровольно взял на себя, — цель. Стало быть, и нечего мучиться неопределенностью.

Вернулась Рита Земцова, села в машину.

— Там еще не скоро кончат, — сказала она и включила дворники, они мигом очистили стекло от дождевых потоков, и мир снаружи вновь обрел четкость и устойчивость. — Да и неинтересно играют мальчишки. Я не слишком рано вернулась?

— В самый раз, — ответил бодро Помазнев, — тема исчерпана. Смотаемся поужинать куда-нибудь?

— Четверть одиннадцатого, уже никуда не пустят, — отозвалась она, — не в Рио-де-Жанейро. Я бы вас обоих повезла к себе, да у меня, как на грех, в холодильнике хоть шаром покати. Придется отложить до другого раза. Но считайте, что я вас пригласила. Борис Андреевич, приезжайте с Димой, правда, я вам буду рада.

— Спасибо, непременно, — поблагодарил Иннокентьев, хоть и прекрасно понимал, что теперь, после их разговора, не скоро они с Помазневым смогут опять говорить друг другу «ты» и изображать из себя старых корешей. Он повернулся к Помазневу. — Что ж, Дима, спасибо за совет. Ты прав, так и надо поступить. А там — как обстоятельства сложатся.

— Не так страшен черт, как его малюют, Боря, — крепко и дружески сжал его ладонь в своей Помазнев, — эту истину надо ежевечерне повторять себе на сон грядущий. Вернусь из Тбилиси, непременно держи меня в курсе всего. И договоримся, когда нанесем визит Маргарите Аркадьевне, а то она еще передумает. Будь.

— Вы забудете, я сама напомню, — попрощалась с Иннокентьевым Рита. — Можете считать, что теперь не один Дима ваш друг.

Рита зажгла фары, и в их свете сразу стало видно, что дождь льет как из ведра. Он вышел из машины. «Жигули», круто развернувшись, мигнули на прощание алыми стоп-сигналами.

Иннокентьев пошел к своей машине, сел в нее, включил зажигание, но тронулся с места не сразу — он вдруг ощутил свинцовую усталость и полнейшее равнодушие ко всему, о чем они только что разговаривали с Помазневым и что казалось ему еще минуту назад таким важным и первостепенным. А сейчас голова и сердце были совершенно полыми, словно бы ливень вымыл из него все мысли, все чувства.

С тем и поехал домой.

О том, что стоящий в сетке на 24 марта «Антракт» заменен другой передачей, Иннокентьев узнал слишком поздно, чтобы можно было что-либо изменить или даже узнать почему. Подобные вещи (а отмена передачи, объявленной в программе на неделю вперед, — происшествие чрезвычайное, из ряда вон) решаются на таком уровне, куда не ходят объясняться, а ждут, пока тебя самого вызовут на ковер для объяснений и оправданий.

Впервые за долгие последние годы своих успехов и удач у Иннокентьева вдруг засосало под ложечкой от дурных предчувствий: знаменит ты или не знаменит, баловень ли судьбы или жалкий ее пасынок, а все мы, как говорится, под богом ходим, все стоим голенькие на семи

ветрах переменчивой случайности. Не надо было ему с самого начала лезть в эту историю, не надо было изображать из себя донкихота, вооружившегося игрушечным копьем. И невольно он стал искать виновного, того, кто втянул его в эту канитель, и этим виноватым, наперекор очевидности и логике и к его, Иннокентьева, собственному удивлению, выходили не Митин с Дыбасовым, даже не Настя с Ружиным, а — Эля.

Потому что, если б не Эля, растревлял он себя, черта с два он потерял бы чувство реальности, связался бы с Дыбасовым и попер на рожон против Ремезова, ему ли было не знать, что таких, как Ремезов, надо обходить стороной!..

Он поехал не домой — ему не хотелось сейчас видеть Элю, бессмысленное, несправедливое раздражение против нее росло и росло, он ничего с собой не мог поделаться, — а к Ружину. Вот тебе и вся народная мудрость, пришло ему на ум по дороге: не имей сто рублей, а имей сто друзей, а у него, выходит дело, за все про все один-единственный друг, Глеб. Но и он будет сейчас говорить вовсе не то, чего от него нужно Иннокентьеву, а требовать стоять насмерть, не сдаваться и прочее в этом роде. Ему-то, Ружину, что — он не только ничем не рискует, но и, с какой стороны ни смотри, как бы и вовсе не участвует в этой обреченной с самого начала на крах авантюре, с него взятки гладки, черт его подери со всеми его нравственными императивами, небожитель чертов!..

Но, как ни растревлял себя Иннокентьев, раздражения против Ружина не было, а против Эли — все злее подступало к горлу.

Дверь в квартиру Ружина была, как всегда, не заперта, а сам Глеб возлежал в одних трусах на собачьей полости, и на лице его было благостное и умиротворенное довольство собою и заодно всем мирозданием. Оно находило на него лишь в одном случае — если накануне он бывал в крупном выигрыше.

Иннокентьев с порога рассказал ему об отмененной передаче и обо всем, что неотвратимо должно за этим последовать, но Глеб слушал его невнимательно.

— А я все это знал наперед, — выдохнул он из себя почти с удовлетворением, — только отпетый дурак мог предполагать, что этот ваш детский лепет на лужайке может как-то иначе окончиться. — Безвольный, отсвечивающий нездоровой желтизной живот возвышался над ним бледной горой.

— Если знал, какого черта все сам и затеял?! — не со злобой, как он сам от себя ожидал, а устало огрызнулся Иннокентьев. — Зачем меня толкал на это дело? Если все знал с самого начала?..

Ружин с тяжким усилием приподнялся на локте, пристально поглядел на Иннокентьева и ответил не сразу:

— Потому что я бы на твоём месте поступил именно так и никак иначе.

— На моем месте! Посмотрел бы я на тебя на моем месте..

— Потому что, — не услышал его Ружин, — для порядочного человека в этой ситуации нет выбора. За или против, третьего не дано.

— За — что?! — вскинулся Иннокентьев, хотя знал заранее, что ему ответит на это Глеб.

— В конце концов, можешь ведь ты позволить себе хоть изредка поступать как порядочный человек, большего от тебя никто и не требует. И не слишком заботиться, чем это для тебя обернется.

— Вяizzlyваться в драку, заранее зная, что тебе набьют морду? Извини, это не для меня.

— И все-таки ты это сделал, стало быть, как ни отбрыкивайся, а где-то на самом доньшке сидит в тебе порядочный человек и нет-нет, а напоминает о себе. Ведь ты тоже с самого начала знал, чем это пахнет, несомненно догадывался, что вся эта ремезовская шайка так просто не подставит голый зад. — Он откинулся снова на спину, живот его студенисто заколыхался. — Если бы тот же Дон Кихот, — словно бы

подслушав его недавние мысли, продолжал Глеб,— победил все на свете ветряные мельницы, его бы давно забыли. А так, поверженный в прах и всеми осмеянный, жив курилка. Тебе это никогда не приходило в голову?

— Я не Дон Кихот.— Иннокентьев прошел наконец в комнату, присел на топчан в ногах у Глеба.— Подобной роскоши я себе позволить не вправе. И вообще этот тип давно свое отвоевал, пора и честь знать. Что же до порядочности — именно порядочный человек, прежде чем лезть на рожон, а тем более других за собой тянуть, должен хотя бы пораскинуть мозгами, чем все может закончиться. Мне ведь тоже неохота подставлять голый зад под розги. Это с одного тебя как с гуся вода.

— Ты хочешь — всерьез? — спросил сурово Ружин.— Давай поразмышляем, я не против.

— Ты бы хоть оделся! — неожиданно для себя самого взорвался Иннокентьев.— Хоть бы пузо прикрыл чем-нибудь!

— Если тебя смущает моя нагота...— Глеб тяжело перекатился на бок, спустил ноги на пол, но на большее его не хватило, он так и остался сидеть на лежаке, не сводя глаз со своих ступней с желтыми, неопрятно остриженными ногтями.— Истина, если ты вправду ее ищешь, и должна быть обнаженной, ей не пристало смущаться самой себя. Так поразмышляем о добром и вечном, или ты уже передумал?

— Мне не до того. Быть бы живу, как говорится, и на том спасибо.

— Тем более,— вопреки очевидной логике утвердился в своем намерении Глеб.— Сейчас пробил твой звездный, может быть, час, только ты боишься признаться себе в этом. Самое тебе время подумать о вечности.

— Звездный час?! — раздраженно пожал плечами Иннокентьев.— Может, ты хотел сказать — смертный?

— А чаще всего это одно и то же. Вспомни хотя бы Жанну д'Арк. Ее что же, по-твоему, за девственность, к тому же более чем сомнительную, причислили к лику святых? Или за победы, которые на поверку оказались никакими не победами?.. Нет уж, извини, за костер! Вот когда взошла она на костер, тут-то и пробил ее звездный час, так-то! А теперь твой черед, хоть твой костер и вполне безопасен, бенгальский огонь, так и ты невелика птица, знай свое место.— На сей раз, заведя свою нескончаемую проповедь, Глеб не гремел басами, не метал молний, а говорил негромко, проникновенно, словно речь шла о самом главном и неотложном, а времени у них обоих в обреш: завтра страшный суд.— Ты прав, с меня как с гуся вода, я — сторона, сию же на обочине, гляжу с любопытством на тех, кто по дороге шагает, кто бодренько, кто кряхтя, из последних сил выбивается, а идти — надо, остановка смерти подобна. А я со стороны, с обочины, из тенечка — да? — за вами наблюдаю. Так вы ведь меня тоже только со стороны видите, под вашим, а не моим углом. И невдомек вам, умникам и делателям, что я за эту, на ваш сторонний взгляд, такую удобную и безопасную позицию тоже недешево плачу и тоже постоянно, вседневно. Чем плачу?.. А хотя бы самоограничением. Отказом от тщеславия, честолюбия, карьеры, комфорта, семьи человеческой, наконец... что там еще в обязательный набор вашего вшивого счастья входит? А ведь даже и сейчас еще нет-нет, а скребет внутри, уж так-то хочется выделиться из общего ряда, и славы хочется, и успехов — хоть эстрадной певичке впору завидовать. И в газете бы свою фамилию увидеть жирными литерами, и в телевизоре свою рожу немытую, и в святцах литературных имечко увековечить, и на благодарную память потомков тянет, как алкаша на запахах сивухи,— прямо-таки беда! Мухой на мед полетел бы! И тут-то и вспоминаешь, что мухи не на один мед слетаются, и не на мед — еще с большей охоткой и вожделием, запах-то шибче, чем у меда, дух перхватывает, где уж тут второпях разобраться — мед или...

— О чем ты?! И при чем здесь ты?.. Разве я затем к тебе пришел?

У меня неприятности, в которые ты же меня и втянул, неизвестно чем все кончится, а ты...

— И это все, ради чего ты пришел ко мне?.. — не то с искреннейшим удивлением, не то с таким же неподдельным сожалением, даже с жалостью покосился на него Ружин. — Все, что тебя волнует во всей этой чертовщине?! А я-то думал в кои-то веки поговорить с гобой о серьезном, о чем мы в спешке, в круговерти нашей вечной и задуматься не успеваем, а потом хватимся, да поздно, проспали сами себя...

— Вот оно что!.. — возмущился не на шутку Иннокентьев. Растерянность его и бессильное раздражение вдруг словно бы обрели цель — хватить играть в бирюльки, в жалкие поддавки с самим собой! — Вот оно что!. Что ж, давай поразмышляем, но — начистоту, без этих ваших фиговых листочков, которые вы выдаете за высшую духовность, за этакое небожителство — мы выше, мы чище, мы знать не знаем, ведать не ведаем всего земного и грубого! А сами ко мне же и бежите: помощи, караул, бьют наших! Ваших, а меня-то вы своим не признаете, при каждом удобном случае спешите напомнить — не ваш я, куда мне до ваших горних высот духа! А бежите, кидаетесь в ноги, потому что знаете — без меня и таких неумытых, как я, вам крышка... Что ж, давай порассуждаем, если тебе так уж приспичило Только, чур, выслушаешь меня до конца. И — не перебивать!

— Та-ак... — весело протянул Ружин, словно бы давно ждал этого разговора и был рад вволю им поразвлечься, — речь, как я понимаю, идет о душевном стриптизе? Долой стыд?

— Долой ваше копеечное самовлюбленное вранье! — вскочил с топчана Иннокентьев. — Вы ведь исходите из того, что одним вам известна истина в последней инстанции. Что вы схватили бога за бороду и он просто-таки обмирает от ужаса! Кто не с вами — тот против вас, а это уж и вовсе смертный грех неотмолимый, тут вы ни снисхождения, ни терпимости не ведаете, тут вы всем миром на провинившегося святотатца наваливаетесь, и горе ему, ошельмуете, подвергнете такому остракизму, что бедняге потом и костей не собрать. А чуть тронешь вас, осмелишься не согласиться или попросту промолчать, так вы в крик — мы люди без кожи, мы незащищенные, ранимые, с нами нельзя так грубо, нас беречь надо, холить-лелеять, мы — соль земли!..

Иннокентьев остановился перевести дух, и тут Ружин вставил спокойно:

— Ну а вы?.. Хотя нет, не будем торопить события, кто такие эти смерзительные, злокозненные «мы»? Не хочешь поименно, так хоть общие контуры обведи.

— А-а... — Весь этот разговор вдруг показался Иннокентьеву бессмысленным и постыдным: выходит дело, он плачется Глебу в жилетку. — Если тебе самому неспятно.

— Мне-то понятно, — Ружин запустил обе пятерни в бороду, — все, о чем ты говоришь с таким юношеским пылом, мне и самому — поперек горла, ненавижу и презираю. Только ведь это всего-навсего обратная сторона медали, второй конец палки... Ну да ладно, к «нам» мы еще вернемся, а вот кто же такие эти «вы», от имени которых ты хвост распушил? Заметь, я без предвзятости, просто понять хочу и разобраться, почему это я — «мы», а ты — «вы». Где эта роковая черта, нас разделяющая?

— Вот хотя бы этот ваш... Хорошо, — раздраженно отмахнулся Иннокентьев, — теперь уже, увы, наш «Стоп-кадр»... Как, по какому такому беспроволочному телеграфу всей Москве мигом стало известно, что это из ряда вон явление, что Дыбасов — гений и первопроходец, а Ремезов — зажимщик и вор с большой дороги? И что надо всем миром кидаться на помощь и, как ты сам сказал, у порядочного человека тут нет и не может быть выбора?.. Ну а если бы мне, лично мне, уж прости за нескромность, этого бы не показалось? Не понравился спектакль просто-напросто? Если бы...

— Пусть,— прервал его Ружин,— Предположим, что так оно и могло случиться. Но разве от этого перестает существовать самый факт, что Ремезов хочет присвоить себе работу Дыбасова? Одного этого недостаточно, чтобы кинуться на помощь Дыбасову и орать «держи вора»?.. Разве нет обстоятельств, когда порядочный, честный человек должен броситься на выручку другому, даже если этот другой ему и не шибко симпатичен?

— Но если бы мне спектакль и на самом деле не понравился? — Иннокентьев понимал, что ему никак не удастся сказать словами то, что хочет, и так, как надо, а не значит ли это, что он, может быть, и не так уж прав, как ему кажется?.. — Если бы мне спектакль и в самом деле не понравился и я бы захотел сказать об этом во всеуслышание, хоть в том же «Антракте», например,— как бы ты и все вы к этому отнеслись?..

Ружин опять покосился на него, и Иннокентьеву показалось, что на этот раз — с некоторой неуверенностью.

— Как бы в этом случае,— настаивал Иннокентьев,— должен был, по-твоему, поступить тот самый порядочный человек? Отвлечемся от попытки Ремезова уворовать чужой спектакль, для ясности хотя бы.

— Зачем же отвлекаться от воровства? Порядочному человеку, извини, это едва ли придет в голову,— уклонился Глеб от прямого ответа.

— Ты прекрасно понимаешь, о чем я хочу сказать,— не уступал Иннокентьев, хотя ему уже осточертел этот их с Ружиным бесконечный спор, заводящий всякий раз лишь в новый тупик.— Вы так же категоричны и нетерпимы, как и те, которых считаете своей полной противоположностью и с которыми не желаете иметь ничего общего. Вы так же не хотите позволить кому бы то ни было — не обо мне же одном речь! — иметь точку зрения, отличную от вашей, и отказываете ему в праве высказать ее вслух. Чем же вы отличаетесь в таком случае от них, этих ваших, как вы полагаете, антиподов, чтоб не сказать — заклятых врагов?.. Мне плевать что на вас, что на них, если и вы и они не оставляете за мной права быть самим собой.

— Готов был бы с радостью с тобой согласиться, даже обоими руками подписался бы под каждым твоим словом,— хитро и победно прищурился Ружин, словно бы нащупав наконец в рассуждениях Бориса слабое, уязвимое звено,— если бы ты хоть раз, хоть один какой-нибудь разик осмелился во всеуслышание сказать все, что ты думаешь о них. О том же Ремезове хотя бы или еще о ком-нибудь из той же весовой категории. Даже не то чтобы пощипать ему перышки, а просто констатировать, что новый его спектакль чуть хуже предыдущего. А?.. — И воззрился на него своими колючими глазками, будто вцепился в добычу когтями.

Иннокентьев промолчал, но про себя подумал, что этот их вечный спор похож на гонки по замкнутому кругу, когда уже не понять, кто кого догоняет и кто от кого бежит.

Не дождавись его ответа, Ружин надолго задумался, глядя в открытую настежь форточку, словно бы ища там единственно неопровержимые слова.

— Видишь ли... видишь ли, все зависит от того, в какой степени мы бескорыстны. Если мы извлекаем хоть какую-нибудь личную выгоду из того, что говорим или о чем умалчиваем, ищи тут подвоха. Вот и в нашем с тобой случае...

Но Иннокентьев его уже не слышал. Что ему сейчас до пустопорожних разглагольствований Ружина?! Ему надо думать о деле, найти выход из чреватой бог знает какими осложнениями ситуации, предпринять что-то решительное, точное, беспронгрышное...

— ...это как инстинкт, если уж на то пошло,— продолжал меж тем Ружин настойчиво и даже, как показалось Иннокентьеву, с какой-то давнишней болью,— инстинкт чести и нравственности,— либо он у те-

бя есть от рождения, либо обделили им тебя. Кстати, это одно и то же — врожденное чувство правды и чести и чутье на настоящее в искусстве.

— Ты хочешь сказать, что я...— услышал его последние слова Иннокентьев.

— Да, Борис, да...— Ружин взглянул ему прямо в глаза, но не с укоризной, а всего лишь с мягкой настойчивостью, не дающей ни увильнуть от прямого ответа, ни солгать.— Отличить настоящее от ненастоящего ты еще, пожалуй, способен, по крайней мере когда это тебе на руку, а вот что касается бескорыстия...

— Ты себе противоречишь!

— А как же, само собой, противоречу!— охотно и даже будто с облегчением согласился Глеб.— Я и есть сплошное противоречие самому себе. То есть я хочу сказать, что ты и насчет чести и правды знаешь все не хуже других, а вот какой для себя при этом выбор делаешь...

— Глеб!..— взмолился Иннокентьев.— Но ведь в этой истории со «Стоп-кадром» я сделал свой выбор!..

— И тут же, как только запахло жареным,— словно бы отодвинулся от него куда-то вдаль Ружин,— норовишь уйти в кусты, да еще и найти виновных в твоей нечаянной слепой храбрости. Я даже знаю, кого ты винишь во всем. Кроме Дыбасова и Митина, разумеется. И уж, само собой, кроме меня, я-то у тебя всегда первый виноватый, поскольку уже давно заменяю тебе твою собственную совесть. Но на этот раз ты себе выбрал для удобства другого виноватого...

— Кого?!— вскинулся Иннокентьев: неужто и это Глеб в нем учуял?..

— Ее.— В голосе Глеба был опять не укор, а что-то вроде снисходительной жалости, которая была Иннокентьеву во сто крат унижительнее любого укора.— Потому что в твоей такой раз и навсегда просчитанной наперед, такой неукоснительно благополучной жизни, которую ты в поте лица себе отстроил и теперь бережешь пуще зеницы ока, она свалилась на тебя как снег на голову и все перепутала. Это как удар под дых, когда его совсем не ожидаешь...

—Я ее люблю!..— хрипло вырвалось у Иннокентьева, заняло сердце.— Люблю, черт побери!

— Любишь,— легко согласился с ним Ружин.— Любишь и сам же боишься этого. Потому что знаешь, что ненадолго тебя хватит. А тут как раз такой случай подвернулся — все вернуть на круги своя...

— Я ни о чем не жалею!— выкрикнул фальцетом Иннокентьев. Замолчал и только много погодя договорил как бы про себя: — Я ее люблю, хотя...— И опять умолк надолго, чтобы потом спросить на удивление самому себе деловито: — Что же мне надо теперь делать, по твоему?

Ружин долго на него глядел, затем встал, сказал скучно:

— Пойдем на кухню, я сварю кофе.

Он вышел за дверь, а Иннокентьев остался сидеть за столом, покрытым прилипающей к ладоням клеенкой, и вдруг почти физически ощутил, как в нем набирает определенность и твердость решение, что делать и на чем стоять вопреки чему бы то ни было. И как уходит, освобождая его и снимая все сомнения, то расслабляющее, лишаящее воли и цели прекраснородушное раскисание, что пришло в его жизнь вместе с нею, с Элей. Он снова — и это ощущение не обманывало его, оно все, и окончательно, ставило на свои прежние места, — он снова становился собою, таким, каким был всегда и каким ему и должно быть. Что же до платы за это — что ж, за ценой он не постоит.

Он пошел за Ружиным на кухню, по дороге в передней встретился глазами со своим отражением в потускневшем, в рыжих подпалинах зеркале — это был опять он прежний, не знающий сомнений и ко всему готовый, он не отвел взгляд от прямого, настойчивого, чуть насмешливого взгляда своего двойника: он принял решение, единственно пра-

вильное и достойное его, и от этого решения он не отступится ни за какие коврижки.

Он подошел к двери на кухню, остановился на пороге. Ружин колдовал над кофе у плиты.

— Вот что,— сказал Иннокентьев, и голос свой, спокойный, твердый, тоже узнал и обрадовался ему как старому, верному другу,— я знаю, что надо делать. И ты удивишься, насколько это мое решение совпадает с твоими советами, которые ты, конечно же, собираешься мне понадавать. Хотя на самом деле они меж собой не имеют ничего общего. Даже совершенно противоположны. Но мы с тобой никогда, честно говоря, и не понимали друг друга. Так вот, я не собираюсь поднимать лапки кверху. Я напишу письмо самому главному моему начальству. А может быть, и еще повыше. И скажу — либо они выпустят в эфир мой «Антракт», либо.. Одним словом, они должны знать, что со мной нельзя не считаться.

— Точнее — не рассчитаться, верно? — перебил его без насмешки Ружин через плечо.— Баш на баш, так?

— Что я не трус,— не услышал его Иннокентьев.— И не мне, а им платить по гамбургскому счету, если дойдет дело до этого.

Ружин помедлил, не оборачиваясь от плиты.

— А Дыбасов и Митин? «Стоп-кадр»?.. Или они все уже не в счет?

— После драки махать кулаками — последнее дело,— твердо ответил Иннокентьев.— Я сделал все что надо. И что мог. А теперь пусть уж они сами, не маленькие.

Ружин по-прежнему стоял к нему спиной. Иннокентьев не стал дожидаться, что он скажет, повернулся уходить.

Глеб спросил ему вдогонку:

— А — Эля?..

Иннокентьев ничего не ответил, вышел, не простившись, на лестничную площадку, сбегал быстро вниз. По-видимому, кофе выкипел на плиту — даже внизу в подъезде был слышен его крепкий запах.

9

Иннокентьев написал свое письмо — именно письмо, а не заявление или объяснение, он его тщательно отредактировал, выверяя каждую фразу, чтобы оно и было прочитано начальством как личное письмо, а не просто как казенная бумага по инстанции. Он считал, что его положение на телевидении дает ему на это право.

Слишком многое было поставлено на карту. В ожидании ответа и вызова к началству он не однажды подробно проигрывал про себя этот предстоящий разговор, стараясь предугадать, о чем его спросят и что ему скажут, и готовил свои ответы на эти вопросы, продумывал сильные и слабые стороны своей позиции.

Он не скрывал от самого себя, что, может быть, предпочел бы, чтобы никакого ответа не было, чтобы его никто никуда не вызывал и не надо было ни объяснять, ни настаивать на своей правоте. Он предпочел бы, чтобы все это дело тихо ушло в песок, было спущено на тормозах, чтобы о нем понемножку забыли, а со временем все, как учит нас жизненный опыт, так или иначе устраивается, утрясается, возвращается на то место, где ему и надлежит от века быть.

В противном же случае... в противном случае он, чем черт не шутит, может остаться без «Антракта», — а кто он, что он без своего «Антракта»?..

Оставалось одно — набраться терпения и ждать.

В середине апреля на гастроли в Москву приехал французский театр из Лиона, и по этому случаю в Театральном обществе было устроено что-то вроде полуофициального приема.

Когда Иннокентьев приехал в старинный особняк на Страстном бульваре, в небольшом ампирином зале с темно-синими стенами народу было уже полно, на длинных столах были сервированы немудрящие

напитки и закуски, вокруг них толклись с бокалами и тарелками в руках приглашенные, нечленораздельно гудели голоса, мешая русскую речь с французской. Знакомых была пропасть, и, пробираясь к столу — со стаканом или рюмкой в руке на подобных сборищах чувствуешь себя почему-то гораздо увереннее и спокойнее, иначе и вовсе непонятно, чем себя занять и как держаться,— Иннокентьев то и дело пожимал чьи-то руки, кого-то обнимал, обменивался ничего не значащими и ни к чему не обязывающими приветствиями, восклицаниями, междометиями, изображая на лице приличествующую случаю и месту беспечную оживленность.

Прославленный на всю Европу французский режиссер был в подчеркнуто демократичном, мятом и с замшевыми заплатами на локтях пиджаке, без галстука, актеры — кто в джинсах, кто в вытянутых свитерах, кто и вовсе в расстегнутых до самого пояса рубашках.

В дальнем углу зала Иннокентьев заметил стоявшую к нему лицом Настю Венгерову. Она его увидела еще раньше и следила за ним своими фиалковыми глазами. Встретившись с ним взглядом, она слегка кивнула ему и тотчас же отвернулась к своему собеседнику — высокому элегантному человеку с копной седых волос. Не узнать его было нельзя — это был не кто иной, как Аркадий Евгеньевич Ремезов.

Иннокентьев, глядя издали в сторону Насти, в который раз подумал о том, что из всех женщин не только в этом зале, но и в целом мире Настя была единственная, с которой ему могло бы быть хорошо. Едва ли он был бы с ней счастлив — актрисы не созданы для того, чтобы делать спутников своей жизни счастливыми,— и все-таки она одна по-настоящему ему подходила. Не судьба, подумал он со вздохом не то печали, не то облегчения, а жаль.

Он наблюдал со стороны, как спокойно и даже дружески улыбается, беседуя с Ремезовым, Настя. Актриса, подумал Иннокентьев. Но и такая она все равно ему подходила.

— Я не помешаю вашей беседе? — спросил он, протолкавшись к ним.

Пожать друг другу руки они с Ремезовым не могли — и у того и у другого они были заняты тарелками с крохотными бутербродами и бокалами с фанжадом.

— Отнюдь,— неожиданно высоким голосом радушно отозвался Аркадий Евгеньевич.— Даже напротив, вы, дорогой Борис Андреевич, как нельзя более кстати. Мы как раз говорили с Анастасией Константиновной о спектакле вашего, если не ошибаюсь, друга Игоря Александровича Митина и о том, как нам с ним быть.

Иннокентьев сразу понял, куда клонит Ремезов, сказав не «спектакль Дыбасова», что было бы гораздо логичнее, а «спектакль Митина», не тот человек Аркадий Евгеньевич, чтоб формулировать свои мысли неточно или не так, как считал нужным для дела. Но гораздо важнее была та откровенность, с которой он, не задумываясь — а вернее, наверняка заранее все продумав и взвесив, прежде чем на что-то решиться,— дал понять, что вполне в курсе того, что ему, Иннокентьеву, эта история со «Стоп-кадром» далеко не безразлична, что он, Иннокентьев, увяз в ней по самые уши и что вызов его принят. И еще что он, Ремезов, не только не утрачен и не обеспокоен этим, но и, приглашая Иннокентьева к открытому разговору, все просчитал вперед и принял все необходимые меры предосторожности.

— Вот как? — осторожно отозвался Иннокентьев и покосился на Настю, но она отвела глаза.— Едва ли я смогу быть вам полезен, Аркадий Евгеньевич.

— Уезжая в Югославию,— продолжал спокойно и рассудительно Ремезов, и по его тону никак было не понять, огорчен ли он сложившимся не по его воле обстоятельствами, равнодушен ли к ним или укоряет неведомо кого в том, что дело обстоит совсем не так, как он имел на то все основания рассчитывать,— я был убежден, что по возвраще-

нии найду работу над спектаклем совершенно законченной, только и останется что показать его художественному совету и сыграть премьеру. Вот Анастасия Константиновна не даст соврать. При всем том, что я с самого начала отдавал себе отчет во всех несовершенствах пьесы Митина, я был ее убежденным сторонником, Анастасия Константиновна и это может подтвердить. Не так ли, Настенька?

Венгерова не ответила. Иннокентьев подумал, что до того, как он подошел к ним, Ремезов наверняка убеждал ее перейти, пока не поздно, на его сторону и та наверняка уклонялась от прямого ответа, не говорила ни «да», ни «нет». И вот теперь и вовсе не знает, как себя держать. Ремезов хоть кого уломает и перетащит к себе в союзники, подумал Иннокентьев, тем более первую артистку своего же театра, которую он, и это всем известно, вылепил собственными руками, вывел в знаменитости, а по слухам, был даже когда-то влюблен в нее и чуть ли не собирался жениться. Да и можно ли хоть в чем-нибудь полагаться на актеров, на этих великовозрастных капризных детей, которых помани только новой ролью, потешь побрякушкой успеха — и они пойдут за тобой на край света, как гаммельнские ребятишки за Крысоловом...

— Нам в репертуаре давно была нужна серьезная психологическая пьеса, — продолжал, не настаивая на Настином ответе, Ремезов, как бы поверяя Иннокентьеву свои мысли и сомнения, а может быть, даже просто рассуждая вслух с самим собой, а уж от себя-то что скрывать, зачем перед собой-то лукавить, — не по-модерновому, уж извините меня, ретрограда, условная, не чернуха какая-нибудь на потребу снобам. Потому-то я, вопреки даже мнению большинства худсовета, включил в план пьесу Митина и дал ее ставить Дыбасову, способнейшему из моих учеников.

Настя подняла глаза на Ремезова, и Иннокентьев увидел, как сверкнула в них такая гневная обида, что он едва подавил улыбку: Настя никогда не простит Ремезову этого «ученика» в адрес ее нынешнего вероучителя и божества. Дыбасов, и в это Настя свято верит, не может быть ничьим учеником, он гений от рождения, с пеленок, на нем благодать небес, и никто не вправе считать, а тем более публично называть его своим учеником!

— Но вернувшись, — сделал вид, что ничего не заметил, Ремезов, — я не стал торопить Романа, ждал, когда он сам придет ко мне и скажет — все готово, созывайте ваш худсовет. Но так и не дождался. Впрочем, у меня и своих собственных забот накопилось по горло, я и не стал напоминать ему. Но все сроки вышли, все наши планы горят, а заодно и премиальные артистам, а этого никто из них мне не простит, вот я и спросил его на прошлой неделе: готово? можно смотреть? И если бы ему нужна была моя помощь, я отложил бы в сторону все свои дела и, что называется, засучил рукава. Но в ответ — Анастасия Константиновна опять же была свидетельницей этой не очень, прямо скажем, достойной сцены — он закатил нечто похожее на истерику с криками и стенаниями, объявил, что ничего еще не готово, что он не может сказать, сколько времени ему еще понадобится, что искусство, видите ли, не сапожная мастерская, где можно заранее планировать и устанавливать какие-то сроки. Одним словом, ничего путного я от него так и не услышал. Ясно только, что он намерен еще неведомо сколько репетировать на сцене, а сцена нам нужна для следующего спектакля. Хоть мы и не сапожная мастерская, но государственный план и для нас — закон. Значит, ничего не остается как переносить ваш «Стоп-кадр», — Ремезов так и сказал, глядя прямо в глаза Иннокентьеву, — «ваш», и тем самым и вовсе выложил на стол свои карты, — на неопределенное будущее, по крайней мере на следующий сезон. Если только, разумеется, самому Дыбасову и артистам не надоест тянуть до бесконечности эту волюнку, такое на моем веку тоже неоднократно бывало. Переспелый фрукт, — он с особым смаком произнес это слово, «фрукт», — так же несъедобен, как и незрелый. Как гово-

рится, дорого яичко ко Христову дню. Вот такие наши дела, любезнейший Борис Андреевич, и как из этого выбраться, ума не приложу. Вот я и хочу вас, а заодно и Анастасию Константиновну спросить — как бы вы поступили в подобной ситуации на моем месте?..

Но еще прежде чем он закончил свою неспешную, как то и подobaет настоящему метру, непререкаемому авторитету, речь, Иннокентьев понял, к чему он клонит, какое решение принял и — обвел всех вокруг пальца, как слепых котят: он не пойдет на скандал, он отказался от мысли присвоить себе дыбасовский спектакль, но и Дыбасову не увидеть этого спектакля как своих ушей. Ремезов поймал его на слове: спектакль не готов, и неизвестно, когда будет готов, а у театра есть план, есть график, нарушать его никому не дано, ничего не остается как отложить эту затею на непредсказуемо далекое, а значит, и совершенно нереальное будущее, а уж там-то Аркадий Евгеньевич без труда найдет, под каким благовидным предлогом списать спектакль в творческие неудачи, в несостоявшийся — и отнюдь не по его, Аркадия Евгеньевича, вине, не он ли предлагал в свое время бескорыстную свою помощь, не он ли поддерживал почти в одиночку и пьесу и самого Дыбасова! — эксперимент, а от неудачи кто застрахован? Просто, как все гениальное, — не Дыбасов доморощенный гений, а он, Ремезов, гений науки побеждать.

Вот почему те, которые узнали о решении Ремезова раньше него, Иннокентьева, и которые несут ответственность за все, что попадает на телевизионный экран, по всей справедливости — придраться не к чему! — сняли передачу «Антракта»: в ней уже не было ни нужды, ни смысла, дело разрешилось и без нее.

Не дожидаясь ответа Иннокентьева — да в его расчеты вовсе и не входило услышать ответ, — Ремезов нашел глазами кого-то в толпе и, небрежно извинившись: «Я вас ненадолго покину», повернулся к Иннокентьеву и Насте спиной и был таков.

Настя все молчала. Иннокентьев усмехнулся и сказал, поразившись сам тому, как это у него получилось — не мрачно, не обреченно или хотя бы с сожалением, а с каким-то даже злорадным облегчением:

— «Ты этого хотел, Жорж Данден».

Настя не поняла его.

— Ты о чем?

— Мы проиграли, очень просто. Другого и не следовало ожидать, честно говоря.

Она сказала упрямо, не своя с него взгляда:

— Ты не знаешь Дыбасова.

— Хорошо, — поморщился он, ему вдруг все это смертельно надоело, — я проиграл.

— Ты не знаешь Дыбасова! — еще упрямее повторила она.

— Зато я знаю Ремезова. — Ему захотелось вдруг больно схватить ее за плечи, тряхнуть, чтобы она пришла наконец в себя, увидела мир в его истинном свете, перестала строить свои воздушные замки. Впрочем, тут же мелькнуло у него в голове, может быть, ему просто до смерти захотелось обнять ее и никогда больше не выпускать из объятий, ибо из всех женщин на свете она одна была нужна ему. Но это был бы еще один воздушный замок, не более того. — Я знаю жизнь.

— Ты не знаешь Дыбасова, — в третий раз повторила она, спотыкаться с ней было бесполезно.

Вскоре он ушел и, спускаясь по лестнице, вдруг подумал, что — май на носу, весна, самая теннисная пора. И твердо решил, что завтра же подаст заявление об отпуске и укатит на юг, к теплему морю.

Телефон зазвонил, когда Иннокентьев брился в ванной. Чертыхнувшись, он как был, с помазком в руке, побежал в кабинет и взял трубку, держа ее на отлете у уха, чтобы не вымазать мыльной пеной.

— Я слушаю.

Женский голос, вежливый, но твердый, спросил:

— Товарищ Иннокентьев?

— Я слушаю, слушаю! — нетерпеливо повторил Иннокентьев.

— Борис Андреевич, с вами говорят из приемной Помазнева Дмитрия Петровича. Дмитрий Петрович просит вас, если вы можете, зайти к нему сегодня к двенадцати часам. Если вас это устраивает.

— В двенадцать?.. — потянул с ответом Иннокентьев, застигнутый врасплох этим звонком и приглашением Помазнева, которое, и гадать не надо, наверняка связано с его письмом начальству. — Хорошо, в двенадцать.

— Спасибо, Борис Андреевич, мы вас ждем. — И на том конце провода положили трубку.

Добриваясь, Иннокентьев два раза порезал лезвием подбородок. Нервы, усмехнулся он про себя, нервишки...

Секретаршей Помазнева — как это он сразу не узнал ее голос по телефону! — была известная всем и каждому неприступная Елена Владимировна, когсрую боялись не только подчиненные ее начальника, но, по слухам, и он сам.

Но сейчас, когда он вошел в приемную, Елена Владимировна была с ним сама приветливостью и дружелюбие.

— Пожалуйста, Борис Андреевич Дмитрий Петрович вас ждет. Одну минутку. — Она нажала кнопку селектора на столе, доложила шефу: — Дмитрий Петрович, товарищ Иннокентьев уже здесь.

— Хорошо, — ответил несколько искаженный техникой голос Помазнева, — я округляюсь. Извинитесь за меня, пожалуйста.

Иннокентьев сел в кресло, стал листать какой-то гэдээровский иллюстрированный журнал, лежавший на столике рядом.

— Если хотите курить, курите, Борис Андреевич, — предложила Елена Владимировна. — вообще-то у нас не принято, но для вас я сделаю исключение. — И, достав из ящика своего стола массивную стеклянную пепельницу, протянула ее Иннокентьеву.

Это уж было слишком!.. В Останкине, где курить разрешалось только на отведенных для этого лестничных площадках и где из дисциплинарных соображений за нарушение этого правила были оштрафованы пожарной охраной несколько сотрудников, среди которых и один главный редактор, и антитабачную кампанию — это тоже было доподлинно известно — возглавлял не кто иной, как неизменный вот уже на протяжении двадцати лет член месткома Елена Владимировна, — чтобы именно она предложила сейчас Иннокентьеву курить, да еще сама протягивала ему пепельницу!..

Но Иннокентьев не успел сделать из этого поразительного факта какие-либо выводы — двери кабинета Помазнева открылись, из них вышли два сотрудника редакции, и голос Помазнева сказал по селектору:

— Елена Владимировна, пригласите товарища Иннокентьева.

Просторный кабинет Помазнева выходил огромным, во всю стену, окном на безбрежное, блекло-синее небо, отчего комната казалась свободно парящей в этой синеве.

Помазнев встал из-за стола и пошел навстречу Иннокентьеву, дружески потряс его руку и, обнявши, как в тот раз, в коридоре, за плечи, подвел к глубокому кожаному креслу впереди письменного стола. Дождавшись, чтобы Иннокентьев сел, вернулся за стол, свободно откинулся на спинку своего вертящегося стула, закинул ногу за ногу, приняв явно неофициальную позу.

Вернувшись в Москву после нескольких лет работы за границей, Помазнев привез оттуда, кроме знания двух или даже трех иностранных языков, еще и усвоенный там стиль делового, но демократически-своего обращения с подчиненными, что не мешало ему при случае проявлять строгость и требовательность, и они не без страха душевно-го переступали порог его кабинета. При этом Помазнев безошибочно

делил сотрудников на тех, кто боится его и готов не рассуждая выполнять любое его указание, и на тех, кто — из чувства собственного достоинства хотя бы — прежде чем согласиться и подчиниться, высказывал и даже настаивал на собственной точке зрения, и недвусмысленно отдавал свои симпатии вторым.

— Одну секунду, Борис Андреевич,— извинился он и, нажав клавишу селектора, сказал тихим голосом человека, уверенного, что его не могут не услышать: — Елена Владимировна, не забудьте, пожалуйста, ровно в половине первого соединить меня с Прагой, а до часу — снимайте трубку, но меня здесь нет.

И заговорщически-весело улыбнулся Иннокентьеву, словно только для того и сказался отсутствующим, чтобы им никто не помешал провести несколько минут за дружеской, ничего общего с деловыми заботами не имеющей беседой.

Но тут же лицо его приняло серьезное, даже озабоченное выражение.

— Начну прямо с дела,— сказал он после недолгого молчания, в течение которого Иннокентьев смотрел не в лицо ему, а на его бледные, с длинными, сильными пальцами руки. На левой руке поблескивало в луче солнца тоненькое обручальное кольцо, и Иннокентьев подумал — как странно сошлось, что Помазнев женат именно на дочери Ремезова... И тут он вспомнил — впервые с той их встречи у Дворца тенниса — Риту Земцову и то, что он так и не откликнулся на ее приглашение прийти к ней в гости. И Помазнев тоже не напоминал об этом.— Так вот, возьмем, Боря, как говорится, быка за рога...

Вот оно, успел подумать Иннокентьев и почувствовал, как весь напрягся, ни дать ни взять теннисист в ожидании подачи противника.

— Вот я зачем тебя пригласил, Борис Андреевич. Двадцатого июня... да, кажется, именно двадцатого, хотя я могу и ошибиться... — Наклонился к столу, заглянул в какую-то бумагу, снова откинулся на спинку и чуть повертелся вправо и влево на своем стуле на шарнирах.— Нет, все-таки двадцатого. Так вот, в Париже намечается симпозиум в рамках ЮНЕСКО, организатор — Международный институт театра, симпозиум или конференция, это уж, как говорится, что в лоб, что по лбу, с темой то ли «Театр и телевидение», то ли «Театр на телевизионном экране», но и это не суть важно, успеем еще уточнить и подготовиться. А Париж всегда Париж, можешь мне поверить, Борис Андреевич! — И опять поглядел на Иннокентьева с давешним заговорщическим видом.— Июнь, еще не отцвели, как поется в песне, каштаны на бульварах, на набережных полно рыбаков... и тепе и тепе.

Иннокентьев, сбитый с толку, не понимал, куда клонит Помазнев.

— Вам можно только позавидовать, Дмитрий Петрович.

— Мне?! — усмехнулся Помазнев.— Я в это время буду в Тюмени, давно намечено. Так что не мне завидовать надо, а вам, дорогой мой Борис Андреевич.

Иннокентьев не сумел скрыть своего недоумения. «Наверное, у меня сейчас довольно-таки глупое лицо», — подумал он.

Помазнев понаслаждался с дружески-хитровой улыбкой его замешательством. Но в его взгляде Иннокентьеву почудилось и некое ожидание, некое понукание сказать или сделать что-то, чего он именно и ждет от него.

И хотя Иннокентьев сразу понял, чего ждет от него Помазнев, как понял с первых же слов, что стоит за его неожиданным предложением насчет Парижа, он — как и нынешним утром, когда его тоже застал врасплох звонок Елены Владимировны,— чтобы потянуть время, изобразил всем своим видом полнейшую растерянность.

— Я?! Простите, Дмитрий Петрович, вы имеете в виду, что...

— Заграничный паспорт у тебя еще не просрочен? — И укоризненно развел руками.— И брось ты, старый, это дурацкое «вы»!

— Прошлой осенью я ездил на фестиваль в Дубровник...

— Это облегчает дело. Я советовался с товарищами,— Помазнев не стал уточнять, с кем именно он советовался,— вроде бы есть принципиальное согласие. Зайди к Дерегину, он все знает, я с ним говорил, оформляйся. Кстати, подумаем вместе, что ты можешь туда повезти из своих передач. Но об этом после, с ходу этого не решишь.— Говорил он все это очень делово, тоном, каким говорят с равным себе, сведущим человеком.— И если ты согласен, то, как говорится, бог в помощь.

И считая, по-видимому, эту тему исчерпанной, легонько пристукнул ладонью по столу.

Но Иннокентьев не вставал, он знал, что должен что-то ответить на невысказанный вопрос Помазнева, хотя тот и оставляет за ним право промолчать.

И он решил промолчать — чего уж там, и так все ясно, и не он, а Помазнев своим предложением поставил точки над «и» и подвел черту под всем этим делом со «Стоп-кадром», а значит, и под его, Иннокентьева, письмом по начальству. Само предложение насчет командировки в Париж и есть, собственно, окончательный ответ на все вопросы, говорить об этом уже не было никакого смысла.

И как бы согласившись в этом с Иннокентьевым, Помазнев взглянул на часы на запястье, жестом попросил извинения, нажал клавишу, напомнил секретарше:

— Елена Владимировна, вы не забыли о Праге?

Разговор был окончен, все сказано, итоги подбиты.

И тут Иннокентьев вдруг так ясно представил себе, чего именно ждал от него Помазнев и что наверняка хотел от него услышать, что ему даже показалось, будто он въявь слышит собственный голос:

«Никуда я не поеду, Дима, не приму я ни от тебя, ни от кого угодно этой подачки, как ни называй ее — трубкой мира или тридцатью серебряниками. Я ввязался в это дело по собственной воле, никто за рукав не тянул, и хоть проку лично мне от этого никакого, но есть вещи, за которые человек должен драться, даже если он наперед знает, что из этого ничего не получится. Стоять до конца, если не хочет плюнуть самому себе в рожу. И уж, во всяком случае, не снимать пенки с чужой беды. Не в Дыбасове и не в Ремезове дело, речь уже о другом. И ты это понимаешь не хуже моего, верно?»

На что Помазнев — Иннокентьев и это как бы услышал совершенно явственно — должен был бы ему ответить:

«Понимаю, хоть и, положила руку на сердце, не знаю, как бы я сам поступил на твоём месте. Хотелось бы думать, что так же, не зря же мы с тобой знаем, что такое честный спорт, честная мужская игра. Собственно, этого-то я от тебя и ждал, ты прав. А как из этой заварухи нам с тобой выйти целыми и невредимыми... вот этого я, по правде сказать, не знаю. Но если уж на то пошло...»

«На то, Дима, на то,— должен был бы в свою очередь ответить ему Иннокентьев,— и не так-то я прост, чтобы от меня можно было откупиться даже командировкой в Париж. Дело сделано, Дима, но мавру не к лицу уходить несолоно хлебавши. Согласись я, ты бы первый был вправе не подать мне руки. А ведь мы когда-то играли в паре...»

На что Помазнев подал бы ему руку и они обменялись бы крепким рукопожатием.

Но ничего этого Иннокентьев не сказал, ничего в ответ на несказанное не услышал.

Надо было уходить. Иннокентьев встал.

Поднялся и Помазнев, протянул через стол руку.

— Извини, Боря, дела-делишки. Зайди к Дерегину, договорись обо всем. А перед отъездом мы еще успеем обсудить с тобой все детально.

Но Иннокентьев помимо воли и вопреки только что принятому решению промолчать не удержался:

— Я тут написал объяснительную записку...

Он так и сказал — «объяснительную», хотя его письмо никак нель-

зя было назвать объяснительной запиской, наоборот — это он сам как бы требовал объяснений.

Не выпуская его руки из своей, Помазнев бегло поглядел на него, и в этом его взгляде Иннокентьев уж и вовсе явственно прочел то, чего, собственно, Помазнев и не думал от него скрывать.

— Насчет отпуска?.. Считай, что мы договорились. У тебя как раз месяц до симпозиума и остается. Опять же завидую тебе, старый,— небось юг, море, теннис с утра до вечера?.. В рубашке вы родились, Борис Андреевич, мне бы хоть денек пожить так, на вольных хлебах!.. — И, еще раз показав ему руку и отпустив ее, все-таки добавил: — Как видишь, у нас (Иннокентьев отметил про себя это «у нас», а не «у меня») нет никаких оснований сориться с тобой, как, хочется думать, и у тебя с нами. А что до твоего «Антракта»... Кстати, почему бы тебе на материале этого самого симпозиума не соорудить очередную передачу? Очень, на мой взгляд, подходящая тема — театр и телевидение, в международном тем более аспекте, подумай...

Он вышел из-за стола, проводил Иннокентьева до дверей, на ходу заключил:

— К тому же, старый, не будем преувеличивать нашего с тобой места в мироздании. На том же Центральном телевидении хотя бы. Если смотреть правде в глаза, наш «Антракт», — он так и сказал, чтобы смягчить смысл сказанного, не «твой», а «наш», — на фоне всего, чем занимается Гостелерадио,— капля в море, малая толика. Есть вещи куда более значительные, согласись — пропаганда, экономика, международные дела, борьба за мир, даже спорт, если хочешь... дел по горло, только поспевай.— И уже на самом пороге, положив привычно руку на плечо Иннокентьева, подвел окончательный итог: — Плетью обуха не перешибешь, Борис. Да и Дыбасов твой не больно нуждается в нашей помощи, говорят, он талантлив прямо-таки дьявольски. А талант, как сказано до нас, свое возьмет, да и чужое тоже в придачу. Как говорится, богу богово, кесарю кесарево. А уж встравать между богом и кесарем — себе дороже...

И в этих последних его словах Иннокентьеву послышалась почти явная насмешка, словно на протяжении всего их разговора Помазнев действительно ждал от него совсем другого, да так и не дождавшись, навсегда переменял о нем мнение.

10

Поджидая ранним утром запаздывающую Элю в такси на площади Маяковского, где они договорились встретиться — Эля ездила к себе в Никольское за летними вещами,— Иннокентьев не мог избавиться от навязчивой мысли, стоило ли вообще затевать этот вояж вдвоем. Не испытывает ли он судьбу, решившись провести отпуск вместе с нею и именно в Сочи, куда он ежегодно ездил в это время один либо в компании таких же, как он, заядлых теннисистов?.. И если бы она сейчас и вовсе не пришла, он бы, кажется, был только рад этому и вздохнул с облегчением.

Она появилась прямо-таки как из-под земли, рывком открыла заднюю дверцу машины, бросила ему без тени какой бы то ни было вины в голосе: «Извини, я чуток опоздала, да?» — и как ни в чем не бывало бодренько скомандовала таксисту, плюхнувшись на сиденье:

— Поехали! Кого ждем?

Таксист, словно бы только и дожидался этого хозяйского окрика, рванул с места, а Иннокентьев обиженно промолчал полдороги, ожидая, чтоб она извинилась за опоздание или хотя бы объяснила его. Но она тоже молчала, и когда, уже на Киевском шоссе, он не выдержал и обернулся к ней, то увидел, что она преспокойно спит, уронив голову на потертую дорожную сумку из искусственной замши.

И в самолете она сразу, как взлетели, тоже уснула и не проснулась, даже когда стюардесса принесла завтрак. Иннокентьев не стал ее будить.

Эля проснулась, когда самолет стал уже снижаться и, вздрогнув всем корпусом, выпустил шасси. Удивленными, чуть испуганными глазами огляделась вокруг, словно бы никак не могла взять в толк, где она и что с ней происходит, тут же прильнула к иллюминатору и громко, на весь салон вскрикнула:

— Ой!.. Это что же такое там, внизу?!

Иннокентьев взглянул через ее плечо в иллюминатор — внизу было море, но оттого, что самолет, разворачиваясь, лег на одно крыло, казалось, что оно не расстилается горизонтально, а встает дыбом, отвесной, грозящей обрушиться на тебя бледно-синей, в мелких белых кудряшках, стеклянносверкающей стеной.

— Это — море?! — с восторженным удивлением, словно бы не веря собственным глазам и боясь обмануться, все допытывалась Эля. — Море, да?!

— Ты что, никогда не видела моря? — удивился Иннокентьев.

— Нормально! — призналась она. — Откуда?!

Господи, подумал он с завистью, сколько же открытий ей еще предстоит в жизни! И как долго еще мир вокруг будет для нее неисчерпаемым источником удивления, восторгов, недоумений!.. Он попытался вспомнить, когда же сам в последний раз вот так недоверчиво восхищался чем-нибудь, но за давностью времени так ничего и не вспомнил — он уже долго жил с привычным ощущением, что ничего неожиданного или по крайней мере достойного удивления с ним и не может приключиться.

Самолет развернулся от моря к берегу на посадку, блекло-синяя гладь опять улеглась горизонтально и вскоре вовсе пропала из виду.

На всем пути из аэропорта в город юг встречал их ясным, без единой помарки, совсем уже, казалось, летним небом, чуть подкрашенной лиловым мягкой синевой моря, которое на расстоянии тоже казалось по-летнему теплым, сочной, похожей на застывший зеленый взрыв листвою платанов.

Но когда они, оформив без проволочек — и даже без подозрительных взглядов пожилой администраторши по поводу отсутствия в их паспортах штампов о законном супружестве — заказанный Иннокентьевым еще из Москвы номер, умывшись с дороги и переодевшись, спустились к морю, оказалось, что далеко еще не лето, солнце еще и не думает припекать, воздух сыр, а внизу, у воды, ветер и вовсе пронизывает до костей. Пришлось вновь подняться в номер и надеть что-нибудь поплотнее.

Следующим утром, понежившись допоздна в постели и наскоро позавтракав в кафетерии при гостинице, они спустились на пляж, взяли лежаки, пристроились у бетонной стены, хоть как-то защищавшей от пронизывающего ветра, и легли загорать на нежарком даже в полдень солнцепеке. Но больше каких-нибудь пяти минут Эля не вылежала, села на топчане, поджав к подбородку молочно-белые незагоревшие ноги, кожа ее тут же покрылась пупырышками от знобкого ветра, неотрывно, с каким-то упорным, настойчивым ожиданием глядела на море, на игру солнечного света и неутомимой воды, набегающей на берег металлически шуршащими галькой плоскими волнами, на подернутую дымкой даль. Иннокентьеву казалось, что она чего-то ждет от моря, какого-то ответа на ей самой неведомый вопрос, и этот ответ разом снимет все ее недоумения перед жизнью.

В то первое утро на берегу она совершенно не разговаривала с Иннокентьевым, словно бы вовсе позабыв о нем или даже будто его и не было рядом. Он не прерывал этого ее настойчивого, напряженного молчания, смотрел на нее сбоку, и его вдруг переполнило чувство такого прочного, ничем не уязвимого покоя, что он засомневался — с ним ли все это происходит и сейчас ли, а не с кем ли другим в далеком и безмятежном детстве?..

Она неожиданно, рывком — он так и не смог привыкнуть к этим ее

неожиданным переходам из одного состояния в прямо противоположное, никак не мог привыкнуть к тому, что она, собственно, из одних этих неожиданностей и состоит, — вдруг обернулась, низко над ним склонилась и стала торопливо и жадно, наплевав на то, что вокруг люди, целовать его словно бы для того лишь, чтобы удостовериться, что он здесь, рядом, и что вообще все это — он, море, несмелое весеннее солнце и полная их свобода ото всего того, что в Москве так или иначе постоянно угрожало им, — что все это действительно существует и принадлежит ей.

Потом так же неожиданно выпрямилась, вновь обхватила колени руками и устала на море, опять напрочь забыв об Иннокентьеве.

Уже в то первое утро, проснувшись, он услышал с высоты их седьмого этажа, как доносятся снизу тугие и звонкие шлепки теннисных мячей, и, выйдя на балкон, увидел на чистеньком, кирпично-красном, расчерченном свежими белыми линиями прямоугольнике корта фигурки игроков, и ему стоило немалых усилий не сбегать тут же вниз. Он вернулся в номер — теннисные его ракетки укоризненно валялись на диване, из раскрытого чемодана выглядывала спортивная форма. Эля еще спала. Скрепя сердце Иннокентьев решил, что первые день-другой он будет отсыпаться, приходить в себя, чтобы потом выйти на корт во всеоружии.

В тот же вечер они поехали в полупустой пока, в конце апреля, «Кавказский аул», под открытым небом было еще холодно сидеть, оркестр наяривал так громко, что они не слышали друг друга. Но Эле нравилось все, ото всего она приходила в счастливое возбуждение, как ребенок, которому надарили вдруг кучу новых, невиданных игрушек и позволяют делать с ними все что вздумается.

Да и сам Иннокентьев ловил себя на том, что уже через день совершенно забыл о своих московских делах и заботах, и не отпускавшее его в последние недели ни на миг опасливое ожидание чего-то непредвиденного испарилось без следа. «На свете счастья нет, — радовался он самому себе, — но есть покой и воля». Но тут же ему приходили на ум другие строчки, начисто опровергающие первые: «Покоя нет, покой нам только снится». Но от этой несовместимости на душе становилось не тревожно, а, напротив, весело и не страшно: не он один заплутался в трех соснах.

Но при этом он твердо знал, что на самом деле чувствует себя в своей тарелке и таким, каким ему и должно быть, отюдь не в такие вот безмятежные, короткие отпускные дни, не когда отдыхает и наслаждается ничегонеделанием, а как раз когда московская расчетливая, деловая суета наваливается на него горой и требует от него безотлагательных поступков, действий, решений. Требует от него дела. Да, таким уж сотворила его жизнь. И нечего лить буколические слезы по гармоничному житью-бытью на лоне матери природы. Человеку не дано изменить свою однажды и навсегда наладившуюся жизнь, а уж тем паче — самого себя. Да и нужно ли?..

В первые майские дни сочинские гостиницы прямо-таки заполонила — Иннокентьев это наблюдал и в прежние свои приезды — всевозможнейшая сомнительная публика, от которой за версту несло детально предусмотренными уголовным кодексом правонарушениями. Но пестрая и вместе на одно лицо эта шушера не только не таилась от чужих глаз и не пыталась выдать себя за законопослушных граждан, живущих на вполне трудовые доходы и сбережения, а как бы даже из кожи лезла, чтобы обличьем и повадкой привлечь всеобщее внимание. И глаза у них у всех одинаково глядели на мир с откровенным презрением и самодовольством, с таким хитрованским прищуром — кто есть кто и что почем.

И женщины их — жены, любовницы, спутницы жизни на неделю, на день, а то и на час — тоже были им под стать, от них всегда, в любое

время суток пахло импортным коньяком, дезодорантом и обильно политыми чесночным соусом цыплятами табака.

Иннокентьев испытывал к ним почти физическую брезгливость, ему казалось, что после каждой встречи с ними, на пляже ли, за обеденным столом или в лифте, нужно немедленно стать под душ и долго отмывать с себя их запахи и даже следы их наглых, липких взглядов. В отличие от него Эля, в первый же день оказавшись с ними за одним столиком в кафетерии, не только не чуралась общения с ними, но легко и без тени предубеждения разговорилась, завела знакомства. Иннокентьеву даже показалось, что с ними ей разговаривать проще и легче, чем с ним.

Вечером, укладываясь спать, он не удержался:

— Не понимаю, как ты можешь?! Это же отпетое жулье, проходимцы! Ты только посмотри, какими глазами глядят на тебя эти кобели! Они же тебя просто раздевают взглядом, и если бы не я рядом, тут же потащили бы в койку!

Она ответила спокойно, без упрека:

— А разве ты смотрел на меня иначе, когда мы с тобой познакомились? И не хотел потащить сразу в койку?.. А что жулики, так для этого есть милиция, прокуратура, мало ли кто, не мне же их сажать в тюрьму. А так — люди как люди, есть и хуже, просто тебе не встречались. Поездил бы ты в общественном транспорте! — Это был ее любимый аргумент. — Тем более один из них обещал мне достать в Москве импортные сапоги по себестоимости.

— Если ты с ним переспшишь, разумеется! Ты бы у него еще что-нибудь попросила

— А разве ты мне все это напокупал, — кивнула она на висящие в открытом шкафу свои вещи, — не потому, что я с тобой сплю?.. — И посмотрела на него в упор из-под растрепавшейся челки. Иннокентьеву от этой ее почти циничной прямоты, на которую ему, собственно, нечего было возразить, стало не по себе. И так же спокойно, словно речь шла о чем-то самом будничном и обычном, завершила свою мысль: — Только я никогда ни за какие шмотки ни с кем не ложилась в койку. В том числе и с тобой. И если ты думаешь...

— Я не думаю, — устыдился он только что сказанного: в чем, в чем, а в корысти ее нельзя было упрекнуть, — ты же знаешь!

— Что я про тебя знаю? — пожалала она плечами. — Ничего я про тебя не знаю. Это тебе, вынь да положь, все про меня знать надо — кто у меня был до тебя, как жила, что думаю... Мне плевать, что у тебя было до меня, я и догадываться-то не имею желания. Потому что я тебе верю, очень просто, а вот ты мне не веришь. Не в то не веришь, сплю я с кем-нибудь еще или нет, а вообще не веришь. Не знаю, как это сказать. Ну, в том смысле, что — пара я тебе или не пара. Я и сама секу, что не пара, не бойся. И не в смысле что замуж ты меня никогда не возьмешь, я про это и сама не мечтаю, — пара я тебе или не пара даже так, как сейчас. Не маленькая, сама догадываюсь, кто ты и кто я... Просто влипла, как последняя дурочка..

Его поразило не то, что она сказала, а то, что все это ей не сейчас пришло в голову, она наверняка давно, с самого начала об этом думает и сделала для себя беспощадно трезвые выводы. И ни в чем его не укоряла, ничего не требовала, а ведь эти ее выводы достались ей не без боли, не без уязвленного самолюбия. И именно в том, что она так долго и упорно об этом молчала, и заключается ее упрек ему, и на него ему тоже нечего ответить.

— А разве я сам не влип? — И тут же услышал в своем ответе признание собственной вины перед нею.

Она отозвалась не сразу, как бы раздумывая над его словами:

— Ты-то?.. Не знаю. Может, тебе просто так кажется. У меня у самой так часто бывает — думаю про себя одно, а потом, глядишь, оказывается совсем все наоборот. Не знаю... — Она помолчала опять, не решаясь сказать вслух то, что пришло ей на ум, и тоже не сейчас, не сию

минуту.— Может, ты все еще одну бывшую свою жену любишь, даром что она тебя бросила, так тоже бывает, по себе знаю. И я для тебя просто... ну, чтоб о ней не думать, чтоб не так обидно было. Разве ж не так? Нормально!

Иннокентьев опешил — эта подмосковная деваха с ее грубоватой, неподкупной прямоотой души, казавшаяся ему еще недавно незатейливой и простенькой, как дешевый ситчик, выходит дело, понимает его лучше, чем он сам. Понимает, не строит никаких иллюзий, прощает, молчит...

Но ничего этого он ей не сказал — слова тут ничего не могли ни объяснить, ни искупить, да и не нужны ей были его слова, ей просто нужна была совсем другая, чем он мог ей дать, любовь.

— Ты не меня, беденький, стесняешься,— продолжала Эля без обиды, а так, как обсуждают что-нибудь занятное, но не больно тебя лично касающееся,— ты себя самого, когда рядом со мной, стесняешься — как бы кто чего про тебя не подумал. Вроде бы со мною ты как в драных носках или еще как-нибудь. И вообще все вы...

«Кто это — «вы»?» — хотел было он ее прервать, с него было достаточно и того, что он уже от нее услышал.

— ...все вы,— не услышала она его,— больше всего боитесь, что о вас подумают не так, как вы сами о себе думаете. Или хуже, чем про кого-нибудь другого. А какая разница, как о тебе подумают, если ты сам знаешь, что на самом-то деле все не так?.. — Она помолчала, потом с искренним огорчением добавила:— Я-то раньше, ну, в самом начале, как с тобой познакомилась, думала: если человек и вправду культурный, ученый, он что-то такое самое главное знает, что стоит ему мне про это сказать — и все станет ясно как на ладошке и ничего уже не будет страшно... А вы, оказывается, и сами-то всего боитесь — как на вас посмотрят, что скажут, и только и делаете что коситесь — вдруг кто-то не так поглядел. А если со стороны... Вот ты говоришь, торгаши, жулье, мещане всякие... а со стороны-то тебя от них не сразу отличишь — в том же «адидасе» ходишь, так же на всех с насмешечкой поглядываешь, и по одежке встречаешь, и в кабаке обожаешь посидеть, только в своем, куда других не пускают, чтоб и тут отличиться... Да не о тебе же я лично! — отмахнулась она от него, когда он хотел ее опять перебить. — Я — вообще.

— Не говори ерунды! — вспыхнул он не на шутку, но тут же почувствовал, что в этой ее ерунде, в этой чуши, которую она несет, есть что-то такое, чего бы ему лучше о себе не знать. — От тебя рехнуться можно!..

Дня через два, проснувшись поутру от тугого стука мячей о ракетку и позавидовав играющим, он услышал из-за спины ее сонный голос:

— Что же ты про теннис свой забыл? Говорил — теннис, теннис, полчемодана — твоё шмотье, а сам позабыл. Сходил бы поиграл, вон как они внизу резвятся.

— А ты? — спросил он неуверенно.

— А я еще покемарю, потом сама поем в кафе, только бабки мне оставь, на пляже встретимся. Тебе же хочется.

Он наскоро побрился, оделся во все теннисное, схватил ракетку, по пути забежал в кафетерий, выпил, обжигаясь, чашку двойного кофе из «экспресса», проглотил, не прожевывая, бутерброд и сбежал по асфальтовой крутой дорожке вниз, к корту.

Там уже сражалась, и, судя по обильному поту на лицах, спозаранку, четверка игроков.

Войдя на корт, он поздоровался и, присев на скамейку, стал наблюдать за игрой. Играли они сильно, и Иннокентьев подумал, как бы ему, не бравшему вот уже месяца три кряду ракетку в руки, не ударить в грязь лицом.

Небо было затянуто неплотными, легкими облачками, потом они наверняка разойдутся и выглянет солнце, но пока не печет, с моря ду-

ет прохладный сухой ветерок, еще часика два погода будет в самый раз.

Минут через десять на корт вошла молодая, явно спортивная девица Иннокентьев сразу отметил ее длинные, чуть, пожалуй, полноватые ноги и уверенный разворот плеч. На ней было голубое теннисное платье, едва скрывавшее округлые, успевшие уже чуть загореть бедра, в руках чехол с двумя ракетками и желтая коробка с мячами, через плечо висело пестрое махровое полотенце. Густые и длинные, по плечи, волосы, русые с сильным медным, почти рыжим отливом. Несмотря на раннее утро, от нее уже пахло духами. Поскольку она пришла налегке, без спортивной сумки, Иннокентьев решил, что она живет тут же, в гостинице.

Она поздоровалась с играющими, они, не прерывая игры, хором ей ответили, подошла к скамейке, на которой дожидался своей очереди Иннокентьев, и безо всякого удивления в голосе, словно бы заранее знала, что он окажется здесь, и рассчитывала на эту встречу, поздоровалась с ним:

— Доброе утро, Борис Андреевич. Что это вас до сих пор не было видно на корте?

Он привстал и пожал протянутую ему руку, удивленно посмотрел ей в лицо и не узнал. По тому, как она по-приятельски запросто с ним поздоровалась, наверняка он с ней хорошо знаком, по той же Петровке или по Лужникам, но вспомнить, кто она и где он с ней встречался, Иннокентьев не мог. А спрашивать об этом было неловко, и ему не оставалось ничего другого как сделать вид, что тоже узнал ее.

— Акклиматизируюсь, я только два дня как приехал. А вот сегодня решил, что пора.— И все еще тщетно пытаюсь вспомнить, кто бы она могла быть и, главное, как ее зовут, осторожно спросил:— А вы тоже здесь остановились, в «Камелии»?

— И даже на одном с вами этаже,— улыбнулась она, присаживаясь рядом с ним на скамейку и вытягивая свои стройные ноги, словно бы приглашая его полюбоваться ими.— Но вы упорно не желаете меня замечать, я даже подумала, не обидеться ли мне. Но потом решила, что еще успею это сделать, мы бы ведь все равно рано или поздно встретились на корте.

Он промямлил что-то насчет своей злополучной зрительной памяти, насчет того, что приехал из Москвы таким выпотрошенным, что вообще ничего вокруг себя не видит и не замечает, но она слушала его безразлично, видно, не очень-то огорчаясь, что он ее не узнал. От этого Иннокентьеву стало еще более неловко, он мучительно старался выскрести из памяти хоть какую-нибудь подсказку — кто она и где он мог ее видеть.

До конца сета они лишь изредка обменивались короткими репликами по поводу событий на корте.

Проигравшие уступили им место, она достала из чехла ракетку и направилась на площадку, на ходу бросив ему без укора:

— Вы просто начисто меня забыли, Борис Андреевич, а ведь нас знакомил не кто иной, как ваш шеф, Дима Помазнев. Это было в ЦСКА, еще шел проливной дождь. Я вам напомним — я прихожусь Диме свояченицей, сестра его жены. И чтобы вы не мучились, вспоминая, как меня зовут, тем более что нам сейчас играть в паре,— Рита Земцова, уж это-то, надеюсь, вам удастся запомнить.

Не дожидаясь его извинений, Рита вышла на площадку, и уже по первым ее ударам, по тому, как спокойно и ритмично, безо всякой торпливости она принимала мячи и по-мужски сильно отвечала на удары партнеров, Иннокентьев понял, что она наверняка играет в теннис с самого детства и учителя у нее были хорошие.

За всю партию — а сет сложился трудный, счет все время был равный, и только под самый конец противникам удалось вырваться вперед на два гейма, играли больше часа, — Иннокентьев и Земцова не обменялись ни единым словом, кроме неизбежных «играю!», «уйди

назад!», «выхожу к сетке!», понимая друг друга и без слов, словно бы не в первый раз играли в паре.

Закончив игру, партнеры, пожав им на прощание руки, торопливо ушли — у них была назначена еще одна встреча где-то в другом месте. Иннокентьев и Рита, уступив место новой паре, разгоряченные, потные и не чуя под собой ног от усталости, присели на скамейку.

Сидели, приходя в себя, курили, перекидываясь замечаниями об игре, всякими курортными пустяками — долго ли продержится такая славная погода, успеет ли прогреться до их отъезда море, чтоб можно было хоть разок поплавать всласть, куда деваться вечерами. Иннокентьев все еще испытывал неловкость за то, что не узнал ее, и хоть понимал, что инцидент давно исчерпан, не удержался:

— Как это я мог вас не узнать...

— У меня, наверное, неприметная внешность,— улыбнулась она легко.

Потому ли, что по ее усталому, обострившемуся от долгой игры лицу обильно гек пот и она, забыв о полотенце, утирала его тыльной стороной ладони, но сейчас она показалась Иннокентьеву совсем иной, чем в первую их встречу. Тогда она была типичной московской светской дамой, неотлично похожей на всех московских дам ее круга. «Потому-то я ее сейчас и не узнал,— утешил себя Иннокентьев,— в Москве они все друг на дружку похожи, как деревянные матрешки».

— Да и девушка я скромная, не лезу на глаза,— продолжала Рита, со вкусом затягиваясь сигаретой.— Я-то вас сразу узнала, как вы приехали, я как раз спустилась в вестибюль, когда вы оформлялись у администратора.

Значит, она и Элю видела, опасноливо мелькнуло в уме у Иннокентьева. Он гут же устыдился, обругал себя: что за чушь, почему это он должен испытывать неловкость за Элю, да еще перед какой-то светской дамочкой, которая наверняка тоже не теряет тут времени даром, смешно даже подумать!..

Но об Эле Рита ничего не сказала, то ли не увидела ее тогда, то ли ей хватило такта промолчать.

— Теперь самое время в море окунуться,— заключила она и бросила не глядя докуренную сигарету через плечо за ограждающую корт металлическую сетку.

— Холодно, градусов шестнадцать,— возразил он.

— Где наша не пропадала! В Прибалтике это считается полной роскошью. Рискну, пожалуй.

— Что ж,— неожиданно для самого себя решил и он,— составить вам компанию, что ли? Быть в Сочи и не искупаться...

— Вас наверняка уже ждут на пляже,— спокойно сказала она, застегивая «молнию» на чехле с ракетками и вставая со скамейки.— Спасибо за игру. Завтра вы придете? После обеда тут тьма народу, я предпочитаю играть по утрам.

— Непременно.— Он вдруг неизвестно за что обиделся на нее и сказал это суше, чем хотелось.— По-моему, у нас с вами сегодня неплохо получалось, хоть я и не играл ни разу за всю зиму. А вы в форме, можно только позавидовать.

— Завидовать одинокой и не такой уж молодой женщине... — без улыбки усмехнулась она.— Не знаю, Борис Андреевич, не знаю... До завтра.

И ушла, а он почему-то запретил себе глядеть ей вслед, на ее округлые, крепкие, покрытые первым заггаром ноги и на копну почти рыжих волос, рассыпавшихся по чуть широковатым, по-мужски развернутым плечам.

Он вернулся к себе в номер — Эли уже не было, ушла на пляж,— играл душ и долго сидел на балконе, потягивал прямо из бутылки пиво, курил, глядя на гладкое, без единой морщинки море, на белые треугольники яхт, на стадион с пестрыми фигурками бегунов на крас-

ной гаревой дорожке. На корте опять играли. Рита права — после полудня там не протолкаться, играть надо ранним утром.

Взяв плавки и полотенце, он спустился на пляж. Эля была на обычном их месте, сидела на лежаке, по привычке согнув колени и обхватив их руками. Иннокентьев еще издали увидел, что кожа ее на плечах и спине стала угрожающе красной. Еще обгорит, подумал он, надо сказать, чтоб шла домой. Вокруг нее сидели тесной стайкой те самые девицы, которых Иннокентьев на дух не принимал и с которыми не велел Эле якшаться. Она им что-то увлеченно рассказывала, по-видимому очень смешное, они громко смеялись своими южнороссийскими высокими голосами, и сейчас Элю, подумалось Иннокентьеву, было не отличить от них. «А ведь знает, сто раз ей говорил, просил держаться от них подальше! Впрочем,— зло и гадко подумалось ему,— сложишь чуть иначе обстоятельства, она бы и сама могла оказаться одной из них, сама мне рассказывала о своих баскетболистах или о ком там еще...»

Он уже пожалел, что спустился на пляж, и хотел было пройти прямо к морю, но Эля его окликнула:

— Борис Андреевич, наконец-то! А мы вас ждем. Идите к нам! Девочки, подвиньтесь.

Она назвала его по имени и отчеству и на «вы», значит, растравлял он себя и чувствовал при этом какое-то злое удовольствие от собственного раздражения, она стесняется их отношений, не хочет, чтобы о них догадались даже эти дешёвочки, телки эти, даже от них она скрывает, что ее хахаль — вот этот седенький и, за версту видать, осточертевший ей карась или как там у них это называется...

— Я пойду окунусь,— резко бросил он на ходу и спустился по крутому металлическому трапу вниз, к воде.

Эля что-то сказала ему вслед, но он не услышал ее, бросил на крупную, обкатанную морем гальку полотенце, стал раздеваться. Войти в море совершенно не тянуло, но он упрямо, будто мстя кому-то, даже не попробовав воду ногой, шагнул в нее, холод разом обжег ступни и щиколотки, ну и плевать, тем лучше, может, хоть это охладит расхолодившиеся нервы. Он вошел поглубже, присел на корточки, ледяная вода сжала тесным ободом грудь так, что дыхание перехватило, но и это его не остановило — он поплыл, но, сделав несколько гребков, тут же весь заколебал, испугался, что сведет ноги, и повернул обратно, кляня себя за идиотское молодечество.

Выбравшись на берег, он долго растирал полотенцем занемевшее тело, его била дрожь, стекающие с волос на плечи капли казались совершенно ледяными. Растеревшись докрасна, он лег навзничь на успешую прогретую гальку и подставил тело солнцу. Но оно не грело, лишь слепило глаза, лежать на гальке было жестко.

Сейчас он почти ненавидел Элю. Что ж, убеждал он себя, он ведь всегда знал, что рано или поздно это случится, и почему бы не сегодня?! — все, что их связывает, так противоестественно, есть ли что-нибудь на свете менее надежное, чем эти их отношения, чем вот такая, с позволения сказать, любовь, да и любовь ли это, а не жалкая ли попытка спрятаться неизвестно от чего?.. И не знал ли он, не догадывался ли с самого начала, что так оно и будет по той простой причине, что иначе не может быть... И хотя он прекрасно отдавал себе отчет, что вся эта неизбежность коренится в нем одном, Эля тут ни при чем, а злился на нее, на Элю, и уже сейчас, когда ничего еще, казалось бы, не произошло, ее же винил в том, что еще только случится.

Дрожь всем телом и клацающая зубами от холода, он думал — чем скорее, тем лучше. Чему быть, того не миновать. С глаз долой, из сердца вон. Сколько, оказывается, в кладезе народной мудрости успокоительных, на все случаи жизни, простеньких истин, единственный смысл которых в том, что они освобождают тебя от всякой ответственности, от необходимости действовать или хотя бы сопротивляться.

Солнце совершенно не согревало, озноб не отпускал, не заболеть бы еще, чего доброго, только этого не хватало, может, все-то эти его докучные мысли просто-напросто оттого, вяло пришло на ум Иннокентьеву, что не надо было ему лезть в эту чертову воду, все Земцова, будь она неладна!..

Было слышно, как наверху, на бетонной галерее над пляжем, залиvisto смеются девицы, и громче других низким, грудным смехом — Эля.

К вечеру он и в самом деле заболел, температура подскочила до тридцати восьми и пяти, заложило нос и уши, каждое слово отдавалось в голове вязким, как сквозь вату, гулом, и свой собственный голос он тоже слышал как бы вчуже.

Эля поехала в город за лекарствами, аптеки поблизости не оказалось, раньше чем через час, а то и два ей было не вернуться. Иннокентьев остался один в гостиничном номере, сразу показавшемся ему голым, чужим. К тому же Эля оставила открытой дверь на балкон, оттуда тянуло вечерней сыростью, а встать и закрыть ее у Иннокентьева не было сил.

Телефон стоял на столике рядом с кроватью, он набрал междугородную и заказал Москву. Телефонистка предупредила, что разговор дадут в лучшем случае не раньше чем через два часа, линия перегружена. Иннокентьев обреченно откинулся на слишком низкую подушку, смотрел сквозь отвернутую балконную дверь, как густеет синь неба, в ней давно, засветло еще, проклянулся несмелой закорючкой молоденький месяц. Иннокентьеву было его жаль, таким он выглядел бесприютным и затерянным в сине-белесой пустыне, ни дать ни взять ничейный подкидыш, но вот кто-то будто проколол булавкой с той, обратной стороны темнеющее прямо на глазах синее полотнище, дырочки засветились дрожащим желто-молочным мерцанием, от них, если чуть прищурить глаза, разбегались во все стороны ломкие остренькие лучики. Темнело все стремительнее, словно ночь куда-то страшно торопилась, и стал слышнее накат прибоа.

Если бы не сырой сквозняк с балкона, Иннокентьев, укутанный в собственный душный жар, как в толстое ватное одеяло, задремал бы, его так и клонило в сон, но ветер холодил лицо и не давал уснуть. Он казался самому себе таким же покинутым и никому не нужным, как и этот хлипкий, болезненно бледный месяц в небе. Кроме этой приятной, баюкающей жалости к самому себе, в голове не было ни единой мысли, так — какие-то беглые, ускользающие обрывки, вялая и утомительная сумятица.

Иннокентьев вспомнил, что назначил Земцовой на завтра встречу на корте, а прийти не сможет. Он ухватился за эту мысль, она худобно, а хоть как-то связывала его с реальностью, набрал телефон администратора и справился, в какой комнате поселилась приехавшая из Москвы Маргарита Аркадьевна Земцова и как позвонить ей. Ему ответили, и он тут же позвонил Рите, но ее телефон был занят. Это почему-то ужасно огорчило Иннокентьева, словно бы от этого звонка зависело что-то очень для него важное и неотложное, и стал каждые две минуты настойчиво набирать ее номер. Но подняла она трубку не скоро, видимо, подумал он с обидой и злорадством, не один он ей названивает, он был прав — она наверняка времени даром не теряет...

— Да?.. — спокойно спросила на том конце провода Рита, и Иннокентьев вдруг растерялся, не зная, что сказать.

— Я прошу извинить меня за поздний звонок... — неуверенно начал он и подумал, что надо прежде назвать себя, не узнает же она его по голосу, они в первый раз говорят по телефону.

Но не успел, она его сразу признала:

— Какой же поздний, Борис Андреевич! У нас в Москве в это время жизнь только начинается. — И не только узнала, но и расслышала, что он хрипит. — Что у вас с голосом? Не заболели ли?

— По вашей милости, кстати говоря,— он почему-то против воли избрал с ней тон дружески-иронический, предполагающий в ответ такую же запанибратскую насмешливость,— я пошел по вашим стопам и тоже искупался в море, но, как говорится, что позволено Юпитеру...

— У меня есть французский аспирин,— не дослушала она его,— и мед, его надо с горячим чаем. Я сейчас принесу, вы в каком номере?

— Не надо, спасибо! — поторопился он, не хватало только, чтобы Рита и Эля встретились сейчас у одра умирающего, ничего нелепее нельзя было себе и представить! — Мне сейчас все принесут, да и чепуха какая-то — простыл, ничего страшного. Я к тому, что завтра, увя, едва ли я буду иметь удовольствие... — Даже сквозь жар он почувствовал витиеватость, с которой изъяснялся, и разозлился на себя. — Надеюсь, через день-другой мы с вами все же скрестим шпаги...

— Красиво говорите,— опять перебила его Земцова,— но сипите в трубку так, что вас едва слышно. Да и наверняка температура, я знаю эти весенние простуды. Не беспокойтесь, я не набиваюсь в сестры милосердия, я для этого не гожусь, да и за вами есть кому ухаживать. Но я все-таки забегу, занесу аспирин, просто не хочется терять такого хорошего партнера, а через пять дней мне уже уезжать. Так что тут чистейший эгоизм с моей стороны, не более.

И не стала ждать его возражений, положила трубку.

Он и не заметил, как провалился в горячую, душную дрему, и не услышал стука в дверь. Но тут же проснулся, когда с балкона ворвался со сквозняком холодный воздух. На пороге стояла Рита Земцова.

— Какой у вас тут мороз, разве можно?! — Решительно вошла в комнату, направилась прямо к балкону, плотно прикрыла дверь и задернула шторы.

Он хотел было встать с постели, на которой лежал не раздеваясь, в брюках и свитере, но она ему не позволила.

— Лежите! И не пытайтесь изображать гостеприимного хозяина, я не с визитом пришла. Да от вас пышет, как от печки! Где у вас стакан? — Взяла со столика стакан, направилась в ванную. — И уж пожалуйста, разденьтесь и лягте под одеяло, нечего разводить микробов, так вы всю гостиницу перезаразите. Я подожду в ванной, а вы раздевайтесь и укладывайтесь. — Все это она говорила напористо и деловито, так разговаривают с больными мужьями верные, преданные жены, подумал про себя Иннокентьев, да она наверняка именно верная, преданная жена. Если, разумеется, у нее есть муж. Впрочем, совсем не обязательно, просто бывают женщины, у которых это в крови, замужем они или нет.

Рита ушла в ванную, он покорно поднялся, снял с постели смятое покрывало и стал, преодолевая слабость, раздеваться. За этим занятием его и застала вернувшаяся из города Эля.

— Правильно,— сказала она с порога,— я ехала и думала, догадаешься ты сам лечь в постель или нет. Аптеки все уже закрыты, таксист надоумил захватить в больницу, я выпросила у них лекарства. Восемь рублей на счетчике набило, полный отпад!

Он лег под одеяло, простыня и подушка показались такими холодными, что его всего передернуло. Странно, но его сейчас совсем не заботило, как отнесется Эля к появлению Земцовой. Согреться бы, унять озноб и уснуть — все остальное не имело сейчас никакого значения.

Из ванной вернулась в комнату Рита и тем же спокойным, деловитым голосом, безо всякого смущения или неловкости объяснила Эле:

— Здравствуйте. Я тут Борису Андреевичу лекарства принесла. Я живу рядом, и вообще мы с ним сто лет знакомы. Меня зовут Рита. Так что не удивляйтесь.

— Я и не удивляюсь,— и на самом деле не удивилась Эля,— нормально. Тем более я вас видела, я с балкона смотрела, как вы

утром в теннис играли. Я-то никогда и не пробовала, даже завидно было, как у вас получается. Ничего, может, когда-нибудь научусь, еще не вечер. Я тоже лекарства достала, так что Боре мы теперь вдвоем умереть не дадим, верно?

Боре, отметил про себя Иннокентьев, не Борису Андреевичу, а — Боре... она так просто не сдается, голыми руками ее не взять...

— Вы — Эля, я вас тоже видела, и в гостинице и на пляже.

Откуда они все друг о дружке знают?..— вяло поразился Иннокентьев. Он слышал их голоса будто из-за стены, и ему казалось, что к нему этот их далекий разговор никакого отношения не имеет.

Резкий, долгий звонок междугородной отдался в голове оглушительным гулом, Иннокентьев выпростал из-под одеяла слабую, словно чужую руку, сделал ею знак то ли Эле, то ли Рите, прохрипел, с трудом проталкивая сквозь глотку тоже словно бы не свой голос:

— Не надо, я не могу... Пусть перенесут на завтра, утром...

Эля взяла трубку, попросила междугородную перенести разговор на завтра, отключила телефон.

— Вдруг опять позвонят. Хотя некому. Я попрошу у горничной чай, и еще горчичники надо поставить, врач посоветовал.

Пока она ходила за чаем, Рита подошла к постели, протянула Иннокентьеву стакан с водой и таблетки.

— Примите сразу две, ударную дозу, я всегда так делаю. А завтра по одной три раза, и через день вы будете на корте, ручаюсь.

Он приподнял голову, Рита поддерживала ее рукой, проглотил таблетки и запил их тепловатой, с сильным привкусом щелочи водой. Затылком он ощущал, какая у Риты сильная, надежная рука, и снова, как утром, услышал нежный, чуть печальный запах ее духов. Потом уронил голову на подушку и разом отключился ото всего, что делалось вокруг.

Вернулась Эля, они с Ритой поили его обжигающим горло терпким, вяжущим чаем, кормили с ложечки медом, но и это происходило будто не с ним, а с кем-то другим, и не сейчас, а когда-то давным-давно, в детстве, он узнал кончиком языка истончившуюся по краешку старинную, еще прабабкину, серебряную ложечку, затылком — мамину теплую, нежную ладонь, поддерживающую ему голову, и нёбом — крупные, хрустящие зерна сотового меда, но это было с ним так давно и так далеко, что к нему нынешнему это не могло иметь ни малейшего отношения.

И тоже, как в детстве, жгли упорным, нарастающим пылом горчичники на груди и щекотали нежные, детские его пятки шершавые шерстяные носки.

Наутро, проснувшись на влажной от ночной испарины простыне, он не мог, как ни старался, припомнить ничего из того, что было с ним накануне, да и не успел: громко и настойчиво зазвонил на столике рядом с кроватью телефон, видимо, Эля ночью опять его включила.

Он посмотрел, не поднимая головы с подушки, направо — Эля спала на соседней кровати, звонок не разбудил ее.

Он приподнялся на локте, голова муторно кружилась, и протянутая за трубкой рука была слабой и неверной.

— Москву заказывали?

И тут же мембрана задребезжала, зарычала утробным голосом Ружина:

— Ты что, мерзавец, не мог позвонить попозже?! У меня самый сон под утро, всю ночь работал, на рассвете только уснул, а тут ты, тунец пляжный!..

Очередная брехня Глеба — он не то что по ночам, он и днем-то давно не занимался делом. Да и рассерженным он сейчас прикидывался — для него нет большего счастья, чем потрепаться по телефону все равно с кем, о чем и в какое время суток. А за его напускным гневом была просто радость, что Иннокентьев наконец-то позвонил.

— У нас тут дождь льет без передыха, мерзнем, того гляди пле-

сенью обрастем с ног до головы, а он там лежит себе на солнышке, загорает, жрет шашлык, так ему и этого мало, он еще, видите ли, звонит посреди ночи!

За окном стояло уже позднее утро, если бы не болезнь, Иннокентьев давно был бы на корте или на пляже, да и Ружину в Москве, несмотря на его ночной, совиный, как он сам его называл, образ жизни, давно уже была пора продрать глаза.

— И звонит-то только для того, чтобы растравить душу, какая у него там шикарная житуха!..

— Уймись, — вяло сказал Иннокентьев в трубку, преодолевая желание вновь спрятаться в спасительный сон, — в конце концов, это я заказал разговор и плачу за него. И потом, никакого пляжа, я простудился, еле жив, температура за сорок, — приврал он в свою очередь, — не до трепа с тобой. Ты лучше коротко и ясно: какие новости? У тебя-то никаких изменений, конечно, разве что проигрался в дым. Только покороче, у меня голова не того...

Но Ружин и не услышал ничего насчет болезни Бориса, он среагировал на его вопрос, как бык на красный лоскут, заорал в трубку так, что мембрана опять испуганно задрезжала у уха Иннокентьева:

— А тебе-то что? Что тебе-то теперь?! Ты же успел умыть руки! Все кончено. Никак по-другому и не могло быть!

— Ты можешь членораздельно? — У Иннокентьева екнуло сердце, и он почувствовал, как рука, державшая телефонную трубку, стала влажной и скользкой. — Что кончено? Что такое приключилось?..

— То, чего и следовало ожидать! Все вы на поверку оказались хилыками! Все ваше ничтожное поколение! — Ружин, естественно, принадлежал к тому же поколению, он был всего года на три старше Иннокентьева или того же Митина, но и он сам и все вокруг давно об этом позабыли — со своей седой бородищей, нездоровой тучностью и едкой, разрушительной мудростью он казался старше их всех, и они привыкли относиться к нему как к умудренному знанием и опытом патриарху. — Случилось то, что твой Дыбасов наделал в штаны, вот что! А уж о Митине и говорить нечего!

От его густого рыка, казалось, накаляется и вот-вот расплавится телефонная трубка, а голова Иннокентьева набухает, как нарыв, пульсирующей в висках болью.

— Что ты имеешь в виду? Что наделал Дыбасов?

— Он просто подал заявление и ушел из театра! А Ремезову только этого и надо, чихал он и на Дыбасова, и на Митина с его пьесой, и на все на свете. Теперь у Дыбасова и Митина только и осталось что один терновый венец на двоих. Один ты, как всегда, в полном порядке. Умыл руки и — чистенький. Кстати, в сочинских кабаках принимают к оплате твои тридцать сребренников?..

Иннокентьев протянул к столику руку с трубкой и не глядя опустил ее на рычаг, но промахнулся, трубка упала на пол, и из нее еще некоторое время слышались нечленораздельные на расстоянии рычание и проклятия Ружина, потом — только маленькие, растерянные гудочки отбоя.

И еще — скучный, ровный шорох дождя за занавешенным шторой окном, видно, он не сейчас начался, лил уже давно, с ночи.

Откинувшись на подушку, он встретился взглядом с глазами Эли — она приподнялась на локте и смотрела на него испуганно, спросила одним духом:

— Что с Ромой?

Он не услышал ее — ничего он сейчас не слышал, кроме нудного шороха дождя за окном да немолчных гудочков отбоя из упавшей на пол телефонной трубки, но сил нагнуться и поднять ее не было, да и какая теперь разница?..

— Что с Ромой? — повторила Эля еще настойчивее.

Он и на этот раз не сразу понял — какой еще Рома?..

Эля рывком села на кровати, мгновение неотрывно смотрела на Иннокентьева, потом встала и как была босиком подошла к окну, откинула штору, распахнула дверь на балкон. Иннокентьев увидел за ним низкое, в неряшливых клочьях облаков, серое небо. Эля прошлепала босыми пятками обратно, подняла с пола трубку и положила ее на рычаг, гудочки сразу смолкли, и с головы Иннокентьева будто разом упал, лопнув, тесный железный обруч. Присела на его кровать и опять молча и требовательно уставилась на него.

Он спросил ее осипшим голосом:

— Какой Рома?..

Она не отвела глаза, но и не ответила, ушла в ванную, вернулась оттуда в халате, словно бы, подумалось ему мельком, теперь уже было нельзя, чтобы он смотрел на нее нагую.

Какие еще тридцать сребреников? о чем это Глеб говорил?..— так же мельком, по касательной вспомнил он.

Эля не сводила с него ставших разом густо-синими глаз.

— Все?..

— Что — все?..— ушел он от ответа.— Ты что, Глеба не знаешь? У него всегда все подлецы и подонки, один он святее святого...

— Что стряслось все-таки?— не отпускала она его и сама себе ответила:— С Ромой, да? Выгнали его из театра, так?..

— Я-то тут при чем?!— слабо вскинулся Иннокентьев.— Чего вы все от меня хотите? Как будто я его предал!

— Предал, Боренька, именно что предал,— сказала она скорее с жалостью, чем с упреком. И выпела свое вечное:— Норма-ально...

— Что тут нормального?!— Но голос его не слушался, да и не было в нем сейчас ни гнева, ни обиды — одна пустота и желание остаться одному, укрыться с головой одеялом, ни о чем не думать.— При чем я-то?!

— А при том, Боренька,— настояла она.— При том, что как тебе Глеб сказал, что — все, что конец, хана, тебе сразу и полегчало, это я и по твоему лицу угадала. Сразу легко стало, камень с души сняли — твое дело сторона, всего и делов-то. Кто тебя лучше моего знает?.. Как же не предал, если им всем плохо, одному тебе легко, один ты — весь в белом, как в том анекдоте, знаешь?..— И вдруг с надеждой опять подняла на него глаза.— А глядишь, еще можно что-нибудь придумать, а?.. Глядишь, не поздно еще, верно? Ведь чего не бывает...

Он хотел было отвернуться к стене, но она наклонилась к нему, положила на лоб еще теплую со сна ладонь, прислушалась.

— Вроде нет температуры. Аспирин-то импортный был, может, подействовал.— И совершенно неожиданно, наверняка неожиданно и для самой себя, приняла за него решение, и он понял, что ему не отвертеться.— Тебе в Москву надо, прямо сегодня. Напою тебя чаем с медом и поеду обменивая билеты. Хочешь не хочешь, а надо.

— Зачем? — преодолевая слабость, спросил он, заранее зная, что на этот вопрос ответа у нее нет и быть не может, потому что для нее самый этот вопрос бессмыслен и непонятен, и что он полетит с нею, хотя знает, что ничего уже нельзя исправить. И что в их отношениях — его и Эли — тоже уже ничего не исправишь.

— Надо,— сказала она так, словно это и не требовало никаких доказательств.— Ты сам знаешь, что надо.

За окном полыхнула где-то совсем близко молния и громыхнуло так, что зазвенели в гостиничном серванте рюмки.

— Гроза, — сделал он последнюю попытку к сопротивлению,— самолеты наверняка не летают.

— Летают,— убежденно ответила она,— не один, так другой.

Он все-таки спросил ее:

— Почему ты называешь его Ромой?

Она направилась к двери, на ходу пожав плечами:

— А он и есть Рома, как же его иначе?..

В Париж Иннокентьев прилетел в самом конце июня.

Он дал себе слово не разыскивать там Леру и не видеться с ней.

При этом он знал, что и разыщет и увидится, потому что за эти шесть лет не было дня, чтобы он не думал об этой встрече с Лерой, не был слепо уверен, что рано или поздно она произойдет, и ничего мучительнее и страшнее этих мыслей не было для него все эти годы.

Она приходила в его сны, и, проснувшись, он не мог отделить сна от яви, ему казалось, что она и на самом деле говорила с ним, улыбалась своей солнечной улыбкой, смеялась, чувствовал на губах ее губы, шелковистость кожи, хрупкость ее ладони.

Самым жалящим и неразрешимым вопросом, ноющей занозой застрявшим в сердце, над которым он бессонно маялся первые годы после ее отъезда, был — любила ли она его?.. Ему казалось, что от ответа на этот вопрос зависит все. Потому что, будь он уверен, что она его любила, все — и его собственная любовь, и бессильная ревность, и мучения уязвленного самолюбия, и боль от этой застрявшей в сердце занозы, — все, все имело бы смысл и оправдание. Если же она его никогда не любила и вся их совместная семилетняя жизнь была лишь одна ложь, притворство и игра — все в его прошлой жизни, а значит, и в будущей теряло какой бы то ни было смысл, становилось попросту пошлым и смешным.

Антонина Дмитриевна, его приходящая домработница, твердо верила и упрямо убеждала его, что именно в те минуты, когда он вспоминал Леру или видел ее во сне, она тоже на другом конце света вспоминает и думает о нем.

И он верил Антонине Дмитриевне.

За все эти шесть лет он ни разу не написал Лере и не получил от нее письма, не видел ее фотографий, не знал подробностей ее новой жизни и именно в силу этого своего неведения помнил и вспоминал ее такую, какая она была прежде, с ним.

Симпозиум был многолюдный, шумный и бестолковый, как и все подобные толковища незнакомых и никогда даже не слышавших друг о друге людей, со множеством дискуссий, брифингов, просмотров, официальных и полуофициальных завтраков, ужинов и коктейлей.

Иннокентьев два раза выступал — на секционном и на пленарном заседаниях — и еще раз по телевидению, рассказывал о работе Гостелерадио, о последних премьерных московских театров.

На одном из таких случайных, в суете и вечном цейтноте сборищ старый его приятель еще по университету, а теперь представитель Агентства по авторским правам в Париже Витя Говоров спросил его мельком:

— Ты уже виделся с Лерой?

— Нет, — с удивившим его самого равнодушием ответил Иннокентьев. — Да и когда?..

— У меня есть ее телефон. Дать? — предложил Говоров.

— Я знаю его, — поспешно отказался Иннокентьев, — спасибо.

— Дома ее застать трудно, она допоздна торчит в своей лавочке, так что звони либо рано утром, либо совсем ночью, — посоветовал Говоров.

— Если успею, — неопределенно пожал плечами Иннокентьев, — тут нас так запрягли, ни минуты свободной...

— Я с ней изредка вижусь. С тех пор как она разошлась с мужем...

Все, что он говорил дальше, Иннокентьев не слышал, у него что-то оборвалось, похолодело внутри, ему стоило невероятных усилий не забросать Говорова вопросами, не вскочить на ноги и ринуться опрометью к Лере.

— ...в этих лавчонках много не заработаешь, очень все там дорого, модно и дорого. Это на рю Риволи, под аркадами, напротив Лувра, по левую сторону, если идти от Конкорд...

Но тут Витю кто-то окликнул, он торопливо допил пиво и убежал.

Ни в этот день, ни на следующий — последний день работы симпозиума — у Иннокентьева не было ни минуты свободной, чтобы разыскать Леру. А телефона ее он не знал, он наврал Говорову, сам не понимая, зачем это делает.

Но в субботу, если не считать банкета по поводу окончания работы симпозиума, который должен был состояться поздним вечером, весь день у него был свободен, а в воскресенье на рассвете он должен был уже улететь домой.

Иннокентьев жил на правом берегу, в маленькой дешевой гостинице со смешным и трогательным названием «Отель Вселенной и Португалии», в двух шагах от Лувра. Каждое утро за ним приезжала машина и увозила его на заседания и просмотры, так что ему ни разу не довелось пройти мимо торговых рядов на улице Риволи — маленьких, тесных бутик в тени низких аркад, — а вечером, когда он возвращался в гостиницу пешком, все магазины были уже закрыты.

В субботу он проснулся рано, вышел из гостиницы в десятом часу, наскоро позавтракал в сток-баре тут же за углом и медленно, сдерживая гложущее нетерпение, пошел ровным шагом по улице Риволи мимо магазинчиков, в одном из которых работала Лера. А может быть, муж-француз в качестве отступного при разводе приобрел в ее собственность эту лавчонку, подумал Иннокентьев, и эта мысль показалась ему еще более унижительной, чем если бы Лера работала тут просто продавщицей по найму.

Солнце заливало ясным, но нежарким светом улицу, под тяжелыми полукружьями аркад, в образуемом ими длинном и низком сводчатом коридоре стояла еще не успевшая истаять густо-синяя утренняя тень, и с противоположного тротуара, по которому шел Иннокентьев, было не разглядеть, что делается за толстыми зеркальными стеклами витрин.

Некоторые лавки были уже открыты, и в распахнутые двери было видно, как молоденькие продавщицы в синих коротеньких рабочих халатиках метут пол или протирают тряпками витрины. Но большая часть магазинчиков была еще закрыта — видимо, торговля тут начиналась позднее.

Он решил, что, вероятнее всего, Лера тоже еще не открыла свою бутик да и время его сегодня ничем не ограничено, и перешел по Новому мосту на Левый берег, оставя слева остров гораздо на поверку более скромных размеров, чем это кажется по фотографиям и гравюрам, с собором Богоматери, вышел на просторный и совершенно безлюдный в это раннее субботнее утро Бульмиш

Хозяева магазинов, зеленых лавок, недорогих ресторанчиков и лепившихся тесно одно к другому быстро еще не кончили утренней приборки, мели ступени и улицу перед входом большими, похожими на распушившиеся конские хвосты метлами, выносили наружу лотки с влажно блестящими на солнце ярко-пунцовыми помидорами, крупной, чуть ли не с кулак, пупырчатой красно-золотистой клубникой, отливающими седым серебром фиолетово-синими сливами, напоминающими рождественские елочные шары апельсинами, палевыми спелыми бананами. Другие выгружали из маленьких, словно бы игрушечных грузовичков проволочные ящики с бутылками и деревянные плоские лотки с душно отдающими жаром печи свежими булочками. Киоскеры вывешивали, будто белье на просушку, лаково сверкающие всеми красками журналы и бросали с мягким, жирным шлепком прямо на асфальт кипы утренних газет, громко переговариваясь меж собой и смачно сплевывая на сторону обмякшие в уголке губ окурки сигарет. Было отчетливо слышно шуршание автомобильных шин по мостовой и визг тормозов перед вспыхивающим красным зрачком светофора на перекрестке.

И надо всем стояло едва уловимое глазом, окутывающее все вокруг легкой кисеей лилово-голубое марево.

Он вернулся на Правый берег по мосту Александра III, обдуваемому с реки плотным и теплым ветром, и тут только с удивлением и растерянностью поймал себя на том, что за эти два или даже три часа, что он бродит по Парижу, он ни разу не вспомнил о Лере.

Он торопливо спустился в метро на Елисейских полях и в мягко покачивающемся на одетых в резиновые шины колесах вагоне второго класса вернулся к Лувру.

С замирающим от страха сердцем он вошел в первую же бутик под аркадами, твердо уверенный, что тут же, немедля увидит Леру.

Но в тесном, залитом мерцающим неоновым светом магазинчике, боясь сразу столкнуться с Лерой лицом к лицу, он посмотрел не на продавщицу, стоящую за прилавком, а поверх нее, на полки с товаром — зонтами, сумками, портфелями, чемоданами и распыленными, с растопыренными пустыми пальцами перчатками: видимо, тут торговали изделиями из кожи. И лишь погодя опустил взгляд: за прилавком стояла какая-то пожилая француженка с седыми, отливающими голубым, аккуратными волосами, с профессиональной вежливо-предупредительной улыбкой на широком, с двойным подбородком лице.

В следующем магазине торговали только пестрыми, всех оттенков, мотками шерсти, и Леры тут тоже не было.

Он не решался спросить, не знают ли тут, под аркадами, о русской, владеющей в этом же ряду лавкой или же служащей в ней, и переходил из магазина в магазин — галантерея, мужские сорочки, спортивная одежда, дамское белье, галстуки и носовые платки, опять зонты и сумки, опять сорочки, все для рукоделия, вновь зонты и трости, парфюмерия, опять дамское белье, — казалось, лавочкам нет конца, а их владелицы — за прилавками Иннокентьев не увидел ни одного мужчины — все на одно лицо: немолодое, но моложавое, заученно-радушно улыбающееся.

Он переходил из лавки в лавку, после долгой прогулки через весь Левый берег гудели ноги. Леры нигде не было, он продолжал поиски лишь по инерции, из упрямства, не надеясь уже ее отыскать, давешнее волнение, нетерпение и боязнь встречи с нею улеглись, и не так часто и гулко, как в начале утра, билось сердце.

В витрине последней в ряду лавочки парили на невидимых нитях муляжные женские ноги в разнообразнейших чулках и колготках, дамские торсы, выкрашенные в черный, золотой или багрово-красный цвет, одетые в трусики и лифчики последних моделей.

Он подошел вплотную к витрине и заглянул сквозь нее в лавочку. За прилавком вполборота к нему продавщица что-то укладывала на полках. Иннокентьев даже не столько увидел, сколько привычно уже угадал ее полускрытое за дымчатыми стеклами очков, типичнейшее для парижанки-продавщицы (нет, пожалуй, все-таки для парижанки — владелицы собственного дела, подумал он, собственной модной бутик) лицо, ухоженное, с туго обтянутыми глянцевицей, без единой морщинки кожей скулами, тщательно, волосок к волоску уложенная прическа. Стандартное парижское лицо, устало подумал он, как только они добиваются такого приятного, обаятельного единообразия, и, не входя внутрь, повернул обратно.

Стало быть — не судьба, подумал он устало и облегченно, дальше искать нет смысла...

Он шел пустынным в этот обеденный час, чистеньким Тюильрийским садом, на скамейках не было ни души, лишь в боковой аллее громко кричали, резвясь и бегая взапуски, ученики младших классов католического, по-видимому, лицея — с ними был учитель, молодой, спортивного склада, в черной, до пят, сутане.

Иннокентьев шел мимо пустых скамеек, мимо старых, в еще не успевшей пожухнуть на солнце июньской листве вязов и каштанов, и на душе у него было пусто, как в брошенной квартире, из которой выехали старые жильцы, а новые еще не успели въехать.

Теперь он совершенно свободен, думал он облегченно, но и с щемящей печалью — от прошлого, от долгов, а стало быть, и от себя прежнего. Он свободен ото всего. Он волен в самом себе — никаких сожалений, никаких преград, можно начать новую жизнь. И в этой новой своей жизни он уже не позволит себе роскошь жалких сантиментов или обессиливающих, убаюкивающих воспоминаний, он уже не будет видеть ничего не обещающие, ничего не пророчащие сны, и бессонниц тоже не будет.

А будет дело, дело и дело, работа и жесткое, безошибочное знание того, что ему надо, чего он добивается, и — никаких лукавых мудрствований и несбыточных грез.

И еще ему стало до боли в сердце, до слабых, печальных слез жалко себя прежнего, когда он подумал, что им — прежнему и новому — никогда уже не встретиться, не взглянуть друг другу в глаза.

По пути к себе в гостиницу он перекусил в том же, что и утром, сток-баре за углом горячей булочкой с запеченной в ней сосиской, обильно смазанной сладковатой французской горчицей, забежал в свой номер, переоделся и едва поспел на банкет.

А на следующий день — всю ночь лил неторопкий июньский дождь, слышно было, как за окном захлебывается вода в водосточном желобе, Иннокентьев не мог уснуть до самого утра — в шесть пятнадцать он вылетел из аэропорта Орли и, в силу разницы во времени, в двенадцать по-московскому был в Шереметьеве.

В ожидании багажа он позвонил из автомата к себе в редакцию в Останкино, но никто трубку не поднял, и он только тут сообразил, что — воскресенье, в редакции никого и не может быть. Он набрал номер своего домашнего телефона, но вспомнил, что по воскресеньям и Антонины Дмитриевны, домработницы, не бывает, но помедлил опускать на рычаг телефонную трубку и услышал в ней Элин голос. Она узнала его до того, как он успел сказать хоть слово:

— Боря! Я знала, что ты должен сегодня... Я тебя ждала. Все нормально, только... только Глеб умер... Ты слышишь?.. Глеб, Глеб умер!.. Ты почему молчишь? Это же ты, Боря! Это ты?.. Почему ты молчишь?!

Он опустил руку с трубкой, долго так стоял среди сутолоки и толчей двенадцатизычного аэропорта, потом повесил трубку на рычаг и вдруг понял, что — нет, не дано ему и этого: отречься от самого себя. Предать — еще куда ни шло, но отречься...

12

Ружин умер от инфаркта — третьего по счету — в Остроумовской больнице, куда его положили за два дня до смерти. Умер он еще неделю назад, но урну с прахом хоронили сегодня, в воскресенье, в новом колумбарии на Ваганьковском кладбище.

Все это Иннокентьев узнал от Эли, заехав к себе на площадь Восстания. Бросив в передней чемодан, он тут же пошел пешком на Ваганьково — до похорон оставалось не больше часа.

Эля же поехала за урной в старый крематорий на Шаболовку, а оттуда уже, с Митиным, на кладбище.

Оглушенный смертью Глеба, не успев даже поверить, что это правда, Иннокентьев шел вниз по Краснопресненской, и лишь одна мысль, до крайности нелепая, засела гвоздем в мозгу и не отпускала: будь он в эти дни в Москве, не уезжай в этот проклятый Париж, он, может быть, мог бы спасти Ружина — устроить его вовремя в больницу лучше, к каким-нибудь опытным врачам, к какому-нибудь чудодею профессору, и ничего бы этого не случилось, они бы сидели сейчас с Глебом в его тесной и захлавленной квартире в Бескудникове, попивая не торопясь крепчайший кофе, рецепт которого достался по наследству от матери-персиянки. Он рассказывал бы Глебу о Париже, о симпозиуме и, главное, о Лере, на всем белом свете Ружин был единственный человек, которому Иннокентьев мог бы рассказать о своей

несостоявшейся встрече с Лерой. А теперь ему совершенно, ну просто совсем не с кем этим поделиться, и никто никогда не узнает, что было с ним в Париже, никто не поймет, почему он вернулся оттуда другим — и окончательно — человеком, никому до этого нет дела.

Это чувство вины за смерть Глеба и вообще некоей куда более давней и неотмолимой своей вины перед живым Глебом, не прощенной, не отпущенной им перед смертью, еще долго не оставляло Иннокентьева, мучило неразрешимостью.

Он ждал Митина и Элю у кладбищенских ворот, там уже собралось множество друзей и приятелей Ружина, у всех в руках были цветы, свежие гвоздики и тюльпаны, один Иннокентьев стоял без цветов, ему как-то даже не успела прийти эта мысль — купить по дороге на кладбище цветы. Он подумал, что где-то поблизости их непременно должны продавать, но не было ни сил, ни воли сдвинуться с места.

Он удивлялся, оглядываясь вокруг, как много, оказывается, людей, близко знавших Ружина и пришедших проститься с ним. Они разделились как бы на три обособленные группы, стоящие порознь и не смешивающиеся. Одну, малочисленную, составляли партнеры Глеба по преферансу, долготелетние участники его субботних и воскресных баталий за карточным столом. До Иннокентьева долетали обрывки их разговоров — о былой удачливости Ружина и о том, что в последнее время он определенно сдал, просчитывался, больше одной-двух пулек не осиливал, не тот, не тот стал в последние месяцы Ружин!.. И договаривались помянуть его именно так, как бы они и сам провел этот день, будь жив — воскресенье, преферансный день! — то есть за настоящей, большой, мужской пулкой, он бы только порадовался этому, если б мог узнать.

Во второй группе были его бывшие коллеги по работе в редакциях, те, кто еще помнил его молодого, полного сил и яростной жажды все переменить, переиначить, все начать с красной строки, когда он объявился в начале шестидесятых годов в Москве. Они тоже говорили вполголоса о своем — о том, что, конечно же, надо непременно собрать все статьи Ружина, опубликованные в разное время и в разных изданиях, и напечатать отдельной книгой, очень важно посмотреть, нет ли в его архиве — это подслушанное Иннокентьевым их слово «архив» больнее всего его резануло — чего-нибудь неопубликованного, не такой человек был Ружин, чтоб после него не осталось чего-нибудь неопубликованного...

Третью группу, самую большую, составляли те, кто просто приятельствовал с ним, завсегда таи его квартиры на Бескудниковском, среди них были и такие, чьих имен Иннокентьев не знал, да и сам Глеб — как посмеивались над ним ближайшие друзья, не одобрявшие этих ружинских, как они их называли, случайных связей, — далеко не всех их помнил по имени.

Иннокентьев увидал еще издали салатную «Волгу» Митина. Она остановилась не у самых ворот, а чуть в стороне, и он пошел навстречу приехавшим. Первым из машин вышел Дыбасов с белой погребальной урной в руках, за ним Эля и еще двое, которых Иннокентьев не сразу признал, и лишь когда они подошли поближе и по очереди без слов пожали ему руку, он сообразил, что это приехавшие на похороны Глебовы друзья детства из Душанбе или Самарканда.

Последним из машины вышел Митин и, забыв ее запереть, бросился к Иннокентьеву, спрятал лицо у него на плече и громко, не стыдясь слез, расплакался. Слезы подступили к горлу и у Иннокентьева, но глаза так и остались сухими — его слезы еще впереди, знал он, он еще как никто другой ощутит отсутствие Глеба.

Дыбасов, ни на кого не глядя, пошел быстрым шагом с урной в руках в глубь кладбища. Следом за ним, также ни на кого не глядя и даже не подойдя к Иннокентьеву, поспевая за широким шагом Дыбасова, пошла Эля.

Все остальные, стараясь не отстать и оскальзываясь на размытой недавним дождем жирной глине кладбищенской аллеи, потянулись за ними. В этой их торопливой, словно бы они опаздывали куда-то, цепочке не было ничего похожего на печаль и торжественность похорон.

Митин и Иннокентьев шли позади всех, молчали, глядя под ноги. — Вот так-то... — сказал в пространство Митин.

В конце аллеи белело двухэтажное здание колумбария. Митин неожиданно спросил:

— Ты видел Леру?

Иннокентьев не ответил — не время, не место, — но оттого, что первый же вопрос Игоря был о Лере, о том, о чем, будь он жив, спросил бы непременно Ружин, он с благодарностью подумал, что и Митин ему настоящий друг. Хотя совершенно неизвестно, повторит ли когда-нибудь еще Игорь свой вопрос, а он, Иннокентьев, захочет ли тогда на него ответить.

Колумбарий был совсем новый — необжитой, подумал с горькой усмешкой Иннокентьев, поднимаясь на второй этаж по неширокой, в свежих еще пятнах неотмытой извести и цемента лестнице, — в нос ударили сырые, едкие запахи, которые долго еще живут во всяком новом, только что отстроенном доме, потом их забывают со временем живые запахи человеческого быта. Но какие, подумал Иннокентьев, запахи поселятся здесь, когда выветрятся те, что напоминают о стройке?..

Колумбарий был разделен на несколько отсеков, по свежесвебыеленным стенам шли от пола до потолка ряды с тесными, большей частью еще пустыми, нишами.

Ниша, предназначенная для урны с тем, что еще какую-нибудь неделю назад было Глебом Ружиным, зияла в предпоследнем от потолка ряду, дотянуться до нее без лестницы или стремянки было нельзя.

На поиски лестницы отправился Дыбасов, передав урну с прахом Эле.

Она стояла с урной в руках в некотором отдалении от всех остальных, у самой стены с нишами, не оборачиваясь по сторонам и ни на что не отвлекаясь, и к ней тоже никто не подходил и не заговаривал.

Иннокентьев пробрался к ней сквозь толпу. Она мельком оглянулась на него и опять отвернулась.

— Дай мне урну, ты устала, — сказал он ей негромко.

Эля, не ответив, отдала урну, и, неловко взяв ее из рук в руки, Иннокентьев поразился и даже на миг испугался — такой она показалась ему холодной и, главное, тяжелой. Будто в урне была не горстка легкого и сыпучего пепла, а сам он, Глеб, огромный, тучный, невподъем.

Лестницу искали долго, потом никак не могли приладить ее к стене, но тут объявился кладбищенский рабочий в измызганной известью робе, быстро и умело пристроил лестницу, ловко взобрался на нее, перегнувшись вниз, взял из рук Иннокентьева урну, установил ее в нише, опять перегнувшись, взял поданную ему снизу плоскую мраморную доску с написанными на ней свежей, еще липкой черной краской фамилией и именем-отчеством Ружина и датами 1935—1982, потом попросил, чтобы ему подали ведро с раствором и мастерок, и в один миг замуровал нишу, закрыл ее доской.

Никто не проронил ни слова, все стояли, задрав головы, зачарованно глядя, как ловко он управляет со своим делом.

Потом он соскочил с лестницы, вопросительно поглядел на Иннокентьева, видимо считая его здесь главным, поскольку именно из его рук взял урну с прахом покойного, но тот не понял, чего от него хотят, и тогда Митин протянул рабочему две приготовленные заранее десятки, тот, не поблагодарив, забрал лестницу и ведро с раствором и был таков.

Все было кончено, все, что нужно, сделано, можно было расходиться.

Но никто не уходил, все стояли, переминаясь с ноги на ногу, словно бы ожидая чего-то еще. Потом вспомнили о цветах, сложили их к стене под нишей.

Дыбасов первым быстро пошел, не оглядываясь, к выходу.

Митин ждал Иннокентьева у своей «Волги», рядом, жадно куря сигарету, стоял Дыбасов. На переднем сиденье уже устроился толстый, женоподобный Рантик, Глебов друг по школе, под черными усиками стрелкой то и дело вспыхивали влажным блеском золотые зубы. Второй друг детства забился в угол на заднем сиденье. Рядом с ним сидела Эля, сунув по привычке, будто озябнув, руки в рукава куртки.

— Мы тебя ждем,— окликнул Иннокентьева Игорь.

— Но вас и так уже пятеро...

— Поместимся, садись.

Иннокентьев сел рядом с Элей, последним едва втиснулся в машину Дыбасов. Митин вырулил на проезжую часть и, проскакивая на красный свет на перекрестках, понесся по Грузинской мимо Белорусского вокзала на Дмитровское шоссе.

И только в тесноте машины, зажатый между Дыбасовым и Элей, Иннокентьев вдруг показался себе теперь, без Ружина, таким покинутым и никому не нужным, так ему стало жалко себя — себя живого даже больше, чем мертвого Ружина,— что он, не отдавая себе в том отчета, громко застонал.

Эля, не глядя на него, положила свою большую, мягкую ладонь на его руку, сжатую в кулак. Элина ладонь легонько гладила ее, он разжал кулак, и сердце тоже как бы разжалось, одиночество показало не таким холодным и неотступным. Мысли его были нечетки и тут же улечивались без следа, как мелькающие за окном «Волги» улицы, дома и прохожие в этот пасмурный, бледный день.

Он очнулся лишь тогда, когда ладонь Эли перестала вдруг гладить его руку. Скосив глаза, он увидел, что поверх Элиной руки легла узкая, поросшая черными волосками рука Дыбасова.

Так они и ехали до самого дома Ружина, теперь уже бывшего его дома, Иннокентьев не решился убрать свою руку, а Эля и Дыбасов словно бы вовсе забыли о ней, как и о нем самом.

Значит — ни Леры, ни Глеба, ни Эли?.. Никого?..

В той нежной ласке, которой, не стесняясь его, просто-напросто скинув его со счетов, обменивались сейчас Дыбасов и Эля, было еще одно доказательство его, Иннокентьева, права на то, чтобы из прежнего себя стать собою новым. Это не сам он решил — это они, Лера, Ружин и Эля, покинув и предав его, сделали это превращение неизбежным и тем самым взяли на себя ответ за него. А стало быть, и виноват — если вообще можно кого-нибудь уличить в какой бы то ни было вине и перед кем бы то ни было,— виноват в том тоже не он, а они, Лера, Ружин и Эля.

Что ж, так тому, значит, и быть. И смешно лить по этому поводу бесполезные слезы. Чему быть, того не миновать, и теперь-то он уже ни бежать, ни уклоняться от своей судьбы не будет. Иннокентьев ощутил вдруг такое опустошение, такую смертельную усталость, что закрыл глаза, и ему показалось, что он вот-вот потеряет сознание.

Трудно было предположить, что в крохотную квартирку Ружина может набиться столько народу. Стол был накрыт во всю длину первой комнаты, стульев для всех не хватало, собравшиеся на поминки теснились и во второй, задней комнате, на кухне и даже в прихожей. Сигаретный дым стоял столбом, в распахнутые настезь окна немолчно грохотали машины на Дмитровском шоссе.

И Иннокентьев, и Митин, и Дыбасов с Элей оказались как бы в тени, их и не считали тут главными — главным был Рантик.

Первый раз помянули Глеба молча, во второй Рантик, сдерживая

слезы и перемежая речь тяжкими паузами, во время которых никто не осмеливался проронить ни звука, говорил о том, чего и Иннокентьев не знал о Ружине и чего сам Ружин тоже никогда о себе не рассказывал: как в войну, в голод, отец Ружина, известный на весь город врач, подкармливал всех мальчишек их класса, как Глеб — а ведь Иннокентьев всегда был убежден, что это чистейшей воды враки и бахвальство! — как исключительно когда-то Глеб играл в баскетбол и был душой местной команды, и как он, уже после своего переезда в Москву, приезжая в родной город, собирал всех бывших одноклассников и друзей и закатывал в лучшем ресторане такие дастарханы, что о них потом еще долго вспоминали, и как его исключительно любили, как гордились его успехами в столице нашей родины городе Москве, и, главное, как он любил своих новых московских друзей и всегда рассказывал о них одно только самое замечательное.

Эля вместе с Ирой Митиной — Иннокентьев не сразу заметил отсутствие на похоронах Насти Венгеровой, но теперь, когда он узнал все о Дыбасове и Эле, это его уже не удивило — и другими женщинами сновала из кухни в комнату и обратно, мыла грязную посуду, варила кофе — одни уходили, приезжали другие, надо было всех кормить, поить, посуды и рюмок не хватало, груды окурков вырастали прямо на глазах в переполненных пепельницах и грязных тарелках. Эля все делала молча, сосредоточенно, и хотя вроде бы всеми этими хозяйственными заботами распорядилась Ира, а Эля лишь выполняла ее указания, но она одна знала, где что искать — тарелки, рюмки, вино, закуску, — и со всей этой печальной суетой без нее было бы не справиться.

Ни к Иннокентьеву, ни к Дыбасову она ни разу не подошла, словно их тут и не было вовсе.

Потом говорил долго Паша, второй приехавший друг Глеба, потом однокурсник по университету, кто-то из преферансистов, и еще кто-то, и еще, а Иннокентьев, Митин и Дыбасов стояли в углу у полка с книгами и чувствовали себя здесь лишними.

Иннокентьев и Митин не сговариваясь вышли покурить на лестничную площадку. Тут было прохладнее, за окном сеялся неслышимый дождь, жирно блестел внизу асфальт улицы.

Иннокентьев прикрыл за собой дверь в квартиру, на ней была прибита медная табличка с выгравированными инициалами и фамилией жильца, хотя сказать про Ружина «жилец» никак уже было нельзя...

Митин тоже взглянул на табличку.

— Надо ее снять, — сказал он неуверенно, — наверняка уже выписали ордер какому-нибудь очереднику... — Он порылся в карманах, нашел перочинный ножик, стал отвинчивать лезвием винты, потом протянул табличку Иннокентьеву. — На, у тебя она будет сохраннее. Для потомства. — И, помолчав, добавил: — Хотя ни у него, ни у меня, ни у тебя никакого потомства нет и, судя по всему, не предвидится. Такие уж мы оказались пустоцветы. А вот у Рантика, к примеру, наверняка куча детей, у них там, на Востоке, жутко размножаются, может, ему и отдать ее?..

Иннокентьев не ответил, долго рассматривал позеленевшую по краям медную табличку, потом сунул ее в боковой карман, сел рядом с Митиным на холодную ступеньку.

— Мне Дыбасов сказал, — прервал молчание Игорь, — будто Глеб оставил какое-то завещание. Ты не в курсе?

— Откуда? Я же только что с самолета.

— Будто когда его увезли в больницу, он уже чувствовал, что — хана. И все расписал, кому что — книги, мебель, всякие побрякушки старинные, которые от матери остались. А душеприказчиком будто бы назначил Рантика. Друг детства.

— Жалко только книг, неизвестно кому достанутся, разойдутся по рукам. Да и то какое это теперь имеет значение...

На площадку вышел Дыбасов.

— Дайте сигарету, у меня все вышли...— Сел ступенькой ниже спиной к ним, сказал зло и устало: — Надо бы гнать всю эту публику, там уже такое творится... Не поминки, а какой-то бардак, водки слишком много накупили.

— Ружин бы сказал — мало...— отозвался Иннокентьев.— Пускай их, как ты их выставишь?..

— Был Глеб.— еще злее проговорил сквозь зубы Дыбасов,— и все было в порядке в этом мире, хоть один человек среди всей нашей бражки.— Голос его задрожал, он всхлипнул, высморкался, хотел было встать.— Я их сейчас — к чертовой матери, сволочей!

— Не надо,— удержал его за плечо Митин,— при чем тут они? Ты представляешь, чтоб Глеб кого-нибудь — взашей?..

Дыбасов затаился с жадностью, зажав сигарету внутри горсти, словно оберегая ее от ветра.

— Игорь говорит,— сказал Иннокентьев,— он завешание оставил. Вы не знаете?

— Завешание...— горько усмехнулся, не оборачиваясь. Дыбасов.— Да. Когда я его навестил в больнице накануне...— но слово «смерть» он не захотел или не осмелился произнести,— ну, за день до этого... Он все написал, дал мне, чтобы я в случае чего показал вам. Там нас пятеро — вы оба, я, Рантик. Рантик у него написан первым, он главный, если у других возникнут разногласия...

— По поводу наследства?! — возмутился Митин.— Он что, с ума сошел?!

— И даже помер,— угрюмо отрезал Дыбасов.— Он не о нас думал, о себе. Хотел как лучше.

— Пятеро? — удивился Иннокентьев.— Нас только четверо — вы, я, Игорь, Рантик. Кто пятый?

— Эля, кто же еще?..— ответил Дыбасов и неожиданно, безо всякой паузы, решительно сказал: — Вот мы и... вот нам и не миновать разговора, Борис Андреевич. Лучше уж сразу, чего там, а то совсем запутаемся.— И еще решительнее и тверже: — Дело в том, что...

Митин поднялся на ноги.

— Я пойду туда. Вы уж как-нибудь одни... Хотя могли бы и подождать, не самое подходящее место и время выбрали.— И ушел в квартиру, прикрыв за собой дверь.

— Я ее люблю,— упрямо договорил Дыбасов.

«Самое смешное,— подумал про себя Иннокентьев без злобы и даже без ревности,— что он при этом называет меня по имени и отчеству, как в старых романах... остается только вызвать его к барьеру...»

— Я тоже, Роман Сергеевич, представьте себе...

— Неправда,— не задумываясь оборвал его Дыбасов,— вы не любите.

— Откуда вам это знать? — опять не обиделся, а скорее удивился Иннокентьев.

— Потому что вы... Одним словом, любовь — это совсем другое, чем...

— Что вы обо мне знаете, Роман? — Иннокентьев ничего с собой не мог поделывать: он не чувствовал сейчас к Дыбасову ни ревности, ни даже зависти отвергнутого возлюбленного к возлюбленному удачливому. Но это было именно так.— Что вы на самом деле знаете обо мне?!

Дыбасов ничего не ответил, докурив сигарету до самого мундштука, раздавил окурки каблучком стоптанного башмака.

Иннокентьев не выдержал затянувшегося молчания, спросил о том, о чем спрашивать не следовало:

— А она вас?..

Дыбасов сказал буднично:

— Не знаю. Она мне верит, это главное. Это самое главное,— повторил он упрямо.

— А мне --- не верила? — опять не удержался Иннокентьев.

— Вам — нет,— твердо ответил Дыбасов.

— Почему? — в третий раз не справился с собою Иннокентьев.

Дыбасов, все это время сидевший к нему спиной, обернулся, чтобы ответить, но почему-то посмотрел не в лицо ему, а поверх головы.

— А на это пускай уж она сама вам ответит...

Иннокентьев обернулся — за его спиной двумя ступеньками выше стояла Эля.

— Мне уйти? — спросил Дыбасов то ли ее, то ли Иннокентьева.

— Как хочешь,— безразлично пожалала она плечами.

Дыбасов встал, отряхнул не торопясь штаны, ушел в квартиру.

Эля села рядом с Иннокентьевым, достала из нагрудного кармана куртки смятую сигарету и дешевую пластмассовую зажигалку, но прикуривать не стала, сказала тоже буднично:

— У меня с ним ничего пока не было.— И хотя Иннокентьев знал по опыту, что о ней никогда нельзя было предположить наперед, как она поступит и что скажет, эти ее слова ошарашили его.— Я вас ждала. Я врать, представьте, не хотела. Ни вам, ни ему. Я и сама еще не знала. А потом умер Глеб Антонович...— И заключила твердо: — Теперь-то уж что ж...

Он спросил ее, хотя и на этот раз знал, что спрашивать не надо:

— Ты любила меня?

Она долго не отвечала.

— Не хочешь — не отвечай,— сжалился он.

— Нормально. Не знаю.— И объяснила: — Что любила — знаю, а вот вас ли...

Он не понял ее, но настаивать не стал.

Казалось, она мучительно преодолевает что-то в себе.

— Если уж совсем по правде,— решила наконец,— так, верьте не верьте, я в то утро, ну, в самое первое, когда ваша монтажница заболела, я ведь тогда сама напросилась. На свою голову... Тогда-то я вас уж точно любила, в натуре, хоть только по телевизору и видела... вот того-то я и любила, который по телевизору...

— А увидела живьем — разочаровалась? — усмехнулся он и сам почувствовал, какая жалкая получилась у него усмешка.

— Нет,— твердо отвергла она его догадку,— просто... просто — только вы не обижайтесь, ладно? — просто тот и вы... даже как сказать, не знаю...

— Два разных человека? — подсказал он ей.

— Тот такой был... — не услышала она его,— такой весь из себя бойкий, смелый, ничего не боится, всем все в лицо говорит, что думает, невзирая, и — море по колено... Я тогда знаете что даже про себя решила? Что нет женщины на свете, которая бы вас стоила...

— А потом? — настаивал он, хоть и знал наперед, что она ему ответит, если, конечно, захочет ответить, не пожалеет его.

— Потом... то-то и оно, что никакого потом не получилось...

— Ну а тот, другой? — не отступался Иннокентьев.— Он-то какой оказался?..

— Ну, это уж ваша забота! — неожиданно резко, почти грубо ответила она.— Теперь-то что уж. Мертвому припарки. Только не обижайтесь. Я ведь и вправду вас тогда ужас как любила, того. Вы ни капельки не виноваты, вы-то тут при чем? Это я себя, а не вас обманула... ну, не обманула, а... — Упрямо покачала головой, будто утверждая сама в том, что только что в себе открыла.— Нормально!..

Нормально, согласился он с нею, нормальнее не придумаешь...

Она чиркнула зажигалкой, в густеющей темноте лестничной клетки пламя осветило на миг ее лицо, отразилось в зрачках.

Как тогда... — вспомнил он их предновогоднюю поездку в Ни-

кольское, они сидели тогда в машине и никак не могли решиться выйти в стужу, красный глазок прикуривателя выхватывал из темноты ее глаза, губы и нос. Он вспомнил, как его ожгла тогда нежность и жалость к ней, а ведь любовь — это и есть не что иное, как нежность и жалость, ну разве еще желание, но ведь именно это и ожгло его тогда, значит, он не врал себе, значит, он и на самом деле ее любил, какого тебе еще доказательства надо, какой еще неопровержимой улики?!

И как тогда — любовь, так его ожгла сейчас непереносимая и вместе освобождающая от неопределенности и душевной сумятицы боль нынешней, вот этой сегодняшней, потери, безвозвратной этой утраты. Нет, подумал устало Иннокентьев, что бы человек о себе ни возмечтал, каким бы жестким, одетым в броню ни захотел стать, каких бы безбрежных свобод и вольных воль себе ни напридумывал, настоящее в нем, неизлечимое — только эта жажда нежности, любви и жалости. И боль утраты. Но он почему-то не смеет себе в этом признаться.

Они сидели на холодных ступеньках темного лестничного марша, мимо них, шумно гомоя, уходили с поминок последние ружинские друзья-приятели. Потом стало пусто и тихо, только и было слышно что шорох дождя за окном да гул машин на Дмитровском шоссе.

Иннокентьев подумал — вот она, Эля, рядом, можно дотянуться до нее рукой, можно пересечь ступенькой ниже и спрятать лицо в ее коленях, но и тогда, когда еще не поздно было, когда она и сама этого хотела и ждала от него, он побоялся, как бы она не заподозрила его в слабости, в том, что он не может без нее, и свою нежность тоже прятал — делиться собою он никогда ни с кем не умел.

На лестничную площадку вышел Митин.

— Все разошлись уже, слава богу. Надо поговорить — Рантик настаивает, у него на послезавтра обратный билет.

Эля поднялась первой, подобрала со ступенек брошенные Дыбасовым и Иннокентьевым окурки, выбросила их в мусоропровод, ушла в квартиру.

Митин пробормотал невразумительно:

— Еще это завещание... дележ имущества, мерзость какая-то! Пойдем. Хорошо хоть мою Иру удалось спровадить...

Иннокентьев встал, пошел следом за ним.

За столом, с которого Эля убирала грязную посуду и недоеденные закуски, сидели Рантик и Паша, пили чай, вполголоса что-то меж собой обсуждая. Рантик держал большую ружинскую фаянсовую кружку в горсти, как пиалу, шумно дуя на слишком горячий чай.

Во второй комнате Иннокентьев увидел сквозь растворенную дверь Дыбасова, он сидел на высокой кровати карельской березы, что-то читал, короткие его ноги не доставали до пола. С кухни было слышно, как там Эля моет, гремя вилками и ножами, посуду.

Рантик поставил кружку на стол, встал и сказал с широким жестом радушного, хоть и опечаленного хозяина:

— Садитесь, Борис и Игорь, дорогие. Теперь тут только самые близкие, только свои, посидим, вспомним нашего покойного дорогого Глеба...

Иннокентьев и Митин молча сели на скрипучие венские стулья. Прервал молчание Митин:

— Я понимаю, Рантик, вы хотите — насчет завещания... Но нельзя ли, скажем, завтра? Такой день, все устали, да и вообще...

— Конечно, понимаю, дорогой Игорь, но у меня — билет, дела не позволяют, извините.

— А я так даже завтра улетаю, — поддержал его Паша, — в семь утра. В два у меня уже процесс в нашем Арбитраже.

— Роман, дорогой, — обернулся через плечо Рантик, — очень вас просим.

Дыбасов вошел в комнату, но сел не за стол, а на ружинский топчан позади Митина.

— Зачитай, Паша, пожалуйста,— попросил Рантик.

— Надо Элю позвать,— подав голос Дыбасов,— она ведь тоже там названа.

— Само собой,— поспешно согласился Рантик,— а как же! — И, понизив голос, спросил: — Извините, просто я только в крематории пять дней назад в первый раз ее увидел... Она что — была его... я хочу сказать — кто она ему была?

— Никто,— резко отрезал Дыбасов.— Кстати...— Он чуть запнулся, прежде чем сказать громко и с вызовом неизвестно кому: — Она моя жена. Это я для всеобщего сведения.

— Извините еще раз,— виновато поспешил Рантик,— не знал, я не был у дорогого Глеба целый год... Но это не имеет принципиального значения, если в завещании она все равно указана. Зачитай, Паша, пусть будет все как положено.— И сам громко позвал: — Эльвира, пожалуйста, если вам не трудно, мы все вас ждем!

— Завещание...— опять, как на лестнице, пробормотал Митин,— прямо-таки Оноре де Бальзак...

Эля вошла в комнату, вытирая на ходу мокрые руки кухонным полотенцем.

— Садись сюда,— предложил ей место рядом с собой Дыбасов, но она, ничего не ответив, села к столу.

Паша достал из внутреннего кармана пиджака потертый кожаный футляр, вынул из него очки в неожиданно модной квадратной оправе, надел их, из другого кармана извлек сложенный вчетверо лист обычной писчей бумаги. Но прежде чем начать читать завещание, посмотрел поверх очков на Митина, Иннокентьева и Элю.

— Рантик потому попросил меня участвовать и дать ход данному документу, что согласно воле завещателя я в нем не упомянут и выступаю здесь в роли, так сказать, исключительно юриста. Разрешите, если никто не против.

Завещание было совсем коротенькое, в несколько строк, в нем никак не определялось, в каких долях делить оставшееся после Глеба наследство, лишь назывался главный душеприказчик — Рантик, и четверо других — Иннокентьев, Митин, Дыбасов и Эля. Она так и была названа в завещании — не по фамилии, а лишь по имени, может быть, пришло в голову Иннокентьеву, Глеб и не знал ее фамилии. И тут же подумал, что он и сам ее не помнит: Эля и Эля...

Паша закончил читать завещание, вновь сложил листок вчетверо, протянул его Рантику. Рантик поблагодарил его кивком.

Все молчали, не зная, что в таких случаях надо говорить и как приступить к делу.

Митин не выдержал:

— Давайте уж кто-нибудь первый... а то, честное слово, никаких сил!..

Дыбасов вскинулся из-за его спины:

— Нам с Элей ничего не надо! Скажи, Эля!

Но она промолчала, сидела, положив на стол руки с кухонным полотенцем.

Тогда он добавил еще агрессивнее:

— Во всяком случае, мне!

— Зачем такие нервы, дорогие мои? — с укоризной в голосе развел руками Рантик.— Мне тоже ничего не надо. И Паше.— Паша согласно кивнул.— Но наш дорогой покойный оставил вот это завещание, это его, как говорится по-юридически — правильно, Паша? — последняя воля, разве мы имеем право не послушаться?..

— Нельзя,— негромко сказала Эля.— Некрасиво получится — Глеб нам оставил, он так хотел, а мы отказываемся...

— И в какое положение вы поставите тех, в пользу кого отказываетесь? — вставил Паша.— Я, конечно, тут лицо стороннее, меня в числе наследователей нет, просто как юрист...

— Бросьте, Паша,— Дыбасов поднялся с топчана, — у вас такое же право, как у всех!

— Само собою, — подтвердил Митин, — какие могут быть разговоры. Только давайте скорее!

— Вот что, — предложил Иннокентьев, — нас здесь шестеро, если каждый будет в этом участвовать, нам до завтра не управиться, тем более всем, как я понимаю, совершенно не важно, как все будет поделено...

— Что вы предлагаете? — перебил его Дыбасов.

— Рантик — душеприказчик, Паша — юрист, вот пусть они вдвоем и займутся, а мы заранее соглашаемся с тем, как они решат.

— Нормально, — подтвердила первой Эля.

Рантик и Паша ушли во вторую комнату, Эля вернулась на кухню домыть посуду, Дыбасов распахнул дверь и вышел на балкон — дождь утих, лишь редкие, по-летнему тяжелые и звонкие капли срывались с крыши на жестяные карнизы, и слышно было, как внизу, на ночной улице, журчат потоки у решеток коллекторов.

Митин и Иннокентьев не встали из-за стола, молча курили.

Иннокентьев спросил как можно безразличнее, кивнув в сторону балкона, и тут же пожалел, что спросил:

— Давно это у них?

— Ты об Эле и...— понял его Игорь.— Не знаю. И вообще этот вопрос, извини...

— Ладно, не будем. — Иннокентьев решительно встал и прошел на кухню.

Эля вытирала посуду уже совершенно мокрым полотенцем.

Он остановился в дверях и сказал на удивление самому себе спокойно:

— Я тебя ни о чем никогда не спрошу, никогда не упрекну. И я всегда буду тебе благодарен. Благодарен и... и все всегда буду помнить. И если когда-нибудь... одним словом, если ты когда-нибудь...— Но, не договорив, круто повернулся и вышел.

В комнате он застал уже сидевших за столом Рантика и Пашу. Паша что-то дописывал на листке бумаги, то и дело стряхивая ручку с вечным пером.

Позвали Элю и Дыбасова, и Паша прочел, как они с Рантиком предлагают разделить ружинское наследство...

Всю ночь и все утро — Паша уехал в Домодедово в пять утра, остальные оставались до полудня — они укладывали в узлы и чемоданы одежду, постельное белье и посуду, книги — в картонные коробки, которые, сбегав поутру вниз, купил в гастрономе Дыбасов, не уместившиеся в коробки связывали в тяжелые пачки добытой у соседей бечевкой; освобождали книжные полки, кухонные шкафы, ящики письменного стола и знали, что никогда им уже не переступить порога этой квартиры на Бескудниковском бульваре, где жил человек нелепый, ленивый и мудрый, обладавший бесценным даром любить друзей и жить их жизнью, не прощать и не спускать им ничего и вместе одаривать их дававшейся ему без труда верой в то, что творить добро, повинувшись лишь собственной совести, такое же легкое и естественное занятие, как — дышать.

И им было совершенно непонятно, как они будут дальше жить — без него и без странноприимного этого дома, без громоподобных его проповедей и не таящих угрозы инвектив, без кофе по-восточному и росказней о матери-персиянке и прадеде-цареубийце.

А жить — надо, думал Иннокентьев, увязывая в тяжелые стопки книги и вынося их на лестничную площадку к лифту, никуда не денешься, вот уж воистину чаша, которая никого не минет, и надо осушить ее до дна — а что там, на дне?..

Паша, наверное, уже успел долететь домой, Дыбасов опаздывал на репетицию, Рантик созвонился с комиссионным магазином, ему обе-

шали после обеда прислать машину за мебелью. Все было уложено, упаковано, увязано, можно было и расходиться.

Был уже понедельник, Иннокентьеву нужно было заехать хоть ненадолго в Останкино, он погрузил в такси доставшееся ему от Глеба наследство. Эле надо было на Курский вокзал, он предложил подвезти ее.

Вчерашнего ненастья как не бывало, лужи успели просохнуть, разве что в воздухе еще стояла душная тяжесть испарившейся за ночь влаги, небо было такое чистое, что, казалось, если хорошенько взглядеться, можно увидеть в синеве бледные дневные звезды.

Эля сидела рядом и молчала. Иннокентьев не знал, о чем и как с ней теперь говорить, и сказал первое пришедшее на ум:

— И что же ты теперь?

— Я в театр устраиваюсь. Если получится, конечно.

— К Дыбасову? — удивился он. — Но ведь он и сам...

— Ага, — спокойно подтвердила она, — мы с ним оба устраиваемся.

Иннокентьев подумал, как все это — история со «Стоп-кадром», война Дыбасова с Ремезовым, его собственные тогдашние треволения — как все это было давно, прямо-таки до нашей эры, и каким незначимым, ничтожным все это представляется теперь, после смерти Глеба.

— И что же он теперь? Дыбасов?

— А он студию взял, самодеятельность. Есть такой спортзал при бывшей школе, школу куда-то перевели, а спортзал остался, вот и решили — пусть будет студия. То ли при ЖЭКе, то ли райком комсомола организовали. А меня сторожем пока оформляют, ну, в общем, не знаю, как должность называется, сторож или дворник, какая разница? Все нормально.

— Ну а спектакль этот его, из-за которого весь сыр-бор разгорелся? — Господи, думал Иннокентьев, как давно это было и сколько на эту обреченную затею потрачено сил и нервов! — Забросил?

— Нет, зачем же? Он его там, в спортзале, и репетирует, артисты сами предложили работать по ночам. Он уже и с каким-то начальством самым главным договорился. Я же говорю — нормально.

Такси свернуло на привокзальную площадь.

«Нормально... — думал про себя с удивлением Иннокентьев. — Как-нибудь две недели меня в Москве не было, а событий глобальных — навалом... Дыбасов-то, оказывается, всех перехитрил... И Митин внакладе не останется, поставят его пьесу, пусть хоть и в спортзале... Один я, не побоимся этого слова, в дураках...» Но вспомнив о Ружине, которого нет и никогда уже не будет, устыдился своей обиды. А вслух спросил и вовсе о другом:

— Ты его любишь?

— Романа Сергеевича?... — переспросила Эля и ответила не сразу: — Я ему нужна.

— Ты мне тоже была нужна, — глухо сказал Иннокентьев, — может быть, еще нужнее...

— Врешь, Боря. — без укора возразила она, открывая дверцу машины. — Врешь. Даже если не мне, так себе. Только я на тебя зла не держу, нормально.

И быстро повернувшись к нему, едва коснувшись губами его щеки и тут же, захлопнув с силой дверцу и не оглядываясь, ушла.

А он, когда такси вновь влилось в поток машин на Садовом кольце, невольно стал думать о том, что и как надо написать в отчете о поездке на симпозиум, что и как он расскажет Помазневу, какие материалы подготовлены и сняты в его отсутствие для очередного «Антракта», и еще о том, что хорошо бы со всеми этими делами и разговорами разделаться поскорее, приехать домой, запереться на ключ, ни о ком и ни о чем не думать.

И тут же ему пришло на ум — даже рука с сигаретой задрожала от неумолимости этой мысли, — что все это очень похоже на прощание. И не только с Глебом, не только со всей их компанией, которая, честно говоря, на одном Глебе и держалась, не только с Лерой и воспоминаниями о ней, не только с Элей, но и с чем-то неизмеримо более важным и существенным. Уж не с самим ли собой? — и хотел было усмехнуться самому себе, да не посмел.

И еще он подумал, что прощание это началось не сегодня, не вчера, а много раньше. Сколько лет тому? Четырнадцать уже?.. Только тогда они не догадывались, что — прощание.

13

В тот год на восточном берегу Крыма август выдался на диво — ни одного дождя, а трава тем не менее на склонах Святой и на Карадаге не выгорела, жара смягчалась ровно и без передышки дующим с моря, со стороны мыса Хамелеон, мягким ветром, вечера стояли свежие, а ночи были так обильны звездопадами, что от неба нельзя было отвести глаз.

Бухта лежала хрупко-голубая, слюдяной ее блеск отсвечивал фиолетовым, лиловым, от лилового же до серебристо-серого менялся, следуя за ходом солнца, цвет Хамелеона, ночью за ним, на дальнем мысу, похожем на погрузившего голову в воду крокодила, искрился огнями безымянный городок, на закате, когда солнце садилось за Карадаг, очертания горы выпукло проступали на фоне тускнеющей синевы неба и напоминали человеческий профиль — большой покатым лоб, прямой нос, припухлые губы и крупный, тяжелый подбородок, уходящий в воду.

В павильоне «Волна» жарили с раннего утра цыплят табака, острые запахи горелого подсолнечного масла и чеснока разносились по всему побережью, у пансионата готовили на жаровне шашлык прямо под открытым небом, в семь утра всех будил радиоголос с прогулочного катера: «Граждане отдыхающие, в восемь ноль-ноль состоится морская прогулка по маршруту...»

Митин и Ира — тогда еще не жена, а всего лишь дама сердца — жили в пансионате, а Иннокентьев, Лера и Ружин снимали две комнаты с открытой верандой в поселке. Ночью с веранды слышно было, как оглушительно квакают лягушки у фонтана в парке, среди них выделялась одна поразительно голосистая, похоже было, что она без устали выкрикивает одно и то же слово «вперед! вперед!», цикады трещали не умолкая, в крохотном зверинце деревянным голосом кричал павлин и скулили во сне облезлые, злые лисицы.

20 августа Игорю Митину исполнилось тридцать лет, и поскольку так вышло, что в это время в Коктебеле собралась почти вся их компания, решено было отпраздновать Игореву тезоименитство на широкую ногу.

Как раз в это время в Феодосии гастролировали два чрезвычайно подходящих к случаю коллектива: Всесоюзный Дом моделей в полном составе и женский хоровой ансамбль «Мрия». Манекенщицы и хористки проводили весь день в Лягушачьих и Сердоликовых бухтах, лишь к вечеру, прожаренные до полной невменяемости, возвращались в Феодосию на свои концерты и показы мод, а к утру они были вновь в полном составе на пляже и в бухтах.

Загодя заказали несметное количество цыплят табака, сдвинули столы на затянутой от посторонних глаз полотняными шторами веранде «Волны» — и с наступлением вечера потянулись гости.

Поскольку всем осточертело ходить с утра до ночи босиком и в одних плавках и купальниках, решено было прийти на день рождения всенепременно в вечерних туалетах: мужчины обязательно в носках и при галстуках, дамы — в длинных, хоть и ситцевых, платьях. Юбки с отвычки стесняли движения загорелых, избалованных курортной вольготностью ног, мужчины же поводили по-петушиному шеями, стисну-

тыми галстуком, словно пеньковой петлей. Ира и вовсе пришла в роскошном декольтированном платье, ее пышные, щедрые груди то и дело упрямо стремились на волю, и она машинально заталкивала их обратно жирными от цыплят руками.

С «балюстрады» заглядывали на веранду званые и незваные, свои и чужие, заходили без спроса, хватали со стола бутылки, уносили на пляж и там допивали.

Манекенщицы и хористки, забыв о профессиональной воздержанности, ели за троих, хористки вновь стали бесстрашными деревенскими дивчинами, а манекенщицы — бесшабашными девахами с московских окраин — Черкизова, Тушина, Новогиреева, — задиристыми и не дающими спуска, взятая напрокат их манерность слетела с них, как пудра с курносенького личика, потекли от смешливых слез ресницы, размазалась на губах помада, и в этой расхристанности они были натуральнее и целомудреннее, чем в вышколенности их ремесла.

Веселье перемахнуло за «балюстраду», танцевали босиком. Митин, виновник торжества, держался с необычайным достоинством и надменностью, Глеб Ружин мерился с желающими силой — локти уперты на мертво в стол, кулаки налиты свинцовым напряжением — раз за разом неулыбчиво и сосредоточенно одолевал чужую руку. Потом вспыхнула драка, Глеб бросился разнимать дерущихся, в мгновение ока раскидал их, и они уползли в кусты и на гальку пляжа врачевать мокрыми голяшами синяки. Потом он вернулся еще более сумрачный и серьезный, сел рядом с Иннокентьевым, сказал неожиданно трезво и печально:

— Пир во время чумы, тебе не кажется?..

— С чего ты взял? — удивился Иннокентьев.

— С таких пиров чума и начинается, — так же печально ответил Ружин, — с нестреноженности. Я боюсь, когда мне ничего не страшно.

— Почему? — перегнулась к нему через плечо Иннокентьева Лера. — Почему?..

— Жди беды, — ответил непонятно Глеб.

Подошла Ира, села на колени к Лере, сказала весело — впрочем, веселье это отдавало затаенной какой-то горечью:

— Последний нонешний денечек, да?..

— И ты туда же! — возмутилась Лера. — Вот Глебу тоже конец света мерещится!

— На свет мне начхать, — сказала еще горше Ира. — Я не про то.

— Про что же? — спросил ее Глеб. Глебу явно нравилась Ира, всем это было видно, один он полагал, что страсть свою держит в глубокой тайне.

— Про себя, про меня и про этого, как его... про именинника.

— О чем ты? — вскинулась с любопытством Лера.

— О том, что теперь уж не миновать, если я не полная дура, под венец...

— Так ты разве сама этого не хочешь? — удивилась Лера. — Посмотри на него — он же на тебя не надышится!

— Вот-вот! — несказанно обрадовалась ее словам Ира. — Именно! Перед смертью не надышишься! А-а!.. — махнула она залихватски и вместе безнадежно рукой и, шурша накрахмаленными юбками, ушла на нетвердых ногах с веранды.

Как из-под земли вырос Митин.

— Чего это она? — спросил с тревогой. — Куда ее понесло?!

— Догони, — очень серьезно и даже с угрозой сказал, не глядя на него, Глеб. — Догони, пока не поздно.

— Пока ты сам за ней не похилил? — зло уперся в него мутными глазами Игорь.

В нем, кроме всего прочего, в ту далекую пору было замечательно и то, что при всей своей вальяжной светскости говорил он исключительно на московском сленге молодежных кафе, безработных лабухов и полублатных толковищ. Потом, правда, это с него сошло.

Ружин встал во весь свой рост, вышел из-за стола, хотел было уйти, но остановился, кинул через плечо Митину:

— Кретин! — И, не оглядываясь, пошел прочь.

Решено было — только тихо! без шума! — перебраться на пляж. Там было так темно, что не различить, где кончается твердь и начинаются морские хляби, только галька металлически шуршала под ногами, сонная волна набегала на нее с ритмическими всхлипами. Но потом над Карадагом взошла оранжевая, вполнеба луна, пробежалась к берегу широкой искрящейся дорожкой.

Сидели на гальке и молчали, притомившись необузданностью веселья, застеснявшись покоя моря, величавой поступи по нему луны и возжаждав чистоты и тишины.

Но тут кто-то, оступившись, рухнул — как был в отутюженных брюках и при галстукe — в воду, и непрочно сдерживаемое буйство вновь хлынуло из них, не сговариваясь они кинулись — в башмаках, в пиджаках, в длинных платьях — в море, кто не хотел или боялся, того заталкивали силком.

Наутро у Иннокентьева было такое чувство, будто им всем приснился один и тот же вещий сон и проснулись они с каким-то необъяснимым чувством потери — потери чего?! — какой-то невосполнимой утраты — утраты чего?! — какой-то неясной тревоги и угрозы — угрозы чему?! — и что всем им уже не докричаться никогда до самих себя вчерашних.

Он вспомнил оброненные ночью слова Глеба, который сидел на гальке рядом с ним и рассеянно бросал камешки в море.

— Ты был прав, — сказал ему Иннокентьев.

— Насчет чего? — не понял его Ружин.

— Что-то кончилось...

— А-а... — безразлично припомнил и Глеб и бросил в воду плоский камень, тот отскочил от поверхности и еще три раза подпрыгнул, прежде чем уйти на дно.

— Что-то кончилось, — настойчиво повторил Иннокентьев, — вот только — что?..

— Я-то давно этого ждал, — так же безразлично ответил Ружин.

— Чего именно? — недоумевал Иннокентьев.

— А того что — хватит! — вдруг выкрикнул Глеб и бросил в воду тяжеленный голыш. — Побыли в мальчишках, в сосунках, в маменькиных баловнях в коротких штанишках, хватит! Пора и честь знать! Пора и не на помочах научиться ходить!.. Да я эту вашу дольче виту, грошовую эту вашу сладкую жизнь, своими бы, кажется, руками!.. — И в сердцах бросил в воду чуть ли не пудовый валун. — Вам бы только чтоб все, как в кино, а до жизни вам и дела нет, до взаправдашной... А она знаете чем пахнет? Вы словно сбежали все на какой-то необитаемый остров...

— Почему же — «вы»? — не согласился Иннокентьев. — В таком случае говори уж «мы».

— Нет уж! — прямо-таки зашелся в рыке Глеб. — Увольте! Я — не с вами. Не по пути! Я — пас! Уж без меня как-нибудь, сделайте одолжение! — И вновь оседлал недоговоренную мысль: — Островок, ни на какие карты не нанесенный...

Не договорив, пошел было прочь, но вернулся, плюхнулся всей своей тяжестью опять на гальку рядом с Иннокентьевым, его распирали праведный гнев.

— А воды-то, половодье-то день за днем подмывает ваш остров пингвинов, Гондвану вашу дешевую, несет ее по течению вместе с ошметками, мусором и гнилью, и не миновать вам очнуться, рано или поздно, в открытом океане... Будьте вы неладны!.. — Опять вскочил на ноги и, оскользаясь на гальке и мотаясь из стороны в сторону, пошел вон с пляжа.

Рядом с Иннокентьевым прилег у самой кромки воды Митин, спросил сонно:

— Чего это он? И вообще — какая муха вас всех с утра пораньше укусила?

И все же как подумаешь сейчас, август тот, конца шестидесятых, выдался на славу.

14

С июня и по середину октября прошли только две передачи «Антракта»: лето, все театры на гастролях или в отпуске, одним словом — мертвый сезон. Да и писем от телезрителей заметно поубавилось, а ведь совсем недавно на каждый выпуск приходили десятки, а иногда и сотни откликов. Такова судьба всех телевизионных рубрик, понимал Иннокентьев, они рано или поздно себя исчерпывают, отработанные штампы вытесняют из них живое и свежее, цикл незаметно и тихо угасает, на смену ему приходит другой.

Да и ему самому все труднее стало находить что-то новое, не похожее на прежнее, каждая последующая передача так или иначе повторяла предыдущую, все сложнее было наполнять новым вином эти старые, порядком прохудившиеся мехи. Иннокентьеву даже приходило в голову, не уйти ли вообще с телевидения, ему и раньше время от времени делались разные заманчивые предложения, но он отдавал себе отчет, что нигде ему не найти той самостоятельности и независимости, к которой он привык у себя в «Антракте».

Он и не торопился с принятием решения, опыт научил его, что надо лишь терпеливо и не суетясь дожидаться, чтобы наилучшее, единственное решение созрело как бы само по себе и в один прекрасный день явилось непреложной необходимостью, отсутствием какого-либо иного выбора.

А в начале ноября состоялась премьера «Стоп-кадра». Студия Дыбасова оказалась на поверку вовсе не просто самостоятельностью при ЖЭКе, как объяснила Иннокентьеву в день похорон Ружина Эля. К нему потянулись не только энтузиасты из различных драмкружков и народных театров, но и множество молодых, изголодавшихся по настоящей работе актеров-профессионалов. Даже Ремезов был вынужден разрешить артистам своего театра, занятым в «Стоп-кадре», сыграть практически готовый уже спектакль в новой студии.

На премьеру съехалась, что называется, вся Москва. Под аркой, ведшей в глубь двора, где помещалась студия, толпились жаждущие «лишнего билета», а в тесном переулочке среди выстроившихся вдоль тротуара машин было и несколько с дипломатическими номерами.

Само здание старой школы у Патриарших прудов, не отвечающее современным требованиям, передали под какое-то учреждение, а гимнастический зал с раздевалкой, душем и прочими помещениями при нем отошел в ведение ЖЭКа, который долго не мог взять в толк, что с ним делать, и зал стоял несколько месяцев совершенно бесхозный, на замке. Тут-то на него и набрел Дыбасов, смекнув, что лучшего помещения для студии ему не сыскать, сочинил подробную и убедительную бумагу в высшие инстанции с тщательно разработанным проектом всего того, чем, на его взгляд, должен будет заниматься будущий театр. К тому же на руках у него был сильный козырь — готовый спектакль, с которого и можно начинать дело.

Раздевалка так и осталась раздевалкой — гардеробом для зрителей, — душевую, разделив пополам фанерной перегородкой, превратили в гримерную, в бывшей комнатке преподавателя физкультуры репетировали, она же служила кабинетом администрации. Центр зала стал игровой площадкой, ареной, как называл ее сам Дыбасов, вокруг нее вдоль стен были сбиты амфитеатром в несколько рядов скамьи из некрашеных досок, и это действительно напоминало цирковую арену или же что-то вроде средневекового площадного балагана. На узком балкончике вдоль одной из стен, существовавшем еще тогда, когда зал служил

по прямому своему назначению, установили несколько прожекторов, и вот полгода не прошло — премьеры.

Билеты на первые спектакли в театральных кассах не продавались, все зрители были приглашены по списку, составленному самим Дыбасовым.

Элю Иннокентьев увидел сразу, как только переступил порог студии — она, все в том же своем выцветшем джинсовом костюмчике, с той же небрежной челкой надо лбом, проверяла пригласительные билеты. Еще прежде чем она бегло прочла его имя на белом квадратике картона, Иннокентьев успел заметить, что ногти у нее уже не острижены по самые подушечки, как раньше, а длинные и покрыты бледно-розовым лаком.

Она подняла на него глаза, обрадованно и вместе испуганно вскрикнула тихонечко:

— Боря?!

— Ну здравствуй,— сказал он тоже негромко и сам обрадовавшись и испугавшись этой встречи,— как ты жива?..— И за нее ответил, усмехнувшись:— Нормально?..— Задерживаться в дверях было нельзя, сзади напирала, он только и успел еще сказать ей впопыхах:— Позволила бы когда-нибудь, как да что...— Но ответа уже не расслышал.

Потом он увидел ее еще — она стояла на балкончике и, явно нервничая и труся, не ошибиться бы, не опоздать, не перепутать, направляла вниз на актеров лучи софитов. А после спектакля она ему уже не попала на глаза, и он так и ушел, не поговорив с нею и не попрощавшись.

Войдя внутрь и оглядевшись, Иннокентьев сразу понял, что — успеха не миновать. Потому что не только он сам, но и все прочие приглашенные — друзья и доброхоты либо, наоборот, скептики и злопыхатели — пришли сюда именно в ожидании и в предвкушении успеха или равного ему по громкости провала, это дела не меняет. Иннокентьев предугадывал это многоопытным своим чутьем завсегдатая премьер, он знал этот запах, и если учуял его еще до начала представления — не так уж важно, хорош ли, талантлив ли будет на самом деле спектакль: успех обеспечен, считай, он уже у Дыбасова и Митина в кармане. Иннокентьев слишком хорошо знал эту премьерную московскую публику и то, как это бывает. Да и сам он, по чести признаться, один из них, он тоже другим воздухом, кроме воздуха успеха, давно уже научился дышать — своего ли, чужого, это не так важно.

Однако более всего его поразило, когда он переступил порог зала, то, что Настя Венгерова, в подчеркнуто простом и будничном платье, помогает зрителям отыскивать свои места, продает им программки и получает, аккуратно отсчитывая сдачу, двугривенные и пятаки.

Тут уже не успехом пахнет, подумал Иннокентьев, а триумфом! Тут не аплодисменты намечаются, а фейерверк, салют наций, «гром победы, раздавайся»!..

Настя увидела его, подошла, прикоснулась на миг холодной и гладкой щекой к его щеке, сказала шепотом, и Иннокентьев поверил, что она и на самом деле волнуется, как начинашка какая-нибудь:

— Все равно мы на тебя очень надеемся, Боренька...

Он принял к сведению это ее «все равно»: теперь-то они и без него обойдутся, он им уже не нужен, игра сделана, осталось получить выигрыш.

Подошел Митин, взял его под руку и увел в пустую комнатку администратора. Он был бледен как мел, говорил сбивчиво, перескакивая с одного на другое.

— Иди сюда, тут хоть нет этих сволочей...

— Их и на самом деле нет,— успокоил его Иннокентьев.— По моему, все как раз настроены вполне благожелательно. Ты же видишь — пришли все как один, а уж одно это кое-что да значит...

Но Митина уже волновало другое:

— Я знаю, тебе пьеса не нравится...

— Кто тебе это сказал? — пожал плечами Иннокентьев. — Будь это так, меня бы здесь не было...

Митин и это пропустил мимо ушей, схватил его за лацкан пиджака и, искательно заглядывая в глаза, понизил голос до шепота:

— Слушай, а может, вообще ничего этого и не надо?.. Лежала бы себе в столе и лежала, а?..

Иннокентьев не успел ответить — в комнату кто-то вошел, оторвал от него почти насильно Митина, зарокотал бархатным басом. Иннокентьев воспользовался этим, вернулся в зал, нашел свое место в третьем ряду, сел и вспомнил с вдруг подступившей к сердцу острой печалью, что это первая за долгие годы премьеры, на которой нет рядом с ним Глеба. И еще со стыдом подумал, как тускнеет и теряет живые контуры его память о Глебе, теперь все чаще Глеб видится ему как в перевернутый бинокль — выпукло и резко, но недостижимо далеко и с каждым днем отодвигается все дальше. Он уже научился жить без него, как научился жить без той же Леры... или без Эли, к слову сказать. Повторение — мать учения, подумал он про себя, чему только не научишься...

Раздался третий — похожий на дверной, квартирный — звонок, в зале стал постепенно гаснуть свет. Уже в полной темноте кто-то пробрался меж тесно уставленных скамей и сел на соседнее с Иннокентьевым место, запах духов настойчиво что-то напомнил ему, но поворачиваться и глядеть на соседку в упор было неудобно. Впрочем, она сама его узнала, несмотря на темноту:

— Здравствуйте, Борис Андреевич.

Он сразу вспомнил и голос, и духи, и Сочи: Рита Земцова.

— Вы?.. Вот так неожиданность...

— Ничуть не бывало. Я знала, что мы окажемся рядом. Собственно, я сама попросила об этом, когда мне позвонили насчет премьеры.

Он, как и в тот раз, на корте, не нашелся, промедлил с ответом, но она и не стала его дожидаться.

— Я просто подумала — сколько же это может продолжаться? Мы с вами расстались тогда, в Сочи, такими друзьями, верно? А прошло почти полгода — и ни я вам не звоню, ни вы мне... Я ведь знала, что вы непременно будете здесь, ну вот я и подумала... Вы ведь не слишком огорчены этим соседством?..

Он не успел ответить — спектакль начался.

По тому, как уже через несколько минут послушно притих зал, какая отзывчивая, чуткая воцарилась в нем тишина, как подалась вперед, чтобы не проронить ни слова, Рита, Иннокентьев понял, что не ошибся, не преувеличил: победа будет полная. И он поймал себя на том, что искренно, без каких-либо оговорок или сомнений радуется этой победе, этому празднику и даже как бы по некоему бесспорному праву разделяет его с Митиным, Дыбасовым, Венгеровой, Элей и всеми, кто поставил на эту карту. Он был сейчас не просто на их стороне, не просто с ними, а как бы одним из них, и радость его была чиста и бескорыстна. И он опять с шемящим чувством пустоты и печали вспомнил о Глебе — вот уж кто бы порадовался от души, вот уж кто больше, чем все другие, имел право на эту радость...

Он был, так же как и все, захвачен спектаклем, не пропускал ни слова, отдался весь происходящему на сцене, но в то же время — и не вопреки, а именно потому, что все, что там, на подмостках, происходило и о чем там говорили, было близко и понятно, как бы адресовалось лично ему, — в голову пришла упрямая, неотвязная мысль: почему он не вошел тогда, в Париже, в ту последнюю лавочку под аркадами?.. Хотя бы для того, чтобы наверняка удостовериться, что Леры там нет. Чтобы уже — никаких сомнений... Какой такой опасной для себя правды он тогда испугался, обошел ее стороной?..

А что, подумал он, если бы за толстым стеклом зеркальной витрины с муляжами в нижнем дамском белье он, увидя типичное для па-

рижанки-продавщицы — нет, пожалуй, все-таки для владелицы собственного дела, собственной модной бутик — лицо, ухоженное, с туго обтянутыми глянцевиной, без единой морщинки кожей скулами, тшательно, волосок к волоску, уложенная прическа, стандартное парижское лицо, — он узнал бы в ней, в этой похожей на всех других парижанке, — Леру?..

Если бы...

Он представил себе это так живо, словно все произошло с ним на самом деле или даже происходит прямо сейчас.

У Леры было такое спокойно-приветливое, профессионально радужное лицо, что ему пришло на ум, не была ли она предупреждена загодя о его приходе, не ждала ли его.

Узнав ее, он остановился в нерешительности, не зная, улыбнуться ли, протянуть ли дружески руку или кинуться к ней, разрыдаться от радости и печали.

Самое удивительное, подумал Иннокентьев, что он успел бы в то же мгновение удивиться не только тому, что не может решить, как повести себя, как проявить свои чувства, но и тому, что не понимает, что испытывает к ней на самом деле.

Лера, видно угадав, что он то ли не узнает ее, то ли не уверен, она это или не она, одним быстрым движением руки сняла очки с дымчатыми стеклами, как снимают маску, чтобы за этой маской, за этим новым и незнакомым ему лицом он увидел и узнал прежнее ее лицо.

И голос ее, когда она удивленно и как бы испуганно окликнула его, показался ему таким же чужим, как и лицо, далеким и неискренним. Но и в себе самом в это короткое, тут же улечутившееся мгновение он услышал такую же вымученную, постыдную искусственность.

— Боря!..

Она перегнулась через прилавок, он подошел поближе, успел увидеть под стеклом все те же чулки, трусики и лифчики в кружавчиках, тоже перегнулся через них, они потянулись друг к другу, чтобы обняться, но прилавок был слишком широк, Иннокентьев лишь коснулся ее щеки кончиком носа.

И вообще он с каким-то странным, пугающим его облегчением поймал себя на том, что преступно, позорно спокоен и что все, чего он ждал и боялся, думая об этой встрече с Лерой, не случилось, не произошло — ни с ним, ни с нею.

— Это я... — сказал он, все еще держа ее руку в своей над прилавком и не зная, отпустить ему ее или не отпустить.

Она сама высвободила руку и, не забыв убрать с прилавка свои очки, приподняла доску, разделяющую их, и вышла к нему.

— Борька...

А он опять не знал, обнять ли ее и поцеловать теперь, когда уже ничего не мешало это сделать.

Поцеловал неловко, будто стесняясь то ли ее, то ли самого себя. Она гоже поцеловала его и, легко рассмеявшись, достала из кармана голубого полотняного халатика носовой платок, вытерла следы помады с его щеки.

— Еще скажут, что ты тут с француженками любовь крутил...

— Вот так... — только и сказал он на это, — вот так вот...

— Я знала, что ты в Париже, читала в газетах, да и наши сказали заранее. Беспроволочный телеграф, совсем как в Москве. — И подняв на него глаза, почти прежние свои глаза, светло-карие, с розоватыми белками, долго глядела на него, горестно покачала головой. — А виски уже седые... совсем седые виски! — И, как бы смягчая свои слова, добавила поспешно: — Я тоже совершенно седая, только крашусь, женщине в Париже нельзя распускаться, тут это сразу бросается в глаза. —

И опять поглядела на него, спросила с тревогой:— Как я выгляжу, Боря?..

— Замечательно,— сказал он,— просто замечательно, ты ничуть не изменилась, абсолютно.

Она и вправду несколько не постарела, была такая же, как прежде, и тем не менее совершенно другая.

Он не мог понять, что же в ней так разительно изменилось, и невольно, чуть отстранившись от нее, пристально оглядел.

— Понимаешь,— поспешила она, будто страхась того, что он может сейчас сказать ей,— тут ни в коем случае нельзя стареть, в Париже, особенно при моей работе... О, с этим здесь нельзя шутить! Я ведь весь день на людях, не так выглядишь, не так улыбнулась, не такое у тебя сегодня выражение лица — и...— Она не договорила потому, наверное, что поняла, что он в ней увидел.

Изменилась не она,— думал бы Иннокентьев, не отводя глаз от ее лица,— это я изменился... Это просто изменилось мое отношение к ней, просто она для меня сейчас уже совсем другая... совершенно другая, незнакомая и чужая женщина... женщина, которую я никогда не знал и никогда не любил. Совершенно чужая, незнакомая и безразличная мне женщина, и ничего страшнее этого не могло случиться... теперь мне уже никогда не вспомнить, любил ли я ее или нет. Я знаю, что любил ее, но вспомнить этого уже не могу...— думал он, глядя на Леру, и она читала это на его растерянном, далеком лице. То есть не то, что он думал, а лишь то, что было ответом на ее вопрос: не постарела ли? — да, прочла она на его лице, постарела, подурнела, и этого с нее было достаточно.

Они помолчали, не зная, что еще сказать друг другу и что им делать дальше.

Иннокентьев смотрел на нее, на ту, что стояла перед ним, и искал в ней ту, что жила вот до этой самой минуты в его памяти и которую он так мучительно надеялся вновь найти в Париже, и вот — нет ее, оказывается, в Париже, как нет давно и в Москве. Ту, прежнюю, не то что в Париже, ему ее и в самом себе уже не отыскать никогда. А нашел он совсем другую, вот эту, что стоит перед ним и не знает, что ему сказать, а он не знает, что сказать ей, совершенно чужую и никогда им не любимую, даже смешно подумать, чтоб он когда-нибудь мог любить вот эту, и сердце его бьется ровно, как у космонавта перед стартом.

Она вздохнула, мотнула упрямо головой, словно отменяя прочь все вычитанное на лице Иннокентьева и в его молчании, спросила:

— Ну как ты живешь? — И будто нарочно подчеркивая, что ответ, по правде говоря, не очень-то ее интересует, тут же спросила с гораздо большим любопытством:— Что Москва?..

И он стал рассказывать ей всяческие московские новости, разные разности тоном человека, где-то в Ереване или Новосибирске встретившегося с другим москвичом, не слишком ему знакомым, который на недельку-другую раньше его уехал из Москвы и без особой нужды спрашивает о последних столичных новостях, чтобы быть в курсе происходящего, когда еще через недельку вернется в столицу.

Они стояли посреди тесного магазинчика, сесть было не на что, и за все это время никто не вошел в лавку, никто даже не остановился на улице, чтобы поглазеть на выставленные в витрине товары.

Он прервал свой рассказ, спросил с искренним недоумением:

— Слушай, мы вот уже битый час разговариваем, а — ни одного покупателя! Так ты, пожалуй, вылетишь в трубу!

— Кручусь,— ответила она неопределенно. И объяснила:— Я работаю от универмага «Прэнтан»,— она так и сказала по-московски: «универмаг»,— ну, арендую, что ли, у них этот магазинчик, они не прогорят, можешь за них не беспокоиться, а я... я тоже, в общем, вполне свожу концы с концами. Не жалуюсь.

Но даже это ее «не жалею» не огорчило его, хотя, когда он думал все эти годы о встрече с нею и представлял себе эту их встречу, самое главное и важное для него были именно ее горькие сожаления о случившемся, пусть даже и не высказанные вслух, но без этих ее сожалений и бессильных упреков самой себе встреча эта была бы, в его представлении, совершенно невозможной и бессмысленной.

«Что же это со мною?! — удивлялся он, но и удивление это было какое-то отстраненное, вчуже, будто опять речь шла не о нем, а о ком-то другом, постороннем. — Что же это?!»

— Вот что, — прервала его рассказ Лера, — сегодня суббота, в три я уже закрываю. Ты обедал?

— Я совершенно не голоден, — соврал он.

— А я как раз поела бы. Или у тебя дела?

— Да нет...

— Я скоро, ты подожди...

Она вышла наружу, взяв из-за прилавка железный крюк на длинной палке, опустила с его помощью решетчатые жалюзи, закрывающие витрину, вернулась в лавку.

— Погоди, я быстренько переоденусь.

Заперла на ключ кассовый аппарат, положив не пересчитывая дневную выручку в сумочку, ушла в заднюю комнату, которую Иннокентьев по привычке тут же окрестил подсобкой.

— Я придумала, куда мы пойдем есть! — крикнула она оттуда неожиданно молодым, бодрым голосом, тем московским своим голосом прежних лет, и тут на самый малый и короткий миг у него больно защемило сердце.

Она переодевалась за дверью в задней комнатке, не переставая оживленно и перескакивая с одного на другое говорить:

— Собственно, мне и нечего тебе рассказывать. Живу. Когда лучше, когда хуже, а — надо жить. Париж не тот город, где можно расслабиться, опустить руки и ждать манны небесной. Ты себе и представить не можешь! Честно говоря, это самое трудное здесь. А так — надо жить, вот только иногда...

В этом ее «иногда» Иннокентьеву послышалось все, чего он ждал от этой их встречи, на что уповал, представляя ее, — и сожаление, и упрек самой себе, и признание своего поражения — но теперь все это уже не имело никакого значения.

Он сделал шаг к входной двери, стараясь не шуметь, отворил ее и вышел на улицу.

Тогда — даже если бы все это и случилось на самом деле, а не вообразилось ему только сейчас — он не мог бы себе объяснить, почему поступил так.

Теперь, пожалуй, мог бы. Но и это уже не имеет никакого значения. Не судьба, очень просто...

Хлопали долго, оглушительно, требовательно, но и тут Дыбасов исхитрился пренебречь традициями — ни он, ни автор пьесы, никто из актеров не вышел на поклоны. Зрители примирились и с этим, не торопились к выходу, снова высыпали, как в самом начале, на пустую арену, не расходились.

Лишь минут через десять появились Дыбасов и Митин с усталыми, осунувшимися от волнения лицами, к ним кинулись, обступили плотным кольцом, жали руки, по-театральному горячо и напоказ целовали.

Иннокентьев даже и не пытался пробиться к ним, ждал, пока волна поздравлений схлынет.

Опять, как вначале, Настя Венгерова сама нашла его, неслышно подошла сзади.

— Ну?..

Иннокентьев ничего не ответил, просто взял ее руку и, склонив-

шишь, поцеловал. И тут же как бы увидел себя со стороны и смутился — что за манерность... Но жест его был искренен, а слов, чтобы выразить то, что пробудил в нем спектакль, у него и правду еще не было.

Митин вырвался из кольца поздравляющих, подошел к Иннокентьеву, предложил не слишком настойчиво:

— Ты не поедешь с нами? Поедем, там будут все, заодно и расскажем, какое у тебя ощущение от всего этого.

— Еще успеем, не горит. Да ты и сам видишь, как принимали, какие уж тут разговоры.

Они обнялись. Игорь тут же поспешил на чей-то зов, убежал.

Иннокентьев сам подошел к Дыбасову, молча пожал его потную, холодную ладонь.

Дыбасов с ожиданием, но вполне спокойно и даже, как показалось Иннокентьеву, без особого любопытства поглядел ему в глаза.

— Ты победил, галилеянин,— сказал Иннокентьев пришедшую ему на ум несколько минут назад фразу и опять внутренне поморщился, как и тогда, когда целовал Насте руку: дешевое пижонство!

— Я рад,— только и сказал Дыбасов и, уже было отойдя от него, задержался на миг, добавил, не скрывая насмешки:— Я рад, Борис Андреевич, что вы с самого начала были нашим верным сторонником и ходатаем.

Иннокентьев понял, что эту фразу, как и он свою, Дыбасов припас загодя.

Последние зрители ушли в гардероб, на арену высыпали с воплями радости разгримировавшиеся актеры.

На улице уже почти не осталось машин. Иннокентьев остановился на тротуаре, чтобы закурить, и тут вплотную к нему подъехали чьи-то «Жигули», правая дверца открылась, и голос Риты Земцовой сказал из машины:

— Не подвезти ли вас, Борис Андреевич?

Иннокентьев нагнулся к дверце, опять услышал летучий запах ее духов.

— Спасибо, я на машине.

— Жаль,— спокойно согласилась Рита, но, помолчав секунду, решительно предложила:— В таком случае нырните сюда, хоть посидим чуточку на прощание.

Иннокентьев послушно сел в машину рядом с нею. Рита дала задний ход и отъехала метров на двадцать от арки в темноту.

— Я курю, ничего? — спросил он.

— Конечно. И я закурю.

Она чиркнула зажигалкой, сине-желтое пламя выхватило из темноты мраморную гладкость лба и медную, почти красную прядь волос над ним. Иннокентьев явственно вспомнил зимнюю, занесенную свежеснегом дорогу в Никольское, метель, пронизывающую до костей стужу и лицо Эли в красном кружке прикуривателя. И еще на короткий, тут же унесшийся прочь миг что-то остренько и больно кольнуло сердце, будто тончайшая струнка какая-то, нежнейшая какая-то ниточка с неслышным звоном лопнула и оборвалась...

— Только давайте не говорить о спектакле, ладно? — донесся до него как бы с другого края света голос Риты.

— Тогда о чем же мы будем?..— Он и вправду не знал, о чем с ней говорить.

— Это уж ваша забота. Я дама, пусть даже и сама навязалась вам, ваше дело меня развлекать.

А он, как ни старался, не мог придумать, чем бы ему ее позабавить. Из машины было видно, как вышли из-под арки артисты с Митиным и Дыбасовым, весело и счастливо о чем-то наперебой болтали, тесно сгрудившись в ожидании отстающих. Иннокентьев искал среди них Элю, но ее не было либо отсюда ее было не угадать в темноте,

потом все они расселись в несколько машин, стоявших у обочины в переулке, затарахтели на больших оборотах остывшие двигатели, машины свернули одна за другой за угол.

Переулок стал совсем пустой, едва освещенный единственным фонарем, горевшим под аркой.

— Ну?..— насмешливо напомнила о себе Земцова.— Не хотите разговаривать, так хоть пригласите куда-нибудь.

Иннокентьев посмотрел на часы на приборном щитке — поздно, ни в один ресторан уже нет смысла ехать.

— Куда там...— виновато сказал он.— в Москве в этот час даму пригласить положительно некуда. Ума не приложу, что может приличный и хорошо воспитанный молодой человек предложить в этой ситуации очаровательной и наверняка привередливой даме...

— В этой ситуации,— неожиданно серьезно сказала она,— приличному молодому человеку ничего не остается как пригласить очаровательную даму к себе, Борис Андреевич, мне ли вас этому учить? — И поскольку он, смешавшись от ее прямоты, не сразу нашелся, что ответить, она это сделала за него:— Но вы, по-видимому, никак не решитесь, и потому очаровательная дама сама приглашает вас к себе.

— Зачем? — спросил он в упор, повернувшись к ней лицом в тесном салоне «Жигулей», отчего их лица оказались совсем близко, почти вплотную.

— Ну, Борис Андреевич, вы даете!..— рассмеялась она низким, горловым смехом, и это вырвавшееся у нее ненароком расхожее выражение опять на миг напомнило ему Элю и ее такой же низкий, горловой смех.— Приличные молодые люди не спрашивают об этом дам!

— Нет,— он и сам удивился тому, как прям и как спокойно-решителен,— я спросил — зачем это вам?

Она ответила так же прямо и трезво:

— А вам не приходило в голову, что это нужно не только мне, но и вам?.. Хотя что тут скрывать — я ведь затем и пришла на спектакль, затем и ждала, пока вы выйдете... Дело в том, милейший Борис Андреевич, что совершенно не исключено, что я еще тогда, в Сочи, а может быть, даже и раньше в вас влюбилась. Ну, не влюбилась, пожалуй, кто же в наши дни способен на такой подвиг души, но думать о вас все эти месяцы я думала, вот вам крест. А не звонила потому, что полагала, что в подобных случаях мужчине больше пристало это сделать первым. Если он хочет, разумеется. Но я почему-то думала, что вам этого хочется. Если уж совсем честно, то я и сейчас так думаю.

Он взял ее за руку в тонкой кожаной шоферской перчатке в дырочках, наклонился, чтобы поцеловать, но она мягко убрала ее.

— И давайте-ка не будем детьми, Боря, поздновато уже нам. В том смысле, что нечего темнить и прятаться от самих себя, во всяком случае я не собираюсь играть с вами ни в жмурки, ни в прятки. И машина не самое приспособленное место для первого свидания, вы не находите?..

Он очень серьезно согласился:

— Хоть на край света!

— А ваше авто мы оставим здесь как вещественное доказательство того, что я насильно вас похитила?..

Он вышел из машины, нашел свою в самом конце переуллка, отпер, прогрел двигатель, поехал за Ритой следом до тихого, безлюдного арбатского переуллка, где она и жила в большом новом доме.

Свадьба Иннокентьева и Земцовой, приуроченная к 13 января, была не то чтобы скромной а. как окрестила ее сама Рита, приватной. На даче в Опалихе собрались самые близкие, человек пятнадцать, не больше, ни на ком не было ничего нарядного — свитера, лыжные костюмы: намечалась вылазка с пикником и шашлыком прямо в лесу, на

снегу, да и вообще все торжество мыслилось не столько как свадьба, сколько как вполне традиционная встреча старого Нового года; просто-напросто собрались ближайшие друзья и кое-кто из родственников провести денек на чистом воздухе, благо январь в том году стоял тихий, мягко-снежный, а заодно и поздравить молодых с законным браком, выпить шампанского за их счастье, поострить и повеселиться беззлобно на их счет — вот и вся свадьба.

А уже в конце апреля, распрощавшись — «хоть и, надеюсь, не навсегда, еще вернешься, куда ты денешься», как сказал ему на дорожку Помазнев, — с телевидением, Иннокентьев уехал с женой в Женеву, в советское представительство при одном из культурных центров ЮНЕСКО. Женитьба и новое его назначение не были никак меж собой связаны — эту работу ему предложили задолго до его случайной встречи с Ритой на премьере у Дыбасова, и он тогда уже подумывал, не согласиться ли, — но именно совпадение этих двух событий сулило, как уверял себя Иннокентьев, начало совершенно новой жизни, полную в ней перемену.

Рита любила его, в этом он мог быть уверен, да и он ее, конечно же, тоже, хотя само слово «любовь» и не было, может быть, в его представлении, самое подходящее: это было что-то совсем другое, совсем не похожее на то, что было у него с Лерой, и уж и вовсе не то, что он испытывал к Эле, — что-то гораздо более покойное и устойчивое.

Может быть, дело просто-напросто в возрасте, думал он о новой своей жизни и о новом для него чувстве, какое связывало его с Ритой. Пятый десяток, да и ей тридцать четыре, глупо было бы ждать и надеяться на что-то иное. Наверное, в этом возрасте такая она и есть, любовь. И то, что у него сейчас есть, это, наверное, и есть счастье, или как там ни назови, хотя каких-нибудь десять, даже шесть лет тому назад он бы наверняка хотел себе совсем другого счастья и другой любви. Собственно, они у него и были — спасибо, сыт по горло. Все хорошо, убеждал он себя и ничуть не грешил против правды, все нормально.

Именно это Элино словцо «нормально» точнее всего выражало для него то, как он теперь жил и что думал об этой своей новой жизни.

Работы у Иннокентьева в Женеве было по горло, приходилось много ездить по миру, он даже не каждый год мог позволить себе воспользоваться отпуском, в Москве бывал только короткими наездами и мало кого из друзей-приятелей успевал повидать.

Надолго вернулись они в Москву лишь через два с половиной года. Срок работы Иннокентьева за границей подходил к концу, и приехал он, собственно, за новым назначением, никак еще не решив, что именно выбрать из того, что, по его сведениям, будет ему предложено. Честно говоря, он несколько подустал от долгой жизни на чужбине, требующей постоянного напряжения, и склонялся к тому, чтобы найти себе занятие и должность по душе дома.

Иннокентьевы и оглянуться не успели, как пролетели эти несколько коротких московских недель, как опять укладывать чемоданы, опять загружать их бесчисленными посылками «с okazji», заполнять записную книжку приветами, поручениями, просьбами.

Все это время в Москве только и было толков что о новом спектакле Дыбасова, но Иннокентьевы собрались на него уже под самый конец, за несколько дней до отъезда.

Театр Дыбасова уже чуть ли не полтора года как переехал из спортзала в перестроенный специально с этой целью старый, давно уже бездействовавший кинотеатр неподалеку от Трубной.

В холодновато-белом зале с темно-синими креслами с высокими спинками, похожими на сиденья в самолете, было просторно и неудобно. Иннокентьев вообще не любил современные театральные помещения, предпочитая им старые, где, кажется, сам тяжелый бархатный занавес

вес, люстра с потускневшими висюльками, вытертые локтями парапеты лож — тоже часть праздничного представления.

Может быть, и поэтому ему, как, впрочем, и Рите, спектакль понравился не очень, было что-то натужное, навязчивое в том, как актеры играли подчеркнуто современными людей далекого девятнадцатого века, а режиссер, как бы не доверяясь сообразительности зрителей или же, напротив, вовсе не беря их в расчет, не снисходя к ним, более всего был озабочен, чтобы они ни на миг не забывали, что именно он и никто иной — истинный и полновластный создатель этого зрелища, а актеры для него всего лишь орудия, инструменты, необходимые для реализации его замысла, как глина, стек, молоток и долото — для скульптора.

Может быть, Иннокентьев тут что-то и преувеличивал, что-то ему было просто не по нутру в этом спектакле, но он поразился тому, как все это не похоже и далеко от аскетически простого и ясного до самой мелочи, исполненного неподдельной боли и чувства «Стоп-кадра», да и как это вообще не похоже на самого Дыбасова, каким он его знал прежде.

В антракте они с Ритой не поднялись со своих мест в партере — на верняка в фойе их поджидает Дыбасов, и им не миновать изворачиваться, похваливая увиденное, либо говорить ему малоприятные слова, а этого как раз делать и не надо было: вся Москва была от спектакля в полнейшем и единодушном восторге.

Они и не заметили, как подошла и присела на свободное место сзади них Настя Венгерова. Впрочем, им уже говорили, что Настя вот уже год как перешла в труппу Дыбасова, а у Ремезова лишь доигрывает старые спектакли.

На этот раз Настя была не в скромном, как на премьере «Стоп-кадра», платье, а в белом комбинезоне с сужающимися книзу и перехваченными на шиколотках брюками и с чем-то вроде армейских шевронов на рукаве, что делало ее похожей на фигурантку какого-то бродвейского шоу из жизни астронавтов.

— Ну как все это на ваш европейский взгляд? — спросила она после того, как они расцеловались и поохали насчет того, как долго не виделись и сколько воды утекло с той поры, а вот ведь ничуть не изменились, особенно, ясное дело, Рита и Настя, но в голосе ее был не вопрос, даже не любопытство и желание услышать их искренний ответ, а всего лишь как бы само собой разумеющееся ожидание очередных восторгов.

Дали второй звонок, она встала и уходя напомнила:

— Я не прощаюсь. После конца мы с Романом Сергеевичем будем ждать вас в вестибюле, пойдем куда-нибудь поужинать, спектакль кончается рано.

Второй акт нисколько не переменял ощущения Риты и Иннокентьева, и им вовсе не улыбался предстоящий ужин с режиссером — придется прикидываться, говорить не то, что думаешь, хотя повидать Дыбасова и понять, что же за перемены, судя по спектаклю, в нем произошли, Иннокентьеву было любопытно.

Настя и Дыбасов ждали их. На Дыбасове была распахнутая, как всегда, на груди рубашка, но поверх нее — не драный свитер или кургузая замшевая курточка, как когда-то, а синий бархатный пиджак, серебристо блестящий на сгибах. И еще успел заметить Иннокентьев, что невысокий, узкоплечий Дыбасов стал носить ботинки на высоком каблуке, отчего у него странно изменилась походка, и теперь он ходил, чуть подсакивая при каждом шаге, словно птица на тонких и хрупких ногах.

Одеваясь в комнате администратора, они договорились посидеть где-нибудь в нешумном ресторане. Настя предложила старый «Националь».

Машина Иннокентьева стояла у самого подъезда, он направился к ней, бросив на ходу:

— Садитесь, я только дворники на всякий случай надену.

Но Венгерова сказала ему вдогонку:

— А мы на своей. Поедем друг за дружкой, там встретимся.

Они расселись по машинам, вырулили на проезжую часть, медленно двигаясь в густой толпе выходящих из театра, свернули на Неглинную.

Рита не удержалась:

— «Мы на своей»... Что они, поженились, так надо понимать?..

И уже в Охотном ряду, когда Иннокентьев притормозил, чтобы пропустить поток машин справа, с улицы Горького, Рита задала за него вопрос:

— А — Эля?..

Иннокентьев никогда с тех самых пор, как они встретились втроем в Сочи, не говорил с ней об Эле. И Рита тоже ни разу о ней не заговаривала, как не говорила она с ним никогда и о Лере. Временами Иннокентьеву казалась даже подозрительной, а то и хорошо рассчитанной эта ее молчаливая чуткость. Как и то, что она никогда, ни при каких обстоятельствах не совершала по отношению к нему не только естественных в семейной жизни ошибок или оплошностей; грозящих хоть как-то потревожить их обоюдный мир, но и уходила от подобных чреватых размолвок, даже когда касался опасных тем он сам. Но он не давал этим мыслям хода — скорее всего из подсудного сознания, что и он любит ее тоже больше рассудком, чем чувством.

Скажи мне, какого счастья ты для себя хочешь, приходило ему иногда на ум, и я скажу, кто ты.

— А — Эля?.. — спросила Рита, и Иннокентьев подумал, что за все эти почти четыре года он, собственно, и не вспоминал об Эле. То есть вспоминал, конечно, но так издавека, как будто не о ней и не о себе с нею, а о каких-то совершенно посторонних, чужих ему людях.

Швейцар в потускневших золотых галунах — не тот ли самый, что и четыре года назад, когда они пришли сюда с Элей? — и не подумал их впускать, пришлось Иннокентьеву силой протиснуться в дверь, когда кто-то из нее выходил, и, как в тот раз, потребовать метра. И метр тоже был наверняка тот же, что четыре года назад, время над такими не властно, — непроницаемый и надменно-вежливый, он безразлично выслушал Иннокентьева, на этот раз не узнав его в лицо, и опять, как некогда, сам проводил всех четверых наверх, на второй этаж, в тот же самый памятный Иннокентьеву зал в золотисто-коричневых обоях в стиле модерн начала века, подвел к столу и сам выдвинул дамам стулья.

Иннокентьеву показалось, что и столик, за которым они расселись, тоже тот самый, у окна, но он не был в этом уверен.

А вот меню, взглянул Иннокентьев в карточку, меню точно несколько не изменилось. Дыбасов, сидящий напротив, прервал его ностальгические мысли, спросил в упор:

— Вам не понравился спектакль, Борис Андреевич?

— С чего вы взяли? — попытался уйти от прямого ответа Иннокентьев.

— Потому что он и не должен был вам понравиться. И не спорьте, — холодно отрезал Дыбасов.

— Я и не спорю. Я только спрашиваю — почему вы так думаете?

— Пожалуйста, без дискуссий, — живо откликнулась на их тон Рита. — Мы не затем сюда пришли.

— Отчего же? — возразила Настя. — Роману Сергеевичу очень важно знать, что думает в действительности Боря. И вообще, пусть мужчины говорят о чем хотят, а мы с вами, Рита, выберем, чем их кормить.

И они с Ритой углубились в изучение меню.

Казалось, Дыбасов только этого и ждал.

— Потому что, — продолжал он еще резче и недружелюбнее, — мы с вами, Борис Андреевич, на этот раз сходимся.

— Вот сошлись за одним столом, и я рад этому, представьте себе...

— Потому, — не дал увести себя в сторону Дыбасов, — что мне этот спектакль тоже не нравится. Он пуст и манерен. Холоден, как песий нос. И не увидеть этого вы не могли.

Удивленный Иннокентьев не успел ему ответить — подошел официант, и они с Дыбасовым должны были по требованию дам заняться заказом. Переговоры с официантом взял на себя Дыбасов, и в его голосе Иннокентьев услышал те самые не терпящие возражений ноты, присущие, как правило, всем режиссерам в разговорах с нережиссерами. А ведь еще четыре года назад, подумал Иннокентьев, в Дыбасове этого не было. А если и было что-то в этом роде, то это следовало отнести на счет его неуверенности в самом себе...

Они чокнулись и выпили: Дыбасов и Настя — за встречу и возвращение Иннокентьевых в Москву, те — за новый театр и за будущие его победы.

По тому, как внимательно и преданно слушала Дыбасова Настя, не сводя с него глаз и ревниво следя, какое впечатление производит то, о чем он говорит, на Бориса и Риту, было ясно, что он так и только так живет теперь — зажав в железный кулак всех, кто вокруг него, всех, кто нужен ему, а заодно и всех, кто просто-напросто любит его. Впрочем, пришло на ум Иннокентьеву, любить его — во всяком случае, так, как он сам понимает любовь, — это значит отдалиться полностью на его суд и расправу, слепо и верно служить ему и его театру, никаких сомнений, никакого инакомыслия или независимости он не потерпит. Настоящий главный режиссер, подумал о нем Иннокентьев, прирожденный, такому палец в рот не клади и на узком мостике ему не встречайся...

И будто подслушав его мысли, Дыбасов, воспользовавшись тем, что женщины были заняты друг другом, сказал неожиданно устало:

— А знаете, Боря, почему у меня получился именно такой спектакль и никакой другой и не мог получиться?.. — Он помолчал, глядя в окно, там уже кружились в воздухе первые в году, сиротливые снежинки, тающие, не успев долететь до земли. — Потому что я стал — главный. Понимаете, мне теперь надо все время доказывать всем, в том числе и самому себе, самому себе даже больше, чем всем остальным, что я имею право на это — быть главным. И артисты идут за мной не потому, как это было раньше, во времена того же хотя бы приснопамятного «Стоп-кадра», что им и мне одного и того же надо, что все у нас общее, все пополам, а потому лишь, что я — главный... Хорошо, если хоть верят, что я знаю, куда веду свой кораблик. А ведь я далеко не всегда это знаю, совсем не убежден, что не напорюсь на мель или на подводный камень. Но я не смею даже подать виду, у меня теперь одна забота — не позволить им усомниться в моем праве вести их за собой, даже если это для меня крест тяжкий... Такая это проклятушая профессия — главный... И может быть, я больше всех прикован цепями к этой галере. Потому что даже сбежать, даже дезертировать мне уже не дано — это все равно что самоубийство. Я должен ежечасно прятаться за самоуверенное, выверенное ремесло, за то, что неизвестно какой дурак назвал мастерством!.. Мастерство — это когда все знаешь, все умеешь, но когда ты уже все знаешь и умеешь, какого черта тебе заниматься этим делом?! Тогда уж — конец, кранты!.. Нет, Боря, не подумайте, я далеко не все уже умею, о всезнании и речи нет, но я — главный, я обязан делать вид, что все знаю и умею, а они все обязаны делать вид, что верят, будто я все знаю... Просто-напросто я в заговоре со своими артистами, только и всего. И только она, — почти пренебрежительно, как показалось Иннокентьеву, кивнул Дыбасов в сторону Насти, Настя, не расслышав его слов, но почуввав, угадав кивок, повернула к нему лицо и улыбнулась, и в этой ее улыбке было столько восторженного обожания, что Иннокентьеву стало на миг страшно за нее, — только она, — продолжал Дыбасов, когда Настя повернулась вновь к Рите, — искренно и как-то даже по-рабски верит мне, но мне, увы, не этого от нее нужно, не одного этого, мне от

нее правда нужна беспощадная и чтобы было кому поплакаться в теплые коленки... Разве не того нам с вами от них надо?!

Они не заметили, как не раз и не два мимо их столика прошел официант, всем своим видом намекая, что время их вышло, пора и честь знать. Наконец подошел и сам метр и, извинившись, положил на стол листок со счетом.

Пока Дыбасов и Иннокентьев препирались по поводу того, кому из них платить, дамы встали из-за стола.

— Мы пойдем взглянем на себя в зеркало,— сказала Настя,— ждите нас в гардеробе.

Иннокентьев посмотрел в окно — там, оказывается, шел настоящий снег, он уже не таял, а оседал пышными хлопьями на деревьях Александровского сада, успел, пока они ужинали, выбелить кремлевские крыши, купола и зубцы стены, неторопливо выплясывал в оранжево-желтом сиянии уличных фонарей, и стало непреложно ясно, что зима на носу и что новый год не за горами.

— Что — Эля?..— спросил Иннокентьев, и было непонятно, задал ли он этот вопрос Дыбасову или самому себе.

И по тому, как резко Дыбасов повернул к нему лицо — до этого он тоже молча смотрел в окно.— Иннокентьев понял, что он давно уже ждет этого вопроса. Но ответил на него не сразу, может быть, вопрос этот, хоть он его и ждал, застал его врасплох.

— Не знаю...— сказал он задумчиво, и лицо его передернулось болезненной гримасой.— Не знаю.

Иннокентьев не стал настаивать, да и в этом «не знаю» был, собственно, весь ответ.

— Она ушла из театра сразу, как мы переехали в новое помещение,— добавил после молчания Дыбасов,— уж не помню, из-за чего... Собственно, никакой особой причины для этого у нее и не могло быть. Просто взяла и ушла. Она ведь...— Но не договорил.— Правда, к тому времени у нас с ней... Одним словом, все уже было позади, так уж получилось. Я тогда вертелся, как карась на сковороде,— новый театр, новое помещение, репетиции, я набирал актеров... Честно говоря, мне было не до нее тогда, я и не заметил, как она исчезла...— И повторил с той же гримасой не то боли, не то печали:— Она ведь... разве ее поймешь?..

— И — все?..— спросил Иннокентьев, и опять не столько Дыбасова, сколько, может быть, самого себя.

— Видишь ли... видишь ли, Борис...— Дыбасов впервые за все годы их знакомства сказал Иннокентьеву «ты»,— так устроена жизнь, что таким, как мы с тобой, да и всем, нам подобным, нужны сперва женщины, которые приходят к нам, когда нам плохо, когда невыносимо, когда мы только еще карабкаемся на вершину и одному богу известно, вскарабкаемся ли и устоим ли на ногах... а потом, когда пусть даже на самую первую ступеньку взобрались, нам нужны другие, с кем не поражения делить, не шишки и царапины зализывать, а — победы праздновать, удачи... такие, как моя Настя или твоя Рита... Хотя по отношению к Насте я, пожалуй, несправедлив. Ну да все равно. Одним словом, такие, которые наши удачи чуют загодя, как кошки землетрясение, и приходят накануне, не раньше.— Он опять помолчал, и когда заговорил снова, в его голосе послышалась Иннокентьеву не прикрытая ничем — ни иронией, ни жесткостью — потерянность.— А может, мы и сами, когда ухватываем наконец удачу за хвост, уже не нужны ей, Эле?.. И она этот миг тоже чует загодя и успевает уйти так, что мы этого и не замечаем. Она и от этого нас оберегает — от тщетных угрызений совести...— Он устало погасил окурок в пепельнице.— Не знаю, Боря, ни что с ней, ни где она... Только вот ведь — говорим мы о ней и помним, и совесть мучает... И положила руку на сердце, это единственное, о чем нам за весь вечер и хотелось говорить, а не про эту муть, которую мы пробалтываем по привычке, не тратя на нее ни мысли, ни чувства...—

И опять его лицо передернула болезненная, как тик, гримаса.— Чувства — вот чего ей от нас надо было, чувства наипростейшего, элементарнейшего! Просто — любви! А именно этого-то в нас и не оказалось, нет ее в нас, отучили мы себя от этого ремесла, забыли напрочь. А может, не было этого в нас и от роду, не запрограммированы мы на такие простенькие, немудрящие вещи, как любовь. Я иногда думаю — это от профессии: все, что в нас есть такого — любовь, доброта, сострадание, жалость, боль, наивность,— мы в дело пускаем, пропади оно пропадом, на радость и забаву чужим, далеким людям, лиц которых нам даже не разглядеть со сцены, а для жизни, для близких, для собственного употребления, наконец, его и не хватает, расходует все без оглядки, направо, проматываем... Горькая у нас профессия, Боря, жестокая, иногда — мученическая, да куда денешься?... А скажи кому-нибудь из нас: брось, скинь этот крест с плеч, живи, как все, радуйся жизни!— охотников не найдется...— И вдруг вне всякой видимой связи с тем, что только что говорил, рывком бросив на белую накрахмаленную скатерть руки со сжатыми кулаками, отчего на них разом взбухли толстые, вот-вот лопнут от натуги, жилы, не то простонал, не то пригрозил кому-то:— Но я все равно буду делать свое дело, будь оно неладно! До гробовой доски! Потому что ничего другого у меня нет, ничего другого мне не нужно, ни во что кроме я не верю! В одно это — в проклятое мучительство, самоистязание, именуемое искусством! Буду, черт меня раздери! И ты еще ахнешь, когда придешь на следующий мой спектакль. Мне есть что сказать! Кровь горлом, а — скажу, ты ахнешь еще! Все вы! И что главный — не беда, и что кораблик углый — пускай, я знаю, куда мне плыть, к какому берегу. И театр у меня будет живой, не то что сегодняшнее скоморошество, вот увидишь, зря ты меня поспешил в тираж списать!.. Честь, добро, любовь, правда — вот для чего мне нужен мой театр единственно, можешь мне поверить. Каждому свое, Боря, а мне — не кесарево, а — богово, потому что... потому что такая уж у меня профессия, одним словом. Ты еще ахнешь, ох как ахнешь!..—И, помолчав, заключил с доброй, печальной улыбкой, и в этот миг Иннокентьев готов был ему все простить:— А Эля... где-то она есть, непременно, куда ж она денется, Эля...

И вдруг Иннокентьеву представилось совершенно въявь, точно так же как тогда, на премьере «Стоп-кадра», он представил себе несостоявшуюся свою встречу с Лерой,— он совершенно ясно увидел, какой была бы его встреча с Элей теперь, когда все давно кончилось, все позади.

Это непременно случится в набитой битком ранней пригородной электричке — хотя как он окажется в этом переполненном до отказа поезде?!— он увидит ее в противоположном конце вагона и совсем не удивится этому.

И так он явственно все увидел, что ему показалось, что все это с ним уже было на самом деле, что не из воображения, не из будущего, а из какого-то несостоявшегося и все же совершенно реального прошлого пришло оно к нему — не «будет», а «было» — и было так: она стояла у дверей в тамбур в своем вытертом, на все времена джинсовом костюмчике, стиснутая толпой так, что и рукой не пошевелить. Она стояла к нему вполоборота, почти спиной, и он узнал ее не в лицо, а по тому, как она, выпятив нижнюю губу, привычно сдула челку со лба. Она его не заметила, и первым движением Иннокентьева было сойти с поезда на первой же остановке. Поезд и затормозил, остановился на какой-то платформе, но ему было не пробраться сквозь плотную толпу к дверям, да он и не пытался, стоял как вкопанный в своем конце вагона и неотрывно смотрел на Элю, никак не решаясь подойти к ней, хоть и прекрасно знал про себя, что подойдет.

За окном мелькала летнее Подмосковье, березы в нежной, не успевшей пожухнуть листве, чистое, без единого облачка небо, перечеркнутое плавно провисшими ниточками электропроводов вдоль железнодорожного пути.

Он стал пробираться к ней, поминутно натываясь на чьи-то локти, наступая на чьи-то ноги и извиняясь, и больше всего боялся, как бы она не вышла на какой-нибудь остановке до того, как он продерется к ней сквозь давку.

Он и сам не знал, зачем ему это: ведь все давно кончено, былшем поросло, и что он ей может сказать, о чем спросить — как она, где работает, как жизнь?.. И в чем, наконец, он должен повиниться перед ней, в чем оправдаться, да и в чем он, если вдуматься, перед ней виноват?!

Но когда он пробрался к ней, она подняла на него глаза, разом признала и не удивилась, ни о чем не спросила и ему тоже не дала ни о чем спросить, только и пропела свое неистребимое, все и всем прощающее, но и все и всех ставящее без пощады на место:

— Норма-ально!..

Вот что пронеслось как наяву в мыслях Иннокентьева, пока они с Дыбасовым, провожаемые вежливой и бесстрастной улыбкой вышколенного метра, спускались вниз, в гардероб.

Потом, выйдя вчетвером на припорошенную свежим снегом улицу, они еще долго стояли у подъезда «Националя» на уже пустой в этот час Манежной, не наговорившись там, в ресторане.

И наконец, дружески и мило распрощавшись, разошлись по своим машинам.

Ехать по только что выпавшему снегу было скользко, машину то и дело заносило, баранка плохо слушалась рук.

Рита о чем-то болтала рядом, но Иннокентьев не отвечал ей, да и не слышал, о чем она говорит, очень уж скользко и опасно ездить в гололед.

И неожиданно для самого себя сказал вслух, перебив Риту на полуслове:

— Нормально!..

Она умолкла, с удивлением покосилась на него.

— Нормально,— уговаривал он себя,— нормально...

Да так оно, собственно, и было.



ВАСИЛИЙ СУББОТИН



ВОСЕМЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

Последняя ночь

Качается там, под ногою,
Неверных опор череда...
И лезут со знаменем двое
На самую крышу — туда,
Где купол смыкается с небом,
Где тот же в груди холодок.
Руины возносятся немо,
Уходит земля из-под ног.
Каркаса железная рама
От каждого шага поет...
Над линией фронта упрямо
Ракеты летят в небосвод.
Черны эти стены издревле.
Все смолкло. Лишь ветер в ушах.
На длинном, на тоненьком древке
Тяжелый колотится флаг.

* * *

Редает мгла. Костер зари
Позолотил стволы и кроны.
Мы братски делим сухари
На плащ-палатке, как патроны.

* * *

Талый снег на высотах лежит,
С каждым днем он — рыжее...
Блиндажи, блиндажи, блиндажи —
В каждой сопке и в каждой траншее.

* * *

Хлопок внезапный в синеве —
Как торопливый след вчерашний
На желтом склоне, на траве...
Осколки ржавые на пашне.

* * *

Я перекрестным был крещен,
Мне штыковая снится схватка.

Мне Чайльд-Гарольдовым плащом
 Служила эта плащ-палатка.
 Уже хлеба встают стеной
 В том самом поле, где кружил я.
 Но все грохочут за спиной
 Той жесткой плащ-палатки крылья.

Хлебороб

Уж за полночь, должно быть, а не спится.
 Свежо лопочет тополь за окном...
 Управиться б пораньше с косовицей
 Да побыстрее закончить водоем.
 Все те же неотложные заботы:
 Пары поднять, наладить крытый ток,
 К прудам на поливные огороды,
 Еще один поставить бы движок...
 Висит луны слепящая жестянка
 Над большаком, над ворохом зерна.
 Его незаменимая тачанка
 Стучит в далеком поле дотемна.

Зима

Солнце пробивается неярко,
 Тенькает синица в сосняке.
 И уже, как заячьей лапкой,
 Кто-то мне проводит по щеке.

Памяти поэта

Я. С.

И бездну ты знал и вершину...
 В коричневом длинном гробу,
 Чуть брови сердитые сдвинув,
 Ты спишь, закусивши губу.

Как тяжело она отвалилась,
 Хотя и без жалоб, без слез
 Та жизнь, что в стихи воплотилась,
 И та, что с собою унес.

Лежишь, огражденный навечно
 От мести друзей, от любви...
 Как каторжно подняты плечи —
 Широкие крылья твои!



ВЛАДИМИР ДАГУРОВ



СОКРОВЕННОЕ

Братьям

В привычной колее забот и лет
родителей почаще навещайте —
они всегда с тревогой смотрят вслед,
какое бы ни выпало нам счастье.

С дружком по телефону перед сном
о жизни рассуждаем мы весомо —
но почему ж тогда с родным отцом
неоткровенно-молчаливы дома?

И каждый златоустом быть готов,
с девчонкою прощаясь на вокзале, —
но почему же сокровенных слов
мы матери ни разу не сказали?

Мы — взрослые, но мать не спит всю ночь
и оттого, что ласки видит мало,
вздыхает про себя: «Была бы дочь —
она б меня по-бабьи понимала...»

Всего на день заглянем в отчий дом
и снова вдаль уходим на рассвете...
О братья, дорожите каждым днем —
уже мы за родителей в ответе!

Встреча с отцом в 1945 году

Свист паровоза. Песни в эшелоне.
Военными заполненный вокзал.
Мой брат чегырехлетний на перроне
отца каким-то чудом опознал.

Толпа металась. Дождь осенний капал.
Текли у мамы слезы по лицу.
Мой брат вскричал впервые в жизни: «Папа!» —
и самый первый бросился к отцу.

Был этот миг — мечтаньем сокровенным,
и мать, к нему дойдя, лишилась сил.
И предвоенный год с послевоенным
мой брат, обняв отца, соединил.

Сынами мама перед ним гордилась.
 Отец братишку к небу поднимал:
 «Мне кажется, война полжизни длилась,
 ну надо же — а он еще так мал!»

Мечта

Как светло и щемяще я в юности грезил:
 удеру из комфорта, накину рюкзак —
 жизнь начну от нуля, чтоб сибирские ГЭСы
 жаркой электросваркой пылали в глазах.
 Чтобы чаем, а может, и чем-то покрепче
 после смены с друзьями я грелся в ночи,
 чтоб впервые постиг выразительность речи,
 когда сам бригадир на тебя накричит.
 Чтоб дрова мы рубили на звонком морозе,
 чтобы утром купались в парной полынье,
 чтоб проспекты в тайге начинались от просек,
 чтобы пела душа в лад гитарной струне,
 чтобы телом и сердцем сумел бы я вжиться
 в металлический мир кружевных арматур,
 чтоб такой я роман закрутил с крановщицей —
 никакой бы не смог отразить драматург!
 Моя совесть чиста, но мечта о Сибири
 не сбылась и нет-нет мое сердце кольнет...
 Так бывает, когда я гляжу из квартиры,
 как летит высоко в небесах самолет...

Свидание на Волхонке

*Любите живопись, поэты...
 Н. Заболоцкий.*

Давно ничего уж не ждал я от жизни,
 и тускло подумалось: «Все суета...» —
 увидев, как двое, одетые в джинсы,
 беспечно целуются возле моста.

В небесные чувства я больше не верю —
 в юдоли земной небеса ни при чем.
 А чудо меня ожидало за дверью,
 которую еле сдвигаю плечом.

Старинная дверь и просторная зала.
 На стуле с мольбертом сидит у окна
 Она — нет, Она ничего не сказала,
 но я все почувствовал сразу — Она!

Вошел — и ладонью прикрылся от света:
 меня ослепило сиянье в глазах,
 была Она солнечным светом одета,
 и шпилька сверкала в ее волосах.

А ветер июньский полдневный из окон
 ее обвевал и, как скульптор, лепил
 из белого платья фигуру и локон
 незримым дыханьем своим теребил.

Не ведаю, что она там рисовала,
но возле окна ее недалеке
все та же влюбленная пара стояла:
она — в кринолине, а он — в сюртуке.

И, верно, семнадцатилетней Киприде
пришелся по нраву любовный сюжет.
В глазах не случайно я отблеск увидел,
случайно в старинную залу зашел.

Она мне навстречу привстала со стула.
«Я вас заждалась!» — прошептали уста.
Я, ручку целуя, нагнулся сутуло,
но тут мои губы коснулись... холста!

Я вздрогнул, очнулся и вышел из зала.
Служитель перстом погрозил мне: «Шалишь!»
...Наутро Шарлотта моя улетала
в музей, в девятнадцатый век и в Париж!



БОРИС ШИШАЕВ

★

РАССКАЗЫ

«Я встретил вас...»

Оркестр народных инструментов областной филармонии давал концерты в Мокроусовском районе.

Каждый день выступали где-нибудь в колхозе и возвращались в Мокроусов в гостиницу поздно, иногда за полночь,— почти везде после программы угощали обильно, а потом старенький автобус буксовал в осенней грязи на раздрыганных дорогах, и мужскому большинству приходилось не единожды высаживаться в промозглую темноту и, утопая в глинистой жиже, с криками «раз-два, взяли!» толкать свой «ковчег», пока он не выползал на твердое место. Приезжали вымазанные с ног до головы.

Отсыпались чуть ли не до обеда, чистились, готовились к следующему рейду. Несмотря на дорожные трудности держалось все по-доброму, на шутках и приподнятости, какой давно не было. Удивительно, но никто ни с кем даже не поругался ни разу.

Слегка портил этот приятный настрой, пожалуй, только балалаечник Кукин. Мрачнел, мрачнел день ото дня и, в конце концов, замкнулся наглухо, разговаривать перестал, и никак не могли понять, чего ему не хватает. Наипервейший любитель выпить и правоту доказать, а тут и употребляет вроде бы нехотя, и в споры не влезает — молчит, смотрит в стену. Разогреются как следует за угощением после концерта, и втолковывает кто-нибудь, например, председателю сельсовета:

— Народу, ему тоже отдушина нужна! Так ведь? А то навкалывается человек, придет домой, телевизор врубит, а там опять же производство. То цех литейный, то тебе зерно лопатой подкидывают. А он и так этим сыт по горло! Сы-ыт, понятно? Ты ему для души дай, чтоб отмяк малость, о глобальности мира подумал. Во! Чтоб он себя, понимаешь ли, осознал! А?! Вот и Леня скажет. Правильно, Лень? — в запале толкает Кукина в бок, зная его всегдашнюю любовь к обличительству.

Кукин вздрагивает, очнувшись от каких-то своих мыслей, медленно поворачивает к говоруну лицо, высеченное красиво и строго, и, нервно шевельнув ноздрями прямого носа, игранув желваками на скулах, выдавливает с тяжким раздражением:

— Порешь хреновину...

Над столом сразу натягивается недоуменно-растерянная тишина, потом кто-то старается сгладить этот «угол», направить разговор в прежнее русло, а Кукин уже забыл обо всех и опять тускло смотрит в одну точку. Попытались выяснить, что с ним, спрашивали участливо:

— Ты, Лень, чего такой кислый-то?

— Ночью под одеялом лимоны ем! Устраивает?— отвечал он ядовито, и коричневые глаза сверкали так зло, что охота продолжать расспросы мгновенно отпадала и участие улетучивалось.

А пришел Кукин в такое состояние вот из-за чего. В мокроусовском инвалидном доме обитала теперь Настя, с которой он прожил в областном городе как с женой целых двенадцать лет, хотя и без росписи.

История у них вышла сложная. Встретился Кукин с Настей после того, как намотался до обалдения по разным городам в поисках своей музыкальной звезды. Настя была до этого замужем — муж ее, офицер, попал под сокращение армии, с горя жестоко запил и погиб от удара ножом в пьяной драке. Года три Настя жила с дочкой одна. Когда Кукин познакомился с Настей, любовь у них вспыхнула прямо-таки взрывом, как порох, и направление с самого начала взяла какое-то жадное и болезненное.

Он раньше и знать-то не знал, что это за штукавина — любовь, а тут проняло до самого некуда. Играет на репетиции или на концерте, а Настин облик перед глазами: сильная, статная, с крепкой высокой грудью и яркими губами, глаза зеленым горят, и густые светлые волосы на нежный лоб упруго валяются. Одного лишь хотелось Кукину в такие моменты — скорее к ней, сграбастать, зацеловать всю до основания...

Настя, в свою очередь, ревновала его беспричинно и страшно. Задержится, бывало, Кукин в филармонии дольше обычного — и пошли пытки: где был, с кем, какие женщины крутились рядом, ну и тому подобное. Чуть растерялся — и это уже принимается за вранье, и она бросается, как тигр, царапает и оплеухи закатывает то слева, то справа. Кукин сначала закрывался и терпел — женщина же все-таки, — а потом как-то не удержался, влепил ответного хлесткого леща, и с тех пор пошло обоюдно — порой до жестоких ссадин и синяков. Заканчивалось, как правило, Настиными обильными слезами, кукинскими стараниями успокоить, а в результате — бурными ласками и ночной горячей любовью.

Сцены эти, а точнее — чего уж там! — дикие драки, случались иногда на глазах у девочки, и она в страхе забивалась куда-нибудь и громко редела. Когда приходили в себя, было стыдно до ужаса и больно за ребенка, но что сделано, то сделано — ничего не попишешь. Вот и задабривали Лилечку всячески: сладости, игрушки дорогие без конца покупали, исполняли все по первому ее жаланию.

Кукин девочку любил — уж очень она была приглядная, понятливая и отвечала на любой вопрос забавно и умненько. Родить второго ребенка Настя не могла — стряслось у нее что-то по этой части.

Так вот и жили, и от такой напряженной любви уставать начали постепенно. Все чаще вредная непонятная сила подталкивала досаждать друг другу. Выпивают, например, по какому-нибудь случаю — а бывало это нередко, — и наливает себе Кукин большую рюмку, а Насте поменьше. Тогда она берет точно такую же, как у него, и наполняет до краев. «Ну куда? — урезонирует Кукин. — У тебя же давление!» «Авось не у тебя! — смотрит Настя ехидно. — Не бойся, хватит, окосеешь, как полагается!» Слово за слово — и понесло по кочкам...

Даже и не заметили, как Лилечка превратилась в красивую девушку с холодными глазами и большими запросами, умеющую твердо добиваться всего, чего ни возжелает. На Кукина она смотрела теперь с нарастающим презрением, а матерью вертела, как хотела. А потом и парень появился — высокий, стройный, тоже с холодными глазами и очень вежливый. Кукин почувствовал, что для Насти на первый план выдвинулась судьба дочери, а сам он, наоборот, кажется ей отдаленным на такое расстояние, которое делает человека очень даже маленьким.

Придирки следовали одна за другой, а однажды, когда он пришел в изрядном подпитии, Настя набросилась свирепо, разодрала ему щеку и стала выкидывать на лестничную площадку его вещи. Кукин попробовал было отстоять свои права, но Лилечка выскочила на улицу и

вызвала по автомату милицию. Хорошо хоть милицейские ребята попались нормальные, поняли ситуацию, даже вещи помогли собрать и посоветовали убраться куда-нибудь подобру-поздорову.

Долго ютился то у друзей и знакомых, то в филармонии, но наконец выбили-таки для него квартиру гостиничного типа. Женщины у Кукина за это время, конечно же, были, но все в отношениях с ними казалось ему пустым и пресным до отвращения.

Настя как-то подкараулила у филармонии, схватила за руку — хотела что-то объяснить, — но Кукин резко вырвал руку и прошел мимо. Хватит, подумал, крест так крест. В другой раз он встретил на улице Настину соседку, и та рассказала, что Лилечка вышла замуж и муж — тот самый, вежливый — перешел жить к ним.

Потом Настя разыскала где-то адрес и приехала ночью — часов около двенадцати. Кукин открыл на звонок и, увидев ее, захлопнул дверь — не впустил. Настя стала в испуге ломиться и кричать: «А-а, гад, сволочь, заперся там со своей курвой!..» И другое в том же роде — самые грязные слова. Наконец она плечом выбила дверь, сломав замок, и ворвалась, растрепанная и страшная. От нее пахло спиртным. На шум собрались соседи, но Настя ни на кого не обращала внимания — обыскала все кругом и начала все подряд швырять и колотить, ругаясь хрипло: «Не пускать!.. Меня не пускать?! С-скотина!..» Кукин не знал, куда деваться от стыда, но, в конце концов, протиснулся между стоящими в растерянности соседями, вышел — пропади оно пропадом! — и часов до трех прошлялся по улицам.

Когда вернулся, в квартире никого не было. Замок на двери болтался на одном шурупе, на полу валялись осколки жалкой холостяцкой посуды, книги, опрокинутый табурет, пепельница и окурки вокруг нее. Разбитая балалайка лежала на растерзанной постели. «Все сметено могучим ураганом...» — подумал Кукин с горькой усмешкой.

Больше он Настю не видел, а через несколько месяцев узнал от той же ее соседки, с которой случайно столкнулся в троллейбусе, что Настю парализовало — всю правую сторону — и она долго лежала в больнице, а потом дочка сплвила ее в мокроусовский инвалидный дом.

И вот теперь, приехав в Мокроусов, Кукин не находил себе места. Былое нахлынуло, и ни малейшего уголка не осталось в душе для радости, а сгустилось в ней так много серости и горечи, что не умещалось и подкатывало к горлу.

Понимал: обязательно надо навестить Настю, не такой же он гад, чтобы приехать сюда, тренькать всюду по району и не повидаться с нею, с которой — как ни поверни — было связано самое лучшее в жизни, но в то же время боялся этой встречи и со дня на день откладывал ее. «Ну появишься, — в который раз прикидывал лихорадочно, — а говорить о чем? Расстались-то ведь по-идиотски...»

Старался представить, как выглядит Настя в теперешнем ее положении, и выходило одно и то же — убогий, беспомощный и униженный человек, а сам он лось здоровенный, хоть и лысину порядочную уже выело. Не горько ли ей станет от этого его вида?.. Скрипел медленно зубами — вот же крендельная ситуация, сумей тут попробуй...

Гастроли подошли к концу, а Кукин все никак не мог решиться. Помог случай.

Только начали продирать глаза после вчерашней тяжелой поездки на свиноводческий комплекс, как в их четырехместный номер вкатился художественный руководитель Лев Георгиевич Десницкий в сопровождении низенького, тоже округлых очертаний и совершенно лысого человека.

— Значит, так, братцы... — заговорил Лев Георгиевич, заложив руки за спину и стремительно пересекая комнату туда-обратно. — Поднимаемся. Вот ответственный товарищ из инвалидного дома просит выступить. В виде шефской помощи, так сказать. Поздно, конечно, обратились, мы сегодня отсюда уезжаем совсем, но пути концерт в колхозе

«Борьба», так что будем собираться. И в то же время отказать нельзя. Там несчастные люди, надо войти в положение... Всем коллективом, ясно дело, не можем, хлопот с отъездом куча, но можно трио. Разливаев, Хрустенко и ты, Кукин. Баян, гитара и балалайка. Вариации на тему народных песен, ну и тому подобное. Объявлять будет Разливаев, к примеру. Короче, мы тут начнем готовиться к отъезду, а вы туда. Я вас, братцы, прошу!..

— Будем очень благодарны, товарищи музыканты. Инвалидам, сами понимаете, тоже надо...— склонив лысую голову набочок и просительно заглядывая каждому в глаза, подал голос круглый мужчина.

Так оно и решилось.

В инвалидный дом шли мимо базара, и Кукин, сунув балалайку Хрустенко и буркнув: «Догоню!», бросился туда. Денег было немного, но хватило, чтобы купить хороших яблок и несколько штук какой-то хурмы. Уложили ему все это в кулек из газеты, и, прижав его к груди, Кукин побежал догонять своих.

— Ты чего,— с удивлением спросил Разливаев, когда Кукин поравнялся с ними,— благотворительностью, что ли, решил заняться?

— Решил! — тяжело дыша, прострелил тот баяниста злым взглядом. — И отвали!

Разливаев переглянулся с Хрустенко и пожал плечами.

Петр Филиппович — так звали круглого мужчину — провел их сразу в небольшой клуб, который примыкал к основному корпусу инвалидного дома.

— Располагайтесь, товарищи, готовьтесь, а я пойду организую все как надлежит.

— Вы мне это...— тронул его за плечо Кукин,— покажите, где они тут... Ну, больные...

— Инвалиды? — вскинул брови Петр Филиппович.— А зачем вам?.. Сейчас обед.

— Ну и пускай обед! — нетерпеливо перебил Кукин.— Проводите туда! Надо мне...

— Ну, что ж, пожалуйста, если интересует...

— Я сейчас приду,— обернулся Кукин к Разливаеву и Хрустенко.— Настраивайтесь пока.

Те недоуменно смотрели на него.

Петр Филиппович провел через какие-то коридоры, остановился у двустворчатых дверей, за которыми слышались звяканье посуды и приглушенные голоса.

— Тут у нас столовая...— объяснил Петр Филиппович, не зная, как быть дальше.

— Вы идите...— торопливо заговорил Кукин,— а я тут... Мне человека одного надо увидеть.

— А...— Тело Петра Филипповича размягчилось облегченно.— Понятно! Пожалуйста, пожалуйста! Дорогу обратно в клуб найдете?

— Найду, найду!

Кукин вошел потихоньку и, прислонясь к косяку, из небольшой прихожей стал оглядывать столовую. Он никогда раньше не видел сразу столько инвалидов. Были тут мужчины и женщины — совсем старые, с трясущимися головами, и помоложе,— кто в темных очках, кто с черной повязкой на глазах, однорукие, одноногие, а то и вообще без ног — эти примостились на колясочках отдельно, за низенькими, как в детском саду, столиками,— и всюду торчали костыли, трости и клюшки различных конфигураций, виднелись всевозможные протезы. Ели кто как умел, у некоторых лилось и сыпалось на одежду.

Зрелище это потрясло Кукина. И вдруг он увидел Настю. Она сидела с двумя старушками у окна и левой рукой неуклюже хлебала суп. Правая бессильно сползала со стола, и Настя время от времени клала ложку и поправляла эту руку, а потом доставала из кармана зеленого халата сложенный комочком платок и старательно вытирала уголок

рта. Вся она была какая-то потемневшая, и волосы, раньше пышные и упругие, теперь послушно и гладко умещались на голове.

Жалость пронизала Кукина с головы до ног, и, стараясь не споткнуться о костыли и протезы, он стал пробираться между столиками туда, к ней. Настя не видела его.

— Здравствуй!..— подойдя сбоку, хрипло сказал Кукин.

Она вздрогнула и медленно, словно боясь наваждения, повернула голову. Ложка с супом, не донесенная до рта, вырвалась и упала на колени.

— Леня!..— выговорила Настя с трудом, язык плохо слушался.— Леня!.. Как ты здесь?..

От волнения он еще сильнее прижал к груди кулек с гостинцами, и яблоки, огненно-красная хурма вывалились оттуда, запрыгали со стуком по столу и по полу, покатались в разные стороны. Кукин бросился собирать между ногами инвалидов, костылями и протезами и делал это, как ему показалось, ужасно долго и неловко. Настя молча наблюдала. Зрячие инвалиды тоже с любопытством смотрели на него. Наконец подобрал все и, пунцовый от смущения, осторожно примостил сверток на краешек стола. Слова, приготовленные на этот случай, давно уже вылетели из головы, и он заговорил сбивчиво, изо всех сил стараясь, чтобы голос был бодрим:

— Вот, значит!.. Это тебе. Решил проведать!.. Мы тут у вас выступать сейчас будем. Такие дела!.. Ну а ты,— спохватился,— как себя чувствуешь? Лучше самочувствие-то?..— И поняв, что говорит не то, Кукин смешался и умолк, внутренне мучаясь жестоко.

Настя же, наоборот, успела, видимо, несколько овладеть собой за эти мгновения, как-то вся словно закаменела.

— Вот видишь, Леня!..— сказала она спокойно, хотя и невнятно, остановив рассеянный взгляд на пуговице его пиджака.— Наказал меня бог!..

— Да брось ты — бог!..— почувствовал Кукин возможность продолжить разговор, утешить как-нибудь.— При чем тут бог? Жили!.. Не берегли!.. Я, понимаешь ли, дурак набитый!.. Вот оно и!.. А ты нос не вешай! Думаешь, совсем, что ль? Я слышал — постепенно отходит. И у тебя отойдет. Ты же молодая!..

— Леня!..— тихо перебила Настя, будто и не слышала его слов.— Ты как — сам решил!.. или просто!.. с концертом?..

Он опять покраснел, застигнутый врасплох, и вдруг ответил откровенно и просто:

— Мы тут неделю уже ездим везде!.. Я с первого дня хотел. Боялся только — а ну как обидишь тебя, расстроишь чем!.. Откладывал, все не знал как лучше. Тяжело, понимаешь!.. Ну а теперь вот!..— И Кукин отвел взгляд и мрачно уставился на тарелку с перловкой и жирными кусочками свинины.

Настя легонько коснулась его руки.

— Ты не переживай (у нее вышло «не пежеживай»). Я сама во всем виновата!..

Сзади хлопнула дверь и голос Петра Филипповича заставил вздрогнуть:

— Леонид Иванович, вас ждут! Пора!

— Сейчас!— обернулся Кукин. Постоял еще немного молча и спросил у Насти:— Ты придешь?

— Приду.

— Ну, значит, увидимся!..

Нагнувшись, он неловко ткнулся губами в ее холодную щеку куда-то около носа и заспешил к выходу.

...Когда сыгрывались потихоньку в обшарпанной комнатухе за сценой, Кукин сказал Разливаеву и Хрустенко:

— Вы, мужики, это!.. Как вариации проиграем, давайте «Я встретил вас».

— Ты что! — вскинулся Разливаев. — С какой стати романс-то прицеплять? Да и не играли его давно. Собьемся — сраму не оберешься.

— А ты объяви от народных песен отдельно! — сверкнул коричневым огнем глаз Кукин, но тут же осекся, глянул на каждого умоляюще. — И давайте, ребята, не собьемся, а?

— Ну ладно, раз такое дело... — со значением положил руку на плечо Разливаеву Хрустенко. — Попробуем...

Из зала слышались стуки и гул — там уже рассаживались инвалиды. Проиграть романс полностью так и не успели, в приоткрытую дверь просунулась блестящая голова Петра Филипповича.

— Все в порядке, товарищи. Можно.

Вышли на сцену, и Хрустенко с Разливаевым замерли, пораженные видом столь необычной публики. Кукин, который уже пережил такой момент в столовой, незаметно оглядывал зал и неожиданно отыскал Настю прямо перед собой — она сидела в переднем ряду все с теми же старушками. У одной старушки время от времени крупно тряслась и клонилась набок голова. Безногие устроились на своих колясочках на полу у самой сцены и смотрели снизу на музыкантов, как на великанов.

Кукин, прикрыв глаза, слегка кивнул Насте и сел.

Глухим посуровевшим голосом Разливаев объявил вариации, и заиграли — чисто и широко, на том профессиональном пределе, когда, напрягая душу, связывает всех большая ответственность, перерастающая постепенно в общее вдохновение и легкое свободное мастерство. Сначала захлестнула своим удалым размахом «Вдоль по Питерской». Потом плавный переход — и распахнула необозримые дали, полилась раздольно и задумчиво, навевая светлую грусть, «Однозвучно гремит колокольчик». Волновались басы баяна, неуловимо менялись гитарные переборы, и ручейком звенела балалайка. Но вот, словно после глубокого вздоха, поднялось настроение, и брызнула игривой радостью «Вдоль по улице метелица метет». За ней «Коробейники», «Что ты жадно глядишь на дорогу», «Тройка»... Веселье вдруг падало, и начинала звучать печаль, на смену ей шли бесшабашность и удалство, которые неожиданно переходили в сожаление и трогательную жалобу.

Музыканты во время переходов склоняли друг к другу головы и переглядывались, как бы подерживая согласие инструментов, и волны мелодий и импровизаций плыли над сидящими в зале, все сильнее и сильнее завораживая их. Инвалиды слушали отрешенно — кто опершись на свои костыли и трости, кто скособочившись поудобнее, а слепые выделялись тем, что сидели прямо и строго, обратив лица вверх.

Кукин встречался взглядом с Настей — она, придерживая на коленях беспомощную руку, как-то одной стороной не мигая смотрела на него.

Концовку сделали длительную, затихающую постепенно. Несколько мгновений было абсолютно тихо, а потом посыпались недружные аплодисменты — хлопать могли далеко не все, — слышались отовсюду возгласы одобрения, просьбы: «Еще, еще!»

Выждав немного, Разливаев поднялся со стула, и шум в зале сразу прекратился.

— Товарищи! — возгласил баянист, глянув успокаивающе на Кукина. — В заключение нашей небольшой программы пусть вам будет подарком широко известный романс «Я встретил вас»!

Кукин успел заметить, как Настя с печальным пониманием несколько раз качнула головой.

Начали тихо и проникновенно. Мелодия плавно набирала силу и наконец окрепла, заняв собою в зале все свободное пространство, наполнилась волнующим смыслом. Со звонкой нежностью вела ее кукинская балалайка, разбитая когда-то Настей и мастерски склеенная вахтером филармонии Пахомычем.

Кукин играл, вспоминая мысленно слова романса, и горечь, которая накопилась в душе за последнее время, становилась все теплей, а иногда такой плотной волной подкатывала к горлу, что с трудом удавалось сдерживать слезы. И тут он увидел светлые бороздки слез на лице Насти. Смотрела она теперь куда-то сквозь него и сначала словно бы не чувствовала, что плачет, сидела оцепенело, но потом достала из кармана платок и комочком стала подбирать слезы снизу вверх от подбородка, и платок, наверное, совсем промок, сделался бесполезным.

В довершение кто-то судорожно всхлипнул в последних рядах, и Кукин стиснул зубы, жестко сдавил в себе все и так — с пробкой в горле и каменным лицом — доиграл до конца.

На огни

Бельмовский бессменный пастух Петя Нестеров благополучно пригнал стадо, сытно поужинал и сидел возле дома на лавке, устало привалившись спиной к изгороди палисадника.

Сумерки быстро затушевывали луга за рекой, сиреневую полосу далекого Баронского леса. Звуки стали редкими и вялыми. С реки потянуло прохладой.

Петя всей грудью вдыхал эту вкусную прохладу, ощущал скывающую тело вечернюю благодать, и ему было хорошо.

В Бельмове вряд ли кто мог бы точно сказать, сколько Пете лет, — всем казалось, что он живет вечно. И сам он не знал, поскольку ничуть в таком знании не нуждался. На вид же ему можно было дать не больше сорока. Говорить Петя не умел, лишь невнятно мычал некоторые слова, подкрепляя их жестами, но в селе понимали его без особого затруднения. Зато слышал хорошо и все радостное и доброе вокруг — в природе и людях — угадывал чутко и оценивал правильно, с тихой, но сильной любовью. Очень остро переживал зло человеческое, но разбирался в нем плохо. Если оно было откровенным, ничем не прикрытым, то вызывало у Пети ужас, подобный тому, какой вызывает у людей пожар. Сразу рушился отрадный порядок, который Петя ощущал в себе и окружающей жизни. Если же зло являлось хоть немного замаскированным, то он видел и принимал за правду одну лишь маскировку, а самого зла распознать не мог. Это и отличало Петю Нестерова от всех прочих жителей Бельмова.

Никто не помнил, когда и как он пристрастился к пастьбе, но знали, что лучше Пети пастуха не найти. Отобьется от стада какая-нибудь блудливая буренка — и Петя, пригнав коров в село, идет ее искать: бродит в темноте по лесам, полям и оврагам до тех пор, пока не наткнется где-нибудь на своевольную животину.

Однажды утром бабы выгнали коров и увидели Петю, который вел на веревке корову Зинки Кругалевой, — он искал ее всю ночь. Даже домой зайти ему не удалось. Мать вынесла узелок с едой, Петя положил его в сумку и погнал стадо на пастьбу.

Он оставял коров на подпаска лишь в те дни, когда в селе кто-нибудь умирал или играли свадьбу. На похоронах Пете неизменно давали крышку гроба, и он нес ее на голове до самого кладбища. Когда начинались поминки, его сажали в передний угол. Петя выпивал стопку, не больше, и ни к кому не лез. Ел вкусные поминальные щи и молча плакал. Глядя на него, плакали остальные. Так было всегда.

Во время свадьбы Петя в дом не заходил. Устраивался на ступеньках крыльца и ждал. Кто-нибудь обязательно выносил на тарелке стаканчик водки и закуски. Петя выпивал, кричал радостно и закусывал. Поднявшись, он показывал рукой на полметра от земли, потом широко разводил руки в стороны и кричал: «Де-е-е!» Это означало: «Чтобы много детей было у молодых!» Срывал с головы выцветшую кепку, ударял ею о землю и начинал плясать беспорядочно и долго.

...На столбах вспыхнул свет. Послышались приближающиеся голоса и смех, и вскоре с Петей поравнялась компания бельмовских парней — человек пять. Из их громкого разговора Петя понял, что идут в какую-то деревню на танцы.

— Петя! — повелительно крикнул белобрысый развязный Митя Нюрин, прозванный так за то, что был у матери один и отца никогда не имел. — Хватит сидеть в гордом одиночестве! Подь сюда!

Петя послушно подошел.

— Пора тебя в люди выводить! — продолжал Митя, ударяя его по спине. — Пойдем с нами в город. Мы тебе там невесту найдем!

— Пойдем, Петя! Не раздумывай! Пошли! — даваясь от хохота, зашумели ребята.

Петя что-то замычал, и Нюрин вознес указательный палец вверх:

— Он согласен!

Последовал новый взрыв хохота, Петю обняли с двух сторон и повели. Он сначала упирался, а потом постепенно проникся всеобщим весельем и шел уже без принуждения. Задавая вопросы, на которые Петя ответить не мог, и гыгыкая на всю округу, прошли километра три. Тут Пете захотелось по нужде. Хлопнув Митю Нюрина по плечу, он попросил: «Ди-и-и!»

— Все ясно, — сказал Митя. — Жди, говорит... А чего ждать? Мы, Петя, пойдем, а ты на ногу быстрый, догонишь. Держи вон на огни. — Митя ткнул пальцем в сторону неясного зарева на горизонте слева от дороги. — Точно придешь.

Все опять захохотали...

Когда Петя вышел из-за кустов, голоса ребят совсем затихли в темноте. Только дергач одиноко скрипел неподалеку. Петя, опустив голову, постоял немного в раздумье, потом выпрямился и, решительно свернув с дороги, пошел через овсы на далекие огни, мутно-красной полосой расплывшиеся по горизонту. Сапоги, давно прохудившиеся, сразу промокли от росы, зачмокали и захлюпали. Шел он долго. Овсяное поле сменилось картофельным, и на подошвы сразу налипла глинистая земля — картошку недавно окучили. Идти стало тяжелее. Потом кончилось и это поле, начался закустаренный луг, а Петя все шел и шел, натываясь на кусты и падая, спускаясь в ямы и поднимаясь на холмики, упрямо держа курс к центру зарева огней, которое стало теперь выше и охватило впереди весь горизонт.

Вдруг нога ощутила пустоту, он полетел вниз и с громким всплеском, потревожившим тишину далеко вокруг, бухнулся в воду. Под воду ушел с головой, но сразу почувствовал дно и, болтая руками, выпрямился. Было по грудь. Петя начал шлепать руками по воде — искал кепку. Она плавала рядом. Надев кепку и оглядевшись, узнал старицу. Вода тускло поблескивала. Раза два за всю жизнь он бывал здесь, но на том берегу старицы и дальше не был никогда.

Петя постоял в воде, раздумывая, потом натянул на уши разбухшую кепку, оттолкнувшись от дна, бросился вперед и тяжело поплыл в лунном свете, отплеываясь и задыхаясь.

Когда коснулся ногами дна у противоположного берега, силы уже оставляли его. Петя, качаясь, выбрался из воды и лег. Он дрожал и отдувался. Отдышавшись, снял сапоги и вылил из них воду. Потом разделся, с кряхтением выжал по порядку всю одежду и опять облачился в нее. Поднявшись наверх по береговому откосу, он вновь увидел море света. Самые крупные огни уже различались. Ходко, чтобы согреться, двинулся дальше, прямо на них. Земля была незнакомой. Луга кончились, пошло травяное поле. Петя прошел его, и местность стала заметно понижаться. Встречались деревья, и на некоторые из них Петя натыкался, больно ушибаясь. Ему начинало казаться, что шел так всегда. О ребятах Петя совсем забыл. Его манили огни. Так ночная бабочка летит на свет.

Пологий спуск продолжался, все уже становилась полоса огней

впереди, и от этого Петю охватила тревога. Когда огни исчезли совсем, он застонал от тоски и шел теперь лишь на светлое небо. Луны больше не было, и в темноте, обдираясь о кусты, Петя скатился в речушку, от которой воняло чем-то незнакомым. Она была мелкая, ниже колен, и Петя легко перешел ее.

Земля опять пошла вверх. Под ногами все чаще гремели какие-то железки, скорее всего консервные банки. Снова появились огни, совсем близко. Они разрастались, заполняя светом все впереди. Справа изредка слышался шум проходящих машин

Петя оглянулся. Сзади занимался рассвет...

Стало совсем светло, когда он поднялся на возвышение неподалеку от шоссе и с изумлением оглядел открывшиеся перед ним громады большого города.

Петя знал только свое село, реку, луга, поля да леса вокруг и никогда не был в городе. Лишь из разговоров понимал, что город — это где много людей, домов и вообще много всего, особенно начальства в галстуках.

Теперь он понял, что перед ним и есть тот самый город, и почему-то совсем не испугался, а вышел, все больше изумляясь, на шоссе и краем, сторняясь редких, обдающих ветром и гарью машин, пошел к городу.

Шоссе переходило в длинную пустынную улицу, прямую, как стрела, с высокими многоэтажными домами. Солнце уже поднялось и отражалось в их многочисленных окнах. Петя сначала никак не мог догадаться, что это дома, настолько они были непохожими на те, которые он знал. Он шел по тротуару и, задрвав голову, осматривал все сверху донизу. На одном из балконов появилась пожилая женщина и стала трясти что-то белое. И тогда, поняв, что за каждым окном кто-то живет, Петя внутренне поразился такой многочисленности.

Он прошел всю улицу и свернул на другую. Дома тут были пониже. Стали встречаться люди. Они шли, равнодушно глядя на человека в дырявых рыжих сапогах, в порванных выгоревших штанах и линялой рубахе. Некоторые, правда, удивленно вскидывали голову, поражаясь синеве добрых глаз на заросшем жесткой щетиной лице.

Улица наполнялась ревом машин, все начинало шуметь и двигаться.

Проходя мимо распахнутых решетчатых ворот одного из домов, Петя заглянул в глубь двора и увидел под густыми высокими деревьями столик, обставленный скамейками. И тут же вдруг почувствовал страшную усталость. Шаркая подошвами, вошел он во двор, сел на скамейку и уронил голову на стол. Навалилась дремота. Петя лег на скамейку, положив кепку под голову, и тяжелый сон моментально сковал его.

Проснулся от толчков и долго не мог сообразить, где находится. Толстая женщина с накрашенными губами толкала его в бок детской лопаткой и кричала:

— Вставай и катись отсюда! А то враз милицию вызову! Налижуются с утра и шляются где попало. Дети кругом, а им наплевать. Давай, давай, катись отсюда, чего бельмы-то вылупил!

Петя встал, вспомнил все сразу и пошел со двора, испуганно оглядываясь.

Выйдя на улицу, он опять поразился множеству людей и машин, неистовый шум оглушил его. Люди шли толпами, толкаясь и спеша, врывались в автобусы, вываливались из других автобусов — с жердями на крыше, — и Пете все это напоминало грохочущие шестерни и ремни гигантского самоходного комбайна.

Его несколько раз больно толкнули, и он шел теперь вдоль самых стен. Неожиданно вспомнил о коровах, о том, что надо гнать стадо, и чуть не застонал от тоски и тревоги. К тому же очень хотелось есть.

За стеклом одной из витрин он увидел банки с консервами. В

открытую настежь дверь входили и выходили люди. Петя зашел в магазин. Там было полно народу. К прилавку, извиваясь, тянулась длинная очередь. Продавщица, вся в белом, вдруг закричала, и очередь зашумела, заволновалась. Петя, вытягивая шею, протолкался поближе к прилавку. На весах лежали два ошипанных синеватых цыпленка. Продавщица кричала на женщину, стоящую у прилавка:

— Выбирать она еще будет! Заводи свой курятник да и выбирай! Сказано — все одинаковые! Берешь так бери!

— Не задерживайте очередь! — крикнули сзади.

— А почему это выбирать-то мы не имеем права?! — прогреготал мужской бас.

И все загалдели так, что Петя испугался и, пятась, быстро выбрался из магазина. Он постоял, покачал головой и пошел дальше, прижимаясь к стенам домов.

Улица привела на большую площадь, в центре которой высился памятник. Петя замер, потрясенно разглядывая огромную гранитную фигуру, но его задела сумкой, потом толкнули в спешке, и он покорно побрел мимо памятника, подхваченный нескончаемым людским потоком. Даже не заметил, как оказался на неширокой, с невысокими домами, но очень людной улице. Здесь было много магазинов. Петя рассматривал разодетые манекены и, убеждаясь, что люди эти неживые, все больше изумлялся. В одном из магазинов звучала музыка.

Потом толпа втащила его в грязный узкий переулок, который полого спускался вниз. Переулок вывел на площадку: слева от нее был овраг с какими-то непонятными деревянными строениями, а справа, притулившись к грязным стенам домов, стояли киоск и длинный двускатный навес на столбиках. Вокруг киоска и под крышей навеса толпились мужики. Приблизившись, Петя увидел, что они пьют из больших стеклянных кружек пенистую темную жидкость. Иногда воровато посверкивали над высокими столиками бутылки. Было много пьяных, слышались ругань и громкий смех. У столика, к которому подошел Петя, двое пили из кружек и рвали руками копченую рыбу. Один все время поправлял яркий зеленый галстук, оставляя на нем жирные пятна.

— Я ей говорю: ты — гнусь! — ударив по столу кулаком, крикнул тот, что в галстук.

— Да плюнь ты на нее! — лениво успокаивал его товарищ.

Петя глянул на рыбу, и рот его наполнился слюной. Он сглотнул. Как раз в это время на него посмотрел мутными глазами тот, что в галстук.

— Ты чего облизываешься, шаромыга? Пошел отсюда! Только и ждут как бы стибрить! Пошел отсюда, козел!

Острая обида сразу заглушила у Пети голод. В Бельмове никогда никто так грубо с ним не разговаривал. На глазах выступили слезы. Он отошел, посмотрел на этих мужиков и крутнул пальцем у виска. Тот, что в галстук, рванул к нему и зарычал:

— Я те шас покажу, падла, допрыгаешься у меня!

Другой схватил товарища за руки и стал уговаривать:

— Да плюнь ты на него! Нужны они... А ты пошел отсюда, пока тебе кислород не перекрыли! — замахнулся он на Петю.

Петя побрел обратно по переулку. Начинал накрапывать дождь.

Выйдя на широкую шумную улицу, Петя, слегка покачиваясь, снова двинулся вдоль домов. Остановился передохнуть у дома с длинными ступенями и гладкой блестящей площадкой перед большими дверями и долго разглядывал картины, укрепленные на столбиках справа и слева от здания. На одной из картин Петя увидел коровью морду и опять с острой тревогой подумал о стаде.

Дождь усиливался. По ступеням поднимались и входили в двери люди. Петя тоже поднялся и вошел. У маленьких окошек стояла оче-

редь. От окошек люди с синими бумажками в руках направлялись в дверь, около которой стояла женщина и отрывала у бумажек края. Петя понял, что это кино. Он иногда ходил в кино в Бельмове, и билет у него никогда не спрашивали, и тут спокойно направился вместе со всеми мимо женщины.

— Стойте! — схватила она его за рукав. — Ваш билет? Да вы же пьяный и в таком виде! Отойдите, не загораживайте проход! — и брезгливо толкнула в грудь.

Петя стоял, ничего не понимая.

— Товарищи! Помогите, что же вы! — продолжала кричать женщина.

Подошел высоченный длинноволосый парень в узких штанах и с блестящей цепочкой на шее, взял Петю за шиворот и поволок к выходу. Петя не сопротивлялся...

Дождь прекратился. Рядом стояла скамейка из реек, и Петя устало опустился на нее. Кепку он держал в руке. Голова у Пети была седая. Он сидел, склонив ее, готовый замычать и завывать от тоски. Проходящая мимо морщинистая старушка в темной одежде задержалась, порылась в сумке и что-то сунула ему в кепку. Петя поднял голову — старушка уже уходила. Раскрыл кепку и обрадовался, увидев светлую монету. На нее дадут хлеба. Петя зажал монету в кулаке и пошел дальше — искать хлеб.

Долго брел он, вглядываясь в витрины и иногда заходя в магазины, но хлеба нигде не было, и внимание привлек красивый большой дом из серого камня с тяжелыми массивными дверями и высокими окнами. Почему-то показалось, что там скажут, где хлеб. Петя взялся за толстую фигурную ручку, потянул на себя дверь, и она сразу же тяжело пошла на него, словно хотела отодвинуть в сторону. Кое-как справившись с дверью, Петя вошел и с удивлением ступил на широкую лестницу из гладкого белого камня, покрытую ярко-красной ковровой дорожкой. Никого не было, и он стал подниматься наверх. Когда, качиваясь от усталости и оглядывая все вокруг, уже почти поднялся на площадку первого этажа, сбоку из коридора вышел толстый мужчина в черном костюме и галстук. Он хотел спуститься по лестнице, но, увидев Петю, остановился и, слегка отпрянув, спросил, строго глядя с высоты:

— Вы к кому, товарищ?

Петя протянул вверх руку, разжал кулак, в котором была монета, и сказал:

— Ле-е-еп!..

— Черт-те что! Вам спать надо! — проворчал мужчина.

В это время на площадке показался старик вахтер.

— Почему вы бродите черт знает где?! — закричал на вахтера толстый мужчина. — Вас разве для того сюда поставили, чтобы в учреждении всякие алкоголики шлялись?

— Виноват... Отлучался... — ответил старик и, бросившись к Пете, схватил его за руку и потянул к выходу.

Тот вырвал руку, а старик споткнулся и сел на ступеньки. Пете стало жалко старика, и потому, обернувшись к толстому мужчине, он широко развел руки в стороны и проревел:

— Во-о-о! — Это означало, что мужчина толстый, потом указал на галстук: — Нашаль! — И ударил себя кулаком в лоб: — А гаго дужак!

Вахтер поднялся и опять хотел схватить Петю за руку, но Петя не дался и, от обиды позабыв про усталость, быстро спустился вниз и вышел на улицу.

Злая равнодушная жизнь пронеслась мимо. Ушел недалеко. У тротуара с визгом затормозила желтая машина, из нее выскочили милиционеры и, заломив Пете руки за спину, быстро затолкали его внутрь. В машине двое сели по бокам. Петя угрюмо молчал.

В милиции у него потребовали документы. Петя что-то мычал и разводил руками. Одна из них была сжата в кулак. Ее разжали.

— Ле-е-еп! — силился объяснить Петя.

— Двадцать копеек... — сказал сержант. — Ничего не пойму. Вроде пьяный, а вроде и не пьяный. Может, притворяется? Как тебя зовут? Как фамилия?! — начал он трясти Петю.

— Пе-е-е!.. Несте!.. — несколько раз обессиленно прокричал Петя. Ему хотелось, чтобы они поняли.

— Петля Нестерова... Черт знает что. Я вот те шас врежу — ты у меня выпишешь петлю Нестерова!

— Не психуй, — сказал другой. — Вдруг больной человек. Ты лучше прозвони все отделы, опиши его, может, кто из ребят о нем знает.

— Рябухин, Мурашов! — высунулся из-за перегородки третий милиционер. — Гоните на Выбелку — там драка!

Петю взяли за рукав, отвели в грязную с зарешеченным окном комнату и заперли за ним дверь. На полу сидел мужик с разбитыми губами и разодранной щекой. Петя сел в противоположный угол, вытянул ноги и глубоко вздохнул.

— Чего вздыхаешь? — спросил избитый. — Где это тебя взяли, такого голубя?

Петя что-то замычал, пожимая плечами.

— Э-э-е, — продолжал избитый, — да ты совсем немой.

— Ле-е-еп!.. — грустно сказал Петя, показывая на свой рот, и задвигал челюстями.

— А, хлеб... Жрать хочешь... Я тоже хочу. Дождешься здесь...

Петя посмотрел на окно. На улице темно. Он лег, положил под голову кепку и сразу заснул. Приснилось стадо — коровы зашли в овсы, и никак не удавалось их выгнать. Петя плакал от отчаяния.

Когда проснулся, в комнату сквозь решетку рассыпчато падало солнце, а избитый одиноко ел хлеб с колбасой.

— Сильно ты, брат, плакал во сне, — сказал он. — На вот поешь — мне передачу принесли. — Отломил хлеба, колбасы и подал.

Петя замычал благодарно и стал торопливо есть, проглатывая почти не жеванные куски.

— Не торопись, а то подавишься.

Петя посмотрел на него и улыбнулся. Избитый улыбнулся тоже.

— Глаза у тебя, брат, хорошие. Добрые глаза. А мне, видать, каюк.

Загремел замок, дверь открылась, и вошел вчерашний милиционер, а за ним человек в белом халате.

— Вот он, этот. Обзвонили все отделы — в городе его никогда не видели. Вроде ненормальный. А может, притворяется. Вы уж посмотрите.

— Принесите стул и можете идти, — сказал врач.

Когда стул был принесен, человек в белом сел и стал задавать Петю примерно те же вопросы, что задавали милиционеры, и внимательно следил за ним.

— Отец, мать есть?

— Ма-а, Ну-у-у, Ва-а-а, — загибал Петя на руках пальцы.

Задав еще несколько вопросов, врач встал, вздохнул и постучал в дверь. Милиционер открыл, взял стул, и они вышли. За дверью врач сказал:

— Ненормален, конечно... Недоразвит. Но для общества не опасен. Я думаю, у него есть семья.

— Значит, вам он не подходит? — спросил милиционер.

— Спасибо, у нас хватает. Вы лучше поищите его семью...

— Да ищем, ищем...

— До свидания.

Весь этот день сидел Петя в милиции. К вечеру в комнате-камере было уже человек семь. Один, пьяный, колотил в дверь и рычал. Потом

успокоился, уснул на полу. Избитого куда-то увели. Днем ему кто-то еще приносил еду, так что Петя был почти сыт.

Ночью Пете опять снились коровы, которые не слушались, и снова он рыдал от бессилия и что-то громко мычал во сне. Его несколько раз толкали и будили:

— Заткнись, фраер! Ни спать, ни мыслить не даешь!

Он смотрел с ужасом, не понимая, где находится.

Утром за Петей пришел сержант и, поманив пальцем, провел по коридору, впустил в комнату с кожаной дверью. За столом сидел седой милиционер с большими звездами на погонах.

— Садись,— сказал он Пете.

Петя сел, и ему стали задавать все те же вопросы:

— Как тебя зовут?

— Пе-е-е... Несте...

— Петя?

Он радостно закивал головой.

— А где ты живешь?

— Бемо-о-о...

— Бельмо. Какое Бельмо? Ты работаешь?

Петя опять закивал:

— Та-до-о-о, та-до-о-о!..

Он встал и, размахивая рукой над головой, показал, как хлопает кнутом, когда пасет стадо.

— Стадо! Ты пастух?

Петя замычал, заулыбался и замахал руками от радости, что поняли. Его усадили.

— Вот что, Свистунов, — сказал сержанту начальник.— Возьми-ка ты его да поводи по базару. Там сейчас со всех деревень народ, овощ пошел. Может, кто признает парня.

...Петя с сержантом прошли почти весь базар, и все без толку. Сержант зевал, а Петя, увидев деревенских, их корзины с огурцами и помидорами, с острой болью затосковал по селу, и тревога за стадо в который раз сдавила ему горло.

В базарном шуме Петя не сразу услышал, как женский голос окликнул его. Потом окликнули снова, и он оглянулся.

— Петя! Родной ты наш! — К нему, хромя, катилась бабка Зиновьяха.

Петя бросился к ней, обнял и заплакал.

— Роденький ты наш!..— причитала бабка.— Вся деревня по тебе плачет! Думали, совсем ты у нас пропал... Коровы все разбрелись кто куда. И как же ты, родимый, сюда попал-то? Вы небось виноваты, идолы! — набросилась она на сержанта.— Хватаете и правых и виноватых! А у нас гибель без него!

— Не ори, бабка,— отступил милиционер, оглядываясь.— Доставишь, что ли, его?

— А то не доставлю! Как обрадуются-то! Думали ведь — сгинул вконец! Петя ты, Петя! Кормилец наш!

— Ну, тогда я пошел.— И милиционер растворился в толпе.

Зиновьяха повела Петю к своим корзинам с огурцами, подставила ему скамеечку, положила на нее мешок.

— Садись, Петя. Голодный небось. Глаза одни остались да щегина. На-ко вот, поешь скорей,— суетливо развязывала она узелок.— Тут и яйца, и свининка, и молоко...

Петя стал есть, улыбаясь и вытирая слезы рукавом.

— Я в момент управлюсь, и поедем с тобой. А то все по тебе плачут. А уж мать-то — что и говорить...— кудахтали Зиновьяха.

В Бельмово ехали по Оке на катере. Петя рассказывал Зиновьяхе о своих мытарствах как умел, и она свободно понимала его, качала головой и возмущалась:

— Да одни идолы и огарки живут в этом городе! Упекут — и не

пикнешь! На-ко вот, Петя, пирожок, поешь еще, с повидлой ведь пирожок-то. Изголодался ты весь...

Мимо поплыли знакомые места, и Петя заволновался, встал и вцепился в поручни. Он, сморщив лоб, смотрел в луга, по которым гонял стадо, а когда вдаль показались крыши Бельмова, из глаз опять покатались крупные слезы. Петя сел, склонил голову, потом с силой ударил себя кулаком в лоб и прокричал сокрушенно:

— Гаго гя дужак!

— Не плачь, Петя, не плачь...— утешала его бабка Зиновьиха.— Никакой ты не дурак. Со всеми бывает. Ясно дело— плохо без родной земли.

На пристани стояли конюх Матвейч и Евгений из правления.

— Петя?! Нашелся! Господи ты боже мой!— закричал радостно Матвейч.

— И ды пякаль?— спросил Петя.

— И я плакал! Все село плачет! Так-то вот без тебя. Где же это ты запропал?

Петя ударил себя кулаком в лоб:

— Гаго гя дужак!

— Ну будет, будет тебе! Это Митя Нюрин дурак.

— Вот нашла Петю нашего,— гордо сказала Зиновьиха.— Оголодал, правда, малость.

Они шли по селу, и отовсюду подбегали люди, радовались, что Петя нашелся. И каждого он спрашивал:

— И ды пякаль?

И ему отвечали:

— Плакали, Петя, все плакали.

Он бил себя кулаком в лоб и говорил:

— Гаго гя дужак!

Прибежала мать, обняла Петю, попрочитала, и они пошли домой.

По дороге встретился пьяный Митя Нюрин. Он, качаясь, подошел к Пете, рванул на груди рубаху и сказал:

— Петя! Суди и режь!

— И ды пякаль?— спросил Петя.

— Я и счас плачу!— И Митя Нюрин упал на траву, начал реветь и грызть землю.

— У, супостат!— топнула ногой Петина мать.— Камень тебе на шею да в Оку! Пойдем, Петя, пойдем, родимый.

И Петя сказал:

— Гаго гя дужак!..



ЮРИИ РАЗУМОВСКИЙ

★

Осколок

Шли бои у Старого Оскола,
Шли уже на самом берегу,
И вот тут, наткнувшись на осколок,
Наш сержант споткнулся на бегу.
И в тылу, за тыщи километров,
Где-то там, в сибирской стороне,
Словно бы разбуженная ветром,
Застонала женщина во сне...

• •

Не могу я спектакли смотреть о войне,
А военные фильмы тем паче —
Просыпается жалость такая во мне,
Что сижу пред экраном и плачу.
Кто войны не хлебнул, тем вовек не понять
Наших душ, бесконечно ранимых, —
В каждом фильме друзей мы хороним опять,
В каждой пьесе теряем любимых.
Ничего, пусть поплачет солдат — не беда.
Меня больше, признаться, тревожит
Не такой человек, что всплакнет иногда,
А такой, что заплакать не может.

ЮРИЙ ВИГОРЬ

★

СВОЙ ПОЧЕРК

Рассказ

В конце марта у нас под Москвой весна уже в полной силе, на лесных прогалинах влажно чернеет земля, остро пахнет прелью, отмякшей корой, а здесь, на Баренцевом море у Полярного круга, дни еще коротки и пасмурны, развидняется почти что к полудню.

«Веретье» означает по-местному сухое урочище среди мокрой тундры, отсюда и пошло название деревушки. Около сотни изб в два порядка, высятся колокольня на отлогом угоре, синеют густо просмоленные карбасы на песчаном берегу Печоры. С норда еще скованная льдами Болванская губа, на восток тянется гряда холмов Вангурейского хребта, а на запад бескрайняя тундра с бесчисленными мелкими озерами вплоть до Канина Носа. Лесов поблизости от устья нет, кругом одни моховые болота. Хоть топляка наносило прибылой водой вдоволь, а годился он только печи топить; избу с него не сладишь, разве ленивый хозяин изладит сараюник. Избу поставить, карбасочек срубить — за лесом для этого хаживали по зимнику в верховья, почти к Усть-Цильме, а летом плавили рекой в деревню. Дома строили просторными, крепкими, рубленными из красного стояна; снизу подвальши и клетки, выше зимние горницы, а сверх того еще летние, крытые тесом, окошки изукрашены резьбой, расписаны киноварью и охрой. Народ здесь живет малоразговорчивый, смиренный, отличающийся редким гостеприимством.

Как-то по весне я возвращался со стороны устья в Нарьян-Мар и завернул по пути проведать Веретье.

В тундре оглаженный ветрами до блеска наст, или — как говорят местные жители — нарокуй, прочно сковал все, сровнял под собой озера, кочкарник, болота. Сиротливо стоят на склоне распадков одинокие приземистые березки, словно замершие в оцепенении среди белой пустыни. И проезжая мимо, невольно приглядываешься к ним — не человек ли, не махнет ли рукой, не позовет ли на помощь. Но нет, недвижимо застыли заиндевелые деревца. Не шелохнется на ветке поджидающая добычу полярная совка. Чутко слушает мертвую тишь, которая затопила все окрест. И кажется, какая-то печальная загадочность в этом гнетущем безмолвии. Хочется нарушить его, пронзительно крикнуть, но слабое эхо тотчас вязнет в снегах, и еще острее сознаешь свое бессилие перед гибельной протяженностью на сотни и тысячи километров окрест.

Одиночество вдали от людей становится еще тягостнее, и спешишь скорее в деревню.

...Не успеешь за делами оглянуться, пройтись после обеда к морю и вернуться назад по узкой от сугробов улочке, как снова наплывает темень. Вон дрогнула одна, другая звезда, третья, словно непрочный свод пробивает капелью, и вот он сквозит уже желтоватой проталиной там, где виден щербатый, словно наполовину оттаявший сколок месяца.

И сколь отратно и уютно покажется после морозной темени в уютной просторной избе, где в сенях и на повети стоит какой-то особенный запах от сетей, рюж, отдает смолистым духом от стружек, от нового карбаса, который мастерит вручную хозяин дядя Аристарх. Ему уже за семьдесят, он кряжист и сух, волосы густы и белы, как куропаچه крыло. В море он давно не ходит из-за радикулита, постоянно носит широкий пояс из собачьей шерсти под замашной рубахой и уверяет, что это первейшее средство от всякой простуды.

На всю деревню здесь два карбасных мастера, кроме дяди Аристарха, есть еще Яков Прялухин, мужик громадного роста с огненно-рыжей бородой.

Дядя Аристарх строит карбасы по-старинному, на вицах: прошивает бортовые доски ивовыми прутками, которые распаривает в горячей воде. Сработанному напрошив карбасу нет сносу, течи в нем никогда не бывает. На корги, то есть киль, переходящий в форштевень, он выбирает особую ель с кривым комлеватым корнем, которую выдерживает до сухого звона. Прялухин же строит по-быстрому, с горячего топора, шьет на гвоздях, не утруждая себя морокой, не заставляя заказчика дожидаться подолгу. А цена за новый карбас все равно в деревне одна: пятьсот рублей. Хоть деньги и немалые, но на весеннем лове оправдываются в короткий срок.

— Дядя Аристарх, ну зачем вам эта лишняя забота с вицами, делали бы на гвоздях, — заметил как-то я, когда работа у него подходила к концу и он прилаживал к борту отбойный брус из мореной ели. — Деньги ведь берете за карбас те же, что и Прялухин.

— Да как тебе сказать, — протянул он задумчиво и откинул небрежным жестом липнущую на лоб прядь волос. — Проще-то оно конечно, ежели на гвоздях по-быстрому лепить. Дак всякий труд должен быть еще и по сердцу, стараюсь ить не для одного только заработка. Пенсии на прокорм нам со старухой хватает, голова не болит, чем ли кормить себя, поить. Да и без рыбы все ж не сидим, полно ее в озерах. Ты вот говоришь, цена у нас за работу одна. Верно! А мне удовольствие в деле? Тоже, значит, надо брать его в расчет. Ремесло, оно ведь может быть и в тягость и в радость. Да и не с руки мне почерк менять, не льстит это.

Позже я понял, что ошибался, подумав, что он так старается из честолюбия, чтоб добрая молва о его мастерстве шла по всему побережью. Дядя Аристарх был не простой ремесленник, а можно сказать, поэт своего дела, творил «по живому дереву», как говорили о нем односельчане. И, может быть, не стал бы он браться за другую работу, плати ему за нее втридорога.

Прялухину же было все едино: что баньку соседу срубить, что гроб сколотить, что карбас сшить. Лишь бы платили подходяще. Дядю Аристарха он считал чудачком, изредка подтрунивал над его излишним «баловством» в работе.

Как-то весной в один из воскресных дней мы сидели и покуривали на крылечке с дядей Аристархом, а Прялухин чинил через два дома в соседнем порядке крышу старой избы.

— Вот он поет на крыше, тюкает да потюкивает топориком, а мне уж на верхотуру не забраться, голова кружится, — говорил дядя Аристарх. — А он ведь моложе меня всего на пять лет, в одном месяце родились даже, в сентябре, только он второго, а я двенадцатого. Поглядеть на нас, так я против него совсем старик, даром что у меня волосы еще на голове не выпали, а у него плешь во все темечко. У них, у Прялухиных, все мужики в роду плешивы были, потому и понаулоч-

ное прозвание — Лысы. В прежние года все плешивы мужики окрест в поморских деревнях были наперечет, доставалось им, особливо как застанет в морюшке рыбаков безветерь. Тебе, может, и смехом поверья наши стары покажутся, а было времечко — на парусных шхунах еще тогда в море хаживали — опрокиднями их считали, силу им особу приписывали. Старики испокон верили, и мы той веры держались. Издревле свои приметы да обычаи у нашенских моряков и рыбаков. Вот был обычай, как говорится, «рубить плешивых», чтоб попутный поветерь задул. Природа наша на краю земли расположена, от погодушки вся жизнь зависит, шалоник ли, полуношник ли задует, где, когда застигнет прибылая вода. Ну да я чередом тебе все обскажу.

Пошли мы артелью однова на шхуне «Натура» промыслить об летнюю пору. Ловили снюрреводом, невод такой норвежский на треску. Почитай, две недели проваландались в Баренцевом, а все без толку, как отрузило от нас удачу. А тут штиль еще лег, море лосо, как стеклышко, паруса обвисли, заскучал народ. Добро хоть чуть голоменнее, то есть морее острова Колгуева были. Стали кое-как на веслах огребаться, к берегу подошли, воды родничковой взяли. День стоим без дела, два стоим. В глазах времениться начало, видения разны в облаках над водой. Со скуки и муха об стекло биться станет, а человеку без дела совсем худо, оголодали бы, не прихвати один из мужиков с собой ружье да сколько-то пороху и дробу.

Народ у нас разный подобрался, многие еще покрученниками хаживали, издревле обычаи хранили. На третий день кормщик наш, Петр Артемьевич Извеков из деревни Виски, и говорит, видя, что дело худо: «Что ж, братцы, надо рубить плешивых, на них одна надежда, чтоб попутный поветерь задул. Не иначе как их рук дело, напустили на морюшко блазень... Строгайте палку да садитесь кружком, вспоминайте каждый плешивых мужиков в своих деревнях. Да не утаивайте, ежели кто из родни! Будем зарубки делать. Сорок надо в аккурат».

А из нашей деревни в артели трое было — я с братилой покойным да Яшка Прялухин. Яшку на улице сызмальства дразнили: «На плешь капнешь, по плещи тяпнешь, волосья секутся, округ плещи вьются, сопля текут — Яшке капут».

А он еще вьюношей рьяный страсть был. Чуть кто ему обидное слово — сейчас с кулаками драться.

Глянул он со значением на нас с братилой, чтоб сродственников его не выдавали, не подпускали под хулу.

Петр Артемьевич говорит: «Из нашей деревни у тебя, Иван, отец плешив, да дядька плешив, да старший брат — три зарубки метим. Прокофий Матвеевич, да Зиновий Матвеевич, да два брата Котцовы — семь уже...» Стали всех других по памяти перебирать. Свара зачалась, каждый сродственника обминуть старается, да другие напоминают. Сорок зарубок надо сделать, по обычаю, на той палке, что плешивиной зовется. Тридцать пять затесали, пять недостает, а никто больше упомянуть не может. Мы с братилой голоса не подаем. Яшка тоже сидит молчком.

«А что ж вы не объявите своих плешивых мужиков? — повертывается к нам Петр Артемьевич. — Не может того быть, чтоб в вашей деревне плешивых мужиков не было. Ну-ка пораскиньте хорошенько мозгами!»

Братило мой возьми и ляпни про Прялухиных. Я глазом моргнуть не успел, как Яшка ему булдырь под глазом наставил. Тут уж меня не на шутку проняло. Кричу: «Братцы, дак ведь Яшка сам плешив, как и родитель и дядька евоный. Пусть скинет шапчонку — дак и поглыньте».

Расцарапались тут мы, расташили нас, сдернули с Яшки шапку. А он выдирается, орет благим матом как скаженный: «Врет он, мужики, я сам хоть и плешив, а у родителя все волосья целы, ни один с головы не повыпал».

Не столь себя жалковал, дядьев да братьев, как об чести родителя пекся, значит. Не хотел, чтоб зря хулили.

«Э, Яшка,— говорит Петр Артемьевич, — да у тебя на темечке такая сверковка, будто полный месяц пекет. Глазам глядеть больно. Не иначе как ты и напустил блазень. Только невдомек мне — какая тебе с того корысть? Сам ведь без рыбы на зиму останешься. Чем семью кормить будешь?» Отпустили его, отошел он в сторонку, меня с братиной глазами буровит, кулачищем грозит.

С евонными сродственниками и набралась полная сороковка плешивых. Ладно, сделали зарубки, воткнули ту палку сажень в двух от берега. Рядом Яшку поставили, а мужики гурьбой неподалече собрались на обсушном месте да и спочали каждый на свой лад плешивых крестить на чем свет стоит: «Дуйте, плешивые, работайте, нагоняйте поветерь с норда, чтоб пусто вам было, чтоб девки да бабы вас не миловали, чтоб трясовица забрала!»

Тут уж всяк рад был расстараться на свой манер. Были такие шаболдники, что очень художественно изгилялись, обкладывали плешивых матерными словечками и сзади и спереду. Сутки стоим, двое, и все ругаем. Зло разбирает, потому всякому терпению предел предположен и надо об промысле заботиться, а тут времечко без толку уходит, паруса висят не шелохнувшись, как портки на повети. Позволяли Яшке на берег выйти только по грубой нужде. Истомился он, а мы знай покрикиваем, чтоб нагонял поветерь спопутный. Но уж как задуло, зафурайдало в парусах — тут для всех радость, быстрее выбирай якорь, красней от натуги, товарищ, себя не жалкуй. В голомень, в открытое море ударялись наверстывать упущено. А опосля штиля, скажу тебе, завсегда страшенно ловилось, опруживали в трюм полный снюрревод. Столь рыбы, что борта через край полнились...

...Слушать рассказы дяди Аристарха можно было часами, не рискуя соскучиться. И чего только не повидал он на своем веку, ходил на шляках и в Баренцево, и под Терский берег, и в Норвегию. Несколько раз едва не утонул, затирало их суденышко во льдах, три недели носило в дрейфе. Чтобы не погибнуть, разломали на дрова палубу и часть рубки, жгли тюлений жир в крохотной печурке. Иной бы вспоминал об этом с невольным содроганием, отбило бы на всю жизнь охоту пускаться в море. Но для поморов в этом не было ничего чрезвычайного. «От своей судьбы не уйдешь,— говаривал дядя Аристарх.— Кому суждено умереть на печи — в море не сгинет, а смерти бояться, так и на печку залазить боязну».

— Дядя Аристарх, расскажи еще что-нибудь про старину,— просил я его, когда на улице разыгрывалась вовсю непогода и шквальный ветер завывал в трубе.

— Ну тогда доставай столичное курево, давай почадим,— отвечал он.— Тебе небось ежели не соврешь для красного словца, дак не угодишь. Сейчас ведь про нашу старину мало кому слушать охота. У нас по тем давним временам никакой ликвидации неграмотности не было, отсюда и протекали суеверные факты в жизни. Яшке Прялухину из-за этих обычаев стариковских не раз доставалось, потому и стал раньше других атеистом. А обычаи да приметы морски издревле у наших мужиков. Вот, к примеру, слыхал ли, что такое «лечить поплавы»? С середины июня в Печору семга перла с моря завсегда. Ловили ее снастью особой — поплавью. Поднимались вверх по течению карбасочком, бросали сеть веером на поплавах-кубасах поперек реки, так, чтоб полукружием она на воду стелилась, течением плавила к морю, к самой Болванской губе, где на каком-нибудь островке сидел, дожидаясь удачи, у костерка рыбак, коротал время да чаек попивал.

Семга рыба чуткая, пугливая ко всякой малости. Не прет дуруломом на нерест, как горбуша или кета. Ткнется едва мордой в ячею поплави да сразу вбок тут же. Норовит обминуть преграду, ищет свободного прохода. Ежели сеть плавится не полукружием, а ровной строчкой или

забегает вперед одна сторона поплави против другой, ни за что она не уволится, обминет с того края, что отстает. Считай, раскидывал снасть вхолостую. Вот и поди угадай, как кубасы расставить, вычисли умом до самой малой тонкости, где навесить какое грузило, чтоб и за коряги на дне не цепляло, и полукружием снасть аккуратно стелилась. Дело хитрое, наука целая. Иной за день до сотни рыбин в карбас опружит, а у другого причего сколько, хоть в одной и той же реке ловят, рядом стараются. Не объеживается семга, и все тут, отворачивает рыбацкое счастье. А лето коротко, лето зиму кормит. Когда уж тут снасть переделывать. Другому обидно, конечно, зависть берет к соседу. И так и этак старается, а все пусто. Думает — не иначе как на его поплавь дурным глазом призор положен.

А у Нестора Афанасьевича, моего соседа покойного, больше чем у кого другого попадало, везло прямо-таки страшенно. А почему — поди знай. Ну некоторые и пытались «лечить» поплавь, привораживать к себе удачу от другого. Были на то разные средства. Не умом, не сноровкой, да хоть хитростью взять.

Ну раз братило Яшки Прялухина, полное имя ему Анкиндин, а звали попросту Акиндя, ночью подобрался к вешалам с сетями Нестора Афанасьевича да и отчекрыжил по-быстрому с пяток поплавок берестяных, надергал веревочек из снасти, чтоб не особо приметно было, отхватил вдобавок и шкертик. Положил все это в казан, набросал воску да и растопил огонь. А как зачадило, стал над дымом свою поплавь обкуривать, «лечить», чтоб приворожить от удачливой снасти рыбацкое счастье.

Утром стали деревенские на реку снаряжаться, поплави с вешал снимать. Нестор Афанасьевич ничего и не приметил, выехал на своем карбасочке. А Акиндя отправился чуть погодя. Ну, думает, теперь тебе, сосед, достанутся курины титьки да поросячьи рожки.

«Счастлива тебе поветерь!» — крикнула ему баба с берега. А он ей: «Тьфу, дура, чтоб тебе пусто было». Суеверен был, мнителен до всякой мелочи, опасался дурного бабьего сглазу. Отпотчевал матюгами молодку.

Только, знамо дело, «лечение» это не помогло, выловил с полдюжины семг, а Нестору Афанасьевичу опять привалила удача.

Но Акиндя был мужик яровитый. Его хоть в колодец брось — он со щукой в зубах вынырнет. Одно средство не помогло, значит, другое надо испробовать. А сказать тебе, окуривать свою поплавь от чужой зазорным в деревне считалось. Ежели приметит хозяин — изорвет снасть да самого измордует.

Ну, Акиндя и решил поправить дело другим способом — втыкал в шпигаты рыбацки ножи, на которы наговор был положен особый ворожеей бабкой Манефой: «Встану не благословясь, выйду не перекрестясь, с избы не дверьми, со двора не воротами, выйду я в чисто поле, чтоб поплавь сия ловила поболее. Будьте, слова мои, крепки и лепки, ветрами не сдувайтесь, с людьми не стоваривайтесь. Тем словам моим ключ и замок, ключ в море, замок в роте. В черном озере есть рыба щука, она рвет и хватает ключ и замок, носит с собой до самого дна. Тьфу, тьфу, тьфу». Вот такая, значит, химия, такой религиозный туман. А только и это Акинде не помогло. Даром деньги только ухлопал.

— Это не его ли сын работает в райпо? — спросил я, вспомнив грузного дородного мужчину в очках, который осенью ездил на катере по побережью закупать у местного населения морошку. — Николай Анкиндинович звать

— Он и есть, — протянул дядя Аристарх. — Все сыновья евонные из деревни поразъехали, в райцентре двое живут, а остальные бог знает где. На могиле отца родного крест изладить не могут, старый вовсе иструх да свалился.

Мы помолчали, каждый думая о своем, а потом дядя Аристарх продолжил свой рассказ:

— А вот еще заповедь была — как сядем на промысле заламывать рыбник тресковый, дак упаси бог трогать руками, поганить общий котел. Ну, понятное дело, первым приступал к трапезе кормщик, его первая ложка, а уж за ним все остальные. Но не могли котел лапать, хоть другой раз и ворухается он, охота попридержать, чтоб зачерпнуть со дна погуще. Помню, раз на морюшке зябь разыгралась, мотаает, кладет с борта на борт шхунку. Рыбник утрескали, до дна почти добрались, кое-кто присытился, отвалился в сторонку. А был с нами парнишка Петруха, очень пожрать любил, и соблазнила его поджариста корочка со дна. Запомню про обычаи да и взялся за край, чтоб отскрести удобней. Тут его наш старшой Артемьевич и тяпнул черпаком по лбу: «Почто котел руками поганишь, почто заповедь не чтить?» Был у нашего кормщика в натуре крутой оттенок. Сам он родом из староверов. Никому не попушал, строг да справедлив. А наказание не из простых было, такое, что и сказать срамно... Д-да, тебе про нашу жизнь рассказывать — месяца не хватит. Было времечко, да пора ушла. Теперь жизнь куда легче. Климатические да полярные приплаты, как сейчас, нам прежде не начисляли. На ледоколе-то идти на промысел хорошо, а я еще мальцом был, помню время, когда покрученниками рядились. Исполовья. За половину доли от промысла да за то, что хозяин тебя кормит и поит. Мужик ежели потонет — хозяину не обидно. Обидно, что бахилы кожаны пропали. Эдак от. На лодках-ледяных волочились, спину в гребях рвали на разводьях. Четыре гребца да два гарпунера в лодке. Ежели гармошка с собой, так совсем хорошо. Как выйдем на чистое место — гармонист и заиграет. Зверь очинно любит это, в диковинку ему музыку послушать. Объявится из-под воды — тем временем его как раз и стрелишь.

Дядя Аристарх под настроение иногда принимался вдруг петь старинные поморские песни, а уж когда после баньки в воскресенье мы с ним, бывало, сядем выпить сладкого пунщика, он такие истории и притчи рассказывал, что я только диву давался — уж не сам ли он их присочинил.

Память у него была исключительная, помнил по именам и фамилиям почти всех рыбаков из окрестных сел, помнил всех девятнадцать председателей, что сменились с того времени, как образовались первые артели в тридцатых годах...

Однажды Николай Анкиндинович примчался в деревню на своей моторке и быстро прошагал к карбасной мастерской Якова Прялухина. А через полчаса они вместе умотали в райцентр. Вернулся Прялухин деловитый, довольный, выволок на улицу под навес наполовину сделанный карбас для рыбака из соседней деревни и спешно начал мастерить другой, отбирал для него лучшие заготовки, доски без единого сучка. Старался не меньше недели, работал спозаранку, ездил в верховья реки за ивовыми прутьями. А потом неожиданно стук в его мастерской прекратился, и он на два дня запил.

Вечером я видел, как он слонялся по берегу, приглядывался к вытасненным на берег карбасам и несколько раз один из них злобно пнул сапогом.

— Плохо сработан, что ли? — спросил я, стараясь казаться равнодушным. Карбас этот был работы дяди Аристарха.

— Тебе-то что до того? — выкатил он на меня иссиня-красные белки злобно горевших глаз. — Ездют тут всякие, слоняются без дела... В душу трудового народа лезут...

На другой день снова явился в деревню Николай Анкиндинович, заспешил к Якову, а потом, хлопнув в сердцах дверью, вышел из карбасной мастерской, решительно направился к дому дяди Аристарха.

— Да погодь ты, — спешил за ним Прялухин трусцой и частил срывающимся голосом: — Мы польвованный карбас купим, я малость подновлю... Им для такого дела сойдет. Не для промысла ведь.

— Сказано — новый надо, дурья ты голова. У меня договор подписан, — раздельно и с ожесточением в голосе бросил Николай Анкиндинович. — Последний раз спрашиваю: пойдешь вместе со мной к нему или нет?

— Не пойду, — процедил Яков и сплюнул.

— Ну и черт с тобой. Ни рубля не заплачу. Мне халтуры по такому случаю не надо.

Он взошел на поветь, где уже заканчивал отделявать карбас дядя Аристарх, поздоровался, поговорил о том о сем для приличия, не спеша сразу переходить к делу, за которым явился. Поинтересовался, не нужно ли чего достать из дефицита у них в райпо. Намекнул насчет того, что если надо, то можно раздобыть и нейлоновую сеть...

Дядя Аристарх лукаво поглядывал на него, курил и, казалось, чего-то выжидал, зная, что Николай Анкиндинович просто так не заглянул бы к нему в гости. Потом проговорил с видимым равнодушием:

— Сам ведь знаешь, мне ничего такого особого не надо, обойдемся со старухой моей тем, что есть. А чем могу — помогу тебе всяко, коли какая ко мне нужда у тебя.

— Ладно, изложу напрямиком, как есть, — крепко хлопнул пухлой ладонью по смолянистой обшивке борта Николай Анкиндинович. — Понимаешь, дед, попал я впросак из-за родственничка моего Яшки, твоего конкурента. Договор у меня подписан, карбас на вицах нужен срочно в область на выставку. Сроки обговорены, деньги платят немалые — полторы тысячи, а он, подлец, меня подвел. Ежели не умеешь на вицах — не берись рядиться. Так нет же, плевое, мол, говорит дело... Словом, выручай, продай эту посудину, а заказчику твоему другую изладишь. Обождет. Я тебе... тысячу заплачу! Доставка и прочее там — моя морока. Вопрос чести, понимаешь ли. Я обещал наверняка к двадцатому числу.

— А я ведь, Николай, тоже к сроку обещал, — глянул на него и тихо проронил дядя Аристарх. — Не в одних деньгах, сам разумеешь, дело. Заказчик явится, дак я руками разведу... Нет, извини, но не продам, — решительно мотнул он головой.

— Ведь разговор, старик, идет о нешуточном деле, на выставке народных промыслов будут твоё произведение обозревать, — горячился Николай Анкиндинович со страдальческой гримасой на лице, уже предчувствуя тщетность всяких слов. Но дядя Аристарх оставался непреклонным и еще больше супил брови.

— Ну хоть подсоби Якову доделать ту посудину, что он начал, — пытался как-то спасти предприятие Николай Анкиндинович, переменяя тон. — Не выходит у него, а просить тебя помочь не хочет из гордости. Ты хоть как-то подправь для блезиру, все одно на этом карбасе в море не хаживать, лишь бы наружно смотрелся...

Я стоял в сторонке и с любопытством следил за этой сценой. По выражению лица дяди Аристарха можно было предположить, что он колеблется сейчас. Нет, вряд ли он наслаждался и злорадствовал. Не старался использовать повод, чтобы доказать и так явное превосходство в мастерстве перед соседом. Скорее, его одолевает искушение, думал я, показать свое великодушие. Молча, без всяких поучений и высоких слов прийти на помощь Якову, который будет не только полностью обезоружен, но и благодарен за спасение от унижения в глазах односельчан.

— Для блезиру, говоришь? — вскинул брови дядя Аристарх и посмотрел на Николая Анкиндиновича так, словно старался надолго запомнить что-то в выражении его лица. — Значит, в море на нем хаживать не будут?

— Дак сказано тебе — экс-по-нат! Ну и чудной ты старик, — оживился тот, озираясь в мою сторону и нервически усмехаясь одной половиной лица. — Ну, вроде модели в натуральную величину, — пытался растолковать он.

— А ежели все-таки спустят на воду? — рассуждал вслух старик. — Нет, не приучен я такие делать, — отрезал он с решимостью и снова принялся за работу, давая понять гостю, что разговор между ними на этом закончен...

На другой день распогодилось, ветер стих, после полудня проглянуло солнце, и я уехал из деревни дальше по делам. Встретились мы с Николаем Анкиндиновичем в Нарьян-Маре случайно спустя месяц. Я поинтересовался, раздобыл ли он карбас для выставки.

— А-а, — ухмыльнулся с ленивой беспечностью он. — Дак выкрутился, доставил им экспонат, как и обещал, — не преминул он похвастать. — Вот ведь ненормальный старик этот Аристарх, от таких денег отказывался. Д-да, бывают же чудаки, — покачивал он головой и мял в пальцах папиросу. — А я у его же заказчика через неделю перекупил. — Постукивал Николай Анкиндинович мундштуком по ногтю и торжествующе смотрел на меня. — Договорились. Сеть нейлоновую посулил. Деловые люди всегда найдут общий язык. Так-то.

ПУБЛИЦИСТИКА

ИГОРЬ БЕСТУЖЕВ-ЛАДА



СЕРЕДНЯК В НАУКЕ

1

ИЗНАЮЩИЕ наука непогрешима, но ученые постоянно ошибаются, подсмеивался Анатолий Франс. Ему хорошо было смеяться: в то время наука еще не была так, как ныне, тесно связана с производством. Сегодня научное открытие способно в считанные годы преобразовать целую отрасль экономики. И наоборот — недостаточная эффективность научных исследований на ином участке производства подобна неурожаю больших масштабов.

Известны бесспорные достижения нашей науки. О них можно написать сотни статей. Но сто первую все равно придется писать о проблемах, так как без их решения вряд ли можно рассчитывать на дальнейшее продвижение вперед. Актуальность разговора о нерешенных вопросах в науке подтверждают и многочисленные высказывания ведущих советских ученых. Вот одно из них. Президент Академии наук СССР академик А. П. Александров считает, что «уровень советской науки достаточен для того, чтобы своими силами решить любую научно-техническую проблему... Однако из-за недостаточной организованности, дисциплины, а порой и недостаточной добросовестности имеющиеся возможности используются пока не в полной мере, и в результате народное хозяйство развивается медленнее, чем могло бы...».

В Основных направлениях экономического и социального развития СССР на 1986—1990 годы и на период до 2000 года указывается на необходимость ускорить научно-технический прогресс. Ставится задача «широко применять новые прогрессивные формы организации научной деятельности, позволяющие в сжатые сроки решать крупные межотраслевые научно-технические проблемы... улучшить взаимодействие академического, отраслевого и вузовского секторов науки». Важным шагом на пути к решению этой задачи явилось принятое в июле прошлого года постановление ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС «О совершенствовании оплаты труда научных работников, конструкторов и технологов промышленности». Безусловно, оно усилит заинтересованность научных работников в ускорении научно-технического прогресса, создании и внедрении в народное хозяйство прогрессивной техники и технологии, даст необходимый импульс для дальнейшего совершенствования организации труда ученых

Напомним несколько цифр. В 1913 году в царской России было 11,6 тысячи научных работников. В 1940 году в СССР — уже 98,3 тысячи, в 1950-м — 162,5 тысячи. Темпы роста рядов научных работников остаются значительными вплоть до 1975 года, и только к 1980 году они становятся ниже (что вполне естественно). В 1980 году в науке трудится миллион 373,3 тысячи ученых, в 1985-м — около полутора миллиона человек. Добавим к ним несколько миллионов вспомогательного персонала.

Но положение дел здесь определяется не только количеством работающих людей. «Научная работа относится к той области деятельности человека, которая может

успешно развиваться только теми, кто имеет творческие дарования,— писал академик П. Л. Капица.— Общеизвестно, что в искусстве, литературе, музыке может успешно работать только небольшое число людей, обладающих творческими способностями. То же самое относится и к научной работе, тут тоже успешно могут работать только творчески одаренные люди».

Представим себе, что на сцене Большого театра удалось бы разместить полтора миллиона солистов, хористов и статистов независимо от их оперно-балетных способностей. Картина, конечно, впечатляющая и для отчетности соблазнительная. Но если вспомнить, что хорошие певец и балерина — таланты сравнительно редкие (как, впрочем, и все таланты), то директор театра совершил бы ошибку, решив поднять уровень искусства оперы и балета за счет увеличения числа исполнителей. Он добился бы только того, что артисты развили бы бурную деятельность по получению жилплощади, устройству детей в спецшколы и пионерлагеря, организации праздничных вечеров и загородных массовок для коллектива, а пуще всего затеяли бы споры насчет того, у кого какая ставка и кто сколько «отработал», причем все Неждановы и Собиновы были бы быстро оттеснены на задний план людьми с гораздо более мощными голосовыми связками. Другими словами, результат получился бы прямо противоположный желаемому.

В искусстве представить себе подобное трудно. А в науке? Все ли занимающие ныне в ней места способны на высококачественный, озаренный талантом труд?

Вот один из случаев, имевших место в реальной жизни.

Много лет назад в исследовательский институт пришел молодой человек с располагающими манерами, но с досадным недостатком — отсутствием способности к логическому мышлению. То есть логики хватало на минуту выступления или на страницу-другую текста, а потом вдруг происходил сбой. На иной работе такой недочет, возможно, и остался бы незамеченным, но в науке без логического мышления... вы думаете, не обойтись? Вот как сложилась карьера молодого человека.

Коллектив обсудил текст его кандидатской диссертации (нетрудно догадаться, каким он был) и дружными усилиями рецензентов, руководителей и старших товарищей дотянул диссертацию до защиты. Потом появлялись одна коллективная монография за другой, и в нескольких из них из-за либерализма ответственных редакторов было упомянуто, что в работе над такими-то главами принимал участие такой-то. Появлялись и доклады за несколькими подписями, куда фамилию молодого кандидата наук вставляли по чисто филантропическим соображениям: действительных авторов от этого, мол, не убудет, а забота о человеке проявлена.

За многие годы текстов набралось столько, что их хватило на целую книжку. Тогда «автор» объявил, что намерен на базе своего «отдельного издания» защищать докторскую диссертацию. Для большего успеха он без церемоний выкинул своих бывших соавторов (то есть действительных авторов) из опубликованных статей и выдал те же самые тексты за собственное творчество. Кроме того, чувствуя, что докторская диссертация, скомпонованная таким образом, не пройдет так же легко, как прошла кандидатская, он начал «превентивную войну» против ученого совета института рассылкой заявлений, где заранее жаловался, будто его хотят «уничтожить», недооценивают его титаническую работу в науке и тому подобное... Сам соискатель и его незадачливые филантропы-коллеги прекрасно понимали, кто станет победителем в начавшейся войне на нервах. Не тратить же в самом деле месяцы и годы на склоку с сутягой! И появится новоявленный доктор наук. И появятся у него подчиненные и новые «труды», написанные ими, где его фамилия в списке авторов переключается с четвертого места на первое (а может стать и вовсе единственной, как нередко случается).

В этой истории ничего придуманного. В любом НИИ вам расскажут сколько угодно таких историй — как нечто такое, к чему уже все давно привыкли!

А вот пример, когда полное отсутствие научных способностей внезапно оборачивается бурным проявлением способностей совсем иного рода. Заведующий отделом одного НИИ подрядился на должность... снабженца колхоза, так сказать, без отрыва от своего научного производства (за особую оплату, разумеется). Как известно, работа снабженца — адская: звонки без конца каждый день, поездка за поездкой... Естественно, это не могло не сказаться на основной работе, товарищи пожурили, начальство поставило на вид, лишило премии. Но не лишило зарплату, которую «снабженец» исправно получал целых пять лет, пока не произошло вмешательство извне — на этот раз со стороны органов правосудия.

Конечно, таких одиозных фигур, как в этих примерах, в науке, может быть, и немного, зато сколько тусклых середняков, благополучно переходящих от одной ученой степени к другой! Скрупулезно выполняя все формальные предписания, они своими трудами не продвигают науку вперед ни на миллиметр.

Статистика свидетельствует: отдача науки в расчете на одного работающего в ней падает, заметно ослаб приток в науку свежих сил — молодежи. Как быть? В самых общих чертах вывод напрашивается такой: надо переходить от экстенсивного пути развития науки на путь интенсивный — пришла пора позаботиться не столько о количественном росте рядов ученых, сколько о резком увеличении эффективности их труда.

Что для этого надо сделать?

2

О характере труда в науке автору довелось беседовать со многими ведущими учеными страны. Большинство из них убеждены, что для перевода науки с экстенсивного на интенсивный путь развития надо в первую очередь решить вопрос формирования научных кадров.

Как протекает этот процесс сегодня? Да так же, как и вчера. Часть будущих ученых приходит в науку со студенческой скамьи, другая часть — поработав несколько лет на производстве (что само по себе неплохо). Одни три года готовят диссертацию в очной аспирантуре, другие — четыре года в заочной, третьи — еще большее число лет по линии так называемого соискательства, то есть, по сути, в той же заочной аспирантуре, только без льгот, положенных аспиранту. А теперь обратим внимание на возраст: в аспирантуру принимают до тридцати пяти лет, но кандидатскую диссертацию можно защищать и в пятьдесят и позже. На вторую диссертацию — чтобы стать доктором наук, ученым наивысшей квалификации — тоже надо оставить пять — десять лет.

Такой порядок не учитывает особенности труда ученого. Науковедом доказано, что пик творческого взлета научной мысли приходится большей частью на третий десяток лет его жизни, у многих — даже на первую половину этого периода. Конечно, не у всех. У некоторых наибольшая продуктивность обнаруживается на четвертом-пятом, изредка даже на шестом-седьмом десятке. Но это в порядке исключения. Альберт Эйнштейн опубликовал отчет о разработанной им теории относительности на двадцать шестом году своей жизни (работа шла на протяжении ряда предыдущих лет). А Эварист Галуа, вошедший в число самых продуктивных математиков мира, погиб на дуэли в двадцать один год. С. П. Боткин, Н. И. Пирогов, Д. И. Менделеев, А. М. Бутлеров, П. Л. Чебышев, К. А. Тимирязев, К. Э. Циолковский, Н. Д. Зелинский, С. И. Вавилов, Л. Д. Ландау, М. В. Келдыш, П. Л. Капица, Ю. Б. Харитон, А. Н. Колмогоров, С. Л. Соболев сложились как крупные ученые в возрасте от двадцати до тридцати лет. Некоторыми из них выдающийся вклад в науку был сделан позднее, но это вряд ли произошло бы, если бы они стали учеными в пятидесятилетнем возрасте.

Разумеется, было бы ошибкой полагать, будто двигать науку вперед способны лишь сравнительно молодые люди, какими бы талантливыми они ни были. Для развития науки важны не только генераторы новых идей. Очень нужны ей и люди, способные подвергнуть новую идею основательной критике и заставить «генератора» сделать еще и еще один шаг вперед в разработке научной проблемы. Наука нуждается и в людях, способных подметить в выдвинутой идее действительно конструктивное зерно, не замеченное «генератором», умеющих донести ее до широкой аудитории, до потенциальных заказчиков, способных сплотить научный коллектив и повести его за собой на практическую реализацию выдвинутой идеи, энергично преодолевая обычную в таких случаях массу трудностей. «Наука нуждается не только в тех, кто способен открывать и создавать что-то принципиально новое, — писал академик В. А. Амбарцумян. — Не в меньшей мере ей необходимы просто знающие, аккуратные и добросовестные работники высокой квалификации, на плечи которых ложатся обычные, «рутинные» обязанности... Такое специфическое разделение труда характерно, по-видимому, для всех отраслей современной науки, поэтому сам процесс отбора и подготовки научных кадров должен учитывать разнообразие требований, которые предъявляет современная наука научному работнику на различных «этажах» научной работы». Все эти люди, именуемые модераторами, аниматорами, репродукторами, организаторами и разработчиками, чтобы хорошо выполнять свою роль, должны как раз очень много лет проработать в науке, потому что такому искусству приходится учиться годами.

Но без «генератора» им попросту нечего делать.

Два вывода напрашиваются из этого: во-первых, надо, чтобы способные люди входили в науку как можно раньше, тогда их отдача в первые, самые плодотворные годы работы будет максимальной; во-вторых, в каждом научном коллективе важно оптимальное сочетание ученых разного возраста — и молодых и пожилых.

Прием в аспирантуру в тридцать пять лет, если продолжить аналогию с театрами, сравним с приемом талантов того же возраста, скажем, в хореографическое училище. Конечно, с королями и королевами в «Лебедином озере» и в этом случае все обстояло бы наилучшим образом, но хорош бы был наш балет, если бы принц и Одиллия — Одетта заканчивали училище годам к сорока и расстанцовывались годам к пятидесяти.

Между тем как раз нечто похожее происходит в науке. Сегодня лишь немногие становятся кандидатами наук до тридцати лет (большинство — до сорока и старше), докторские же диссертации в основном защищаются пятидесятилетними, а часто и учеными более старшего возраста.

Диссертация — простой инструмент, призванный быть скромной служанкой при подготовке научных кадров и повышении их квалификации, — постепенно превратилась во всесильную и довольно-таки деспотичную госпожу. Средство превратилось в цель, порой даже в самоцель. Для многих ученых диссертация стала альфой и омегой их научной карьеры, средоточием всех помыслов на много лет вперед, иногда на всю активную жизнь. Да и как может быть иначе? Защитил диссертацию — автоматически удваивается зарплата. Повышается престиж обладателя ученой степени, он несоизмерим с положением бесстепенного эмэнса (младшего научного сотрудника). Ученая степень — это еще и возможность более свободно пользоваться своим рабочим временем. Предполагается, что какие-то дни рабочей недели ученый должен проводить в библиотеке или за домашним письменным столом, готовя отчеты об исследованиях. Но при желании эту часть рабочего времени можно использовать и разнообразнее — в занятиях, к работе прямого и даже косвенного отношения не имеющих. Для некоторых такая возможность очень ценна сама по себе.

Существующий порядок защиты диссертаций несовершенен: из стимула научного труда диссертация, отнимая у научного работника годы и годы, превратилась в антистимул. Какой колоссальный ущерб наносит эта пустая трата времени государственным плановым исследованиям! Ведь ежегодно тысячи и тысячи научных работников отвлекаются на свои частные диссертационные «приусадебные участки», продукция с которых часто бесполезна для государства. Наконец, деморализующее влияние оказывает на работников науки — и особенно на молодежь — тлетворная атмосфера искательства и домогательства, неизбежная при существующем порядке сонскания ученых степеней. «Юноша бледный со взором горящим», пожелавший отдать жизнь бескорыстному служению Высокой Науке, вынужден заискивать перед теми, от чьего каприза зависит судьба будущего Платона и Невтона: перед научным руководителем, оппонентами и членами ученого совета, вообще перед каждым, чье слово может в любую минуту обернуться «черным шаром», сражающим наповал.

Об анахронизме сложившегося положения и его негативных последствиях для науки, для общества в целом говорят многие видные ученые. Академик АН УССР С. М. Ямпольский: «Аспирантура как способ подготовки научных кадров изжила себя». Академик В. Н. Черниговский: «Аспирантура безнадежно устарела». Академик Д. К. Беляев: «Защита диссертации ныне является архаизмом. Ученый должен искать истину, а не звание».

О том, какой точки зрения придерживается автор в вопросе формирования научных кадров, разговор ниже, а сейчас еще об одном факторе, влияющем на эффективность науки, — об оценке и стимулировании труда ученого.

3

Научные сотрудники в нашей стране, как и работники других отраслей, трудятся в рамках пятилетних планов, выполняют плановые задания, имеющие силу закона. В этом отношении они поставлены в те же условия, что и работники промышленности или сельского хозяйства. Различия — и очень существенные — начинаются с учета полученной продукции.

На заводе, стройке, в колхозе или совхозе все относительно ясно: запланировано столько-то — получено столько-то. А в науке? Как оценивать, к примеру, отчеты о про-

веденных плановых исследованиях? По количеству страниц? Опытный научный сотрудник, если материалы под руками, способен за двенадцать часов работы настроичить из ничего целый печатный лист. Но только кому нужны такие «строчевышитые изделия»? Кстати, краткий отчет о настоящем исследовании, занимающем несколько лет, укладывается в среднем обычно в 3—4 печатных листа... Нет, по количеству написанных страниц оценивать работу ученого нельзя.

Тогда, может быть, по качеству, по степени научной содержательности отчета? Но что такое научная содержательность? Оригинальная идея, нетривиальный подход к теме, качественно новая информация, так называемая научная новизна? Но если уж самый бесталанный горе-аспирант ухитряется заполнить целую страницу своего пустейшего автореферата диссертации под стандартным параграфом «Научная новизна работы», то опытному кандидату или доктору наук ничего не стоит подпустить в свой отчет столько «новизны», что впору сразу же представлять его ко всем научным премиям мира. Пока обнаружится, что эта новизна мнимая, вздорная, пройдет немало времени. Мало того, даже после этого можно бесконечно долго отстаивать написанное и жаловаться во все инстанции, что тебя, мол, неправильно поняли и оклеветали. Как и поэзия, наука — «езда в незнаемое». Только стихотворение — вот оно перед тобой, читай и оценивай. А научный отчет — это еще только повод для научной дискуссии. Очень много времени проходит, порой несколько лет, пока выяснится, вклад ли это в науку или видимость вклада.

Сказанное выше относится нередко даже к прикладной науке. Тем более это справедливо по отношению к науке фундаментальной — к разведке новых научных горизонтов, к созданию новых научных теорий.

Вот эта особенность научной продукции (не сразу обнаруживается ее действительное значение), вот это «право на ошибку», «право на поиск» в течение сравнительно долгого времени и делают порой невозможной окончательную оценку научной содержательности отчетов в момент их сдачи, а иногда приводят и к откровенному очковтирательству.

..Один из научных коллективов получил на пятилетку плановое задание. Три с половиной года работа вроде бы кипела. Отдавались приказы, принимались рапорты о выполнении. Заседания сменялись собраниями и снова заседаниями, на которых обсуждался ход работы. Каждый год в срок сдавались отчеты за первый квартал, за первое полугодие и, наконец, за год в целом. Каждый год люди получали прогрессивку.

Весной четвертого года пятилетки в институт пришло новое начальство, которое обнаружило, что по заданию конкретно ничего не сделано. Несколько черновых набросков подхода к проблеме, протоколы заседаний — и все. Как на иной стройке: запланировано через пять лет возвести «вавилонскую башню», а к исходу четвертого года ялицо один лишь котлован, в котором плавает неизвестно что. Естественно, была произведена срочная перегруппировка сил, и с помощью самой вульгарной штурмовщины план был выполнен.

У людей непосвященных в связи с этим может возникнуть по меньшей мере два вопроса: что же это за пятилетний план, который можно выполнить за полтора года, и чем все-таки занимался коллектив три с половиной года? Но люди сведущие таких вопросов не зададут, потому что знают: любой научный план можно выполнить в течение любого времени. Как выполнить — это другой вопрос. Что касается первых трех с половиной лет, то они могли пройти по-разному — и при полном ничегонеделании и при сверхнапряженной работе на своем диссертационном «приусадебном участке». Кстати, по числу представленных к защите диссертаций, внеплановых (то есть гонорарных сверхзарплатных) публикаций, платных лекций и платного совместительства коллектив о котором идет речь, ничуть не отстал от всех прочих.

Неконкретность существующих ныне критериев при оценке научной работы приводит и к издержкам в оплате труда ученых. «Нельзя всерьез говорить о повышении ответственности исследователей за результаты своего труда, не подкрепляя эти разговоры материальным стимулированием», — отмечает вице-президент Академии наук СССР Е. П. Велихов. — Возьмите типичную ситуацию. В лаборатории, занимающейся разработкой безусловно нужной, но традиционной гематики, возникает свежая идея. Именно она, как прекрасно видят специалисты, может через три — пять лет привести к преобразованиям в целой области промышленности. Но сегодня в этом деле по-настоящему глубоко разбираются 7—10 человек. А вот заведующий лабораторией никак не

может материально стимулировать труд именно этой группы. Да если к тому же учесть, что свежие идеи обычно рождаются у молодых ребят, не имеющих даже кандидатских степеней, но уже обзаведшихся семьей, то стоит ли удивляться, что выбор между интереснейшей, перспективной работой, но за 120—150 рублей в месяц и защитой диссертации на материале какого-то мелкотемья очень часто делается в пользу последнего варианта.

Это — одна сторона медали. А вот другая. Научный сотрудник отраслевого НИИ писал в одну из центральных газет: «Нового мы ничего не делаем, но деньги дают сколько ни попросишь. Акты на внедрение мероприятий по комплексной рационализации подписывают нам в любое время... Один акт подписали еще два года назад, а там до сих пор половины намеченного не внедрено. За первое полугодие нас поощрили денежной премией, хотя тематический план был выполнен за счет приписок». Научные сотрудники этого НИИ и его многочисленных филиалов за последние годы подготовили свыше десятка тысяч (!) отчетов, которые за ненадобностью пылятся на институтских полках, потому что представляют собой вариации общезвестных инструкций по охране труда и технике безопасности. Но за них было выплачено 4,5 миллиона рублей зарплаты и премий. Среди сотрудников этого НИИ числилось немало учителей, продавцов, людей самых различных профессий (кроме научных), привлеченных заранее гарантированным твердым окладом и премиями при самой халтурной имитации научной деятельности; в одном из филиалов этого НИИ большинство сотрудников вообще не имели никакого специального образования — просто слетелись, как мотыльки, на дармовые оклады...

Несостоятельность безоговорочно твердого оклада, не зависящего от результатов труда, обнаружена не сегодня, а по меньшей мере лет тридцать назад. И тогда же из всех возможных решений этой проблемы после долгих и бурных дискуссий было выбрано наилучшее: постановили впредь выплачивать полную зарплату тем из «остепененных», кто просуществовал в науке (не важно как) не менее десяти лет. Тем, у кого стаж был на несколько лет меньше, понижали оклад на 15—25 рублей. Практически «оштрафовали» одних лишь эмэнэсов, поскольку старший научный сотрудник, тем более доктор наук с менее чем десятилетним стажем — это такая же редкая сенсация, как шестнадцатилетний Ромео или четырнадцатилетняя Джульетта на сцене современного театра.

Слов нет, опытный работник всегда дороже неопытного, и не зря в ряде отраслей народного хозяйства платят, помимо всего прочего, обязательно и за выслугу лет. Однако в науке стаж имеет значение второстепенное по сравнению с талантом, работоспособностью, продуктивностью ученого.

За прошедшие десятилетия делались попытки улучшить систему оплаты труда ученых, в ряде НИИ проводились эксперименты. В одном из них, например, расширили номенклатуру должностей, с тем чтобы наиболее способных можно было переводить на вышеоплачиваемую должность, не создавая для них искусственного сектора из нескольких человек (обычный прием поощрения, поскольку ставка завсектором традиционно выше ставки научного сотрудника). В другом НИИ устанавливали значительную вилку зарплаты до 100 рублей, чтобы повышать ставки наиболее сильным работникам за счет слабых, выдерживая «средний» уровень в рамках положенного фонда зарплаты. Было и такое оценивали деятельность ученого — начиная с монографий, статей, научных отчетов и кончая количеством походов в овощехранилища — в баллах и по ним устанавливались соответствующие надбавки к зарплате. Наконец, подводили итоги соцсоревнования между подразделениями того или иного научного учреждения таким образом чтобы занявшим первое место выделялась львиная доля премиального фонда, занявшим второе и третье места — соответственно поменьше, а прочим (которых тоже нельзя обижать, поскольку там тоже могут быть отличившиеся работники) — что останется.

Все четыре варианта на практике применялись до сих пор в самых различных сочетаниях. И все они безусловно конструктивны и заслуживают поддержки, потому что хуже существовавшего положения ничего уже и быть не может. Попытка хоть как-то связать зарплату с результативностью работы является позитивной сама по себе.

Но слабая сторона всех четырех подходов заключается в том, что решение вопроса в значительной степени остается зависимым от субъективных факторов. Ведь и должности даются, и вилки устанавливаются, и баллы начисляются, и призовые места

присуждаются людьми, которым ничто человеческое не чуждо. Имея прочные связи и влиятельное положение в коллективе, нетрудно убедить кого надо, что именно ты — по таким-то и таким-то чрезвычайно веским мотивам — достоин максимума в установленной вилке зарплаты. Изучив механизм начисления баллов, нетрудно перестроить свою жизнедеятельность таким образом, что баллов у тебя всегда будет больше всех, даже если научных результатов меньше. Наконец, при подведении итогов соревнования часто обнаруживается закономерность: призовые места получают почему-то обычно те секторы и отделы, руководители которых отличаются энергичностью и напористостью характера либо сами участвуют в присуждении призовых мест.

Поэтому существенного повышения эффективности науки все эти новшества не дали. Разницы между институтами, где вышеозначенные половинчатые мероприятия осуществлялись, и теми, где жили по старинке, почти не было.

Наряду с перечисленными подходами к решению проблемы был предложен еще один, к сожалению, безвременно скончавшийся вовсе не из-за того, что и он оказался несостоятельным. Около двадцати лет назад руководство одного из только что созданных научно-исследовательских институтов решило напрямую связать оплату труда своих сотрудников с конкретными результатами их исследований. Была разработана и начала претворяться в жизнь программа интересного организационного эксперимента.

Ведущим работникам этого НИИ было дано право обратиться в ученый совет института с заявкой на проведение исследования, лежащего в русле плановых заданий по профилю института. Если заявка признавалась обоснованной, подавшего ее назначали «руководителем группы заявки» сроком на один-два месяца и придавали ему одного-двух технических помощников для разработки краткой программы исследования. В случае успешной защиты на ученом совете этой краткой программы образовывался «сектор исследовательского проекта», в состав которого входили заведующий и 5—7 сотрудников, которые за полгода-год должны были разработать развернутую программу исследования (очень важная и трудоемкая работа!). Если на ученом совете успешно проходила защита и этой программы, создавался «отдел генерального проекта» на срок от трех до пяти лет в составе заведующего и 15—20 сотрудников, которым придавались сотрудники вспомогательных служб. В целом на это время организовывался как бы небольшой исследовательский институт — только не с постоянными, а с «переменными» штатами, численность которых менялась в ходе различных этапов исследования. Отдел обязан был ежегодно представлять промежуточные отчеты, и только после их утверждения сотрудникам полагалась прогрессивка. После успешной сдачи окончательного отчета сотрудники приступали к оформлению результатов работы — писали коллективную монографию.

Затем все должно было начинаться сначала.

Камнем преткновения в эксперименте оказалась недостаточно высокая культура межличностных отношений ведущих сотрудников института. Говоря по-простому, начавшиеся склоки. Как ни смешно, особенно низкой оказалась она у специалистов именно по межличностным отношениям (были такие в институте). Два враждующих клана начали «феодалную междоусобицу». Она завершилась тем, что с экспериментированием вскоре было покончено.

Но 2—3 «группы заявки» успели пройти все стадии эксперимента и невзирая на огромные трудности завершили свои «генеральные проекты», опубликовали монографии, получившие положительный отклик в научной печати. Все это свидетельствовало о том, что принципы, заложенные в основу эксперимента, были вполне жизнеспособными.

Принципы эти подтверждали важную мысль о преимуществе проблемного подхода над профилным.

4

Профильный подход — старейший и простейший в организации науки — страдает двумя существенными пороками. Во-первых, он исходит из принципа, что каждой науке должно соответствовать специальное научное учреждение, каждому разделу науки — отдел этого учреждения, каждому подразделу — сектор или группа, наконец, каждой конкретной узкой теме — отдельный сотрудник. Раньше с этим еще можно было мириться. Но за последние десятилетия традиционные науки дифференцируются на множество самостоятельных новых. Те в свою очередь интегрируются между собой в совершенно новые науки. Особенно бурно размножаются разделы в подразделы едва ли не каждой науки. И в довершение всего разворачиваются междисциплинарные исследования. Все это приводит к необходимости создавать все новые институты, но число важных «про-

рех», не охваченных соответствующими научными учреждениями и их подразделениями, растут и растут. Но надо ли закрывать умножающиеся «прорехи» обязательно с помощью новых институтов? А может, поискать принципиально новые формы организации научных исследований? Большинство ученых, с которыми доводилось беседовать на эту тему, склонялись именно к такой точке зрения.

Во-вторых, профильный подход неизбежно порождает своеобразную монополию того или иного научного коллектива на ту или иную науку, ее раздел, подраздел, подраздел и так далее. Монополия эта часто приводит к подавлению живой мысли, снижению активности, инициативы людей в целом, к падению эффективности научных исследований. Сотрудники профильного института и всех его подразделений ревниво следят за тем, чтобы кто-то «со стороны» не вторгся на заповедную территорию. И горе чужаку, каким бы гениальным ни было его научное открытие, если он вознамерится сказать что-то новое в науке, не освященное авторитетом официально отвечающих за научные открытия на этом фронте научных исследований. Всякая свежая мысль со стороны рассматривается как скрытый упрек в научном бессилии и отвергается с порога.

Не сосчитать, сколько миллиардов рублей потеряло народное хозяйство на этом ложном «профильном» самолюбии. Не сосчитать, сколько конструктивных научных идей погребено живою, какой ущерб нанесен развитию самой науки ее организацией по профильному принципу.

Сошлюсь на конкретный пример.

В тот день, когда писалась эта статья, одна центральная газета опубликовала статью изобретателя, который предлагал способ сварки рельсов, дающий возможность эксплуатировать колею без капитального ремонта десятки лет, при этом во много раз могла бы увеличиться скорость движения поездов. Но предложение рационализатора никто не хочет внедрять. Почему? Да потому, что за сварку рельсов отвечает у нас определенное учреждение, где по этой теме защищено множество диссертаций, где утвердились свои авторитеты и где «чужаку» делать заведомо ничего не дадут. Умилостивить работников института можно, только включив изобретателя в список соавторов. На это не каждый пойдет, да и не всегда это легко сделать практически.

Но давно известен способ, с помощью которого описанный порок излечивается мгновенно, радикально и успешно. Его назовет вам любой опытный работник науки. Это — проблемный принцип организации научных исследований, когда научные учреждения, их отделы, секторы, группы создаются специально для решения определенной научной проблемы и после ее решения перестраиваются для решения новой. В теории тут все ясно. Но как на практике по такому принципу организовать работу полутора миллионов людей (со вспомогательными работниками — нескольких миллионов), привыкших десятилетиями «отвечать» за тот или иной узкий раздел науки?

Тут хорошо работает договорная система. «Можно было бы, — считает академик А. Г. Аганбегян, — перевести как фундаментальную, так и прикладную науку на контрактную систему... при которой возможности появления «случайных людей» в науке будут ограничены» Такой принцип в организации науки не нами выдуман и не сегодня предлагается. Он с успехом применяется во многих странах мира, в том числе во многих социалистических странах. Почему бы ему действительно не быть и у нас? «Наука, — говорит академик Г. И. Марчук, — живой, подвижный, растущий «организм», требующий постоянного внимания с точки зрения соответствия системных форм непрерывно меняющемуся содержанию. По мере расширения наших знаний и социально-экономического прогресса тематика главных направлений фундаментальных исследований неизбежно по истечении некоторого времени должна меняться, следовательно, требуется определенная гибкость и оперативность в планировании и организации научных работ».

Но тут высказываются и два опасения. Во-первых, не окажутся ли ученые в отличие от работников других отраслей в невыгодном положении? Во-вторых, не лишимся ли мы при таких условиях лучших кадров, которые поспешат перейти туда, где им гарантирована работа безо всяких контрактов до самой пенсии?

Такого рода опасения порождены, по-моему, недоразумением. Все наши научные работники один раз в три года или через пять лет обязаны проходить конкурс. Это «соревнование» формально похоже на условия, которые ставит перед ученым контрактный принцип. Но это формально. А фактически? Конкурсы у нас в подавляющем большинстве случаев давно превратились в чисто ритуальные процедуры. И даже когда в газетном объявлении сказано: «Объявляется конкурс на вакантную должность...» —

не верьте глазам своим. Все заранее согласовано, и на «вакантную» должность либо вновь автоматически сядет прежний работник — это происходит в 99 случаях из 100, либо его по договоренности заменят кем-то более желательным, но так, чтобы и выбывающий из «игры» не пострадал. Даже если конкурент не соберет нужного количества голосов, сплошь и рядом находится тысяча способов продлить его существование на той же зарплате до следующего конкурса. И только когда начинается «война на измор» против нежелательного лица, тогда конкурс срабатывает — конечно, в пользу администрации.

О том, насколько эффективна существующая система конкурсов, можно судить по ничтожному проценту новых работников, появляющихся в научных и высших учебных заведениях после каждого конкурса. При этом сколько никуда не годных работников остаются занимать свои «вакансии»!

Необходима система, которая не формально, а фактически будет содействовать постоянному пополнению науки способными, талантливыми кадрами. Неважно, как мы назовем такую систему — контрактной или, скажем, реально-конкурсной (в отличие от существующей формально-конкурсной), — важно, чтобы она работала.

А она может стать действенной только при одном условии: завершено исследование — «команда» распускается и набирается вновь для другой темы. Тогда никому не обидно: подал заявление на новое «плавание» научного корабля, не приняли — значит, соответственно проявил себя.

Слабое звено в организации научного труда — недостаточная связь науки, учебы и производства. Где потерялась эта связь?

На определенном этапе экстенсивного развития науке стало тесно в пеленках университетских и заводских лабораторий. Как грибы после дождя, на базе этих лабораторий и независимо от них стали расти тысячи НИИ. При острой нехватке научных кадров высокой квалификации наиболее «дефицитным» специалистам разрешалось многократное совместительство. Лет тридцать — сорок назад никому не казалось чем-то сверхъестественным, что маститый ученый помимо своей основной работы в НИИ по совместительству возглавляет кафедру в университете, читает спецкурс еще в каком-то вузе, руководит подразделением в другом НИИ, выступает постоянным сотрудником-консультантом в третьем и так далее.

Но постепенно кадровый дефицит смягчался, и стало предосудительным занимать несколько платных должностей по совместительству. А потом это и вовсе запретили. Теперь, чтобы получить разрешение на совместительство лишь в одном месте (на полставки или даже на четверть ставки), надо пройти через такие бюрократические препоны, что сил на это не у всякого хватит.

Не выплеснули ли мы вместе с мутной водой многократного совместительства и ребенка — возможность для ученого принимать активное участие и в подготовке кадров, и в разработке научных проблем, и в непосредственном внедрении достижений науки в производство? Вот несколько мнений на этот счет наших ведущих ученых. Академик В. А. Амбарцумян: «На наш взгляд, достойна детального и всестороннего обсуждения идея о возможной организации унии Академии наук и университетов — естественно, там, где это возможно». Академик Б. Е. Патон: «Огромную пользу может дать объединение вузов с научно-исследовательскими институтами». Академик Г. И. Марчук: «Тесное общение студентов-старшекурсников Новосибирского университета с учеными, с научными коллективами Сибирского отделения Академии наук СССР, их участие в конкретных исследованиях — прочная гарантия подготовки специалистов высокой квалификации»

Однако администраторов, сдерживающих совместительство, можно понять: полторы ставки — это двенадцатичасовой рабочий день в течение всей недели. После напряженного рабочего дня можно заниматься любительским трудом, можно раз-другой в неделю сесть за статью или доклад, прочесть лекцию или провести семинар. Но много ли найдется людей, способных после восьмичасового рабочего дня еще ежевечерне проводить четыре часа в столь же напряженной работе за письменным столом или на кафедре? А у человека, кроме этого, должно быть время и на самообразование — иначе он быстро дисквалифицируется как специалист... Все понимают, что сегодня совместительство в значительной мере идет за счет «экономии» времени и сил на основной работе.

А нельзя ли сделать так, чтобы плодотворное совместительство действительно было... совместительством, то есть осуществлялось отнюдь не за счет основной работы? **Научный сотрудник какую-то часть своей сорокачасовой рабочей недели пусть проводит**

за письменным столом или у приборов в лаборатории, какую-то часть — посвящает лекциям и семинарам или заводскому цеху... Реально это? Большинство ученых, с которыми я беседовал на эту тему, считают: реально. Но при этом должны быть радикально изменены стимулы и организация труда ученого: платить и воздавать почести ему надо не за ученые степени или «присутствие в науке», а за конечную продукцию, доведенную до потребителя, — будь то научный отчет или монография, лекция или семинар, научная консультация или руководство коллективом при внедрении научного достижения в производство.

Проблемный подход и тут открывает весьма обнадеживающие перспективы.

5

Что предлагает автор?

Совершим путешествие в науку будущего и начнем его не с академического института, не с НИИ и не с вуза, а с обычной школы.

К школьникам, скажем, шестых-седьмых классов в гости пришли... ученые. Рассказали о своей науке, порекомендовали почитать о ней популярные книжки, прокомментировали специальные научно-популярные фильмы. Такие встречи становятся систематическими... Для чего все эти хлопоты? Исследования показывают, что примерно лишь одна десятая часть школьников девятых классов по складу мышления подходит для научной работы. Это в школах обычного типа. В лучших спецшколах с физико-математическим уклоном таких ребят не более трети. Вот их-то и надо выявить.

Что потом? С седьмого-восьмого класса для наиболее заинтересованных ребят ученые организуют занятия в научных кружках. Там, где это возможно, могут быть даже факультативы. И время от времени — викторины, олимпиады, конкурсы. Победителей ожидает приглашение на день открытых дверей в НИИ, вуз, филиал Академии наук... Год идет за годом, интерес к науке кое у кого пропадает, но кто-то втягивается в нее все серьезнее.

Ученый — обязательная фигура в приемной комиссии вуза. Он приглядывается к абитуриентам с точки зрения интересов своего учреждения, с точки зрения интересов науки. Пусть абитуриент отвечает не особенно бойко, но если он успел прочитать много научно-популярной литературы, проявляет ярко выраженный интерес и недожинные способности именно к профилирующей научной дисциплине, нельзя его отсеивать. И относиться так надо не только к тем, с кем ученый знаком еще по школьному кружку. Конкурс, конкурс и еще раз конкурс! Действительный, настоящий.

На первых курсах повторяется то же, что и в школе, но на качественно более высоком уровне: кружки, факультативы, консультации, семинары. Продолжается настойчивый, упорный поиск наиболее способных. К третьему курсу отобраны те ученики, с которыми предстоит работать бок о бок годы и годы..

С третьего курса такие студенты работают в лаборатории НИИ младшими помощниками их наставников — знакомятся со всеми видами вспомогательной работы, реально пробуют себя в науке. Как считает академик Г. И. Марчук, «очень полезно для студентов включение их в работу по реализации научных достижений в промышленности, когда молодые люди, вместе со своими руководителями, вживаются в проблемы и специфику работы промышленных предприятий, могут сами не в теории, а на практике почувствовать процессы научно-технического прогресса».

Наконец подготовлены дипломные работы, максимально приближенные по своему характеру к научному отчету будущего научного сотрудника, к кандидатской диссертации. И не надо ни 150 стандартных страниц, обязательных для нынешней кандидатской диссертации, ни даже 50 страниц, типичных для нынешней дипломной работы. Пусть будет 20, даже 10 страниц, но пусть это будет отчет о проделанной работе, а не жалкая компиляция наспех прочитанного. Пусть это будут собственные мысли, которые интересно послушать и обсудить.

Но вот закончена и учеба в высшей школе. Что дальше? Наиболее способных после вуза необходимо тотчас же направлять в очную аспирантуру. Какой она может быть? Нельзя принимать в нее людей старше двадцати пяти лет. Нельзя держать ни в какой аспирантуре — ни в очной, ни в заочной — людей старше тридцати лет. Для них необходимы иные формы повышения научной квалификации.

Идеальная аспирантура представляет собой участие человека в научном исследовании на правах младшего научного сотрудника под руководством опытного ученого.

Да, кандидатские минимумы — само собой (как и периодическая переподготовка научных сотрудников). Да, общее постоянное самообразование — само собой, как и у всех интеллигентных людей. Но главное — опыт участия в реальном научном исследовании.

Конечно, научиться правильно оценивать индивидуальный вклад молодого ученого в коллективный научный труд, который становится все более типичным для современной науки, довольно сложно. Но не невозможно. Надо надеяться, мы научимся это делать. В конце концов, любая коллективная научная работа — это в известном смысле интеграл индивидуальных вкладов.

Теперь о диссертации. Будет ли она называться кандидатской, как сейчас, переименуем ли мы ее в докторскую (чтобы приравнять наших докторов наук к докторам других стран), как предлагают некоторые ученые, будет ли ее объем достигать 100—300 страниц на машинке, как сейчас, или это будет опубликованная статья объемом не более 20—30 страниц, как нынешний автореферат,— это не столь важно. Главное, новая диссертация перестанет быть «патентом» на высокую пожизненную «пенсию». За саму диссертацию не платят ни копейки: она является только аттестатом о высшей научной квалификации, которую всю жизнь надлежит подтверждать делом. Это разом освободит ученых советы от рассмотрения мутного потока псевдонаучных поделок людей, не способных к научной деятельности, рвущихся лишь за длинным рублем. Тогда-то можно будет повысить меру ответственности ученых советов за каждую присуждаемую ими ученую степень, отменить мелочный бюрократический контроль.

Ученая степень присуждается не пожизненно, а, скажем, на пять лет. И если после этого срока новоиспеченный кандидат или доктор наук оказался пустоцветом, ничего науке не давшим, то цена его диссертации такая же, как у просроченного проездного билета. Иными словами, раз в несколько лет производится переаттестация носителей ученых степеней, и сохраняют их (вплоть до новой переаттестации) только тем, кто проявил себя как стоящий работник науки.

Ну а как же быть с теми, кто по разным причинам не успел защититься на третьем десятке лет своей жизни, а в науке работает плодотворно? Надо сделать правилом то, что в настоящее время является редчайшим исключением: этим людям степень присуждается ученым советом по совокупности их работ, возможно, даже безо всякой инициативы со стороны самого «остепеняющегося». Что тут «защищать»? На кого «нападать»? Вот они, все его труды,— как на ладони. Оценивай их объективно и суди самым строгим судом: достоин — присуждай степень, не достоин — выноси «частное определение»...

Уйдет в прошлое искусственное разделение ученых высшей школы и научных сотрудников НИИ. Научно-исследовательский институт вернется в свое «первобытное» положение фактической лаборатории или комплекса лабораторий при кафедре соответствующего вуза, где готовится его пополнение, а каждая кафедра со своей стороны окажется в роли секции ученого совета НИИ, поскольку будет состоять из его ведущих ученых. При этом и НИИ и вуз войдут в состав соответствующего научно-учебно-производственного объединения, будут опираться на его опытные предприятия, активно участвовать в его повседневной работе, способствуя интенсивному внедрению последних достижений науки в производство. Основным принципом организации науки станет индивидуальный или коллективный (смотря по обстоятельствам) контракт на несколько лет с четким определением того, что именно каждый ученый или целый научный коллектив обязуется сделать за это время. Если контракт коллективный, то руководитель исследования подбирает состав исследовательской группы, а ученый совет института утверждает его. Если контракт индивидуальный, то ученый совет выступает заказчиком, а научный работник — исполнителем договорной работы. В обоих случаях обязательны промежуточные отчеты. Соблюдение условий контракта автоматически влечет за собой весомое материальное и моральное поощрение исполнителей. С завершением работы группа распускается, решается вопрос о новом контракте.

Контрактный принцип организации науки снимает все искусственные пути, тормозящие ее переход на интенсивный путь развития. Имитация научной деятельности будет скрываться при первом же промежуточном отчете. В случае крайней близорукости заказчика — при окончательном отчете, и горе тому исполнителю, который вздумает повторить сюжет андерсеновской сказки про голого короля. Статус и престиж ученого будут определяться не формальной ученой степенью, а фактической степенью участия в коллективном труде или степенью научной значимости представленного индивидуального отчета (монографии, статьи, доклада и так далее). Чем больше капи-

тальных исследований — коллективных или индивидуальных — провел ученый и чем значительнее они были, тем выше его престиж. Конечно, руководителю исследования — почет особый. Но и его сотрудникам — немалый, ведь без них тоже не было бы исследования. Ну а те, кто в ходе исследования оказался не на высоте, перейдут на другое место работы, так как их при следующем контракте просто не включают в группу.

А как организовать фундаментальные исследования, когда заранее нельзя установить, в какие сроки и при каких обстоятельствах удастся сделать научное открытие или разработать принципиально новую научную теорию? И тут используется контрактный метод. Да, расписывать в договорах сроки и детали научных открытий — бессмысленная бюрократическая затея, но этого и не нужно делать. С ученым, от которого, судя по его работам и выступлениям, можно ожидать нового слова в фундаментальной науке, заключается особый контракт: допустим, на подготовку монографии при минимальной (два — четыре часа в неделю) педагогической нагрузке. Если через не сколько лет нового слова в науке не получилось, второй контракт с таким ученым оказывается под вопросом. Обидно, конечно, но польза для общества все же есть: подготовлена монография, проведены занятия с будущими учеными. Можно рискнуть еще на один контракт. Если и на этот раз произойдет осечка, то такому ученому разумнее будет продолжать свои теоретические изыскания в свободное от более полезной работы время.

Контрактный принцип позволяет оценивать труд ученого по конечной продукции. Основной оклад при этом может быть минимальным — чтобы вернее отпугивать от науки искателей длинного рубля. Зато каждое конкретное деяние должно вознаграждаться достаточно высоко. К примеру, к окладу прибавляется ежемесячный аванс под будущий промежуточный отчет. Сдача промежуточного и тем более окончательного отчета сопровождается еще более значительным вознаграждением. Каждая научная статья и тем более книга, представляющая действительно научный интерес, безусловно является высокогонорарной. Каждая лекция или семинар оплачивается не по смехотворно низким ставкам почасовиков, а по более высокой расценке для штатного профессора или доцента.

Все это позволит достаточно много зарабатывать даже молодым ученым, еще не обремененным высокими степенями и званиями, но успешно работающим в науке. Это позволит активно привлекать к посильному участию в научном труде и ученых пожилого возраста. Заслуженная пенсия — сама по себе, а участие в очередном исследовании по новому контракту, если зарекомендовал себя способным к этому и чувствуешь силы для этого, — само по себе. Известно, как важно для развития науки сочетание в научном коллективе ученых молодого и пожилого возрастов. Контрактный принцип организации науки создаст для этого все условия.

По сути своей предлагается не что иное, как полный хозяйственный расчет и бригадный подряд, модифицированный применительно к научной деятельности. Предлагается, что предложение это, реализованное на практике, поможет перевести нашу науку на рельсы интенсификации и сделает невозможным существование в ней бесталанного середняка.

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

П. Л. КАПИЦА



ПИСЬМА К МАТЕРИ

1921 — 1926

Среди читателей «Писем к матери» П. Л. Капицы несомненно будет немало тех, кто знал Петра Леонидовича лично или по его замечательным популярным статьям о развитии науки, о крупных ученых, статьям о глобальных научных проблемах и о будущем науки, о философских и социальных вопросах. Круг его знакомых был очень велик и разнообразен — инженеры и ученые самых различных специальностей, деятели литературы и искусства. Его всегда интересовали не только творческая деятельность людей, но и люди как таковые. Так вот для тех, кто в той или иной мере знал Петра Леонидовича, самыми неожиданными, как мне кажется, будут те страницы публикуемых писем, где он пишет о своих трудностях. Например, в письме от 19 сентября 1921 года: «Но вот что меня мучает сейчас — сумею ли я выполнить те работы, которые я задумал тут, в Кавендишской лаборатории?.. Я задумал крупные вещи, а, может быть, опять все сведется к нулю». Или в письме из Ниццы от 14 сентября 1922 года так не соответствуют привычному образу Капицы слова: «Мне жутко и страшно. Справлюсь ли я? Может быть, это просто повезло?» Как это не похоже на Капицу, которого мы знали. Но нельзя забывать, что эти непривычные для него слова содержатся в письмах к матери — единственному человеку, которому он позволял себе доверять свои мечтания и переживания. А для всех остальных он и в те далекие времена оставался таким же твердым и уверенным в себе, каким мы его знали.

...Весной 1921 года группа советских ученых — академики А. Ф. Иоффе и А. Н. Крылов и профессор Д. С. Рождественский — выехала за границу. Наиболее важной задачей поездки было размещение заказов на оборудование для организуемых в Петрограде институтов. Стояли также задачи восстановления научных связей с западноевропейскими учеными, пополнения фонда научной литературы и обеспечения дальнейшей подписки на физико-математическую литературу: за время первой мировой и гражданской войн поступления иностранной научной литературы в нашу страну практически прекратились.

Вместе с А. Ф. Иоффе выехал и его молодой сотрудник П. Л. Капица.

В 1919 году Капица окончил электромеханический факультет Петроградского политехнического института и остался на преподавательской работе. К этому времени он уже опубликовал несколько статей. Глубокое знание и понимание физики, хорошее владение математикой, яркость и быстрота мышления — все это давало основание видеть в нем очень перспективного ученого. Капица прекрасно разбирался в физической аппаратуре, владел тремя языками — это делало его ценным помощником в поездке. По-видимому, Иоффе считал также, что необходимо как можно скорее дать ему возможность вести научную работу в хороших условиях (сам он начинал в лаборатории Рентгена), а во время поездки можно будет найти подходящее место и выхлопотать соответствующую командировку. Физико-технический институт, организованный Иоффе в 1918 году, находился еще в начальной стадии формирования. Значительная часть многосторонней организационной работы легла на плечи друга Капицы и соавтора одной из первых работ — Николая Николаевича Семенова. В письмах Капица обычно называет его просто Колькой.

Думаю, что Иоффе, взяв с собой в поездку Капицу, учитывал и то, что на его молодого товарища недавно обрушился ряд тяжелых ударов судьбы. В ноябре 1919 года скончался отец Капицы, а месяц спустя умер его двухлетний сын. В начале января 1920 года родилась дочь, но вскоре после родов умерла жена Надежда Кирилловна, а вслед за ней и новорожденная дочь. Это было время, когда в голодном Петрограде свирепствовали грипп (знаменитая испанка) и другие инфекционные болезни. Капица был глубоко потрясен этими страшными утратами. Я уверен, что Иоффе считал смену обстановки существенной для смягчения его тяжелого состояния, отзвуки которого прорываются в отдельных строках писем.

Иоффе выехал сначала в Германию, куда вслед за ним должен был приехать Капица. Однако германскую визу Капице получить не удалось и после полуторамесячного ожидания в Ревеле (ныне Таллин), он выехал в Англию.

Из Ревеля в начале апреля 1921 года уходит в Петроград первое письмо Капицы к матери Ольге Иеронимовне. Она была не только любимой матерью, но и очень интересным человеком. Окончила словесное отделение Бестужевских курсов (одного из первых высших учебных заведений для женщин в России). Интенсивно занималась педагогической деятельностью в созданном после Октябрьской революции Педагогическом институте дошкольного образования и в других вузах. Основала в своем институте показательную библиотеку детской литературы, организовала студию детских писателей...

Вскоре после Капицы в Лондон приехал Иоффе.

12 июля Иоффе и Капица были у Резерфорда в Кембридже. Договорились о том, что Капица проведет год в Кавендишской лаборатории. По этому поводу в Англии и у нас ходит такая легенда. Сначала Резерфорд якобы отказал в приеме Капице, сославшись на то, что все 30 мест заняты. Тогда Капица неожиданно спросил, с какой примерно точностью ведутся работы в лаборатории. Удивленный Резерфорд ответил, что примерно 3 процента. «Но ведь один человек от тридцати составляет всего три процента, так что вы просто не заметите моего присутствия», — сказал Капица. Согласно легенде Резерфорд, очень ценивший юмор и быстроту реакции, был сражен такой аргументацией и дал согласие. За достоверность не ручаюсь.

Как все начинающие, Капица должен был начать работу на gage¹ — чердачном, но вполне приличном помещении. Здесь каждый претендующий на работу в лаборатории должен был под наблюдением Чедвика, молодого, но уже известного ученого, главного помощника Резерфорда по Кавендишской лаборатории, показать, что он собственноручно может изготовить простейшие приборы и провести заданные измерения. Для многих это испытание длилось несколько месяцев.

Капице было достаточно месяца, чтобы продемонстрировать, что он является зрелым экспериментатором. Ему предоставили место в основном помещении лаборатории. Стиль его работы произвел на Резерфорда сильное впечатление.

Резерфорд предложил Капице продолжить работу по измерению потери энергии альфа-частицами при прохождении через газ, которой он и его ученик Гейгер занимались десять лет назад. Пронзительный ум Резерфорда, которым так восхищается Капица в своих письмах, позволил ему увидеть в этом молодом русском ученом того человека, который может побить рекорды чувствительности соответствующей аппаратуры, поставленные в свое время им самим и Гейгером. И действительно, Капица, проявив большую изобретательность и тонкий анализ, сумел сделать прибор в 50 раз более чувствительный, чем применявшийся его достойными предшественниками. В результате он смог проследить за потерей энергии альфа-частицами, пока у них оставались лишь десятые доли процента от начальной энергии, в то время как его именитые предшественники не могли спуститься ниже 16 процентов.

Когда вышла из печати статья Капицы по измерению потерь энергии альфа-частицами, он позволил себе маленькую мст-шутку. (Он рассказал об этом в 1966 году в своем докладе о Резерфорде в Лондонском королевском обществе¹.) Дело в том, что в первый день его работы в Кавендишской лаборатории Резерфорд неожиданно заявил ему, что он ни в коем случае не потерпит в лаборатории коммунистической пропаганды. Это удивило и расстроило Капицу. В дальнейшем он понял, что на Резерфорда повлияла политическая обстановка в Англии и на континенте. Напомним, что в то время Советская Россия не имела дипломатических отношений ни с одной из

¹ Некий аналог нашей Академии наук, но без обширной сети институтов.

западных стран. Получив оттиски статьи, Капица преподнес ее Резерфорду с надписью: эта статья свидетельствует о занятиях наукой, а не коммунистической пропагандой. Резерфорд страшно рассердился и вернул оттиск Капице, который немедленно преподнес Резерфорду второй оттиск с подобающей дарственной надписью. Резерфорд сразу успокоился. Капица отметил, что он был очень вспыльчив, но столь же быстро остывал.

Один из советских обычаев Капица все же перенес на британскую почву. Он организовал семинар, чего не было ни в одном из 17 колледжей Кембриджского университета. Заседания проходили у него на квартире. Начало далось нелегко. Из первых 14 докладов половине сделал сам Петр Леонидович. Но затем все пошло нормально. Примерно 30 заседаний в год. В семинаре принимали участие в основном старшие сотрудники Кавендишской лаборатории. Семинар стал модным. Он назывался в просторечии Kapitza Club. На нем делали доклады такие ученые с мировым именем, как Эренфест, Гейзенберг, Дж. Франк, и многие другие. Сохранился журнал заседаний за много лет. В течение долгого времени постоянным участником семинара был Сноу, сменивший затем, как мы знаем, физику на литературу.

Резерфорд со вниманием отнесся к предложению Капицы о дальнейшей работе. А предложение было крайне смелым. Капица хотел сделать батарею аккумуляторов специальной конструкции. В течение двух сотых секунды аккумулятор должен был разряжаться через катушку, внутри которой должно создаваться магнитное поле значительно более сильное, чем в сильнейших электромагнитах. Внутри катушки помещается камера Вильсона, и в нее в нужный момент с точностью в одну тысячную секунды впускалось несколько альфа-частиц. Траектории альфа-частиц в сильном магнитном поле должны были сильно изгибаться. Исследование этих траекторий обещало дать интересные результаты.

Резерфорда не смутила смелость проекта и сравнительно большая стоимость выполнения работы. Он уже верил в Капицу и выхлопотал необходимую субсидию.

Опять было много собственноручной ювелирной работы. Результат оказался блестящим. В Кембриджском университете и вне его Капица после года работы был признан экспериментатором-рекордсменом.

После этих успехов Капицы Резерфорд предложил ему расширить объем работы и взять нескольких молодых сотрудников в качестве помощников. В числе этих помощников был Кокрофт, ставший в дальнейшем главой Британской атомной комиссии.

Между Резерфордом и Капицей установились очень хорошие отношения. Они основывались не только на глубоком взаимном уважении, но также и на том, что Капица менее, чем остальные сотрудники Кавендишской лаборатории, подчеркивал разницу в положениях. По-видимому, Резерфорду, человеку с очень живым характером, несколько надоело пребывание в положении некоего сверхчеловека, к которому многие обращались не иначе как сэр. (Резерфорд, как известно, получил титул лорда — Lord Rutherford of Nelson). А Капица, не переставая восхищаться Резерфордом и не скрывая этого, позволял себе даже подшучивать над ним.

Однажды, когда Капица по рекомендации Резерфорда уже стал членом Тринити-колледжа, за профессорским обеденным столом в четырехсотлетней трапезной колледжа несколько человек обсуждали книгу Ч. Ломброзо «Гений и безумство». Капица сказал соседу по столу, что каждый действительно крупный ученый должен быть в какой-то степени сумасшедшим. Сидевший неподалеку Резерфорд услышал эти слова и своим громовым голосом (когда Резерфорд начинал подниматься по лестнице Кавендишской лаборатории и разговаривал при этом с кем-нибудь, его голос был слышен в комнатах третьего этажа) сказал Капице: «Так вы меня тоже считаете сумасшедшим?» «Безусловно,— ответил Капица,— и я вам сейчас это докажу. Недавно вы рассказывали, что какая-то американская фирма, кажется «Дженерал электрик», предлагала вам перейти к ним, построить для вас огромную лабораторию и назначить сказочную оплату. А вы только посмеялись и не стали даже рассматривать это уникальное предложение. Я думаю, многие скажут, что вы действовали как сумасшедший»...

Вернемся, однако, к дальнейшим работам Капицы. Успешно получив с помощью своего аккумулятора магнитные поля, достаточные для значительного изгиба траекторий альфа-частиц, он захотел новым путем пойти дальше, в область еще более сильных полей, чтобы провести в них широкий круг исследований. Аккумуляторы

перестали удовлетворять его по ряду причин. Капица предложил разработать и построить мощный (2—3 тысячи киловатт) и особо прочный электрический генератор. Его надо было замыкать на мощную медную катушку на одну сотую секунды, получая сверхсильное магнитное поле. Сотая секунды — небольшое время, но тому, кто умеет распорядиться им как следует, это не так уж и мало, говорил Капица.

Предложение Капицы было чрезвычайно смелым, а многим могло показаться безрассудно смелым. В самом деле, ведь за эту сотую секунды быстро вращающийся ротор генератора весом 2,5 тонны должен превратить 20 процентов своей энергии вращения в многотысячаамперный электрический импульс тока. Между ротором и статором возникли гигантские электромагнитные силы. Медная катушка за сотую секунды должна была нагреться на 100 градусов, а замыкатель тока надо было разомкнуть за тысячные доли секунды, чтобы не возник дуговой разряд... Но Резерфорд уже верил Капице, своим быстрым умом он сразу схватил сущность его идей и, не входя в детали, пришел к заключению, что все это очень трудно, но для Капицы достижимо. А перспектива иметь в Кавендишской лаборатории магнитные поля в сотни раз более сильные, чем в любой лаборатории мира, была очень соблазнительной.

И Резерфорд со свойственной ему энергией добился от Департамента научно-технических исследований солидной субсидии на финансирование работ Капицы.

В 1926 году, когда я по рекомендации Капицы был командирован в Кембридж, генератор, изготовленный на заводе фирмы «Метрополитен-Виккерс», был уже водружен на специально амортизированный мощный фундамент и монтировалась измерительная аппаратура. А сам Капица, хотя у него был прекрасный механик, день за днем проводил за токарным станком, приспособленным для изготовления медных катушек. Эти катушки долго не удавалось заставить выдерживать в течение сотой доли секунды гигантские силы, развивавшиеся при взаимодействии огромных токов с небывалыми магнитными полями. Это был один из тех случаев, когда Капица считал, что самое трудное он сделает лучше, чем кто-нибудь другой. По существу же, все эти четыре года он работал, объединяя тончайший физический анализ и высочайшее инженерное искусство.

Позволю себе здесь небольшое отступление. Как-то, примерно в 1944 или 1945 году, я зашел к Петру Леонидовичу — уже в Москве, после возвращения Института физических проблем из эвакуации в Казань — и застал его за чертежной доской. Я спросил, что он делает. Он ответил: «Чертеж газовой задвижки». (Это было время его интенсивной работы над реализацией нового метода получения кислорода из воздуха, принесшего впоследствии сотни миллионов рублей экономии.) «Зачем же вы тратите свое время на такую работу? — спросил я. — Ведь ее может сделать любой грамотный инженер». «Сделать-то он сделает, — ответил Капица, — но я сделаю лучше»...

Вернемся опять в Кембридж. В конце концов трудности, о которых шла речь, были преодолены, и началась систематическая работа, давшая много нового. Затраты себя оправдали. Не будем останавливаться на результатах. Физикам они известны, а неспециалистам неинтересны.

Комбинация блестящего русского ученого-инженера и мощи английской техники дала превосходный результат. Идея Иоффе оправдала себя. В то время выполнить работу такого масштаба в Ленинградском физико-техническом институте было практически нереально. И хотя Капице, как мы видим из писем, было тяжело проводить столько времени вдали от горячо любимой матери, остальных членов семьи и друзей, уникальные результаты, получившие широкий резонанс во всем научном мире, принесли ему некоторое успокоение. А с 1926 года Капица стал систематически приезжать на родину.

В 1927 году Петр Леонидович женился на Анне Алексеевне Крыловой и переехал из колледжа в отдельный дом. Бывая у них в доме, я мог видеть, насколько спокойнее и счастливее жил в ту пору Петр Леонидович.

Кембриджская лаборатория сверхсильных магнитных полей стала модным местом. Многие крупные физики приезжали, чтобы познакомиться с вездущимися здесь работами и уникальным оборудованием. Энтузиасты называли ее восьмым чудом света.

После того как Капица реформировал методику получения сильных магнитных полей, его увлекла идея преобразования другого раздела экспериментальной физики — методики получения сверхнизких температур. Лидером в этой области была лаборатория Камерлинг-Оннеса в Лейдене. Для охлаждения газов использовался

классический метод многократного расширения сжатого до высокого давления газа в пространство с низким давлением... Неоднократно высказывались мысли, что более выгодно расширять газ не просто в объем низкого давления, а в каком-либо цилиндре, производя работу над перемещением поршня, подобно тому как это делается в двигателях внутреннего сгорания, например автомобильных. Но никто не решался действовать таким образом.

Были многочисленные трудности и в этом деле. Но Капица блестяще справился с поставленной задачей.

Резерфорд поддержал и это новое начинание Капицы. Вскоре стало ясно: для объединения работ со сверхсильными магнитными полями с работами со сверхнизкими температурами необходимо строительство нового здания. И опять Резерфорд добился крупных субсидий от Департамента научно-технических исследований и от Королевского общества в размере 15 тысяч фунтов (150 тысяч золотых рублей по курсу того времени) на строительство и 10 тысяч фунтов на оборудование. Здание было построено и оборудовано, Капица был назначен директором этой новой лаборатории Кембриджского университета.

После переезда Капицы в Москву оборудование лаборатории было закуплено для его института Советским правительством.

Впоследствии, уже работая в созданном для него в Москве Институте физических проблем АН СССР и проведя дальнейшее усовершенствование методики получения жидкого гелия, Петр Леонидович мог сказать: «Теперь мы можем производить больше жидкого гелия, чем лаборатории всего мира, вместе взятые».

Академик Ю. Б. ХАРИТОН.

Лондон, 2 июня 1921 г.

Дорогая Мама!

Вот уже неделю я в Лондоне и, слава богу, наладил свою жизнь тут. Поселился не в гостинице, где очень шумно, а в маленькой квартирке, которую снимаю с услугами и где могу столоваться...

Я обмундировался и теперь имею приличный вид. Что я имею приличный вид, об этом я сужу по следующему. Когда я подходил к bobby (так называют тут в шутку полицейских) и спрашивал их дорогу, то в моем прежнем костюме они брали меня фамильярно под руку и говорили, куда идти. Теперь они больше не берут меня под руку и обращаются ко мне sir. Тут англичане очень строги с костюмами по-прежнему. Так, пока я ходил и искал себе квартиру в кепке, то все говорили, что у них нету квартир. Надев хороший костюм, я снял себе квартиру в том же доме, где мне накануне сказали, что квартир нету, а оказалось сразу две, из которых я одну и снял.

Вчера был в King's College¹, видел профессора Ричардсона², члена Королевского общества. Европейский ученый. Так увлекся, что проболтал с ним 1 1/2 часа. Умный парень, но я, кажется, хватил через край, вел себя не с должным почтением и пустился нахально в спор. В следующий раз буду подержаннее. Потом только я заметил, что ассистент этой знаменитости пялил на меня глаза. Но, во всяком случае, профессор Ричардсон был очень любезен, дал мне необходимые сведения, и завтра мы с ним условились опять свидеться. Он выглядит совсем молодым.

Завтра вечером приезжает в Лондон Абрам Федорович [Иоффе]³. Я получил от него телеграмму и пойду его встретить...

¹ Королевский колледж, один из колледжей Лондонского университета.

² Р и ч а р д с о н Оуэн Уилланс (1879—1959) — английский физик, лауреат Нобелевской премии (1928).

³ И о ф ф е Абрам Федорович (1880—1960) — физик, академик.

Лондон, 10 июня 1921 г.

Дорогая Мама!

Вот две с лишком недели я в Лондоне. Завтра еду в Оксфорд проведать мистера Френча. Помнишь того священника, которого я встречал в Питере? Воспользуюсь случаем и посмотрю Оксфорд. Говорят, забавный городок.

Что касается меня, то у меня почти не проходящее скверное настроение. Не знаю, чем его объяснить. Должно быть, отсутствием работы. Физическое самочувствие пока что хорошее. Давно не получал от вас писем, это меня очень огорчает.

Абрам Федорович сегодня ровно неделя как в Лондоне. Работа по закупке, вероятно, вся ляжет на меня, а работать с Абрамом Федоровичем очень трудно. Он не дает свободы инициативе, что ни сделаешь, он на все морщится, а в то же время точных директив не дает. Наши закупки в Англии, конечно, должны идти согласованно с закупками, произведенными в Германии. Что он закупил в Берлине, я не знаю, никаких записей он не имеет. Говорит, что это так много, что он не мог привезти?!

Скоро должны приехать Крылов¹ и Рождественский². Буду им рад. Как-то в особенности к Крылову у меня душа лежит. Это другой стиль...

Завтра идем слушать лекцию Эйнштейна, он читает о теории относительности в King's College. Здесь его очень почитают и называют вторым Ньютоном. Сейчас отправлюсь в город смотреть картинную галерею...

Да, купил себе фотографический аппарат и много снимаю. Постараюсь послать вам фотографии моего путешествия. Может быть, это вас развлечет...

¹ Крылов Алексей Николаевич (1863—1945) — кораблестроитель, механик и математик, академик. С 1921 по 1927 год находился в зарубежной командировке.

² Рождественский Дмитрий Сергеевич (1876—1940) — физик, академик (1929)

Лондон, 24 июня 1921 г.

Дорогая моя Мамочка!

Ну, как ваши дела? Я все думаю о вас.

Сегодня был у профессора русского языка, директора Лондонской библиотеки Ч. Хегбери Райта. Он очень мил и хорошо говорит по-русски. Я его просил дать список детских книг и книг по вопросу детского чтения. Конечно, для тебя. Он все это обещал мне сделать. Но он просил меня раздобыть книги об иконах и лубочных картинках. Если это есть или каким-либо образом ты можешь достать, то вышли их мне через Народный комиссариат иностранных дел так же, как ты пересылалась письма. Если попросить, то они это сделают.

Теперь я очень занят. Много беготни и других хлопот. Списался с моими шотландскими друзьями Милларами¹, зовут меня погостить в Шотландии на недельку-другую.

Чувствую себя хорошо, только толстею да, кажется (только не говори Кольке²), плешивею...

¹ В этой семье П. Л. Капица гостил летом 1914 года.

² Семенов Николай Николаевич (р. 1896) — химик и физик, академик (1932), лауреат Нобелевской премии (1956). П. Л. Капица был дружен с ним со студенческих лет.

Лондон, 13 июля 1921 г.

Дорогая Мамочка!

...Было много работы и потому не писал. Был у Уэллса на рауте, был также на чае у Райта. Познакомился там с Бернардом Шоу, Содди¹, лордом Холденом² и пр. Можно сказать, здорово! Но не буду останавливаться на этом всем, так как есть более важное, о чем тебе надо писать. Дело в том, что, по всей вероятности, я останусь тут на зиму и буду жить в Кембридже и работать у проф. Резерфорда³. Он дал свое согласие, мы были у него вчера. Наше представительство тоже согласно оставить меня тут. Не знаю, радоваться мне или нет. Уж очень душа моя болит за вас, мои дорогие. Что вы там будете делать без меня? Но, с другой стороны, [эту] зиму я [бы] работать не мог. А у меня теперь в жизни все, что есть, — это работа да вы все, мои дорогие.

Я вас постараюсь поддержать. Конечно, я сделаю все, что от меня зависит. Но если я не использую этого счастливого стечения обстоятельств, то, конечно, долго придется ждать. А время идет, и много уже потеряно. Боюсь также за себя, что соскучусь очень среди англичан. Поеду в Кембридж через две недели — и за работу. Тороплюсь кончать закупки тут...

¹ Содди Фредерик (1877—1956) — английский радиохимик, лауреат Нобелевской премии (1921).

² Холден Ричард Берден (1856—1928) — английский политический и государственный деятель.

³ Резерфорд Эрнест (1871—1937) — английский физик, с 1919 года профессор Кембриджского университета и директор Кавендишской лаборатории. Лауреат Нобелевской премии (1908), иностранный член АН СССР (1925).

Лондон, 15 июля 1921 г.

Дорогая моя Мама!

Вчера получил ваши письма. Всегда бываю рад и взволнован.

В особенности меня волнует твое здоровье. Тебе нужно отдохнуть... Потом меня волнует зима. Как вы будете там без меня?

Я тут собираюсь вам подсобить, и, кажется, кое-что будет возможно предпринять. Посылаю с Абрамом Федоровичем, который уезжает завтра в Берлин, Голландию и Швецию, 12 пар хороших английских шерстяных носков — 6 штук Лене¹, а 6 штук Николаю Николаевичу. Потом кое-что еще я просил передать вам Абрама Федоровича.

Ты, дорогая, не скучай без меня. Мне, конечно, без тебя тут будет тяжело. но надо же работать. Уйдет молодость в два счета, и ее не вернешь. Я сейчас нахожусь в волнении, как это пойдет у меня работа в Кембридже, как это я столкнусь с Резерфордом с моим английским языком и с моими непочтительными манерами. Еду к нему 21 июля.

Посылаю тебе фотографические карточки, может быть, они тебя позабавят и дадут представление о том, что я тут вижу.

Если вы будете жить на Каменноостровском, то запаситесь дровами как только можно больше, чтобы вам было зимой тепло. В кабинете следует постелить ковры и вообще в других комнатах тоже, так как под ними холодное помещение и с полу может быть холодно. В особенности Леньчик маленький находится очень близко от пола.

Напиши, какой номер твоих очков.

Насчет детских книг я не забыл. Директор Лондонской библиотеки д-р Райт составил мне список. Я найду на днях к нему, возьму этот список и pošлю тебе. Ты выберешь подходящие книги, и я тебе их pošлю...

¹ Капица Леонид Леонидович (1892—1938) — старший брат П. Л. Капицы. Он, его жена Наталья Константиновна и их сын Леня жили вместе с Ольгой Иеронимовной.

Лондон, 24 июля 1921 г.

Дорогая моя Мама!

Сегодня день твоих именин, я помню это и посему поздравляю тебя и желаю тебе всего хорошего.

Это время я [был] очень занят, перебрался из Лондона в Кембридж и начал работать в лаборатории. 22 и 23 числа работал усердно. Но сегодня приехал в Лондон, так как в Кембридже скучно и, кроме того, завтра, в понедельник, у меня кое-какие дела по закупкам.

Что касается моей работы в Кембридже, то пока еще мало ясно. Пока что знакомлюсь с радиоактивными измерениями и делаю просто практикум. Что будет дальше, я не знаю. Ничего не задумываю, ничего не загадываю. Поживем, увидим.

Очень меня беспокоят ваши дела, как это вы проведете зиму без меня. Я уж буду стараться что-либо сделать для вас, если возможно...

Кембридж, 29 июля 1921 г.

Дорогая моя Мамочка!

Получил ваши письма, примерно от середины июля, где ты, как и Ленька, меня упрекаете в том, что я мало пишу. Правда, это время я писал мало, но не реже одного письма в неделю. Писал я мало потому, что был очень занят, и сейчас много работаю, с утра до вечера сижу в лаборатории, прихожу домой в 6 часов вечера, надо писать и считать. Усталый и утомленный, думаю, как бы лечь в постель. Когда налажу дела, буду писать больше...

Дорогая моя, если я тут и остался на зиму, то только для того, чтобы работать. Ты сама знаешь, что, кроме вас и работы, у меня ничего на свете нет. О вас я думаю все время и делаю все, чтобы вам подсобить. Ваши письма меня волнуют, когда я получаю их, то сердце бьется усиленнее.

Все эти упреки совершенно не заслужены. Теперь, может быть, удастся вам переправлять кое-что отсюда. Послал тебе очки и лорнет. Пенсне тебе не к лицу и только изуродует нос. Очки я послал самые модные. Говорят, в них очень удобно читать. Послать очки другим не смогу — дорого и пересылка вещь хлопотливая.

Не забывай, дорогая моя, что я тут один среди англичан, целый день ни слова по-русски, не с кем душу отвести, ни поострить, ни поспорить. Только возможность работать заставляет меня быть тут...

Работать тут хорошо, хотя я еще пока не делаю самостоятельной работы, а провожу практикум. Отношение со стороны работающих хорошее, хотя плохое знание языка мне мешает изъяснять свои мысли. Я и по-русски-то плохо выражаю свои мысли.

Все думаю о вас, как-то вы зиму будете без меня. Никогда мы с тобой, дорогая моя, не разлучались на такой долгий срок. Пишите как можно больше и чаще. Ваши письма для меня половина моего существования. Я тут боюсь этого одиночества страшно. Целую всех крепко. Всегда с вами душой.

Кембридж, 6 августа 1921 г.

Дорогая Мама!

Получил от вас вчера письма и был очень рад. Вот уже больше 2 недель я в Кембридже работаю в лаборатории. Теперь настает самый рискованный момент — это выбрать тему для работы. Дело нелегкое и довольно-таки серьезное. Когда у меня такие моменты, то я не люблю много говорить, и потому мне трудно написать что-либо определенное о моем положении и о моей работе. Когда добьюсь чего-либо, то напишу тебе...

Сейчас вместе с неким Мюллером, работающим тоже в Кавендишской лаборатории, я отправлюсь в Лондон. Надо повидать Алексея Николаевича Крылова и Анну Богдановну Ферингер¹ перед отъездом. Едем в Лондон на мотоциклетке. Если все будет благополучно, это возьмет 2—2 1/2 часа.

Этот Мюллер — швейцарец из Женевы, ему 32 года. Это первый человек тут в лаборатории, с которым я сошелся довольно хорошо за 2 недели моего пребывания. Он развитой парень, очень мил, оживлен, почти как француз, и разговорчив, как русский. Работает он по вопросу рентгеновских лучей. У него прекрасная техника и недурная, по-видимому, башка.

Остальные работающие относятся ко мне довольно мило, хотя познакомиться с этими англичанами близко не так-то легко...

¹ Ферингер Анна Богдановна — жена А. Н. Крылова. Работала в Пулковской обсерватории.

Кембридж, 12 августа 1921 г.

Дорогая Мама!

Получаю теперь от вас письма довольно аккуратно. Это меня очень радует. Беспокоит меня вопрос, как вы будете, когда Леня уедет на Север. Вообще, душа моя болит за вас.

Вот я уже три недели работаю в лаборатории в Кембридже. Дела идут по-маленьку, но беда вся в том, что через неделю, 20 августа, лаборатория закрывается. 3 недели каникулы. Право, не знаю, как провести эти три недели. Хочется работать, а тут, хочешь не хочешь, три недели гуляй. Думаю поехать в Шотландию проведать семью Милларов.

Тут, в Кембридже, я снимаю 2 комнаты в одной семье, тут же столуюсь. Семья полуинтеллигентная, мещанская, но они очень любезны со мной. В особенности хозяйка, очень разговорчивая, по вечерам заходит ко мне и долго беседует. Разговоры неинтересные, но я на это смотрю как на уроки английского языка.

Вчера первый раз имел разговор на научную тему с проф. Резерфордом. Он был очень любезен, повел к себе в комнату, показывал приборы. В этом человеке безусловно есть что-то обаятельное, хотя порой он и груб.

Так жизнь моя тут течет, как река без водоворотов и без водопадов. До 6 работаю, после 6 либо читаю, пишу письма, либо еду покататься на мотоциклетке. Это для меня большое удовольствие. Дороги тут идеальные.

Кембридж, 20 августа 1921 г.

Дорогая Мама!

Получил от тебя письмо, содержание и тон которого меня очень огорчили... Ты прекрасно знаешь, что когда я очень сосредоточен, очень занят, когда положение не имеет еще достаточно крепкого фундамента, писать письма мне очень трудно. Я пишу их, конечно, потому, что считаю, что лучше написать плохое письмо, чем не написать никакого. Что касается писем другим и того, что от других вы узнаете обо мне, то это, как я уже объяснил в письме к Наташе, происходит оттого, что я не люблю писать два раза об одном и том же.

С этого письма начну нумеровать мои письма, чтобы вы тоже могли проверить, что я аккуратно пишу два раза в неделю...

Ты, право, не представляешь себе мою психологию. То, что я сейчас делаю, это, конечно, *tout de force*¹ во всех отношениях, и вместо того, чтобы поддерживать, пишешь такое письмо. Неужели ты меня так мало знаешь? А я думал, что ты меня знаешь лучше, чем кто-либо другой.

Мама, ты прекрасно знаешь, что жизнь перестала быть для меня радостью. Если я мало говорю о себе, это вовсе не значит, что у меня ничего нету. Ведь рана у меня глубокая, и бог знает, заживет ли она когда-нибудь. Здесь, среди чужих людей, работая непрерывно над любимым делом, авось я почувствую себя лучше, авось вернется ко мне любовь к жизни и радость жизни. Я не говорю, что я несчастен; я никогда, до последней минуты своей жизни не сложу оружия. Если жить, так надо идти вперед непрерывно. Покой, равновесие — это духовная смерть. Тут, в Кембридже, мне приходится начинать сначала. В Политехническом институте я уже стоял на независимом положении, на уровне, во всяком случае, выше среднего. Тут, в Кембридже, меня никто не знает. Абрам Федорович ничего даже не мог сказать Резерфорду обо мне, так как Абрам Федорович не говорит по-английски, а Резерфорд говорит только по-английски. Я был переводчиком в их разговоре.

Вот я месяц в Кембридже — срок немалый. Но все же кое-чего я уже добился, но очень малого, о чем даже писать не стоит. Но мне хочется, и я буду всеми силами стараться войти в научную жизнь лаборатории, только тогда можно работать полным темпом. До сих пор это мне не удалось. Хотя это и естественно — я работаю в тех областях, которыми тут не интересовались.

Все это я пишу только тебе, и это не подлежит оглашению. Итак, не будь строга и требовательна, обожди. Как все выкристаллизуется, я буду писать вам более содержательные письма. Только сейчас, право, трудно.

Сейчас вакации, и это меня очень огорчает. Тут закрывается решительно все — библиотеки, мастерские и пр. Жизнь совершенно останавливается. А мне каждый потерянный день жалко...

¹ Французская идиома. Здесь по смыслу ближе всего русское выражение «горы свернуть».

Глазго, 26 августа 1921 г.

Дорогая Мама!

Вот я уже в Глазго. Сажу в особняке Милларов. За время войны, видно, они здорово разбогатели и живут очень широко. Парни подросли и стали совершенно мужчинами. Сама миссис Миллар сейчас на даче, туда я поеду завтра. 7 сентября поеду в Эдинбург на съезд Британской ассоциации физиков. Там А. Н. Крылов будет делать доклад о Курской магнитной аномалии. Вернусь в Кембридж только 26 сентября и опять примусь за работу.

Не писал эти четыре дня, так как был так занят, что прямо не было времени вздохнуть. Я немного переутомился и рад возможности хоть одну недельку отдохнуть.

Читаю сейчас записки графа С. Ю. Витте¹. Чрезвычайно интересно. Я их пошлю Ольге Конрадовне², пускай она тебе расскажет о них. Они у меня, к сожалению, на английском (на русском не мог достать)...

¹ Витте Сергей Юльевич (1849—1915) — русский государственный деятель. Речь идет о «Воспоминаниях» С. Ю. Витте, впервые изданных за рубежом.

² Недзвецкая-Самарина Ольга Конрадовна (1887—1972) — историк, преподавала в Петроградском университете и на рабфаке, большой друг Ольги Иеронимовны и Петра Леонидовича.

Сент-Филланс, 30 августа 1921 г.

Дорогая Мама!

Сию у камина в том самом месте, где сживал 7 лет тому назад. Хозяева ко мне очень милы. Боже мой, 7 лет! Тут ничего не изменилось. Война ни на чем не отразилась. Даже как-то странно. А у меня за эти 7 лет столько было! Боже мой, если тогда мне все это приснилось бы во сне, я бы не поверил, что человек может все это пережить. А оказывается, может. Да, жизнь и человек в ней весьма эластичны, и те формы, в которые нас вдавливают судьба, другой раз фантастичны...

Сент-Филланс, 2 сентября 1921 г.

Дорогая Мама!

Все еще живу тут, в Шотландии, у берега озера. Но все более и более тянет в Кембридж, в лабораторию, к работе. Но тут строго — вакации так вакации, и [во время вакаций] никто не позволит работать...

Да, дорогая моя, третьего дня было ровно 5 месяцев, как я покинул вас. Это почти 1/2 года. Никогда мы с тобой не расставались на такой долгий срок. За эти пять месяцев только один месяц проработал в Кембридже и с большим удовольствием и удовлетворением вспоминаю этот месяц. Но это, конечно, очень мало, хочется больше...

Ты пишешь, чтобы я писал больше о себе, но мне это трудно. Я всегда гляжу кругом и мало обращаю внимания на себя. Говорю по-английски много, почти все могу выразить, запас слов увеличился, но произношение, я думаю, у меня скверное. Одеваюсь хорошо, даже тут считают, что я прилично одет. У меня два костюма, один серый, другой синий. Первый предназначается для каждого дня, другой — в торжественных случаях. Ношу серую фетровую шляпу, свою страсть к чистым воротничкам вполне удовлетворяю. Но с вихрами дело хуже. Миссис Миллар мне не дает покоя и требует, чтобы я пошел к парикмахеру (за эти 5 месяцев я только два раза стригся). Но меня огорчает, что я теряю много волос. Боюсь, что по приезде не смогу уже подсмеиваться над Колькой...

Радости жизни во мне нету, и будет ли она когда-нибудь, не знаю. Но работаю с остервенением подчас. До последней минуты своей жизни не сложу орудия! Жить или работать — это для меня становится одним и тем же...

Сент-Филланс, 6 сентября 1921 г.

Дорогая Мама!

Завтра уезжаю в Эдинбург на съезд. За время, проведенное в Шотландии, я отдохнул и поправился. За последнее время я похудел, но теперь опять принимаю мой нормальный вид. Жизнь в семье, хорошее питание, доброе откошение — все сказалось хорошо. Последнюю ночь спал плохо, все вспоминал твое письмо, которое меня так огорчило...

Тут, в Шотландии, дивно хорошо. Все думаю, как бы было хорошо, если бы ты была тут со мной. Горы, зелень, озера, реки — все напоминает Швейцарию, только в миниатюре. Сентябрь считается лучшим месяцем в Англии.

Тут я немного занимался и сделал кое-какие вычисления для моей работы. Интересно, как пойдут мои дела в Кавендишской лаборатории?

Я все думаю о вас, так хочется знать побольше, что у вас делается.

Ты не поверишь, как бы мне хотелось перенести всю Кавендишскую лабораторию в Питер...

Лондон, 19 сентября 1921 г.

Дорогая Мама!

Сегодня получил ваши письма и был очень им рад, были письма от всех, и я прочел и перечел их. Ты себе не можешь представить, как это на меня хорошо действует. Но меня беспокоит, что ты не пишешь, получила ли ты очки. Я их послал, но ты ничего не пишешь о них.

Погода тут становится холодной, зима тут мерзкая, говорят, больше напоминает нашу осень. Я уже схватил насморк. Чувствую себя средне. Нервы в неважном состоянии опять. Не знаю, что буду делать, когда Крылов уедет,

У меня на Эдинбургском съезде Британской ассоциации наук новое знакомство — это проф. Тимошенко¹. Очень умный и милый человек. Он высокого роста, с белыми кудрями, с маленькой бородкой, бледное лицо, светлые умные глаза. От него дышит кабинетом и книгой. Он действительно умен, тот спокойный и глубокий ум, который я встречал мало у кого. В нем есть что-то обаятельное, хотя он говорит мало и редко. Всегда тихим и спокойным голосом. Я с ним провел целую неделю на съезде. Он друг Абрама Федоровича.

Мне очень приятно, что Наташа мне пишет. Ты, мама, счастливая, что у тебя такая хорошая невестка! Ведь это прямо тебе повезло. Сыновья, право же, тоже неплохи! Хоть один, говоришь, и мало тебе пишет, но этот сын у тебя бедный малый, у него дух мятежный. Когда-то он найдет себе место и спокойствие? Мне хочется верить, что это будет.

Теперь, может быть, в моей жизни один из самых критических моментов. Если я выйду победителем, то мне кажется, я найду себе покой. Но вот что меня мучает сейчас: сумею ли я выполнить те работы, которые я задумал тут, в Кавендишской лаборатории? Не начинаю ли я опять размахиваться чересчур широко? Я задумал крупные вещи, а, может быть, опять все сведется к нулю.

Потом, для меня этот самый Резерфорд загадка. Сумею ли я ее разгадать? А ко всему этому еще эта неопределенность материального моего положения...

¹ Тимошенко Степан Прокофьевич (1878—1972) — ученый в области теоретической и прикладной механики, иностранный член-корреспондент АН СССР (1928), родился в России, в 1920 году эмигрировал.

Кембридж, 12 октября 1921 г.

Дорогая Мама!

После трех недель неполучения от вас писем наконец получил. Очень рад, что ты получила очки. Я уже начал беспокоиться за них, они ведь стоили мне около 4 фунтов стерлингов, так как тут эти очки считаются самыми шикарными.

Ты не можешь себе представить, как я рад вашим письмам. Чувствуешь себя сразу бодрее и хочется вам писать как можно больше.

Я по-прежнему много работаю, работой доволен, отношением к себе в лаборатории тоже. Вернулось много работающих, в том числе и Мюллер. Мотоциклетка моя в порядке, и я катаю на ней с большим удовольствием. Без этой игрушки я чувствовал бы себя гораздо хуже.

Проф. Резерфорд ко мне [все] любезнее, он кланяется мне и справляется, как идут мои дела. Но я его побаиваюсь. Работаю почти рядом с его кабинетом. Это плохо, так как надо быть очень осторожным с курением — попадешься на глаза с трубкой во рту, так это будет беда. Но, слава богу, у него грузные шаги, и я умею их отличать издали. Кроме того, у меня в комнате вытяжной шкаф, в который можно курить. Это, конечно, помогает горю...

Теперь насчет поручений. Я с удовольствием их исполню, только я прошу одно. Напиши ты, Наташа и Леня на отдельных листках, что вам нужно. Все поручения разбросаны в письмах, и их собрать очень трудно. Я с удовольствием все выполняю...

Ну, пока! Крепко тебя целую, сейчас поздно и пора спать. Я ложусь рано, около 12, встаю в 8. Бренюсь, моюсь, кушаю и в 9 уже в лаборатории. Жизнь тут регулярная, и это помогает хорошо работать.

Кембридж, 25 октября 1921 г.

Дорогая Мама!

...Моя работа продвигается понемногу, отношения с Резерфордом, или, как я его называю, Крокодилом, улучшаются. Работаю усердно и с воодушевлением. Кое-каких результатов уже добился по теме взял трудную и работы уйма.

Сейчас в Кембридже академик Щербатской¹, он рассматривает какие-то санскритские рукописи, так что я с ним вижусь, и это доставляет мне удовольствие поговорить по-русски.

Тут зима только начинается, листья только начинают желтеть. Морозов не ждут ранее января, но уже холодно, и холод тут какой-то особенный, хуже наших морозов, так как воздух всегда сырой. Конечно, туманы. Я предпочитаю нашу зиму. Ведь я давно не простужался, а эта погода меня и подкузьмила. Так как болит горло, то курить нельзя. Это скверно.

Давно не посылал вам посылков, так как из Кембриджа трудно, но на днях пошлю. Хотелось бы послать не съестное, а что-нибудь из одежды..

¹ Щербатской Федор Ипполитович (1866—1942) — индолог, тибетолог и буддолог, академик.

Кембридж, 1 ноября 1921 г.

Дорогая моя Мама!

Получил сегодня от тебя 3 письма. Это всегда для меня большая радость. Но по тону этих писем я чувствую, что ты устаешь от работы и очень утомляешься. Ты знаешь, моя дорогая, работа, когда ее мало, — это плохо, но когда ее много — это тоже плохо. Поэтому сбавь пара и не нагружай так машину. Ты читаешь лекции в стольких местах, что у меня прямо волосы дыбом встали.

Огорчает меня Ленька, что он худеет и нервничает. Я помню, когда я был семейный, я тоже был всегда нервен. Заботы о семье, боязнь за близких — это больше всего действует на нервы, сам за себя всегда спокоен. Ты скажи Леньке, чтобы он не унывал, я сейчас смогу ему опять подсобить. Если очень туго будет, то пускай прямо пишет.

За меня ты не беспокойся, я тут, что называется, all right¹. Простуда прошла, и чувствую себя хорошо. Работа движется. Эта неделя и следующая будут для меня решительными. Те результаты, которые я получил, уже дают надежды на благополучный исход моих опытов. Резерфорд доволен, мне передавал его ассистент. Это сказывается в его отношении ко мне. Когда он меня встречает, то всегда говорит приветливые слова. Пригласил в это воскресенье меня пить к себе чай, и я наблюдал его у себя дома. Он очень мил и прост. Расспрашивал меня об Абраме Федоровиче. Но вообще говоря, он свирепый субъект. Когда недоволен, то держись. Так обложит, что мое почтение. Но башка поразительная. Это совершенно специфический ум. Колоссальное чутье и интуиция. Я никогда не мог это представить прежде. Слушаю курс его лекций и доклады. Он излагает очень ясно. Он совершенно исключительный физик и очень своеобразный человек.

Книгу Ольги Конрадовны я получил, твою я еще не получил. Спроси О. К., получила ли она записки гр. Витте, которые я ей послал. Очень рад, что очки и лорнет тебе пришлось по вкусу.

Есть у меня к тебе большая просьба. Но не торопись ее выполнить. Я знаю, что ты очень занята. Когда у тебя будет свободных часа 3—4, то съезди на Смоленское кладбище к нашим могилкам, посмотри, все ли там исправно. Сегодня ровно 7 месяцев, как я уехал из Питера. А кажется, я тебя не видел уже целых 2—3 года.

Ты, дорогая моя, не скучай без меня. Помни, что мне тоже грустновато тут, я ведь один среди не только совершенно чужих мне людей, но еще людей другого рода, не говорящих на моем языке и совершенно чуждых по духу. Но то, что я могу здесь работать, и хорошо работать, искупает все.

Вечера действительно подчас очень тоскливы. Но что поделаешь. Я занимаюсь и пишу тебе письма, и мне кажется, что расстояние между нами сокращается.

Ты сама знаешь, как мне повезло в жизни, что у меня есть любимое дело, в котором я могу работать с некоторым успехом. Это дает возможность многое пережить.

Сейчас у меня новая переписка, но, пожалуйста, никому не говори о ней. Я переписываюсь с проф. Эренфестом² из Лейдена. Он был в Петрограде в прежние годы и был очень популярен среди физиков. Мне посоветовал начать эту переписку проф. Тимошенко. Он встретил Эренфеста в Йене на съезде физиков, и тот изъявил согласие. Тимошенко написал мне письмо об этом. Тогда я написал Эренфесту. Он очень любезно мне ответил и обещал отвечать впредь. Переписка чисто научного характера. Не знаю, что выйдет из нее. Если я выдержу эту марку, то буду очень рад. Ну пока! Крепко вас целую, дорогие мои.

¹ В порядке.

² Эренфест Пауль (1880—1933) — нидерландский физик-теоретик. Родился в Вене, в 1907—1912 годах работал в Петербурге, с 1912 года — в Нидерландах. Иностраннный член-корреспондент Академии наук СССР.

Кембридж, 21 ноября 1921 г.

Дорогая моя Мамочка!

Немного виноват перед вами, на прошлой неделе не писал вам и вообще не отправил ни одного письма. Этому причина — лаборатория, меня затирает с экспериментом, я не мог добиться желанного результата. Так был полон работой, что не мог себя заставить писать.

Дело в том, что мне надо увеличить чувствительность моих аппаратов по крайней мере в 10—15 раз, а я уже достиг такой чувствительности, которая превосходит обычную, достигаемую аппаратами того типа, с которыми я сейчас работаю. Задача трудная и потребует много искусства. Крокодил (Резерфорд) часто приходит посмотреть, что я делаю, и прошлый раз, рассматривая полученные кривые, высказался в том смысле, что я уже близок к намеченной цели. Но чем ближе подходишь, тем больше и больше затруднений...

Мое материальное положение вполне хорошее, хотя жизнь в Кембридже очень дорогая, гораздо дороже, чем в Лондоне. Тут живут сынки богатых родителей, и город живет ими.

Меня беспокоит твое здоровье, дорогая моя. Вещей не жалейте. Продавайте мои тоже. Только картины не трогайте. Главное, чтобы вам было сытно и тепло. Копить и хранить ничего не следует.

Вы пишете, что у вас зима, а тут все еще осень. Не все листья еще опали...

Ну, пока! Всего доброго, дорогая моя. Не сердись, если не пишу, но я всегда-всегда думаю о тебе, ведь ты самое дорогое, что у меня есть на свете. И я знаю, что я для тебя тоже дорог. Так приятно в одиночестве, среди чужих людей, сознавать, что кто-то тебя все же любит и что не всем безразлично, существуешь ты на свете или нет. Поцелуй всех.

Кембридж, 16 декабря 1921 г.

Дорогая Мама!

...Скоро каникулы, и лаборатория закрывается на две недели. Я просил Крокодила позволить мне работать, но он заявил мне, что он хочет, чтобы я отдохнул, ибо всякий человек должен отдыхать. Он поразительно изменился к лучшему по отношению ко мне. Теперь я работаю в отдельной комнате, тут это большая честь. Достиг результатов в работе, но все еще не окончательных, хотя теперь на удачу довольно много шансов.

Тут было кое-что забавное, что следует описать. Это обед Кавендишского физического общества. Члены этого общества автоматически — все работающие в лаборатории (только мужчины). Раз в год они устраивают обед. На этот обед приглашаются профессора лаборатории Томсон¹ и Резерфорд и несколько профессоров из других университетов. На этот раз это были проф. Баркла² и проф. Ричардсон.

На обеде присутствовало человек 30—35. Сидели за П-образным столом, причем председательствовал один из молодых физиков, по сторонам от него сидели гости. Сперва ели и пили. Пили-то не особо много, но англичане очень быстро пьянеют. И это сразу заметно по их лицам. Они становятся подвижными и оживленными, теряют свою каменность.

После кофе начали обносить портвейном, и начались тосты. Первый — за короля. Потом второй — за Кавендишскую лабораторию. Причем произносил тост кто-нибудь из молодежи, а отвечал один из профессоров. Тосты были по возможности комического характера. Эти англичане очень любят шутки и остроты. Третий тост был за «старых студентов» и четвертый — за гостей.

Между тостами пели песни. Есть специальный сборник песен, написанных самими физиками. Там в самом комическом виде воспеваются лаборатория, физика и профессора и пр. Поют эти песни все без исключения. Причем мотивы заимствованы из оперетт. Такой обычай ведется со времен Максвелла.

Вообще за столом можно было проделывать все что угодно: пицать, кричать и пр. Вся эта картина имела довольно-таки дикий вид, хотя и очень своеобразный. После тостов все стали на стулья и взялись крест-накрест за руки и пели песню, в которой вспоминали всех друзей и пр. Очень было забавно видеть таких мировых светил, как Дж. Дж. Томсон и Резерфорд, стоящими на стуле и поющими во всю глотку.

Потом спели «God save the King»³ и в 12 часов ночи разошлись по домам, но я попал домой только в 3 часа ночи. Так как среди обедавших были такие, которых пришлось разводить, я, смею тебя уверить, был в числе разводящих по домам, а не разводимых. Последнее, пожалуй, приятнее. Но мое русское брюхо, видно, более приспособлено к алкоголю, чем английское. Дам на обеде не было...

¹ Томсон Джозеф Джон (1856—1940) — английский физик, директор Кавендишской лаборатории в 1884—1919 годах. Лауреат Нобелевской премии (1906), иностранный член Петербургской Академии наук (1913) и Академии наук СССР (1925).

² Барклай Чарлз (1877—1944) — английский физик, лауреат Нобелевской премии (1917).

³ «Боже, храни короля» — начальные слова английского национального гимна.

Кембридж, 22 декабря 1921 г.

Дорогая Мамочка!

Пишу тебе, сидя у камина. На улице все еще не было морозов. Только две были с заморозками...

Сегодня наконец получил долгожданное отклонение в моем приборе. Крокодил был очень доволен. Теперь успех опытов почти обеспечен. Есть кое-какие затруднения, но я думаю, я их перескочу.

Я, кажется, тебе писал уже, что получил отдельную комнату для работы. Это очень приятно. Не только потому, что лестно моему самолюбию, так как это тут большая честь, но много стало легче работать. Если опыты удадутся, то мне удастся решить вопрос, кой не удалось разрешить с 1911 г. самому Крокодилу и другому хорошему физику, Гейгеру¹. Нечего тебе описывать эти опыты, ты все равно ничего не поймешь. Я только скажу, что прибор, который я построил, называется микрорадиометр, и я его так усовершенствовал, что могу обнаружить [пламя] свечи, находящейся на расстоянии 2 верст от моего прибора. Он чувствует одну миллионную градуса! Вот посредством этого прибора я измеряю энергию лучей, посланных радием.

Завтра еду в Лондон, так как начинаются каникулы рождественские и лаборатория закрывается. Может быть, поеду на несколько дней в Париж посетить лабораторию мадам Кюри, но это немного проблематично. Я никогда не видел Париж и с удовольствием слетаю (на аэроплане) туда, это берет только 2½—3 часа времени.

Как поживает Ленька? Меня его нервы очень беспокоят. Пошлю вам денег из Лондона — 2½ миллиона, специально на дрова. Итак, пока! Всего доброго, целую вас крепко, дорогие мои. Желаю всего-всего хорошего на Новый год. Вспомню вас ровно в 12 часов 1 января. Думаю, вы сделаете то же.

¹ Гейгер Ханс (1882—1945) — немецкий физик.

Кембридж, 17 января 1922 г.

Дорогая Мама!

Боюсь, что вы очень обеспокоены после долгого неполучения от меня писем. Я ездил в Париж и оттуда на Ривьеру. Забавно было среди зимы очутиться в цветущих садах и под лучами солнца. Писать из Франции мне вам нельзя было, хотя я и послал одно письмо, но не уверен, что вы его получили. Впечатлений от поездки очень много и хватит на несколько писем. Сразу всего не опишешь, поэтому буду описывать помаленьку.

В Париже, между прочим, я посетил лаборатории Ланжевена и де Бройля¹. Это и была главная цель моей поездки. Монте-Карло было только маленьким развлечением, но как без него обойтись?

Итак, я поехал в Париж, но перед этим должен тебе рассказать об одном случае со мной, происшедшем 5 недель тому назад, который был мне неприятен и, боюсь, тебя тоже огорчит, но теперь все обстоит благополучно. Дело в том, что в одно из воскресений я поехал кататься на мотоцикле, взяв с собой Чедвика², одного из молодых здешних ученых. Я имел глупость дать ему править, в результате чего он на хорошем ходу опрокинул машину и мы оба вылетели из нее. Я упал очень неудобно, прямо на подбородок и рассек его по полам. Чедвик упал на бок и сильно ушиб бок.

Мне тут же в деревне врач зашил подбородок, но так как раны были не чистые, то сделалось гнойное воспаление. Когда я приехал в Кембридж, то обратился к врачу, который считается специалистом по такого рода ранам. Тут, среди англичан, во время [занятий] спортом это очень часто случается. Этому доктору, который был ко мне очень внимателен, я обязан тем, что он починил мне подбородок. Кроме того, он сразу, как я к нему пришел, сделал противостолбнячную прививку. Это тут всегда делают в этих случаях. Но рана зажила, и то не совсем, дней 10 тому назад. Так как было гнойное воспаление и, когда снимали швы, рана немного разошлась, то у меня на подбородке шрам очень некрасивой формы, 3½ сантиметра длиной. Думаю, ты меня не разлюбишь за это, а потому меня это мало огорчает, в крайнем случае отпущу себе бороду. Поэтому за это время не мог исполнить твоей просьбы и сняться. Снимусь недели через 2—3 и пошлю тебе свою карточку. Машина осталась цела.

Такие приключения тут, в Кембридже, вызывают к тебе уважение. Несмотря на то, что у меня была повышенная температура и голова была забинтована так, что торчал один нос, я не прервал работы в лаборатории. Крокодил гнал меня в постель, но я не шел. Он проявил, между прочим, ко мне большое внимание, спросил, у какого я доктора [лечусь] и т. д. Это все послужило мне +-ом.

Итак, я, окончив свои дела в лаборатории, но с пластырем особой системы на подбородке, решил ехать в Париж. Визу мне добыли французские ученые. Я ведь теперь веду, как тебе писал, обширную научную корреспонденцию, которая все разрастается.

Итак, я решил ехать в Париж на аэроплане, уж очень мне хотелось полетать. А на мое несчастье, в день моего отлета — буря. Я уже писал тебе, что не забыл о тебе и застраховал свою жизнь, оставив доверенность Алексею Николаевичу Крылову для получения страховой премии и для передачи ее тебе. Так как была буря, то отправлялся в этот день большой аэроплан точь-в-точь такого типа, который употребляется для трансатлантических полетов. Берет он 15 человек...

На аэродром меня доставили на автомобиле. Взвесив багаж (больше 1 пуда 5 фунтов нельзя брать, а если берешь, то большая доплата), мне предложили лететь не в каюте, а впереди — перед пилотом есть сиденьце, на котором помещается 2 человека. Я, конечно, с радостью согласился. Одели меня в специальный авиаторский костюм — шлем, меховые перчатки, брюки на меху и т. д. Там, наверху, мне говорили, холодно.

После осмотра паспортов начали заползать в аэроплан. Я влез на свое сиденьце, рядом со мной сидела англичанка, барышня. Сзади сидели пилот и механик, а на самом заду, в каюте, сидела публика. Из-за плохой погоды там было только человека 4—5. Пропеллеры крутились, и машины шумели. Когда мы запаковались, то стали пробовать машины. Их две, по 700 л. с. каждая. После пробы машин сняли аппарат с привязи, и он мерно покотился по аэродрому в другой конец его, там машина повернулась, стала против ветра и, постепенно ускоряя [бег], помчалась по полю.

Вот земля опускается помаленьку книзу, аппарат покачнулся слегка вправо, потом влево. Нужно быть откровенным: конечно, мне было страшно. Ведь ни я, ни мои самые старинные предки не летали, а если и летали, то только во сне в сундучке-самолете, и это ощущение страха, которое я испытывал, должно быть, просто есть непривычка к летанию. Но главное дело, как глупо, я совершенно инстинктивно схватился за бока той коробки, в которой сидел. Ведь, конечно, если аппарат будет падать, это не поможет. И еще глупее того, я все время, даже понимая глупость этого, держался за бока коробки в продолжение первого часа полета.

Летели мы невысоко, так как облака были низкие... Ощущения высоты не испытываешь, гораздо неприятнее смотреть с балкона четырехэтажного дома, чем с высоты 500—600 футов. Даже наоборот, хочется, чтобы аэроплан подымался выше, а то другой раз такое ощущение, что он заденет за дерево или колокольню. Первые 45 минут мы летели над Англией и подбирались к Ла-Маншу...

Вот мы над морем. Тут понимаешь, что ежели машина начнет спускаться, то придется выкупаться. Это тоже несколько портит настроение...

Но вот опять под нами твердая почва, мы во Франции. Погода тут хуже, облака ниже, и через ½ часа полета мы попадаем в облако. Кругом серо. Хле-

щет дождь... Ты совсем не чувствуешь скорости полета на аэроплане, хотя она и достигает 120—150 верст в час, но когда начался дождь, то я понял, с какой колоссальной скоростью мы мчимся. Капли дождя ударяли по обнаженной части лица с такой силой, что мне казалось, что они должны были разрезать кожу...

Я уже совершенно освоился с неустойчивостью положения, и мысль о том, что каждый момент можешь свалиться, прошла, но появилась новая неприятность... Дело в том, что утром я плотно позавтракал и выпил много кофе. Так как наверху было холодно, а что бывает на холоду, это всякому известно, то мне нестерпимо захотелось удовлетворить свои естественные потребности. Я уже начал бояться погибнуть от разрыва внутренних органов, и когда аэроплан начал спускаться на парижском аэродроме, то я глазами искал маленький домик, где я мог бы найти облегчение. Как только машина спустилась, я вышел из нее и стрелой помчался к ангарам. Полиция паспортного контроля стала меня задерживать, но когда я им объяснил, в чем дело, то французы звучно расхохотались и указали мне дорогу. Следующее письмо посвящу Парижу и так понемногу опишу всю мою поездку...

¹ Ланжевен Поль (1872—1946), де Вройль Морис (1875—1960) — французские физики.

² Чедвик Джеймс (1891—1974) — английский физик, лауреат Нобелевской премии (1935).

Кембридж, 3 февраля 1922 г.

Дорогая моя Мамочка!

Не писал давно (10 дней). Занят очень, и было очень много работы. Главное, у меня теперь лекции и доклады. И публика заваливает работой — кому помочь в подсчетах, кому сконструировать прибор...

Чувствую, что нужно тебе написать длинное письмо о моих делах... Я откладывал это делать, так как многое еще не выкристаллизовалось. Но теперь можно это сделать. Сейчас поздний час ночи, и я четыре часа занимался, хочется спать. Очень устал! Я сейчас нахожусь в счастливом расположении духа, ибо дела двигаются не без успеха. Главное, важно очень то, что с людьми налаживаются дела. Но много-много еще впереди трудного.

Ты упрекаешь меня, что отхожу от вас. Это нехорошо. Я так много думаю о вас. Я оторванный осколок, странник, отправившийся в погоню за чем-то, и здесь я один всегда. Все, что составляет мое «внутреннее», с вами.

Ты знаешь меня, дорогая, я всю жизнь до сих пор борюсь и куда-то стремлюсь. Куда — не знаю, и зачем — тоже. Но вдали от вас я потому, что это надо... Но ни один день, ни один час я не перестаю чувствовать, моя дорогая, как мне тебя и всех вас недостает. Но что сделаешь! Ну крепко тебя целую и вас всех.

Кембридж, 5 февраля 1922 г.

Дорогая Мама!

Вчера получил извещение от Американского комитета¹, что тетя Саша² получила посланные мною продукты. Я был очень рад. Думаю, что вы тоже их получили, так как я послал вам всем одновременно... Сейчас меня немного затирает с монетой, но как только мои финансы благополучно восстановятся, немедленно пошлю еще (3-й раз) вам и (2-й раз) тетушке. Но прежде меня интересует вопрос: хороши ли продукты?

Я живу помаленьку, работается как-то немного слабо, но я надеюсь, скоро наладится полным ходом. Во всяком случае, сейчас я все же по сравнению с тем, что я делал в Питере, делаю много. Но в прошлом триместре я работал по 14 часов в день, теперь же меня хватает всего-навсего на 8—10 часов. Стал почитать беллетристику. Я себя знаю, когда не работается, то не следует насиловать натуру. К тому же тут климат, от которого прямо легко сдохнуть. Представь себе, то тепло так, что ходишь без пальто, то мороз сразу. Я сплю по здешним правилам с открытым окном круглый год, и в спальне никогда не топят, так что другой раз вода подмерзает. А ты знаешь, дорогая моя, как я не люблю холода. К тому же тут еще сырость, так что в правом колене и в левом плече другой раз под утро ревматическая боль.

Сегодня воскресенье, и я целый день читал «Таис» Анатоля Франса. Наслаждался этой книгой. Но тут, в Англии, Анатоль Франс не пользуется поче-

том, а Мопассан считается порнографией, и об этих писателях в обществе не принято говорить.

Передай, пожалуйста, Борису Михайловичу Кустодиеву, что мои попытки передать письмо об его болезни проф. Оппенгейму не увенчались успехом по [той] простой причине, что проф. Оппенгейм умер. Спроси его, что сделать с письмом, хочет ли он его получить обратно. Мне очень приятно, что вы были у него и что остались довольны посещением...

¹ Речь идет об Американской администрации помощи (АРА), созданной для оказания помощи европейским странам, пострадавшим в первой мировой войне. В 1921 году в связи с голодом в Поволжье деятельность АРА была разрешена в РСФСР.

² Стебницкая Александра Иеронимовна (1868—1928) — сестра матери П. Л. Капицы. Окончила математическое отделение Высших женских Бестужевских курсов, до Октябрьской революции преподавала в гимназии и в вечерней школе для рабочих, после революции работала в школе и на рабфаке. Жила вместе со своими сестрами Верой Иеронимовной Редзько и Юлией Иеронимовной Стебницкой, которые по состоянию здоровья не могли работать (Вера Иеронимовна была глухонемой). У В. И. Редзько было два сына и три дочери, у Ю. И. Стебницкой — сын. Основную тяжесть по содержанию этой большой семьи несла Александра Иеронимовна. Постоянную помощь всем им оказывали Ольга Иеронимовна и Петр Леонидович.

Кембридж, 16 февраля 1922 г.

Дорогая Мама!

Сегодня беседовал с Резерфордом. Крокодил принял меня очень свирепо. Ты не поверишь, какая у него выразительная морда, просто прелесть. Позвал он меня к себе в кабинет. Сели. Я посмотрел на его физию — свирепую, и мне стало чего-то смешно, и я начал улыбаться. Представь себе, морда Крокодила тоже стала улыбаться, и я готов был уже рассмеяться, как вспомнил, что надо держаться с почтением, и стал излагать дело. Касалось оно моих опытов, несколько затрудненных необходимостью пользоваться большими количествами радия и т. д. Он был очень мил. Потом, увидев, что он в хорошем расположении духа, я рассказал ему одну из моих мыслей. Эта идея касается δ -радиации, теория которой очень неясна. Я дал свое объяснение. Довольно сложный математический подсчет подтверждает хорошо эту мысль и дает объяснение целому ряду опытов и явлений. До сих пор, кому я ни говорил, все находили мои предположения чересчур смелыми и относились очень скептически. Крокодил со свойственной ему молниеносностью схватил сущность моей идеи и, представь себе, одобрил ее. Он человек прямой, и если ему чего не нравится, он так врывается, что не знаешь, куда деваться. А тут он очень хвалил мысль и советовал скорее приняться за те опыты, которые из нее вытекают.

У него чутье чертовское. Эренфест в последнем письме ко мне называет его просто богом. И меня его положительное мнение ободрило очень. И тут очень забавно: как только проф. с тобой мил, это сразу сказывается на всех остальных в лаборатории — они тоже сразу делают внимательнее. Да, мамочка, Крокодил действительно уникал, и мне бы очень хотелось, чтобы ты как-нибудь взглянула на его морду. Я не робкий, а перед ним робею.

Опыты мои идут ничего. По-видимому, все идет к благополучному концу. Я взял много препятствий, и осталось совсем мало. Но сейчас почему-то голова пустая, и совсем не могу работать теоретически.

Подбородок мой очень некрасив. Последнее время на мотоциклете не катался...

Кембридж, 6 марта 1922 г.

Дорогая моя Мама!

После долгого перерыва получил твое и Ленкино письма. Меня всегда беспокоит ваша жизнь, и мне кажется, что я мало делаю, чтобы подсобить вам. Потом меня очень беспокоит твое здоровье. Что ты так много работаешь и с таким успехом, меня радует очень, и я очень люблю читать те места в твоих письмах, где ты описываешь свою работу.

Дорогая моя, ты часто упрекаешь меня, что я мало пишу о себе, но ты знаешь, если начнешь описывать свои душевные переживания, то рискуешь сам погрязнуть в этом гнусном занятии — копании в самом себе. Уж если мне очень не по себе, я пишу тебе об этом,

Моя работа по-прежнему идет удовлетворительно, но, судя по вашим письмам, вы сильно преувеличиваете мои успехи, до сих пор ничего особенного не сделано. И, дорогая моя, пожалуйста, не рассказывайте другим о моих успехах, а то у меня неспокойно на душе: люди бог знает что подумают. Я тут теперь рядовой работник, и все, что я сделал за это время, это просто стал из 0 рядовым работником, который не хуже, не лучше других 30 человек, работающих в Кавендишской лаборатории...

Кембридж, 28 марта 1922 г.

Дорогая Мама!

Ты, должно быть, мною недовольна за короткие и редкие письма. Но всему виной работа.

Но могу тебе сказать, что дела мои сильно подвинулись вперед и почти окончательные результаты получены, так что Крокодил доволен, и уже у нас с ним идут разговоры о дальнейших работах. Сегодня было очень забавно. Как я тебе писал, моя работа была несколько лет назад начата самим Крокодилом и потом немецким ученым Гейгером, но оба из-за нечувствительности методов не могли изучить явление до конца, что удалось теперь мне. Но [когда я] сравнивал свои результаты с их результатами, оказалось, что мои данные ближе согласуются с данными Гейгера, а не Резерфорда (Крокодила). Когда я ему это изложил, то он спокойно мне сказал: «Так и должно быть. Работа Гейгера произведена позже, и он работал в более благоприятных условиях». Это было очень мило с его стороны. Вообще он относится ко мне теперь хорошо. Я доволен...

Через 3 дня ровно год как я покинул вас, мои дорогие. Год скитаний, год одинокой жизни, год интенсивной работы, год с большим количеством новых впечатлений и, по-видимому, год не без результатов.

Итак, дорогая моя, я здесь, затерянный среди чужих людей, часто-часто думаю о вас, и мне бесконечно хочется, чтобы вы были счастливы, сыты и были в тепле...

Кембридж, 7 апреля 1922 г.

Дорогая Мама!

Десять дней вам не писал, но работал, как вол. Сегодня кончил работу в лаборатории и завтра еду в Лондон, на праздники... Последнее время я работал так: приходил в лабораторию в 10 часов, подготавливался к опыту до 3, между 3 и 4 [шел] поспать. Потом между 6 и 9 — опыт (работал после урочного времени по специальному разрешению Крокодила), после приходил домой и подсчитывал результаты до 4—5 часов ночи, чтобы на следующий день начать опять с утра. Немного устал. Но зато у меня есть уже окончательные результаты, и теперь с уверенностью можно сказать, что опыт мой увенчался успехом.

За это время имел 3 долгих разговора с Крокодилом (по часу). Мне кажется, что теперь он ко мне хорошо относится. Но мне даже немного страшно, как-то уж очень мне говорит комплименты. Зовет меня пить чай к себе в комнату вдвоем. Мне страшно, так как это человек большого и необузданного темперамента. А у этих людей всегда возможны резкие переходы. Но голова его, мамочка, действительно поразительная. Лишен он всякого скептицизма, смел и увлекается страстно. Это человек с таким темпераментом, [что] не мудрено, [что он] может заставлять работать 30 человек

Ты бы его видела, когда он ругается! Образчик его разговора: «Это когда же вы получите результаты?», «Долго вы будете без толку возиться?», «Я хочу от вас результатов и результатов а не вашей болтовни» и пр

По силе ума его ставят на один уровень с Фарадеем. Некоторые даже выше. Эренфест пишет мне, что Бор, Эйнштейн и Резерфорд занимают первое место среди физиков и ниспосланы им богом.

Отдохну немного, и надо работать дальше, у меня столько сейчас тем — и своих и Крокодиловых, — что не знаю, право, как со всем справиться. Ну, пока! Всего доброго, дорогая моя, крепко-крепко целую.

Маргет, 14 апреля 1922 г.

Дорогая Мамочка!

Вот наконец есть время писать тебе длинное письмо. Покончив в прошлую пятницу с работой в лаборатории, я в субботу поехал в Лондон на мотоциклетке. Воскресенье, понедельник и вторник провозился по делам, а в среду уехал на

берег моря, где предполагаю отдохнуть, что весьма мне не мешает. Сейчас сижу в гостининой пансиона у камина и пишу. Федор Ипполитович Щербатской, с которым я здесь, сидит у рояля и наигрывает «Фауста». Он подвирает довольно часто, а еще чаще запинается, но я с удовольствием слушаю его брэнчание. Тут, в Англии, мало хорошей музыки, и я доволен всякой.

Приехал я сюда вчера на мотоциклетке (150 верст), должны были ехать вместе с Щербатским, но он из-за дождя сдрейфил, и я уехал один. Здорово промок и сегодня чихаю и кашляю. Проехал эти 150 верст совершенно благополучно; пришлось пересекать Лондон поперек. И я первый раз в жизни очутился в этом движении на улице, которое славится на весь мир. Но тут, если знаешь правила, совершенно не трудно править. Вообрази, мамочка, что твой сын проезжал в своей собственной мотоциклетке мимо Вестминстерского аббатства и английского парламента. Могла ли ты думать об этом года 1½ тому назад?

Тут мы в очень людном и шумном месте, и я этим недоволен, но чтобы не быть в одиночестве, я решил ехать со Щербатским, который почему-то хотел ехать непременно сюда.

...Он, конечно, не может быть мне ни другом, ни приятелем. Вообрази себе человека выше меня головы на полторы, толщиной с папу, широкая физиономия бритая, пенсне и почти совершенно лысый, хотя сегодня и купил помаду для волос (наверное, просто хотелось польстить самому себе). Ему под 60 лет, он знает тибетский, санскритский и занимается индусской философией и буддизмом. Физиономия его бритая и кругловатая, пожалуй, довольно сильно напоминает Будду. Он очень развитый человек, член Академии наук, холост и не прочь поухаживать. И представь себе, не без успеха.

У нас с ним довольно курьезные отношения. Он относится немного свысока не только ко мне, но ко всей нашей науке. Когда он пришел ко мне в лабораторию в Кембридже, то увидел, что я что-то паяю. Посмотрев на мою работу, он заявил, что его кузнец, в его имении, паял куда лучше моего. Наши разговоры очень курьезны. Что ему ни рассказываешь, он уверяет, что в индийской философии это было уже давно. Но что он знает действительно — это политику. Благодаря прекрасному знанию языков он читает все газеты и бесконечно лучше меня ориентируется в событиях. Он другой раз рассказывает мне, и я довольно много почерпнул от него. Мы, конечно, подходим друг другу, как седло корове, но вот уже довольно много времени провели вместе. Он подшучивает надо мной, но и я в долгу не остаюсь. Он скоро приедет обратно в Питер, обещал мне зайти к тебе и рассказать обо мне.

Как я уже тебе писал, моя научная работа увенчалась успехом. Но как раз в последние два дня я натолкнулся на одно явление, которое надо выяснить более пунктуально. Это возьмет еще две недели. Но все же в начале мая думаю кончить. Чувствую некоторое удовлетворение. Решил себе сделать маленький подарок, купил себе маленький токарный станочек, он мне очень необходим для моей работы.

Тут сейчас удивительно мерзкая погода, уже около месяца дожди и холод. Прямо соскучился по солнцу. Ну, пока! Всего доброго, дорогая моя...

Кембридж, 24 апреля 1922 г.

Дорогая Мама!

Вчера приехал в Кембридж и сегодня принялся за работу...

Тут погода плохая. Все как-то весна не налаживается. Я не люблю весну. Как-то грустно, тоскливо. Былое вертится в голове. Вспоминаешь прошедшее; оно ушло безвозвратно, а все же вспоминаешь его. Надя, Нимка — 2½ года как я их целовал в последний раз. 2½ года уже прошло, как я слышал в последний раз Нимкин смех и болтовню «папа — тьфу», и это ушло навсегда. Сколько я бы ни дал, чтобы это вернулось. Что тот успех, то благосостояние, которое теперь у меня? Страшно как-то зависеть от других. Меня подчас одолевает тоска и хандра. Мне кажется, что я превратился в какую-то машину без души, без содержания, которая доказывает, что альфа-лучи, испускаемые радием, обладают такими-то свойствами, что при ударе их происходят такие-то явления. А к чему это все, если нет тех радостей, которые были у меня 2½ года назад? Я подобен именно машине, которая работает, работает, не зная, для чего и почему. Но так

суждено. И я не сдамся и буду этой машиной до конца. Хандра, тоска — это слабость. Тут легко раскиснуть. Слава богу, что как машина я работаю исправно. Но тебе, моя дорогая, я пишу это все потому, что ты тоже переживаешь. Но я тут, в одиночестве, должен обладать гораздо большим мужеством, чтобы переносить это. И я чувствую, что вся моя жизнь будет такой. Что судьба как бы подразнила меня, показала мне, что существует что-то другое в жизни, что лучше всего и что можно оценить только потерянное. Урок жестокий, но могучий. Я теперь понимаю много того, чего не понимал раньше... Но все это прошло, и в будущем мне не видеть подобного. Я не жалуясь, я тоскую только.

Здесь я окружен людьми, которые стремятся куда-то за счастьем, ищут его в деньгах, в карьере и почете, а мне теперь так ясно, что быть счастливым можно очень просто, без всякой этой мишуры. Все это мы читаем в книгах и в особенности в Библии, но вот почувствовать самому, пережить это, должно быть, и не так просто.

Ну да хватит этой философии, ни к чему не ведущей. Пока! Крепко тебя целую, моя дорогая, не беспокойся обо мне, ты знаешь ведь, это все у меня минутное и вызвано, должно быть, долгим неполучением писем от вас. Так хочется, чтобы тебя кто-нибудь любил и кому-то ты был бы еще дорог. А кто это может, кроме вас? Целую тебя и всех.

Кембридж, 2 мая 1922 г.

Дорогая Мамочка!

...Мои дела идут помаленьку, скорее хорошо. Сегодня был удачный день, работал с большим количеством радия и установил одно из явлений, которое предполагал. Но весна сказывается на мне, действует как-то расслабляюще, энергии хотя и достаточно, но другой раз бывает больше. Погода тут начинает налаживаться, это очень приятно.

Сейчас много читаю газет и с большим интересом слежу за Генуэзской конференцией. Не знаю, насколько правильно мое впечатление, но мне кажется, что Россия на пути к выздоровлению и, может быть, она сейчас наиболее здоровая страна во многих отношениях. Здесь, на Западе, несмотря на внешнее благополучие, другой раз проявляются симптомы болезненные — безработица, колоссальные налоги, общая задолженность и рост банкротства.

Может быть, Англия в наиболее благоприятных условиях, но другие страны находятся в критическом состоянии. И, главное, все запуталось, так что никто не видит выхода, и изо дня в день положение отнюдь не улучшается. Ллойд Джордж, человек необыкновенной энергии и большого государственного ума, ищет выхода и старается преодолеть трудности, на первый взгляд непомерные. Один из таких выходов и есть Генуя. Ну, пока! Всего доброго. Только и думаю о том, чтобы получить письмецо от вас. Целую вас всех, мои дорогие.

Кембридж, 15 июня 1922 г.

Дорогая Мама!

Немного отвалило работы, и стал заметно свободнее. Во-первых, закончил подготовку к печати второй работы. Выйдет солидная работа — 25—30 стр., много рисунков и диаграмм. Говорят, работа удачная. Она переведена и сейчас переписывается на пишущей машинке. Завтра будет готова, и, может быть, послезавтра я передам ее Крокодилу. Очень интересно, как он ее примет. Я немного волнуясь.

Первая работа (теоретическая) уже напечатана, и я отослал корректуры сегодня. Теперь, с одной стороны, продолжаю работу, первая часть которой как раз будет публиковаться, а с другой стороны, начал новую с одним молодым физиком тут. Эта работа при удаче обещает дать много. Крокодил увлечен моей идеей и думает, что мы будем иметь успех.

Тут рассказывают следующий анекдот обо мне. Дело в том, что когда я излагал свои идеи Крокодилу, то, будучи очень увлечен, указывая на размеры одной части прибора, так размахнул руками, что чуть не задел почтенного профессора. Он соскочил со стула и сказал: «Только не ударьте меня». Потом, мне передавали, он рассказывал об этом инциденте и много смеялся.

То, что он одобрительно относится к моему плану, очень меня радует. У него

чертовский нюх на эксперимент, и если он думает, что что-нибудь выйдет, то это очень хороший признак. Относится он ко мне все лучше и лучше. Это меня очень радует. Хотя он мужчина очень темпераментный, а если маятник отклоняется очень вправо, то всегда есть страх, что он может отклониться влево...

Через 10 дней лаборатория закрывается на 10 дней. Каникулы. 6 июля она опять откроется. Крокодил едет в Тироль отдохнуть. Я поеду в Лондон. Надо отдохнуть.

Сейчас кончается первый период работы, начинается второй, более спокойный, ибо та нервность, которая была сперва у меня благодаря тому, что было неизвестно, будет удача или нет, прошла...

Кембридж, 19 июня 1922 г.

Дорогая Мама!

Сегодня Крокодил два раза вызывал меня к себе по поводу моей работы. Он читал ее, переделывал некоторые места и, переделав что-нибудь, звал меня. Она (работа) завтра утром отправляется в печать. Будет она напечатана в «Известиях Королевского общества» (вроде наших «Известий Академии наук») — самая большая честь, которую может заслужить работа тут. Я, право, не припомню, чтобы за последние 10—15 лет кто-либо из русских печатал в [этом журнале] свою работу.

Работа вышла очень длинная (23—24 стр.) и содержит много материала. Некоторые явления, которые я описываю, были наблюдаемы впервые. Сегодня Крокодил хотел непременно это вставить: что, дескать, эти явления наблюдаемы впервые. Я отверг его предложение. Никогда я так не волновался, как в этот раз. Я выдвинул, осторожно правда, две гипотезы, и мне очень страшна их судьба. Когда ты болтаешь в обществе своих друзей, то у тебя нет чувства ответственности. Тут же, когда выступаешь на европейском рынке, это страшно и жутко.

Крокодил «приказал» мне написать «абстракт» моей работы, который будет читаться на заседании Королевского общества. Сегодня я принес его ему. Он был им недоволен. И сам написал его мне. То внимание, с которым он разобрал мою работу, меня тронуло до глубины души.

Я не люблю писать о моих успехах, и то, что я пишу, пускай останется в рамках нашей семьи, я очень прошу об этом. Но мне так хочется поделиться моей радостью, а здесь не с кем. Я знаю, что ты будешь рада за меня, моя дорогая. Итак, первый шаг закончен, но передо мной сейчас целый путь. Работы уйма.

Сейчас я работаю с одним молодым физиком, Блэкеттом¹. Эта работа, с одной стороны, меня радует, так как тема чрезвычайно интересна и результаты, которые можно ждать, очень важны. Но, с другой стороны, сам Блэкетт, по отзывам, очень несимпатичный, и мне это сотрудничество очень не по душе. Я не мог вести эту работу сам, один, так как он уже начал эту работу. Я же предложил коренное изменение метода, и неминуемо пришлось начать работу с ним. Если б не крайний интерес, я бы, конечно, не стал бы это делать. Люди, и умение с ними ладить, и их понимание важны повсюду, даже когда ты работаешь с неодушевленной природой. Может быть, я сумею сладить и с этим молодчиком, но это прибавляет еще одну трудность к проблеме, которая и без того не легкая.

Да, мама, вся моя жизнь какая-то борьба, как будто бы судьба задумала меня искушать. Я вот уже 9 лет не помню времени, когда я мог бы спокойно работать и не думать о многом и многом, что очень вдали от работы. Я часто удивляюсь, откуда берутся мои силы и что будет далее. Передо мной мрак.

От Абрама Федоровича писем я до сих пор не имею. Я писал ему уже, но до сих пор не получил ответа. Возвращаться мне сейчас нельзя, так как моя работа в полном разгаре и только теперь я действительно вошел в школу Крокодила, ужился с молодыми учеными. В мою комнату все время приходят поболтать со мной, посоветоваться и поделиться. Я знаю ход почти всех работ, и ко мне отношение хорошее.

Коля Семенов мне пишет и уверяет, что надо вернуться, но [сделать] это сейчас, мне кажется, [будет] неправильно, так как я только-только действительно

начал работать по-настоящему и чувствую себя в центре этой школы молодых физиков, во главе которой стоит Крокодил. Это безусловно самая передовая в мире школа, и Резерфорд — самый крупный физик на свете и самый крупный организатор. Вернуться в Петроград, мучиться с током и газом, отсутствием воды и приборов невозможно. Я почувствовал в себе силы только теперь. Успех окрыляет меня и работа увлекает. Ведь это все, что у меня осталось после смерти моей семьи...

¹ Блэкетт Патрик Мейнард (1897—1974) — английский физик, лауреат Нобелевской премии (1948)

Кембридж, 6 июля 1922 г.

Дорогая Мамочка!

В последних твоих, как и Лениных, письмах звучит недовольство моими письмами, и я слышу в них упреки. Я думаю, что вы отчасти правы, упрекая меня, так как действительно я не был хорошим корреспондентом это последнее время, но ты, я думаю, сама знаешь, что если не пишется, так ничего не поделаешь, и я только исполнял твою просьбу писать раз в неделю. Но, дорогая моя, ты не должна быть строга ко мне. К сожалению, о всех тех волнениях и беспокойствах, которых у меня очень и очень много, я не могу писать, так как они очень сложны, и, чтобы их разобрать, надо очень и очень много писать, но не это главное затруднение, а то, что я, [будучи] предоставлен более года самому себе, так привык все переживать в самом себе, что мне прямо как-то трудно извлекать это наружу.

Я попробую тебе в общих чертах осветить мое положение. Представь себе молодого человека, приезжающего во всемирно известную лабораторию, находящуюся при самом аристократическом и консервативном университете Англии, где обучаются королевские дети. И вот в этот университет принимается этот молодой человек, никому не известный, плохо говорящий по-английски и имеющий советский паспорт. Почему его приняли? Я до сих пор это не знаю. Я как-то спросил об этом Резерфорда. Он расхохотался и сказал: «Я сам был удивлен, когда согласился вас принять, но, во всяком случае, я очень рад, что сделал это».

И вот первое, что он встречает тут, этот молодой человек, это заявление от Резерфорда «Если вы вместо научной работы будете заниматься коммунистической пропагандой, то я это не потерплю». Все сторонятся этого молодого человека, все боятся себя скомпрометировать знакомством с ним.

Я вижу, что играть можно только ва-банк. Я беру работу очень трудную, почти не верю сам в ее удачный исход и часто-часто думаю, что все кончится крахом. Но мне повезло. Правда, я работал часто почти до обморочного состояния. Но брешь пробита теперь. Это, конечно, счастье. Но стоило оно мне много сил.

Не думайте, что я тут в сытости, в покое блаженствую. Те моральные страдания, которые мне пришлось пережить за это время, конечно, не давали мне возможности наслаждаться жизнью. У меня постепенно становится ощущение, что я уподобляюсь все более и более какой-то долбилльной машине, которая пробивает туннель через скалу. Это только часть тех затруднений. Не стоит описывать все другие, связанные вообще с устойчивостью положения здесь. Я не могу поэтому часто отвечать на те вопросы, которые задает мне Леня в письмах, так как положение такое, которое я сам с трудом понимаю.

Что касается моих друзей физиков, то я несколько не удивлен [их] отношением ко мне. Я все это ждал от Н. Н. [Семенова] тоже. Но это пройдет. Но сейчас я жду волны неудовольствия со стороны моих друзей и со стороны Абрама Федоровича тоже. Я вижу больше психологических оснований для этого, чем рациональных. Я приготовлен к этому и чувствую, как принять. Самое лучшее уподобиться тростнику, который сгибается при ветре, чтобы потом, когда ветер пройдет, подняться. Если бы тростник не сгибался, легкий ветер уже сломал бы его тонкий стебель...

Н. Н. пишет мне: «Ты уйдешь от нас и никогда не сольешься с англичанами, и будешь ты ни русским, ни англичанином». Он, конечно, хватает [через край], я никогда не покину Россию, но все же он отчасти прав: разрыв у меня неминуем с нашими физиками, и я его не боюсь.

Дело в том, что у меня теперь другие авторитеты и другие точки зрения,

чем у них в Петрограде, так как я примкнул к другой школе. Методы работы тоже иные. Дело в том, что у нас в России все кроилось по немецкому образцу и с английским ученым миром было мало общего. Из русских физиков я не упомяну ни одного, который долго работал в Англии. Но Англия дала самых крупных физиков, и я теперь начинаю понимать почему. Английская школа чрезвычайно широко развивает индивидуальность и дает бесконечный простор проявлению личности. Отсутствие шаблона и рутины — одно из основных [ее] качеств.

Резерфорд совершенно не давит человека и не так требователен к точности и отделке результатов, как Абрам Федорович. Например, тут часто делают работы, которые так нелепы по своему замыслу, что были бы прямо осмеяны у нас. Когда я узнавал, почему они затеяны, то оказалось, что это просто были замыслы молодых людей, а Крокодил так ценит, чтобы человек проявлял себя, что не только позволяет работать на свои темы, но наоборот, подбадривает и старается вложить смысл в эти подчас нелепые затеи. Отсутствие критики, которая безусловно убивает индивидуальность и которой у Абрама Федоровича чересчур много, есть одно из характерных явлений школы Крокодила.

Второй фактор — это стремление получить результаты. Резерфорд очень боится, что человек не будет работать без результатов, ибо он знает, что это может убить в человеке желание работать. Поэтому он не любит давать трудную тему. Если он дает трудную тему, то это просто когда он хочет избавиться от человека. В его лаборатории не могло бы быть то, что было у меня, когда я в продолжение 3 лет сидел над одной работой, борясь с непомерными трудностями.

Да, я думаю, что я много чему тут научился и принял другой дух. Конечно, когда я вернусь, это должно сказаться, и у меня могут быть столкновения. Поэтому я должен вернуться таким с и л ь н ы м, чтобы не бояться этого. Удастся ли мне это, не знаю.

Я, конечно, сейчас поставил себе целью стать законченным ученым, а профессура и прочее пускай приходят на 50-м году моей жизни, если я доживу до этого.

Не знаю, удовлетворит ли тебя этот ответ о состоянии моих дел и планов. Я очень кратко пишу и в общих чертах, и то вышло 9 страниц.

Сейчас у меня затея очень смелая в работе. На днях приезжает Эм. Ян.¹, но мне очень не хотелось бы, чтобы об этом знали наши физики. Позволение Крокодила на приезд Лаурмана — лучшее доказательство его ко мне доброго отношения...

Меня очень волнуют ваши дела. Наташино здоровье и сутолока в доме. Ты, очевидно, переработала тоже. Ты знаешь, мамочка, один раз я сказал Крокодилу, что хочу работать во время каникул. Он на меня наскочил и заявил: «Всякий человек должен иметь отдых, и я хочу, чтобы вы тоже отдыхали, а то я вам не позволю работать», и т. д. Он был прав. Англичане в этом отношении поступают разумно. 3 месяца работы — 10 дней отдыха, и так 4 раза в год. Я думаю, тебе надо поступать так же. Конечно, это несколько трудно в условиях вашей жизни, но хуже будет, если ты не сможешь работать.

Пайки я вам буду присылать более или менее регулярно. Идут долго. Посылку с кустарными вещами получил. Посылать мне больше ничего не нужно...

¹ Речь идет об Эмиле Яновиче Лаурмане, инженере-электрике, уроженце Эстонии. Лаурман работал с П. Л. Капицей в Петроградском политехническом институте, в 1921 году репатрировался в Эстонию. Был ассистентом П. Л. Капицы в Кавендишской и Мондовской лабораториях в Кембридже и в Институте физических проблем в Москве в 1936—1938 годах.

Кембридж, 30 июля 1922 г.

Дорогая Мамочка!

Давно тебе не писал — около двух недель, но дело в том, что в это время, кроме обычной работы в лаборатории, было много других дел. Во-первых, я переезжал на новое место жительства, это ты можешь усмотреть из нового адреса. Во-вторых, приехал в Лондон Абрам Федорович, и мне пришлось два раза ездить в Лондон его повидать. Потом он приезжал в Кембридж осматривать лабораторию. Резерфорд его любезно принял, пригласил обедать в колледж.

Я тоже обедал с ними. После обеда играли в шары. Я, Резерфорд и Фаулер¹ — в одной партии, Тейлор², Астон³ и Абрам Федорович — в другой. Мы выиграли. Эмиль Янович тоже сейчас в Кембридже и работает в лаборатории.

Что касается моего дальнейшего пребывания, то оно необходимо, ибо сейчас как раз дело принимает очень широкий размах. Я достиг довольно больших успехов в новой работе, и результаты будут, должно быть, очень интересны.

Судя по тому, что мне рассказывал Абрам Федорович о делах в Рентгеновском институте, я заключаю, что там термометры только чуть-чуть выше точки замерзания, хотя Абрам Федорович и стремится все приукрасить. Он лично считает, что мне еще с годик надо поработать тут. Но с кредитами сейчас очень туго, и я не знаю, что у меня выйдет из всего этого. Это все создает нервную атмосферу для работы...

¹ Фаулер Ральф Говард (1889—1944) — английский физик-теоретик. Был женат на дочери Э. Резерфорда.

² Тейлор Джеффри Ингрем (1886—1975) — английский ученый в области механики.

³ Астон Френсис Уильям (1877—1945) — английский физик, лауреат Нобелевской премии (1922).

Кембридж, 17 августа 1922 г.

Дорогая Мама!

...Предварительные опыты моего нового эксперимента окончились полной удачей. Крокодил, мне передавали, только и мог говорить что о них. Мне дано большое помещение, кроме той комнаты, в которой я работаю, и для эксперимента полного масштаба [я] получил разрешение на затраты довольно крупной суммы. Но все же на душе подчас очень беспокойно, волнуясь за вас, дорогие мои, и вообще чувствую, что все это непрочное. Но я думаю, у меня сейчас большие перспективы... Мне, кажется, действительно удалось набрести на интересную и нетронутую область, и навряд ли часто это случается в жизни. На зиму я не вернусь, по всей вероятности, но у меня есть план съездить и повидать вас всех на рождество или, в худшем случае, на пасху. Это очень трудно, но все же, может быть, будет не невозможно.

Абрам Федорович покинул Англию. Мы расстались друзьями и лучше, чем я надеялся. Хотя, конечно, очень трудно сказать, что у него происходит в глубине души. Мне было бы очень интересно знать, что он думает о моих работах тут.

Франция, 2 сентября 1922 г.

Дорогая Мама!

Сейчас я во Франции. Я покинул Кембридж неделю тому назад. Я получил приглашение на поездку на яхте с моим хорошим знакомым, который только что вернулся из поездки в Скандинавию и Финляндию... У него прекрасная двухмачтовая яхта, и мы превосходно проплыли два дня в море, откуда я отправился в Париж, где пробыл два дня. Теперь я на юге Франции и здесь думаю отдохнуть пару недель. Это мне очень не мешает. Я соскучился по солнцу в Англии, и тут его больше чем достаточно.

Закончились мои дела в Кембридже хорошо. Но сейчас у меня момент весьма критический, так как кредиты мои кончились, но, по-видимому, это не так страшно. Дело в том, что мои опыты принимают очень широкий размах, и лаборатория и Крокодил, по-видимому, достаточно заинтересованы, чтобы подействовать мне.

Ницца, 14 сентября 1922 г.

Только для тебя.

Я прервал письмо, так как не писалось все эти 12 дней, и [ты], дорогая моя, наверное, получишь это письмо после двухнедельного периода моего неписания.

Мне сегодня очень хочется поболтать с тобой по душам. Но только с тобой. Ты знаешь, я редко пишу все, что у меня происходит, до конца. Так, мамочка родная, ты одна понимаешь мою натуру мятежную, не находящую покоя. А давно пора было бы [не] метаться по белу свету, мне ведь под 30.

Вчера получил письмо от Резерфорда. Он пишет, что моя материальная сторона почти устроена. По-видимому, средства будут даны Royal Institution¹, хотя подробности не знаю.

Последний разговор с Резерфордом останется мне памятным на всю жизнь. Сказав целый ряд комплиментов мне, он сказал: «Я был бы очень рад, если имел бы возможность создать для вас у себя специальную лабораторию, чтобы вы могли работать в ней со своими учениками». (У меня сейчас работают 2 англичанина.) По тому, как он широко отпускает мне средства, и по тому вниманию, которое он мне оказывает, это, возможно, не фраза. Он уже сейчас отдал для меня 2 комнаты, одна из них имеет площадь, равную половине квартиры на Каменноостровском, и занимает почти все чердачное помещение.

Что, действительно я способный человек? Мне жутко и страшно. Справлюсь ли я? Может быть, это просто повезло? Оно конечно, повезло. Столького я никогда в жизни не ожидал. Ведь я еще совсем неопытный и молодой, необузданный мальчик. Мне недавно еще кто-то дал 18 лет. Уже говорят о моем выступлении в Королевском обществе. Перспективы широкие передо мной, но жутко.

Ведь столько зависит от счастья и удачи. Мамочка, пожалей меня!

Ты знаешь, я почти плачу сейчас. Отчего — не знаю. Знаю одно: что все, все отдал бы, только вернись Нимка и Надя ко мне.

У меня теперь достаточно денег, я путешествую в первом классе, сижу в Ницце в отеле, у меня номер на море, все удобства, ванна и пр. Смотрю в окно — пальмы, бесконечная синь Средиземного моря. Все есть у меня, а я так одинок, как вот тот корабль в море. Он знает, когда причалит к берегу, я же не причаляю еще долго. Много мне придется бороться с бурей и непогодой.

Что в жизни счастье, где оно? Я теряю его. Мне казалось, что если я осуществлю свои научные замыслы, я буду счастлив. Но вот я достиг большего, чем желал. Для чего, для кого нужно это осуществлять — эти магнитные поля большой мощности? Это может открыть новую область в физике. Может быть. Но зачем это? Только прибавится число завистливых глаз, которых немало уже устремилось на меня.

Может быть, мне необходима личная жизнь? Не знаю. Но всякая личная жизнь берет много сил, а они мне нужны сейчас для работы так, как никогда не были нужны. К тому же к чему это все?..

Внешне я по-прежнему спокоен, хочу работать, выгляжу хорошо. Но все же мне подчас хочется тебе сказать, что происходит в душе у меня.

Ведь ты единственная меня понимаешь лучше других и ты единственная знаешь, что я глубоко-глубоко все переживаю и мне бесконечно трудно позабыть прошлое.

Ты, конечно, ни слова никому не скажешь о моих успехах. Ведь это только планы, но помни, дорогая моя, что если эти планы осуществляются, то будущим летом я везу тебя в Италию, в Рим, в Неаполь, во Флоренцию, как я тебе когда-то обещал. Я помню это обещание и, может быть, сдержу его. И мысль об этой поездке даст мне больше радости, чем те открытия, которые я, может быть, сделаю в этом году. (Может быть, из всего этого получится шиш с маслом, но это мы увидим.) Ну, крепко тебя целую, бесконечно любимая моя. Поцелуй Наташу, Леню и Ленчика.

¹ Королевский институт Великобритании.

Кембридж, 10 октября 1922 г.

Дорогая моя Мама!

Я вернулся из своих странствований. Хорошо отдохнул и принялся за работу. Мне надо тебя познакомить теперь с состоянием моих дел. Теперь я буду получать средства на жизнь и работу от Королевского общества... Это почетно, но не очень жирно (4500 зол. руб. в год). При здешней дороговизне это не много...

В Париже я отдохнул, часто был в театре, а в Ницце нагрело и подпекло меня хорошо солнцем. Был я в «Комеди Франсез» и в «Пале-Рояль». Немного подвспомнил французский язык. Лувр и музей Родена на меня произвели колоссальное впечатление.

Но сейчас это все во мгле, и думаю только о работе. Не сорвется ли [на] этот раз?..

(Окончание следует)

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

ПИСАТЕЛЬ И ВОЙНА

«Писательская рота». Так назывался очерк-воспоминание Бориса Рунина о писателях, ушедших на фронт в составе московской дивизии народного ополчения, опубликованный в нашем журнале в канун сорокалетия победы. Их было много — литераторов, ставших в солдатский строй в дни беды и опасности, нависшей над Родиной. Писательская рота...

Писатель на войне, писатель о войне, писатель и война — эти темы всегда волновали и будут волновать читателей. И тех, кто сам прошел испытания огнем и мечом. И молодых, знающих о войне лишь по рассказам фронтовиков, по их книгам. Потому что, как и миллионы советских людей, сражаясь во имя общей победы на фронтах или работая на победу в тылу, писатели делали и еще одно очень важное дело, значение которого со временем все возрастает. Они создавали летопись Великой Отечественной, рассказывали о людях, совершивших ратный и трудовой подвиг, о тех, чья жизнь стала теперь легендой.

Сегодня «Новый мир» публикует воспоминания В. Азарова, К. Поздняева и Э. Хирена о своих товарищах по оружию, по писательскому цеху. Героями их произведений стали Александр Крон и Павел Антокольский, Петр Павленко и Валентин Овечкин. Разнятся их судьбы, по-разному сложились для них и военные годы. Однако по крайней мере в одном — главном — они были едины: каждый в то время считал свое перо мобилизованным на защиту отчизны. Так думали все советские писатели. Их непоколебимая вера в силу слова рождала слова страстные, проникновенные, рождала книги, вошедшие в золотой фонд отечественной литературы. А начинались они тогда, в сороковые...

ВСЕВОЛОД АЗАРОВ



ДОМ И КОРАБЛЬ АЛЕКСАНДРА КРОНА

Это было в августе 1941 года. А может быть, в начале сентября. Последняя дата, пожалуй, вернее. Ведь в августе я был занят подготовкой к выходу первого номера газеты кронштадтских фортов, сколачивал ее военкоровский актив, и у меня не было времени для связи с редакторами других многотиражных газет флотского города-крепости. Я бывал то на форту «Первомайский», то на других фортах, в сложных условиях добирался до Ленинграда, где в типографии имени Володарского мне было поручено заказать клишированный заголовок нашей будущей газеты.

Возвращение в конце августа, в трагических условиях таллинского перехода Всеволода Вишневского, Николая Михайловского, Анатолия Тарасенкова и других послужило причиной для объединения писателей-корреспондентов (такой был тогда наш официальный статус), приписанных к Пубалту (Политическое управление Краснознаменного Балтийского флота) и разбросанных по различным кораблям и частям.

С Кроном меня познакомил Анатолий Тарасенков. Оба москвичи, они не были тесно связаны, но в тех постоянно отягощающихся условиях быстро сблизились. Помню, что почти со всеми возвратившимися из Таллина товарищами и со служившими в многотиражках военного Кронштадта я сразу же перешел на «ты». Исключение составляли старшие — Всеволод Вишневский, Лев Васильевич Успенский, Николай Браун, которого я знал и в мирные годы. Хотя с Александром Зониным и Григорием Мирошниченко,

тоже старшими по возрасту, участниками гражданской войны, я перешел на «ты» сразу. Крон встретил меня и Тарасенкова в небольшой комнате редакции (их называли каютами) на береговой базе Подплава (бригада балтийских подводников), где у него были единственный сотрудник и в то же время наборщик, а по боевому расписанию комендор-зенитчик Коля Кирпичников и большое число искренне расположенных к редактору подводников, молодых командиров, старшин и краснофлотцев.

Редактор, политрук Крон был также молод, но мне он показался старше своего возраста. Ему было тогда тридцать два года. Подтянутый, с почти сросшимися над переносицей бровями, темными, внимательными, умными глазами, он был странно (так мне показалось в ту беспokoяющую пору) нетороплив, порою задумчив. При этом он не был грустен, хотя окружающая обстановка вряд ли могла располагать к веселью, скорее жизнерадостен. Напоминал он по виду южанина. Но все это были только внешние черточки. Узнать его характер подробнее мне довелось не сразу.

О чем мы говорили в первую встречу? Поскольку Тарасенков и Крон были москвичами, то не исключено, что разговор мог первоначально идти о Москве. Я должен был спросить Крона об Алексее Лебедеве. Лебедева я знал еще в бытность его курсантом Высшего военно-морского училища имени Фрунзе. Тогда мы не раз встречались с Лебедевым в литературно-художественном журнале «Краснофлотец», редакция которого помещалась на площади Труда в Матросском клубе, и в Военно-морском издательстве.

Во время войны с белофиннами оба мы принимали участие в военных действиях в качестве литераторов. Я проходил практику на линейном корабле «Марат», Лебедев на эскадренном миноносце «Ленин». Позднее мы готовили для Военмориздата (эти сокращения, характерные для времен гражданской войны, бытовали еще и в наши годы) коллективный поэтический сборник «Боевые дни».

Но вот летом и осенью 1941 года встречаться нам с Лебедевым почти не пришлось. Он был назначен штурманом на подводную лодку «Л-2» и все время проводил в подготовке к предстоящему боевому походу. Однако стихи Лебедев продолжал писать и тогда. Некоторые из них Крон успел опубликовать в своей газете. Интересно, что при своих микроскопических размерах многотиражная газета балтийских подводников «Дозор» оказалась достаточно емкой и даже многоплановой, рассчитанной на читателей с разными образованием и вкусами.

Для тех краснофлотцев, кто имел за плечами всего лишь семилетку, редактор сочинял от имени деда Водяного острые политические раешники.

Газету «Дозор» в соединении очень любили. Заметки о себе и о своих товарищах подводники пересылали семьям. Упоминание в короткой заметке было подобно награде.

Обстановка под Ленинградом с каждым днем и часом становилась ожесточенней. Враг рвался в город. Мы понимали, что судьба Ленинграда висит буквально на волоске. И все-таки в душе каждого из нас не было уныния.

Я не знаю, думал ли Александр Крон о возможности смерти. Мне кажется, что для таких раздумий у него просто не было времени. Но вот то, что дело может сложиться не в нашу пользу и тогда каждому придется драться у стен ленинградских и кронштадтских домов, мы понимали отчетливо.

Где-то на окраине Кронштадта нас, работников политотдела КУСа (Кронштадтского укрепленного сектора), учили метанию гранат. Дело теперь прошлое, но я хорошо помню, как мои товарищи с опаской глядели, когда мне доводилось этим заниматься. Крон был подготовлен несравненно лучше, нежели я. Подобно командирам и личному составу подводных лодок краснофлотцев, он обучался правилам уличного боя. И я уверен, что, если бы пришла такая отчаянная необходимость, наш товарищ постоял бы за себя и за доверенное ему дело.

А пока на страницах редактируемой газеты он сражался оружием, которым владеет лучше всего. Впрочем, я не думаю, что автор «Винтовки № 492116», написавший эту пьесу, когда ему было девятнадцать лет, или «Труса», или «Глубокой разведки», законченной перед самой войной, сочинял когда-нибудь по собственной воле хотя бы такое: «Здравствуйте, дорогие ребятки, нынче дед Водяной будет кратким. Некогда, занят боевой подготовкой, учусь владеть гранатой и винтовкой». Это было истинной правдой. Ведь в Кронштадте и Ленинграде на случай грозной необходимости готовились тогда к худшему. Выявляли вражеских лазутчиков, боролись с сеятелями паники. Об этом дед Водяной, он же политрук Крон, в своем раешнике говорил:

«Вчера, чтобы привыкнуть к сухопутному наряду, целый день ходил по Ленинграду. Ленинградцы не ударят в грязь лицом, держатся, доложу вам, молодцом... Есть, ко-

нечно, и такой элемент, что очень мешает в данный момент. Любят делать слона из мухи и собирать разные непроверенные слухи... Если увидите такого шептуна и паникера, не ведите с ним долгого разговора, а хватайте за ворот и понижайте спины, на то вам и руки даны.

За вас-то я, морячки, спокоен. Моряк — первоклассный воин, дерется с врагом смело, любит не слова, а дело. Будьте, друзья мои, здоровы. Привет вам от

деда Водяного».

А рядом печатались небольшие статьи и заметки командиров, политработников, старшин, краснофлотцев, сегодня еще неизвестных, а завтра, может быть, и даже на-верняка, прославленных героев. И стихи Алексея Лебедева о Петре, шагающем по осажденному городу:

Когда уснет великий город,
Когда сверкнут прожектора,
Над Петропавловским собором
За тучей всходит тень Петра.

Идет за Нарвские ворота,
Камзол от ветра вновь крылат,
Стучит дубинкой в плиты дзота
И в дикий камень баррикад.

Стихотворение это, напечатанное впервые в газете подводников, стало теперь антологическим. Его высоко ценил Николай Семенович Тихонов, сложивший в скором времени, в декабре 1941-го, «Киров с нами».

Печатались Александром Кроном в «Дозоре» и мои стихи:

Вся в звездах ночь,
Вся в крыльях тьма,
Подобны воинам дома.
Цех — это фронт. Пусть будет так,
Чтоб каждый ленинградский танк,
Чтоб каждый новый автомат
Врага отбрасывал назад.

Вскоре по настоянию Вишневого при Политуправлении Балтфлота была организована оперативная группа писателей. Осуществить такой замысел оказалось делом непростым. Писатели, часть которых погибла во время таллинского перехода, были на флоте на особом счету. В условиях осажденного Ленинграда возникла необходимость в более полезном использовании писательских сил, не только для многотиражных газет, но и для военной, городской и центральной печати. Мне хочется привести здесь соображения Крона, высказанные им в письме от 9 октября 1941 года.

«Начальнику опергруппы писателей при П. У. Балтфлота
бригадному комиссару т. Вс. Вишневскому.

Прошу Вас о включении меня в оперативную группу писателей при Пубалте и предоставлении мне работы по специальности.

Моя работа в редакции газеты «Дозор» связана с постоянным пребыванием в Ленинграде и не дает мне возможности непосредственно наблюдать действия флота. Я не веду почти никакой литературно-корреспондентской работы, так как мои обязанности в основном сводятся к организации и редактуре материала. Мою работу с успехом может выполнять человек, не обладающий писательской квалификацией.

Хотел бы делать очерки, писать корреспонденции, готовить материал для беллетристических произведений, помогать многотиражной печати соединений. Как драматурга меня интересует создание репертуара для фронтového театра и радио.

Писатель-корреспондент
политрук А. Крон».

Точнее трудно было высказаться. Время работало на нас. К этому периоду враг был остановлен под Ленинградом, и хотя блокада только начиналась и перед городом и его защитниками стояли величайшие трудности, сам факт существования такой группы в осажденном городе также свидетельствовал о стабильном положении и о нашей безусловной вере в победу.

Фронтовой быт, как и следовало, начинался с самого необходимого — экипировки и вооружения.

«Ведомость на получение оружия. Крон Александр Александрович. Политрук.

Писатель. Опергруппа писателей ПУ КБФ. Револьвер «Наган» № 60 468. Год выпуска 1931. Расписка в получении. 10 декабря 1941 г.».

«Военному цензору КБФ полковому комиссару тов. Шилюнову. Прошу выдать писателю-корреспонденту опергруппы писателей ПУ КБФ Крону (Крейну) Александру Александровичу разрешительное удостоверение на посещение кораблей и частей КБФ и собирание материала, необходимого для его литературной работы.

И. о. начальника опергруппы писателей
ПУ КБФ интендант 3 ранга А. Тарасенков.

2 декабря 1941 г.».

От того же числа за той же подписью:

«В вещевого склад штаба КБФ.

Прилагая при сем арматурную карточку писателя-корреспондента Крона А. А., зачисленного приказом начальника ПУ КБФ № 22 от 17.XI.41 г. в опергруппу писателей ПУ КБФ, выдать ему зимние вещи:

1. Шапку.
2. Теплую безрукавку.
3. Сапоги.
4. Перчатки.
5. Шерстяные носки.
6. Теплое белье.
7. Подметки».

Да, ходить нам довелось в ту зиму и позднее много. И одежда в разнообразных, плохо приспособленных для жизни условиях на нас буквально горела. Пусть у читателя 80-х годов вызовет улыбку следующий

«Рапорт

нач. опергруппы писателей бригадному комиссару т. Вишневному.

Прошу Вашего ходатайства о выдаче мне одной пары суконных брюк. Имеющиеся у меня сильно вытерлись и порвались, а также выгорели и могут быть использованы только как рабочие.

Мне же по роду выполняемой работы приходится выступать перед различными аудиториями, и внешний вид моих брюк может отрицательно отражаться на проводимой мною художественно-воспитательной работе среди личного состава.

Ст. политрук А. Крон».

Рапорт написан с присущим Крону юмором, хотя период, в который эти строки писались, к шуткам не располагал. Да и состояние у нас было такое, когда обязательство по написанию корреспонденций, брошюр, а также стихов и рассказов (а мы относились к этому предельно требовательно) вынуждали к полной самоотдаче.

Мы не жаловались, подтрунивали друг над другом даже тогда, когда кровоточили десны и дистрофия валила с ног. Мы подавали рапорты о проделанной работе. Вот один из них:

«Зам. нач. опергруппы инт. 3 ранга А. Тарасенкову.

Доношу, что во время моей командировки на э/м «Сильный» мною проведена следующая работа на 1.II.1942 г. Устные выступления. Два литературных вечера для начсостава и личного состава. Две литературные беседы (инструктивный обзор «Боевого листка» и беседа по русскому языку для краснофлотцев, уходящих на учебу во ВМУЗы).

Написано: Очерк «В чем сила», передано в газету «Красный флот» и на радио. Очерки «Художники-бойцы», «Техническая интеллигенция корабля». Текст иллюстрированного альбома боевых действий эскадренного миноносца «Сильный» — «Любимый корабль». Рассказ «Я держу мой флаг».

Ст. политрук А. Крон».

Письмо Крона Вишневному, находившемуся тогда в госпитале в результате начавшейся дистрофии:

«28.XII.1941 года

Дорогой Всеволод Витальевич! Получил Вашу весточку. Радуюсь, что Вы в порядке. Очерк о минзагах готов.

Машинистка выходная. Завтра с утра я продиктую ей материал и завтра же зайду к Вам. Если можно, попросите т. Иконникова (начальника госпиталя. — *Вс. А.*), чтоб он оставил мне пропуск, а то его нелегко разыскать в нужный момент. Буду в

часа 2—3. Сегодня забегу на плавбазу и почитаю командиру и дивмеху дивизиона. Они просили, а кроме того, это избавит очерк от возможных погрешностей.

Посылаю Вам рассказ, который буду сегодня читать по радио. У нас все как следует быть. Азаров и Мирошниченко завтра утром летят. (Речь идет о командировке в 1-й минно-торпедный полк ВВС КБФ. — *Вс. А.*) Я заканчиваю свои дела и готовлюсь отправиться на эсминце.

Вчера у нас был Добролюбов (начальник отдела пропаганды и агитации ПУ КБФ. — *Вс. А.*), беседовал и был очень внимателен.

Сердечный привет. А. Крон.

PS. Если рассказ не покажется Вам очень плохим — я хотел бы посвятить его Вам. Посмотрите и черкните».

И лишь иногда в записках, отправляемых Вишневному с корабля, прорывалось: «Чувствую себя довольно скверно — голова кружится и отвратительная слабость. Ничего, отлежусь день-два, пройдет. У меня уже есть сюжеты почти всех рассказов, надо только записать. Один рассказ вчерне сделан». Перечитываю и думаю, что испытанное Вишневым, Кроном в то время сказалось, не могло не сказаться на их здоровье в послевоенные годы, сократило отпущенный им жизненный срок.

А сейчас я хочу вернуться к начальному периоду нашего знакомства, к дружбе с подводниками, продолжавшейся всю войну и после нее, в свою очередь особенно сблизившей и нас с Кроном.

Страшный 1941-й. Вместе с Кроном пережили мы осенние налеты фашистской авиации на Кронштадт, когда во второй половине сентября над островом одновременно появлялись сотни вражеских самолетов, сбрасывавших бомбы на флот и город.

Смерть, рассекая небеса крылами.

Искала нас.

Друзья мои, я породнился с вами

В нелегкий час.

Выше я говорил о том, что с некоторыми из своих товарищей я перешел с первых дней знакомства на «ты». Крон был в их числе. И может быть, в те осенние бомбежки, как и позднее, в первую осадную зиму, мы почувствовали себя необходимыми друг другу больше, чем в последующие, не такие жестокие дни.

Смешно говорить о том, что на войне можно кого-то предостеречь, защитить от опасности. И все же сейчас, оглядываясь на пережитое, я испытываю к Вишневному, Крону да и ко всем другим, кто находился рядом во время испытаний, горячую душевную благодарность за заботу и поддержку в ту беспощадную, лютую пору

С Кроном провели мы зимние месяцы блокады на плавбазе подводных лодок «Иртыш». И настало сегодня, кажется, время высказать благодарность нашему верному старому кораблю.

Каюты наши на «Иртыше» были рядом. Здесь же размещалась типография, где печатался «Дозор», в редакции которого мы работали в качестве писателей-корреспондентов. После того как Крон был включен в оперативную группу писателей, редактором газеты назначили старшего политрука Александра Яковлевича Брука. «А я Брук», — шутили мы с Кроном беззлобно, имея в виду первые буквы имени и отчества нашего редактора. Это был опытный военный газетчик, хорошо умевший использовать и наши авторские особенности. Дружба наша с Бруком продолжалась всю войну, не прерывалась и в послевоенные годы.

Вспоминая множество людей, окружавших нас, хочу назвать еще два имени — дивизионного механика Михаила Филипповича Вайнштейна и старшего помощника командира «Иртыша» Аркадия Александровича Муравьева-Апостола. Это были очень разные люди, в каком-то смысле даже антиподы. И в то же время оба незаурядные личности, с которыми и общаться казалось интересным, и испытания было переносить легче. Мишу Вайнштейна Крон очень любил. Любил за сердечность и доброту, за большой объем знаний и справедливость к людям.

Нас Михаил Филиппович заботливо опекал. Ведь ни я, ни Крон не были моряками-профессионалами, а писать нам приходилось не только о человеческих характерах, но и о многих подробностях флотской службы. Здесь я хотел бы подчеркнуть дотошность Крона, проникавшего в такие секреты военно-морской техники, которые, грешным делом, казались мне не только непостижимыми, но для нашей повседневной работы не столь и обязательными. Крон рассуждал по-инному. У него был даль-

ний пришел, в точности, глубине понимания обстановки искал он разгадку человеческого поведения. Роман «Дом и корабль» и последняя повесть «Капитан дальнего плавания», созданные много лет спустя после войны, вряд ли стали бы столь яркими удачами писателя, если б не школа, пройденная им на «Иртыше» и в отсеках подводных лодок.

Нам с Кроном повезло: нас приняли в свой строгий круг военные моряки высокого класса, такие, как командиры «щук» Евгений Осипов и Иван Вишневский, как командир подводной лодки «Лембит» Алексей Матиясевич, командир «С-7» Сергей Лисин, командир «Л-3» Петр Грищенко. О каждом из них можно и следует написать книгу. К сожалению, не многие увидели день победы... Но я хочу рассказать еще об одном нашем сослуживце по «Иртышу», Аркадии Александровиче Муравьеве-Апостоле.

Однажды, когда я сидел в своей каюте с затемненным по законам военного времени иллюминатором и сочинял обзор «боевых листов» для «Дозора», в железную дверь кто-то постучал. Это был церемонный и немного торжественный Аркадий Александрович. Выражался он несколько старомодно и витиевато. Трудно было первоначально определить, говорит он серьезно или шутит.

Человек недюжинной храбрости, истый моряк, Аркадий Александрович числил в своем роду знаменитого декабриста, подполковника Сергея Ивановича Муравьева-Апостола.

Уже после войны мне стало известно, что Аркадий Александрович пробовал себя, и довольно успешно, в области художественного творчества. В ленинградском отделении издательства «Детская литература» вышла книга его исторических морских рассказов.

В тот вечер в моей каюте он говорил серьезно, медленно, растягивая слова:

— Сегодня я проходил мимо Петропавловки и вспомнил, что ровно сто пятнадцать лет назад сюда из Зимнего дворца, где его допрашивал Николай, привезли закованным, тяжело раненным в голову одного из моих предков, двадцатидевятилетнего Сергея Ивановича Муравьева-Апостола. Николай Первый сделал такую запись после его допроса: «Ослабленный от тяжелой раны и оков, он едва мог ходить... он был в своих мыслях дерзок и самонадеян до сумасшествия, но вместе с тем скрытен и необыкновенно тверд».

Я поглядел на немолодого уже, каким показался он мне тогда, флотского офицера и подумал о высшей справедливости, призвавшей его сегодня на вахту Ленинграда.

Задумчив, одинокий,
Я по земле пройду, не знаемый никем.
Лишь пред концом моим,
Внезапно озаренный,
Познает мир, кого лишился он.

— Что это?— спросил я Аркадия Александровича, прочитавшего мне незнакомые стихи.

— Их написал перед казнью Сергей Иванович...

Над кораблем отрывочно и оглушительно застучали зенитки. Снова, в который раз за день, была объявлена боевая тревога. Аркадий Александрович срочно отправился на командный пост. По коридорам и трапу загрохотали сапоги матросов.

Продолжался рядовой блокадный день.

А теперь немного о том в чем-то фантастическом и в то же время жестоко-реальном мире, в котором мы тогда с Кроном обретались.

Дом и корабль... Для нас, как и для большинства моряков, домом стал корабль, пришвартованный гигантскими обледенелыми канатами, соединенный сходящими с гранитом набережной, возле которой в сумеречной морозной дымке за знакомой по сотням репродукций оградой высился безлюдный, оголенный Летний сад.

В Ленинграде стояли сильные морозы. Редко можно было увидеть одинокого пешехода.

Над «Иртышом» была натянута маскировочная сеть, делавшая его сверху похожим как бы на продолжение Летнего сада.

За углом на пьедестале по-прежнему возвышался защищенный от осколков лишь воинскими доспехами бронзовый Суворов. Памятники полководцам — Суворову, Барк-

лаю де Толли, Кутузову — не закапывались и не прикрывались мешками с песком или деревянными щитами, они стояли лицом к лицу с огнем и смертью.

Окна первого этажа Института культуры, где размещался госпиталь, рядом с «Иртышом» превращены были в амбразуры. Это сделано было на случай (крайний) возможных уличных боев.

Затемненный корабль, окруженный впаянными в невиский лед подводными лодками, жил, дышал, погромыхивал своим железным сердцем. В огромных кожухах сменялись на посту часовые. Вы открывали тяжелую, примерзшую дверь, и вас встречали тепло, свет, знакомые лица. Только лица при этом свете с каждым днем становились изможденнее, выпирали скулы, резко очерчивались каддыки. И все же это был неистребимый, борющийся и негибавший живой мир. Питались мы по тыловой норме: двести граммов хлеба, горсточка каши, пустой, почти без жиринок суп. Но вот тепло, свет, горячая вода — великое дело! — у нас действительно были.

И хотя квартиры многих из нас, ленинградцев, пустовали и только ключи, хранящиеся нами, напоминали о родном доме, понятия «дом» и «корабль» продолжали оставаться для каждого близкими. Город, огромный несдающийся фронт, окружал нас, и мы денно и ночью думали о нем. Были в этом городе и оставшиеся друзья, семьи близких, были привязанности, был долг. Вот почему при всей скудости пайка подводники и весь личный состав плавбазы постановили делиться крохами еды с детскими садами, госпиталями, с остро нуждающимися в помощи защитниками города.

Были такие внутренние обязательства перед близкими, семьями товарищей и у нас. Помню Крона, переливавшего бережно, по ложке, суп во фронттовую флягу, отделявшего от скудной каши большую часть в пластмассовую коробочку.

Лишь лежа
в такую вот гололедь,
зубами
вместе
проляскав —
поймешь:
нельзя
на людей жалеть
ни одеяло,
ни ласку.

Никогда так сильно не чувствовали мы правдивость слов, сказанных в поэме «Хорошо!» Маяковским, как в то время.

Весною по воздуху с оказией с Большой земли группе балтийских писателей по инициативе Александра Фадеева доставили посылку. Груз был строго регламентирован, и все же на нас свалилось неслыханное богатство: кубики концентратов борща и каши, настоящей, с жирком, гречневой, сухая колбаса, шоколад. Мы разложили все это на простыне, по-братски разделили. Вишневецкий отдал строжайший приказ: половину присланного сохранить как НЗ на случай ухудшения продовольственного снабжения. Ожидался новый штурм города, удавка голода могла еще теснее затянуться.

И все-таки даже из осажденного Ленинграда мы с помощью знакомых летчиков переправляли какую-то частицу нашего личного пайка находившимся в эвакуации семьям. Большая земля! Как это было далеко, с какой жадностью мы ждали от жен писем. И я, и Крон, и Тарасенков, получая письма, делились с товарищами не только вестями, но и настроением, тоном этих писем. Они были для нас не меньшей поддержкой, чем доставленная по Дороге жизни и разделенная по крохам еда.

Когда же солнце возвестило весну, на город и флот обрушились новые удары. Фашисты предприняли попытку уничтожить корабли Балтийского флота, пришвартованные у набережной Невы. Эти воздушные налеты, когда с неба падали не только авиационные бомбы, но и торпеды, носили кодовое название «Айсштосс».

Охотились за крейсерами, эсминцами, подводными лодками, линкорами, охотились и за нашей базой «Иртыш».

Под лихорадочный треск зениток, вой пикирующих на корабли бомбардировщиков, оставаясь в замкнутом железном пространстве, мы думали с тревогой о наших товарищах, находящихся в Политуправлении, перекочевавшем тогда на Васильевский остров. Там недалеко от Горного института стоял замаскированный крейсер «Киров», за которым враги охотились особенно яростно.

Желанной целью были и мосты — Литейный, Кировский, Дворцовый, Лейтенанта Шмидта. И все-таки фашистам не удалось повредить или уничтожить ни одного моста. А вот в крейсер «Киров» было прямое попадание. Почти все зенитчики, находившиеся на верхней палубе, погибли. Их хоронили потом в братской могиле, наполненной ржавой от глины апрельской талой водой. Сейчас зенитчики-кировцы покоятся на военном кладбище возле Пискаревского мемориала.

Пострадало и здание Политуправления, там вылетели все стекла. Тогда принято было решение о его перебазировании в здание Электротехнического института имени В. И. Ульянова (Ленина) на Песочную, 5 (ныне улица Профессора Попова).

Так начался новый этап нашей фронтовой жизни на Петроградской стороне.

...Мы находились на казарменном положении — бригадный комиссар Вишневецкий и его жена старший лейтенант Софья Касьяновна Вишневецкая в Пубалте, старший политрук Крон и интендант 3-го ранга, ставший позднее капитаном, Азаров на борту плавбазы «Иртыш». Оставаясь номинально в составе оперативной группы, все мы за исключением Вишневецкого по решению начальника Политического управления ВМФ армейского комиссара И. В. Рогова были вновь возвращены в редакции многотиражных флотских газет, подчиняясь одновременно политотделам частей и соединений и Пубалту.

Для Крона и меня началась боевая летняя страда 1942 года на Подплаве, имевшая для каждого большое значение.

В начале лета вместе с политотделом бригады подводных лодок наша редакция перебазировалась в Кронштадт. Он внешне был строг и подтянут, а зелень его садов и парков словно бы стремилась прикрыть раны — последствия вражеских налетов.

Все подводные лодки, которые с такими усилиями моряки блокадной зимой ремонтировали, миновав опасные рубежи Стрельны и Петергофа, теперь одна за другой выходили из Кронштадта на Лавенсари, а оттуда на боевые позиции.

Уже поступили известия о первых победах, мы с нетерпением ждали возвращения победителей.

Еще перед тем как из осажденного Ленинграда был совершен переход бригады в Кронштадт, в нашем литературном подразделении произошли важные события. В Ленинград прилетел наделенный полномочиями центральной прессы Александр Александрович Фадеев. Прежде я его не встречал. С моими товарищами Всеволодом Вишневецким и Александром Кроном он, естественно, был хорошо знаком, с Кроном даже дружен, а с Вишневецким еще со времен РАППа и «Литфронта» иногда спорил. Но когда эти люди встретились, я понял, что давние разногласия перед лицом войны забыты.

Высокий, седой, красивый, с ромбом в петлицах, Фадеев сходил с людьми быстро. Это был не литературный генерал, а человек с открытой душой, одновременно отзывчивый и требовательный. Помню, как появился он у нас с Кроном на «Иртыше».

Раздались пронзительные сигналы дежурной службы, возвещавшие о прибытии высокого начальства. Но вскоре все, кому довелось в тот день встретиться с Фадеевым, поняли, насколько он человечен, доступен и прост. Фадеев старался понять каждого. На «Иртыше» он долго беседовал с командирами. Дошло дело и до застолья. Помнится, командир одной из подводных лодок, друживший с сотрудниками Ботанического сада, торжественно высыпал на тарелку пять или шесть маленьких тепличных ягод клубники. Мы их только нюхали. Выручил мой командирский паек — несколько сырых куриных яиц...

Встречался Фадеев и с нашими подводниками с «Л-3», которой командовал Грищенко, посвятивший им в своей книжке «Ленинград в дни блокады» проникновенные строчки.

Вскоре Фадеев улетел в Москву, а мы с Кроном возвратились в Кронштадт.

В то лето 1942 года события, происходившие на Балтике, под Таллином и Ригой, в Данцигской и Померанской бухтах, захлестывали и воодушевляли нас. Было от чего воодушевиться! Подводные лодки Балтийского флота, как думал враг, прочно закупоренные в осажденном Ленинграде, вырвались на свободу, топили фашистские транспортные порты, груженные войсками, оружием, стратегическим сырьем. И все это совершалось в условиях минной и воздушной блокады, в белые ночи, когда подводные лодки, всплывавшие для зарядки аккумуляторных батарей, были видны отовсюду на неподвижной светлой глади моря.

После потерь 1941 года, после неудач начального периода войны люди подвод.

ного флота обрели, казалось, второе дыхание. В них жила неукротимая воля к победе.

Александр Крон, Александр Ильич Зонин, наш старший товарищ, участник гражданской войны, стремились запечатлеть то, чем жили их боевые друзья. И у каждого из нас, не скрою, было желание лично участвовать в этих походах. Первым осуществил свою мечту Зонин. Он участвовал в боевом походе «Л-3», которым командовал Грищенко.

Крон дружил с экипажами многих кораблей. Но особенно крепко с коллективом лодки «Щ-320», которой командовал обаятельный человек, опытный подводник Иван Макарович Вишнеvский. Я облюбовал подводную лодку «С-7» под командованием участника войны в Испании Сергея Прокофьевича Лисина.

А пока мы не уходили с кронштадтских пирсов, ждали, встречали корабли, возвращавшиеся из многодневных опасных походов.

Не знаю, согласилось ли бы командование с моим и Крона настойчивыми просьбами. Но вопрос о нашем участии в походах был снят сам собой по той причине, что военный совет КБФ приказал Вишнеvскому и нам заняться внеочередной работой — написанием к двадцать пятой годовщине Октября... оперетты для единственного существовавшего тогда в Ленинграде Театра музыкальной комедии.

Есть у Крона пьеса «Офицер флота». Она написана им в 1943 году в неимоверно короткий для Александра Александровича срок, который ему определила война. Актуальность пьесы заключалась в том, что, вобрав опыт зимы 1941/42-го, радость побед в летней кампании, она помогала не впадать в уныние из-за тяжелых потерь и содержала в себе предсказание будущих побед — завершающих лет войны. Здесь я хотел бы сказать несколько слов о связи «Офицера флота» с последней работой Александра Крона — «Капитаном дальнего плавания». Не стану проводить прямых параллелей между капитан-лейтенантом Виктором Ивановичем Горбуновым и капитан-лейтенантом Александром Ивановичем Маринеско, командиром боевого корабля первой линии «М-96». Сам Крон в начале повести определенно сказал: «Во время войны я с Александром Ивановичем почти не встречался, и сблизилась мы только в последние годы его жизни». И все же есть в повести ссылка на воспоминания бывшего инженера механика «М-96» Андрея Васильевича Новакова, в которую стоит вчитаться:

«Александр Иванович хотел выйти в море одним из первых...», но «...авария была значительная, особенно для блокадных условий. Стоял даже вопрос о консервации корабля и переводе команды на другую лодку. Но командир на это не пошел, он не опустил руки, наоборот, энергия его удвоилась. Команда переселилась на берег, жили в здании Института русской литературы и продолжали ремонтировать корабль».

Пьеса родилась из маленького кроновского рассказа «Я держу мой флаг». О чем он? О командире подводной лодки, получившей в осенних походах сорок первого года серьезные повреждения. С нее хотят списать команду, вооружение снять. Слова командира: «Это мой корабль... Пока корабль на плаву и хоть одна палка торчит над водой — я держу мой флаг»...

Рассказ «Я держу мой флаг» написан Кроном в конце 1941 года и вскоре опубликован. Говоря о взаимосвязи жизни и литературы, мы чаще рассматриваем, как жизнь воздействует на художественное творчество. Но ведь существует обратная связь. Стихотворения Лебедева, рассказы Крона приходили напрямую к своим военным читателям, помогали в борьбе.

Не случайно и то, что до последних дней своей жизни Александр Александрович Крон был предан образу, ставшему для него близким в разгар войны. Пусть образ Горбунова прямо и не навеян острой, противоречивой и контрастной судьбой балтийского подводника номер один Александра Маринеско, но, по существу, у них одна линия поведения, одна судьба. Командир подводной лодки Горбунов устремлен в будущее.

«Я увлекаюсь будущим... Я много думал о том, каким должен стать флот нашей страны. Меня занимает балтийский театр, проблемы современной подводной войны, мне хочется отчетливее представить себе противника... Возможно, я иногда ошибаюсь. Но у меня всегда есть свое мнение».

Скажу и о другом персонаже пьесы — старшем лейтенанте Веретенникове. Возвратившись из боевого похода, он хмелеет не от двух рюмок кагора, выпитых при встрече, а от свидания с друзьями, от чувства победы и преодоленной опасности.

«Белые ночи, а? Описано Достоевским и так далее. Очень красиво, нэ сэ па? А я вам говорю, ничего не может быть хуже. Брр! Не дают носу высунуть. Как хочешь,

так и заряжайся. Катеришки бродят... чуть вылезешь подышать — они тут как тут. Только успеешь бултыхнуться: бу-бух! бу-бух!.. До сих пор в ушах звенит. Но шалишь! Аусгешлоссен! Сашку Веретенникова голыми руками не возьмешь. Самый малый вперед, так держать!.. Ауфвидерзейн! Ищи-свищи! Может быть, думаете, я хвастаюсь? Жамэ! Никогда»

Скажут: этот образ несомненно утрирован. Если и да, то самую малость. За образом реальный прототип — командир подводной лодки «Щ-406», в скором времени Герой Советского Союза Евгений Осипов.

А было так: мы с Кроном и жена Всеволода Софья Касьяновна Вишневецкая, художница и журналистка, пытались его о чем-то расспросить. Выслушивая вопросы Вишневецкой, звучавшие несколько наивно (специфику службы подводников она знала поверхностно), Осипов всплескивал руками, восклицал:

— Матушка!

— А вы все же расскажите о героизме,— продолжала настаивать Софья Касьяновна.

Тут-то Осипов и стал украшать свою речь случайным набором иностранных словечек вроде «жамэ», «хай лайф!».

Разумеется, Веретенников не Осипов, он и помоложе и наивнее. Но вот характер речи, даже интонация переданы Александром Александровичем виртуозно.

Мне бы хотелось здесь сказать о юморе Крона, во многом определявшем тональность наших отношений.

Крон любил сочинять ехидные четверостишия. Вообще я заметил, что со времен деда Водяного его потянуло на шуточные стихи. А шутка в тех условиях, не слишком располагавших к юмору, значила очень много.

Блестящим образцом кроновского юмора, на мой взгляд, были наши «боевые листки», совместное творчество трех авторов, издававшиеся в домике на Песочной улице, в квартире художницы О. К. Матюшиной, когда мы писали пьесу «Раскинулось море широко». Все прозаические заметки за исключением немногих, написанных Всеволодом Вишневецким,— продукция Крона.

Смех! О нем Александр Крон достойно сказал позднее:

«Впоследствии некоторые товарищи, знавшие блокадную жизнь понаслышке, говорили нам, что наша затея чуть ли не кощунственная — «есть вещи, над которыми нельзя смеяться».

Единственным нашим возражением было, что ленинградцам изнутри виднее — можно или нельзя. Человек, еще способный смеяться, не побежден, поверженные не смеются... И мы были счастливы, слыша, как смеются в осажденном городе».

А сейчас от мотивов сатирических хочу опять перейти к серьезному.

Между Александром Кроном и Всеволодом Вишневецким в их творческом труде шло как бы негласное соревнование. Будучи по писательской манере, стилю, излюбленным темам очень разными, они старались войти в чужую систему, что-то подсказать друг другу. Иногда была в этом содружестве и ревность. И в то же время их отношения строились на основе принципиальности и объективности. Сохранилось в архиве оперативной группы письмо Крона Вишневецкому, после того как тот дал ему прочитать первый вариант своей пьесы «У стен Ленинграда». Вот выдержки из письма:

«Только что прочел Вашу пьесу, прочел залпом, не отрываясь. Очень жалею, что не могу оставить ее у себя, чтоб «побыть с нею наедине», перечитать, подумать... Читал очень внимательно, но испортить себе первое впечатление пристальным приглядыванием к деталям и останавливаться для того, чтоб делать пометки на отдельном листочке, не захотелось, да и не смог — увлекся.

Вещь очень большая, заражающая своим темпераментом, беспокойно ищущей мыслью, мужественностью интонации и смелостью.

Большинство Ваших героев носят на себе следы Вашей лексики, присущей именно Вам и неповторимой,— смесь грубоватости и ритуальной торжественности, народного и интеллигентного словаря...

Советовал бы убрать некоторые крайности, например когда в речь старого матроса вкрапливаются уж очень не свойственные ему обороты... Очень хорош капитан 3 ранга. Не знаю почему — очень ощущается интеллигентом, пожалуй, даже (как Белогорский) дворянином, пусть коммунистом, но все же человеком не новой культуры. Это мешает. И семья Симбирцевых очень подтверждает это ощущение.

Князь великолепен...

Есть ряд великолепных сцен: немцы, разоблачение предателей. Есть вещи, которые меня оставили в недоумении (сцена Бушков — Коробков, еще целый ряд эпизодов).

Я вынужден торопиться. Об остальном скажу при встрече. Повторяю — большая, волнующая вещь. За сценическую судьбу ее боюсь, это очень трудно сделать на театре, а театры мало что умеют.

Спасибо и поздравляю от души. Ваш А. Крон.

I.VII.43 г.»

Александр Крон был прав. У этой пьесы действительно оказалась нелегкая сценическая судьба. Я помню ее в двух вариантах, из которых первый был Вишневному более дорог. Образ князя Белогорского, существовавшего долгие годы под чужой фамилией, был взят Вишневым из жизни, впрочем, так же, как образ девушки-сандружинницы, потерявшей на войне близких, предлагающей матросу заменить ему сестренку. Белогорский перед лицом смерти в морской пехоте объявляет свое истинное имя.

К сожалению, образ Белогорского Вишневному пришлось из пьесы изъять, о чем он всю жизнь сожалел. Смягчены были и другие трагические акценты, хотя скорбь пьесы-оратории, как верно определил Александр Крон ее жанр, в ленинградской (Театр Краснознаменного Балтийского флота, режиссер А. В. Пергамент) и московской (Камерный театр, режиссер А. Я. Таиров) постановках продолжала жить и в этом урезанном варианте.

Судьба «Офицера флота» А. Крона была более счастливой. Написанная в сорок третьем, пьеса вобрала в себя не только материал первых лет войны, но и предвидение будущих побед. После Театра КБФ ее поставили МХАТ и ряд других театров.

Впоследствии образы пьесы обрели новую жизнь в первом большом прозаическом произведении А. Крона романе «Дом и корабль».

Работая в оперативной группе писателей Пубалта, мы разъезжались по разным соединениям, писали истории кораблей, брошюры и листовки о лучших людях флота, газетные статьи. Но за всем этим стояло еще одно задание, которое давали мы себе сами, — работа над художественными произведениями, в которых преломился бы опыт повседневной фронтовой жизни. Дистанции времени мы тогда не признавали. Да и откуда взяться уверенности, что война позволит нам завершить задуманное?

Опыт оперативной группы писателей, возглавляемой Вишневым, был уникален. В Ленинграде при Политуправлении фронта существовала подобная группа под руководством Н. С. Тихонова.

Обе эти группы родились в жесточайших условиях блокады и свое предназначение выполнили. Заслуга Всеволода Вишневого в этом партийном, художественном деле была неоспоримой.

Работа группы зиждилась на горьковских традициях коллективного писательского труда, ее воодушевлял опыт фронтовых агитколлективов времен гражданской войны, опыт Маяковского, возглавившего мастерскую «Окон РОСТА».

О Маяковском мы, Всеволод Вишневы, Александр Крон и я, вспоминали тогда часто. Нам помогали его «Хорошо!», его лирика. 10 апреля 1943 года мы проводили посвященный ему вечер. В эти часы город обстреливали.

Я помню, как возвращались мы по Литейному; под ногами хрустела щебенка и осколки стекла; извивались, как огненные змеи, сорванные со столбов провода. А в душе звучало боевое, непримиримое слово Маяковского.

Крупнейшим событием стало для нас всех исполнение блокадной Седьмой симфонии Шостаковича.

Крон любил и понимал музыку. Много она значила и в его собственном творчестве. Помню, как по просьбе Александра Александровича Ольга Берггольц написала слова песни для пьесы «Офицер флота».

Когда из черной тарелки репродуктора начинали звучать скрипичный концерт или симфоническое произведение, а в Ленинграде хорошая музыка была всю войну единственным средством обороны, Крон от всего отключался и слушал. Он вообще, обдумывая что-либо, мог внезапно выпасть из разговора. Слушая мелодию, в такт ей он сам включался в ритм движением полуприкрытых тяжелыми веками глаз, наклоном головы.

Сын автора замечательного балета «Лауренсия» Александра Крейна, Александр Александрович с юности был влюблен в музыку. И я думаю, что архитектоника любви,

мых им симфонических произведений могла как-то повлиять и на структуру его пьес и романов.

Он радовался тому, что командир подводной лодки Кабо недурно играл на скрипке, что музыка была близка другому балтийскому герою, Лисину. «Я сидел с ним рядом,— вспоминал Крон,— во время первого исполнения Седьмой симфонии Шостаковича в блокированном Ленинграде... Мы шли вместе и говорили о музыке».

Хочу завершить воспоминания рассказом о нашем совместном возвращении в сентябре 1944 года в столицу советской Эстонии Таллин и об участии в полном освобождении эстонской земли от врагов.

Таллин встретил нас радостью и печалью. На башне древнего Вышгорода развевалось красное знамя. На площади, которая будет носить имя Победы, еще стояли освободившие город танки. Всюду оживленные лица горожан, вились по ветру черные с золотыми якорьками ленточки флотских бескозырок.

Но часть города лежала в руинах. Мы проходили по несуществующей улице. Крон поднял с камня покореженную табличку с названием этой мертвой улицы — Харью. Сейчас это одна из оживленных улиц города, впадающая в Ратушную площадь. В начале улицы Харью стоит прекрасное здание Союза писателей Эстонии. На фасаде металлическая доска с барельефом Юхана Смуула. Тогда Смуул еще служил в эстонском корпусе. Мы познакомились с ним позднее. А пока мы ходили по Таллину, любовались его узкими средневековыми улочками, стенами, в которые впились чугунные ядра давних баталей, с горьким чувством видели следы гитлеровской оккупации. Я был здесь в июне — июле 1941-го. Тогда мы выпускали вместе с карикатуристом-краснофлотцем Львом Самойловым в типографии «Советской Эстонии» на улице Пикк красочные антифашистские плакаты «Бьем!», приложение к сатирическому отделу «Полундра!» газеты «Красный Балтийский флот».

Мы с Кроном были постоянными авторами этого зубастого отдела. Теперь же, осенью сорок четвертого, нам рассказали о том, что в архиве местного гестапо была обнаружена подшивка плакатов с аккуратной картотекой, заведенной на авторов. Все они подлежали уничтожению.

Но мы, Вишнеvский, Крон, Лев Самойлов, Николай Браун, ходили по Таллину и радовались возвращению в этот удивительный город.

В «Клубе черноголовых», где артистов, писателей, корреспондентов кормили скудно, но без карточек, мы с Кроном столовались, разглядывая супные тарелки с изображением негров, оставшиеся в наследие от купцов древнего Ревеля, торговавших с колониальными странами.

Однажды нас пригласил к себе в только что предоставленную квартиру корреспондент Всесоюзного радио Владимир Уманский.

Поблескивал зеленым глазком немецкий радиоприемник «Телефункен», на стеллаже лежала стопка оставшихся от сбежавшего фашиста разноцветных «Сигналов» — так назывался иллюстрированный журнал, издававшийся гитлеровским рейхом на разных языках.

— А вот эта штука полюбпытнее,— сказал новый хозяин квартиры.

В полированную поверхность стола был вонзен нож со свастики на рукоятке. «Мы еще вернемся» — значилось в записке, пригвожденной к столу.

Вскоре Политуправление командировало нас с Кроном на острова Моонзундского архипелага. Шли бои за освобождение оконечности полуострова Сырве, мыса Церель, где находилось еще много фашистских войск. Они судорожно цеплялись за Прибалтику.

Переправившись из прибрежного местечка Виртсу на Муху, а потом на Эзель (Сааремаа), мы попали в соединение балтийских бронекатеров. Были здесь и неказистые, но очень прочные железные посудинки, служившие до того на Ладоге, бойцы называли их ласково «товарищ тендер».

Много лет спустя я снова побывал здесь, в главном городе Курессааре (ныне Кингисепп), откуда в августе 1941 года бомбардировщики «ТБ-3» 1-го минно-торпедного полка КБФ наносили бомбовые удары по Берлину. Был я и на берегу залива возле братских могил, в которых покоятся русские и эстонские воины, отдавшие жизнь за эту землю.

А тогда задача наша была одна — помочь своим огнем уничтожить врага.

У меня сохранилась совместная наша с Александром Кроном корреспонденция

«Бои на Сааремаа». Писали мы ее, возвратясь из боя, во время которого находились на разных кораблях. Вот отрывок из корреспонденции:

«Сильные всплески у правого борта. На мостике отмечают — перелет! Разворот корабля и новые залпы. Бронекатера поддерживают сухопутные силы, атакующие поселок Винтри. Стрельба становится все более яростной. Дым, острый запах пороховой гари. Младший лейтенант Глебов, опершись локтем о кормовую башню, спокойно корректирует огонь.

Море кипит вокруг бронекатеров. Вражеский снаряд рвется по носу головного катера, осколком тяжело ранен комендор на концевом.

Это были эсминцы и БДБ. Но наш маленький отряд не дрогнул».

Мы возвращались в Таллин в последних числах ноября 1944 года. Хлестал дождь. Сперва перебрались опять на материк, оттуда поездом. Поезд был товарный, нам с Кроном предоставлено было «отдельное купе» вагона-холодильника, правда с выключенной морозильной установкой. Но все равно холод в нем стоял страшный. Мы уложили одну шинель на железный пол, вторую прикрылись...

Была дружба в годы войны, чувство товарищества, сознание необходимости твоей работы, твоей жизни.

Вспоминаю Крона, Вишневого, старшего из нас, хотя ему тогда было немногим более сорока лет. Мы слушаем по радио последнюю сводку Совинформбюро, потом дружно принимаемся за работу. Где-то слышен глухой разрыв снаряда. Скрипят перья. Женщина с нервным, подвижным лицом, жена Вишневого, в морской форме с нашивками старшего лейтенанта, рисует маслом на холсте петушка на будочке напротив нашего дома. В этой будочке когда-то торговал булочник. Другая женщина, постарше, приносит нам с огорода зеленые перья лука, брюкву. Мы жадно уничтожаем допаяк и снова расходимся по рабочим местам. Потом читаем написанное друг другу, хохочем, что-то обсуждаем.

Вспыхивает огонек керосиновой лампы. Нам еще писать дотемна. Мы счастливы. Нам хорошо. Мы вместе!

КОНСТАНТИН ПОЗДНЯЕВ



ВСТРЕЧИ С ПАВЛОМ АНТОКОЛЬСКИМ

Газета Московского военного округа «Красный воин» в 1945 и 1946 годах проводила литературные «среды». У меня сохранились пригласительные билеты на эти встречи с писателями. Перебираю их и с волнением вспоминаю то, что происходило четыре десятилетия назад. Вспоминаю первые читки писателями новых произведений, их восприятие нами, вчерашними фронтовиками...

Билеты аккуратно отпечатаны на плотной, но неказистой (еще военных лет) бумаге белого, оранжевого и светло-серого цветов. Их 23. Тираж каждой такой карточки-извещения 40, 80, редко 100 экземпляров. А кто читал свои произведения? На первой «среде» (она состоялась 30 мая 1945 года) — Степан Щипачев, на последующих (я перечисляю далеко не всех) — Михаил Светлов, Александр Твардовский, Лев Никулин, Сергей Михалков, Вера Инбер, Маргарита Алигер, Сергей Смирнов, Алексей Фатьянов, Евгений Долматовский, Лев Ошанин, Анатолий Софронов, Семен Кирсанов, Виктор Ардов, Борис Ласкин. Вместе с писателями были участниками «сред» и деятели искусств, например художник Борис Ефимов (он рассказывал о своей поездке в Нюрнберг), композиторы Тихон Хренников, Анатолий Новиков, Никита Богословский, Матвей Блантер, Сигизмунд Кац, Евгений Жарковский, Леонид Бакалов, Марк Фрадкин (они знакомили со своими песнями).

Имя Павла Григорьевича Антокольского на сохранившихся у меня билетах упоминается в отличие от других дважды. Да, помню, так оно и было: Антокольский выступал на «средах» в военной газете перед фронтовиками дважды. И это отнюдь не случайно. Но прежде чем объяснить, почему это не случайно, надо воскресить кое-что из предыстории «сред»...

Кропоткинская улица Москвы одним своим концом упирается в Зубовскую площадь, другим выходит к Гоголевскому бульвару. Улица Щукина, где в доме № 8-а долгие годы жил Антокольский, находится у Зубовской площади, как говорится, под боком. До Гоголевского бульвара от нее дальше, но там, в самом начале бульвара, станция метро, а метро — наиболее удобный вид транспорта. Поэтому в потоке пешеходов на Кропоткинской Павел Григорьевич бывал чуть ли не ежедневно. Ну а для меня с конца 1944 года Кропоткинская стала маршрутом на работу, в редакцию «Красного воина». Рано или поздно мы должны были здесь встретиться. Так и произошло однажды за несколько месяцев до первого праздника Победы.

Антокольский знал меня с 1937 года по городу Горькому, куда он и его жена Зоя Константиновна Бажанова в ту пору часто приезжали по делам вахтанговцев, шефов 4-го колхозного молодежного театра. Но знать-то он меня знал, только очень уж мимолетными были наши прежние встречи, да к тому же он раньше не видел меня в офицерской форме. Поэтому когда я, неожиданно столкнувшись с ним, столь же неожиданно для себя произнес: «Здравствуйте, Павел Григорьевич!» — мне показалось, что на его лице появилось некое замешательство: вроде он не сразу понял, кто я. Однако уже через какие-то полминуты стало ясно, что это не так: он назвал меня по фамилии, а потом и по имени, хотя в голосе его и послышалась удивленно-вопросительная интонация.

Разговор наш был недолгим. Но я успел сообщить Павлу Григорьевичу и о том, что был на фронте, и о том, как волею судеб оказался в «Красном воине», и о том, что редакция этой газеты тут вот, на углу Кропоткинской и Всеволожского, совсем рядом от места, где мы стоим. На прощание Антокольский сказал: «Я к вам приду... Непременно...» И обещание свое сдержал, пришел чуть ли не через день. А затем стал заходить в «Красный воин» постоянно.

В годы Великой Отечественной войны произведения Антокольского печатались в газетах «Известия», «Комсомольская правда», «Литература и искусство», в журналах «Знамя», «Смена». Газетный лист «Красного воина» с его относительно небольшим тиражом вряд ли мог всерьез заинтересовать Павла Григорьевича как трибуна для выступлений (если память не изменяет, он и печатался-то в «Красном воине» всего лишь раз — это был отрывок из «Ярославны»). Может, он заходил потому, что редакция была ему по пути и туда на огонек можно было зайти в любое время (мы работали до глубокой ночи). Допускаю это. Но, пожалуй, ему хотелось услышать именно от фронтовиков о том, «как бывает на войне». Видимо, он заходил прежде всего поэтому.

Он расспрашивал меня о моем родном многострадальном Крымском фронте, о кровопролитных боях под Новороссийском, о том, как наша 38-я стрелковая Днестровская дважды краснознаменная дивизия форсировала Днепр и освобождала Киев. Я рассказывал. А мои товарищи по редакции рассказывали о другом, о своем.

Все это ему очень важно было знать: мыслями и сердцем он всегда был с фронтовиками. Все они стали как бы однополчанами его сына, младшего лейтенанта Владимира Антокольского, который погиб и остался «на веки веков восемнадцатилетним».

В своих стихах Павел Григорьевич, обращаясь к сыну, благословлял его на ратный подвиг:

Ты мог бы стать художником. Но небу
Иною призван доблестью служить.
Лети. Будь счастлив. Если бы ты не был
Самим собою — я не мог бы жить.

(«Письма в Среднюю Азию»)

Судьба сына сливалась в его стихах с судьбами сотен тысяч таких же, как он, парней и девушек, вставших в строй защитников Родины:

Там, где трупы германских дивизий легли
На полях нашей славной земли,
Там решаются судьбы на много веков
Всех народов и материков —
Судьбы школ, судьбы книг, не прочтенных тобой,
Поколенья, идущее в бой!

(«Антифашистский митинг молодежи»)

А написанная кровью сердца поэма «Сын»! Разве не говорит она о том, какими неразрывными, крепчайшими узами был связан Павел Григорьевич с Советской Армией, с фронтовиками.

...Многочисленные хождения Антокольского в «Красный воин» — это и есть перво-причина возникновения наших литературных «сред». Мысль о «средах» родилась в голове Павла Григорьевича, а мы (в том числе редактор газеты подполковник Валерий Алексеевич Косолапов¹, горячо ее поддержали. Антокольский стоял как бы в стороне от этого дела, но он был нашим вдохновителем: подсказывал, кто из литераторов-фронтовиков уже демобилизовался или приехал в краткосрочный отпуск в Москву, кто написал интересные стихи. Бывало и так, что Павел Григорьевич становился своего рода полпредом «Красного воина» — вел переговоры с поэтами и композиторами, зазывал их на наши «среды».

5 сентября 1945 года Антокольский выступал на литературной «среде» один. Государственная премия СССР (за поэму «Сын») ему тогда еще не была присуждена, но сама поэма уже получила широкую известность, и наш маленький зал в тот вечер был переполнен до отказа.

14 ноября 1945 года здесь выступали Семен Гудзенко и Александр Межиров, Юлия Друнина и Вероника Тушнова. Их имена почти никому не были известны. Но их самих и их стихи отлично знал Павел Григорьевич. Он водил это «племя младое, незнакомое» по многочисленным редакциям столицы. Привел и в «Красный воин». По этой причине имя Антокольского вторично появилось на пригласительных оповещениях: ему предстояло произнести слово о поэтах военного поколения. И он произнес его — горячо, страстно. Каждый из четверки поразил собравшихся не только самобытностью стиха и глубиной проникновения в солдатские души, но и манерой чтения, ибо она у всех была сугубо индивидуальная.

Несколько позже — 22 мая 1946 года — познакомил нас Антокольский и с Михаилом Лукониным.

Вот какую колоссальную роль играл Павел Григорьевич в пропагандистской и организаторской работе «Красного воина» среди армейцев

Думаю, что это было любо-дорого не одним только сотрудникам редакции, но и самому Антокольскому. Недаром же он (через двадцать шесть лет), когда вышел в свет первый том его собрания сочинений, подарил мне эту книгу с таким многозначительным автографом: «Косте. То, что написано в тылу, рвется на передний край «Красного воина»! П. А. 6 окт 71» Символическая надпись!

Вспоминаю я Антокольского и как постоянного автора «Литературной России», где мне довелось работать двенадцать с половиной лет.

Нашим автором Павел Григорьевич стал уже в 1963 году — сразу после реорганизации газеты «Литература и жизнь» в еженедельник «Литературная Россия».

Сначала он в ряду других выступил с ответом на вопрос анкеты «Чем вам дорог Маяковский?», через некоторое время опубликовал два стихотворения — «То, что казалось» и «Ночной разговор», а затем поэму «Повесть временных лет».

С 1964 года все чаще и чаще стали появляться в «Литературной России» не только стихи, но и прозаические, критические, публицистические работы поэта. Сколько же их было! Тут и прекрасные рассказы о Лермонтове — «Демон» и «Казнь Мартынова» (в книжных изданиях — «Казнь убийцы»). Тут и статья к столетию со дня вхождения Азербайджана в состав России, и статья к восьмисотлетию со дня рождения Шота Руставели. Тут и заинтересованный разговор о русской орфографии, и гневный протест против агрессии США во Вьетнаме.

Леонид Леонов и Илья Сельвинский, Михаил Светлов и Ярослав Смеляков, Николай Браун и Геннадий Фиш, Исаак Фефер и Карло Каладзе, Татьяна Глушкова и Леонид Темин — писатели разных поколений и разных творческих почерков интересовали его. И он писал о них. Писал проникновенно, с явным удовольствием.

И вот какая любопытная деталь: работы в этих жанрах Павел Григорьевич порой представлял в редакцию в рукописном виде, не оставляя себе копий. Есть ли в его личном литературном архиве, например, статья, посвященная семидесятилетию со дня рождения Семена Степановича Гейченко, директора Пушкинского заповедника в Михайловском? Думаю, что нет, так как в моем архиве хранится рукописный (единственный?) экземпляр этой статьи.

Антокольскому было свойственно всегда добром отвечать на добро, очень от-

¹ Косолапов В. А. (1910—1982) — публицист и литературный критик. В 1951—1960 годах — заместитель главного редактора, а в 1960—1962-м — главный редактор «Литературной газеты»; в 1963—1970-м — директор издательства «Художественная литература»; в 1970—1974 годах — главный редактор журнала «Новый мир».

ветственно выполнять редакционные просьбы. Об этом можно судить хотя бы по такой его записке мне:

«Дорогой Константин Иванович!

Как видите, исполняю обещание точно к сроку: в понедельник утром статья у Вас на столе. Конечно, она чуть длиннее, чем Вы предлагали мне и чем я сам считывал. Но, увы, в ней нет ни одного лишнего слова.

Впрочем, у Вас в руках красный карандаш и все редакторские права. Во вторник с утра буду Вам звонить и, если понадобится,— приеду в редакцию.

Всего Вам доброго.

До скорого.

П Антокольский.

11 января 70 г.».

Сопоставляя дату, обозначенную в записке, с датой ближайшей по времени публикации П. Г. Антокольского на страницах «Литературной России» (16 января 1970 года), могу безошибочно сказать, что поэт имел в виду статью «Грибоедов» (к столетию со дня рождения).

Однажды я похвастался перед Павлом Григорьевичем тем, что в моей домашней библиотеке есть первая его книга «Стихотворения» (1922) и его драматическая поэма «Франсуа Вийон» (1934), а потом и показал ему эти книги. С нескрываемым интересом рассматривал Павел Григорьевич своего первенца. Покачал головой: «Обложечка-то какая! Серенькая...» Раз два хмыкнул, а потом промолвил «Сейчас я на ней что-нибудь напишу тебе.. Экспромтом...» Вынул автоматическую ручку и стал писать, медленно произнося слова:

Сквозь годы, и годы, и годы,
Не зная поблажки и льготы,
Не старясь, не помолодев..

Он сделал паузу Лицо его расплылось в улыбке. И он закончил строфу так:

Живем мы и смотрим на деу

Была сделана тогда же и надпись на «Франсуа Вийоне»:

...Собачья вьюга!
Так не согреем мы друг друга
Попляшем, постучим костьми.
Как два скелета черт возьми

Это Павел Григорьевич воспроизвел слова Бозмунда Корбо, друга Франсуа Вийона. Дальше была приписка. «Косте Поздняеву — предложение на будущее из далекого прошлого. П. 1934 — 1971»

А за окном была вьюга, и в комнате моей было холодно. Но ее согревали доброе сердце и талантливое слово Павла Григорьевича Антокольского, этого отзывчивого человека и большого поэта, чье девяностолетие со дня рождения мы отмечаем в нынешнем году.

ЗИГМУНД ХИРЕН



ОВЕЧКИН, ПАВЛЕНКО — 1945-й...

][П] попытаюсь рассказать о человеке, чья карточка, сделанная на скорую руку известным фотолюбителем на фронте, лежит сейчас передо мной на столе. Овечкин в летней, изрядно помятой, выгоревшей на солнце военной форме, положив ногу на ногу, что-то пишет карандашом. Капитанские полевые погоны, медаль над нагрудным карманом гимнастерки. Тетрадь прилеплен к колене поверх командирского планшета. Нет, впервые я увидел Валентина Владимировича не таким.. Это было ранней весной 1945 года. Тогда еще не отменили зимнюю форму. Обмахиваясь, обгоревшая возле многочисленных костров солдатская шинель, ушанка явно не по размеру — на самой макушке.

..Вена была еще в руках гитлеровцев, но начальника нашего гаража Каштанова это обстоятельство не смущало. «Вена» — твердым почерком вывел он на путевом листе. Нам с писателем Петром Андреевичем Павленко — двум фронтовым корреспондентам «Красной звезды» — предстояло в открытом «виллисе» добираться от Москвы до австрийской столицы. В день выезда валил крупными хлопьями мокрый снег, то и дело разыгрывалась метель, было холодно, зябко, сыро. Продуваемый всеми ветрами железный кузовок нашего автомобиля был тесно уставлен трофейными канистрами с бензином, банками с автолом, ящиками и мешками с запчастями, автокамерами, инструментом, а в завершение два новеньких в американской упаковке запасных колеса на полу, что исключало возможность вытянуть одеревеневшие от долгого сидения ноги. Наша запасливость диктовалась тогдашней обстановкой на фронте. Советские войска двинулись в глубь Европы. Снялись с обжитых мест заправочные, ремонтные, питательные и прочие пункты. Станным казалось отсутствие на перекрестках привычных регулировщиц с традиционными цветными флажками и тяжелыми винтовками на плече.

Предстояло покрыть путь, проделанный нами с первых дней войны, путь, где не раз попадали мы в самые опасные переделки, были под огнем всех видов вражеского оружия, да и просто позорно прижимались к этой вот земле, спасаясь от бомбежек. Отсюда без усталы писали в газету корреспонденции, очерки о героизме советских солдат, обо всем и, увы, не обо всем, что происходило на войне. Мы вновь видели знакомые окопы, огневые позиции, траншеи. Не было лишь знакомых солдат и офицеров. Одни ушли с боями далеко на запад, другие пали в боях, о чем свидетельствовали скромные памятники. Изредка на нашем пути попадались дети, причудливо одетые — кто в отцовском картузе, кто закутан в пятнистую трофейную плащ-палатку, кто в лаптях, возможно еще дедушкиных, надетых поверх онучей, туго перевязанных веревкой. Люди в лохмотьях, кожа да кости, а все же вот приступили к возрождению родных очагов. На одном конце Европы, долга выжженном гитлеровским нашествием, начинала налаживаться мирная жизнь, а на другом, куда держали мы с Павленко путь, пожинали бурю те, кто с 22 июня 1941 года сеял смерть, ту самую нищету и разруху, что проплывала сейчас перед нашими глазами.

Природа, как бы предчувствуя близость окончания войны, буйствовала; вышедшие из берегов реки вспучивались разломанным льдом, и приходилось часами метаться в поисках переправы. Мосты еще не были восстановлены, их острые бетонные и железные обломки торчали из воды, как головы на толстых шеях безобразных чудовищ. На ночлег останавливались то в покинутом блиндаже, то в случайно уцелевшем сарае.

Где-то возле Чернигова встретились всадники. На здоровенных, забрызганных грязью, косматых битюгах восседали укутанные платками и грубыми деревенскими шальями молодые крестьянки. Лица их от стужи, от степного ветра стали фиолетовыми.

— Аж из-под самого Берлина едем, — объяснили они нам, — збираем своих конычек, угнанных германом, бачите, вже сев на носу.

Не знал, не гадал, что через несколько часов Павленко посреди ночи разбудит меня, чтобы прочитать точь-в-точь о таких вот крестьянках, но написанное не им, а еще неизвестным тогда мне Валентином Овечкиным.

Та последняя наша поездка из Москвы в Вену имеет отношение не к одному Овечкину, а к фронтовой жизни многих писателей, к их работе над военной прозой. Представим себе, что Павленко от этого далеко не легкого и не простого путешествия отказался бы и засел писать новую «Русскую повесть», старая его не устраивала. И я уверен — написал бы, причем со всеми реальными солдатскими невзгодами, горечами, утратами. Войну он знал не понаслышке. На своем веку начиная чуть ли не с юных лет писатель пережил не меньше, чем герои прозаиков «послевоенной волны». На моих глазах он почти месяц провел далеко на Севере, при пятидесятиградусных морозах в небольшом гарнизоне, попавшем в окружение. Сутками не вылезали с ним из неглубокого и узкого, как могила, окопчика, глубже земля не пробивалась, она не просто окаменела, она по твердости не уступала металлу. Каски снимать было нельзя, как как противник непрерывно держал нас под шрапнелью, по ночам шрапнельный огонь сменяли очереди трассирующих разрывных. Мы не выпускали из рук злосчастной русской трехлинейки, не снимаая на случай атаки трехгранного штыка, мечтали о нескольких газетах, чтобы перемотать ноги, говорили, от газетной бумаги теплее. Ко всем бедам прибавился голод. Лошади начисто пообгрызли стволы деревьев, к которым были привязаны, и деревья то и дело валились на землю. Мы же радовались, когда к нам

в окопчик попадал кусок окаменевшей буханки черного хлеба, до того замерзшей, что ее раскалывали топором на пороге единственного уцелевшего дома. Словом, для новой «Русской повести» в материалах, отражающих правду войны, недостатка не было.

Но тогда, в конце марта 1945 года, мало кто думал о кабинетной работе. Наша армия сражалась в глубине Европы, каждый вечер Москва салютовала победителям, все с нетерпением ждали очерков, репортажей, корреспонденций о скором вступлении советских войск в Вену, Берлин, Прагу. Нет, не наступил еще час для книг, подобных «Сотникову», «Убиты под Москвой», «Крику» и другим прекрасным талантливым книгам, написанным позже воинами, в те дни находившимися в глубине Европы с оружием в руках.

Незадолго до смерти Константин Симонов, выступая перед читателями в Ленинской библиотеке, откровенно признался, что ему за всю войну так и не удалось написать чисто солдатского романа, и, работая уже в наши дни над сценарием документального фильма «Шел солдат» о полных кавалерах солдатского ордена Славы, он пытался восполнить этот пробел.

За двадцать лет до Симонова Валентин Овечкин писал: «Я давно мечтал увидеть в печати роман или повесть об Отечественной войне, написанные солдатом и о солдатах. Почти вся литература о войне у нас — офицерская, штабная. Душу нашего рядового солдата в ней не найдешь. Конечно, роман должен быть написан не Козьмой Крючковым и не Фомой Смысловым, не раешником, без вульгарщины...»

Вернусь, однако, к нашему путешествию. По пути в Вену мы сделали остановку в Киеве, заранее поклявшись друг другу двинуться в путь после самой маленькой передышки.

Однако часа через два Павленко ввалился в наш номер гостиницы с толстой рукописью в папке со стандартным словом «Дело» и объявил, что в Киеве придется задержаться, и еще хорошо, если только на сутки. В ответ на мое возмущение он заявил:

— Речь идет о жизни человека...

Спрятав «Дело» под матрац, Павленко вновь куда-то исчез.

Вечером мы лежали рядом на узких железных койках. Павленко читал не отрываясь, то и дело тормоша меня, чтоб послушал. Вскоре поверх моего одеяла образовался слой из прочитанных страниц рукописи. Это была повесть Валентина Овечкина «С фронтовым приветом», то самое «Дело».

Внимание Павленко привлекали прежде всего те места, где речь шла об острых проблемах войны, а мест таких в повести, начиная с первых же страниц, было великое множество.

Глубоко врезалось в память начало: «Пассажирский поезд шел из Киева на запад.. но был еще далеко от прифронтовой полосы...» Овечкин описывал вагон, набитый пассажирами — военными и гражданскими. Люди мостились кто где мог — на полу под полками и на багажниках под самой крышей. В проходе с трудом можно протиснуться между узлами. Тут и тяжело изувеченные солдаты, возвращающиеся с войны домой, женщины, дети. Их голосами заговорили с читателем страницы овечкинской повести. Это была повесть о войне — такой, какой мог увидеть ее только фронтовик. Никаких недомолвок, никаких умалчиваний. Впервые задумался автор и над вторым днем после окончания войны, заговорил о хлебушке, о деревенских проблемах, которые возникают, как только пушки умолкнут

Не будем пересказывать содержание повести, одно лишь вспомним — именно Валентин Овечкин впервые во весь голос провозгласил, что война, как бы жестока она ни была, не должна подавлять добрые чувства, исказить нравственный облик человека. Писатель решительно выступил против пошлости, лжи, непорядочности. Один из его главных героев, полковой агитатор капитан Спивак, вступает в горячий спор с пассажиром, который, рассказывая в вагоне о нелюдях, то и дело повторял: «Все равно — война»

Павленко все в этой повести казалось интересным. Язык, композиция, независимость автора от других военных литераторов. Натолкнувшись на какой-то особо драматический момент в повести, Петр Андреевич снимал очки, закуривал и тормошил меня чтоб поделиться соображениями о том, какой будет военная литература после войны. Бранил себя за то, что часто поддавался редакторским рекомендациям. Радовался, натываясь на что-то смешное

Так за чтением рукописи прошла почти вся ночь. Прекрасная повесть. Но все-та-

ки надо ли было из-за нее застревать в Киеве? Оказалось, дело непростое: куда бы Овечкин со своей рукописью ни обращался, всюду получал отказ; стал было потверже защищаться — обвинили во всех грехах: скажем, эпизод с паточкой, пролившейся при артобстреле на младшего лейтенанта и послужившей поводом для бесконечных шуток в батальоне, расценили как клевету на командный состав. А другой эпизод, щедро сдобренный своеобразным юмором Овечкина, позволил кое-кому обвинить автора в желании высмеять личный состав Красной Армии. И пошло... Овечкин, узнав о пребывании Павленко в Киеве, обратился к нему, просил об одном — прочитать. И Павленко обещал. Обещал и выполнил.

Под утро Петр Андреевич, едва вскочив с койки, уселся за стол и начал строчить письмо Фадееву. Со всей щедростью душевной хвалил Овечкина и просил Фадеева, который в то время, скрываясь от всех, писал «Молодую гвардию», отвлечься и обласкать автора, помочь издать книгу. Когда я смотрел на согнувшуюся над письмом спину своего спутника, о многом думалось, и прежде всего — о его доброжелательности, отсутствии завистливости, подозрительности, злобы...

Утром на пороге появился солдат и объявил, что Павленко где-то ждут. Павленко тут же последовал за посыльным. Вскоре опять стук в дверь.

— Уехал? — спросил вошедший.

— Да, — ответил я, приняв его за очередного посыльного.

— Вот уж не думал, — процедил сквозь зубы гость и усталился в окно, выходящее на Крещатик.

Улица была превращена в груды камней, в которых копошились немецкие военнопленные, выбирая уцелевшие кирпичи и перенося их на самодельных носилках.

— Для них война кончилась, — произнес не без иронии Валентин Владимирович Овечкин. Это был он. — Легко отделались.

Я торопливо рассказал Овечкину, как Павленко ночь напролет читал его повесть.

— А знаете, почему она называется «С фронтовым приветом»? — оживился Овечкин. — Это ведь распространенные слова и на фронте и в тылу. Написал солдат домой письмо «с фронтовым приветом» — значит, полный порядок, жив еще, воюю. Получили родные письмо-треугольник, развернули — «с фронтовым приветом», значит, слава богу, жив наш отец, сын, муж, брат. Так ведь?

Разговор перешел на чисто литературные темы. О своей повести Овечкин больше не проронил ни слова.

— Кончится война, — говорил Овечкин, — сюжетов хватит лет на сто. Убежден, что документальная литература возьмет верх. Только бы успеть написать все, что видел, пережил, почувствовал на этой войне. Уверен, ангелов в книгах о войне не будет. Чего нам стесняться правды о пережитом, какой бы горькой она ни была!

Разговор наш прервался появлением Павленко. Увидев гостя, Петр Андреевич обнял его, расцеловал. И тут же заторопился.

— Не будем терять времени, вам надо ехать в Москву сегодня же. Зайдете ко мне домой — жена Наталья Константиновна Тренева свяжет вас с Фадеевым. Он спрятался ото всех, сидит над романом «Молодая гвардия». Но вас примет, ручаюсь. — С этими словами Павленко расстегнул кнопки планшета и подал Овечкину знакомый уже конверт. — Там все написано. Да, а не захватите ли вы заодно мою медвежью доху, будь она проклята, напаялил в Москве, а тут лето...

С этой дохой было связано у нас много смешного и неприятного. Она досталась Петру Андреевичу как военный трофей. Во время съемок фильма, сделанного по павленковскому сценарию, доха была одолжена артисту, игравшему главную роль, и многие из нас специально ходили в кино, чтоб увидеть знакомую доху. Перед отъездом в Вену Наталья Константиновна попросила мужа взять доху с собой — покашливал он. Вышли мы во двор к машине с этой дохой, и сразу стало ясно, что всем нашим дорожным проектам хана. Почему? Дорога долгая, длинная, автомобильчик, как уже говорилось, набит доверху, ну и думали мы, учитывая нашу худобу, уместиться втроем вместе с шофером на переднем сиденье. Куда там, стоило Павленко расположиться в своей дохе впереди, сразу выяснилось, что и шофер едва рядом с ним уместится. Забегая вперед сообщу одну печальную подробность, касающуюся дохи (Овечкин, разумеется, без возражений согласился прихватить ее в Москву, а заодно ватник, ловко все связал в большой узел, а внутрь спрятал свое «Дело»).

Спустя много лет Наталья Константиновна рассказала мне о давнем том приез-

де Овечкина в Москву. Раздался звонок, она открыла дверь, а на пороге стоит солдат с узлом, из которого торчит одежда мужа. Что могла женщина подумать? Словом, знакомство началось с того, что Овечкин приводил незнакомую женщину в сознание, звонил в «скорую помощь», стучался в двери соседей. А все остальное, касавшееся повести Валентина Владимировича Овечкина, я, кажется, сообщил сполна в начале своего рассказа.

Валентин Овечкин был прав, когда, стоя среди киевских руин, предсказывал рождение новой военной прозы. Теперь, правда, редко услышишь его имя в рассуждениях о военной литературе. Он известен больше как публицист деревенский.

Принято считать, что наиболее полно стали писать о войне в наши дни, когда за перо взялись бывшие солдаты, сержанты, лейтенанты. Впервые на страницах романов, повестей, рассказов появились рядовые со всеми их нелегкими военными думами, проблемами... У Кондратьева Сашка, например, принимает иногда за минуту больше решений, чем иной командарм. Герои Быкова с первых же строчек нас не отпускают,— не дочитав до конца, книги не закроем

А как же Валентин Овечкин с повестью «С фронтовым приветом», Александр Твардовский со своим «Василием Теркиным»? Они-то ведь за перо взялись, уже будучи писателями. И беру смелость утверждать, что именно они первыми в полный голос заговорили о фронте. Приходит на память несколько прозаических строчек Твардовского: «В городе продержались мы с редактором часа два, делая по возможности вид друг перед другом, что страшно нам не очень. А было очень страшно, томительно до утомления. Уже не испытываешь ни малейшего любопытства, томишься собственной неприкаянностью, праздностью здесь, где идет тяжелое дело, которым люди занимаются по прямому долгу. А ты стоишь здесь с задачей постоять, поглазеть и рассказать затем не это, что видишь, переживаешь — если бы уже это! — а то, что принято почему-то рассказывать по-корреспондентски в случае занятия города нашими и не иначе, как уже рассказывалось неоднократно, хотя здесь совсем другое». Более точного диагноза и анализа литературной болезни, о которой говорил мне в сорок пятом Овечкин, не знаю. Значит, дело тут не в сегодняшнем первооткрывательстве, а в твердости писательской позиции, в самом бесстрашии откровенности.

Кто из нас не испытал при чтении даже увлекательной, сильной книги о войне досады, когда спохватывался, что что-то похожее уже читал. Бывает и по-другому: читаешь, читаешь и вдруг испытываешь изумление, радость, узнавая свои мысли, свои чувства. понимая, что совпало видение автора с твоими подспудными ощущениями. И невольно думаешь: а не был ли автор рядом с тобой там, под Клином, под Волоколамском, пусть не названы эти города, не указаны даты?

Нечто подобное испытал я, скажем, при чтении Константина Воробьева. «Рота шла вторые сутки, минуя дороги и обходя притаившиеся селения. Впереди — и уже недалеко — должен быть фронт...» Вроде ничего особенного, так могла начаться и фронтовая корреспонденция, очерк, заметка. И все-таки сразу врезаются в сознание два слова: «притаившиеся селения». В те трагические дни точнее сказать о подмосковных деревеньках нельзя: «притаившиеся». Да что деревушки — временами целые города выглядели притаившимися, а в особенности когда, бывало, послышится где-то высоко-высоко гул чужих самолетов...

Всего несколько строчек, но как точны слова и сколько за ними страшной правды войны. И как точен взгляд. Немыслимо представить себе, чтоб это перо «обмолвилось» хоть одним словом лжи. На первый взгляд черно-белое изображение, но читаешь одну книгу за другой — и перед глазами возникают ярчайшие краски, характеры, портреты... В том, к слову сказать, главная сила этих произведений.

Писатель никому не подражает; избрав писательскую профессию, поставил он себе железное условие: быть самим собой. И таким, повторяю, он перед нами предстает. Это и позволило открыть всю глубину фронтовой солдатской жизни. Писатель не просто знает, не просто сам пережил, осмыслил, а это суть, кровь его. Бондарев, Быков, Ананьев, Воробьев, Носов, Бакланов оказались не из тех, кого принято называть авторами одной книги, и таков их писательский почерк, что каждое их новое произведение мы принимаем как исповедь, как рассказ о себе лишь одному, единственному, самому близкому другу. И мысль об истоках этой прозы невольно заставляет вспомнить Твардовского, Овечкина.

Если вам попадет в руки первое издание книги Овечкина «С фронтовым приветом», внешне больше похожее на брошюру, советую обратить внимание на выходные данные: «Сдано в набор 15/VIII 1945 г. Подписано к печати 30/X 1945 г.». След в судьбе книги, да и в судьбе самого автора оставили Павленко и Фадеев. Числился Овечкин среди тех, о ком принято говорить «один в поле не воин». Я уже рассказывал здесь об обстоятельствах первой встречи Овечкина с Павленко. Тогда мы еще многого не знали о положении Овечкина, того, что стало известно позже.

Интересен в этом отношении отрывок из письма Овечкина сыну, тоже Валентину: «Боюсь, Валя, что при последних встречах со мной, присутствуя на моей «штаб-квартире», ты видишь больше результатов моего очень трудного пути в литературу, а сам путь тебе мало ведом. Когда начинался этот путь, ты был еще маленьким. Хотя однажды, когда мы продавали пайковую водку в Киеве на базаре, чтобы мне было на что сварить вам с Валеркой борщ и отнести матери в больницу передачу, я просил тебя запомнить эти минуты, запомнить меня во всех положениях. В то время у меня уже был почти написан «С фронтовым приветом», и я был уверен в судьбе этой книги...»

Вряд ли предполагал тогда Овечкин, что поперек первой страницы рукописи появится такая вот резолюция: «Писанина т. Овечкина явище (явление.— З. Х.), що лежить по за межами художньої літератури. Це наскрізь шкідлива і ворожа писанина, незалежно від намірів автора. Вона підлягла забороні і не може бути надрукована». Нужно ли переводить сие? Думаю, ясно все и так.

Овечкин не сдавался.

Именно в этот момент застали мы в Киеве Валентина Овечкина, и Петр Андреевич Павленко решительно встал на защиту почти незнакомого ему писателя.

Я уже заканчивал эту свою работу, когда ко мне попало письмо Овечкина жене, датированное 29 апреля 1945 года. К тому времени мы с Павленко уже давным-давно «взяли Вену», успели повстречаться в Линце с американскими союзниками, а затем вместе со всей нашей 4-й ударной армией принять, в свою очередь, американцев у себя во дворце Гогенцоллернов на высоком берегу Дуная. Петр Андреевич, уже тяжелобольной, покашливая, встряхивая по вечерам термометр, нет-нет да и вспоминал про Овечкина, про его повесть «С фронтовым приветом», гадал, встретился ли он с Фадеевым, помог ли тот бедолаге...

Письмо Овечкина как раз о том, с какой готовностью откликнулся Фадеев на просьбу Павленко, хоть занят был писанием собственного большого романа: «Исключительный интерес к повести проявил... Фадеев. Первый раз, как только я принес ее ему, он прочитал ее за полтора дня, потом позвал меня к себе, и мы часа три имели с ним большой разговор. От души радовался моему успеху, поздравлял, говорил, что повесть его страшно взволновала... Посыпались предложения со стороны журналов и издательств... Все поражаются хамским отношением ко мне и повести в Киеве...»

Впрочем, добавим, не лучше перед тем шли дела писателя и в Москве. Прочитал еще одно письмо Овечкина, от 12 ноября 1944 года, адресованное столичным добродетелям, так уж и быть, их фамилий не назову, а ведь тоже забодали «невезучую ту рукопись». Овечкин им ответил: «Если мое письмо не изменит Вашего мнения о пропорциях «света и тени» — что ж, значит, не будем «сватами»... Так или иначе, буду добиваться напечатания повести в ее настоящем виде, со всеми «резкостями». В этом вся соль... Надо писать так, чтобы литература ощущалась в жизни страны как реальная строящая сила. От лакировки пользы нет ни партии, ни народу...»

Есть у Овечкина такие строки. «И, как бывает у солдат, часто вспоминался ему хутор Южный, мечталось еще заглянуть туда после войны, встретиться со знакомыми, полюбившимися людьми, посмотреть, как расцветает жизнь на месте бывших развалин и окопов, найти свой блиндаж где-то в саду, между яблонями, посадить на обвалившемся, заросшем бурьяном бруствере, выкурить махорочную цигарку... А когда окончилась война, ему уж было не до того, чтобы объезжать все те места, где проходил он со своими бойцами. Надо было и самому начинать работать, восстанавливать разрушенное войною народное хозяйство, запахивать вчерашние окопы». Эти строки, написанные Овечкиным о старом солдате, в полной мере относятся к нему самому. Все написанное им после войны иначе не назовешь как запахиванием вчерашних окопов, а многострадальная повесть «С фронтовым приветом» явилась началом этой титанической писательской пахоты.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

С. ПИСКУНОВА, В. ПИСКУНОВ

★

МЕЖДУ БЫТЬ И НЕ БЫТЬ

Натурфилософский роман: опыт прочтения

С горы скатившись, камень лег в долине —
Как он упал? никто не знает ныне —
Сорвался ль он с вершины сам собой
Иль был низринут волею чужой? —

строки из тютчевского стихотворения «Problème» невольно всплывают в памяти, когда, читая роман С. Залыгина «После бури», приходишь до того места, где главный его герой — бывший приват-доцент Петербургского университета, а ныне элман, владелец буровой конторы Петр Корнилов — пытается разгадать, каким же образом оказался в буровой скважине некий посторонний предмет. Предмет этот Корнилов, натурфилософ по специальности и по убеждениям, почти сразу же отождествляет с камнем: ведь образ камня «соответствовал на все времена, когда речь шла о столкновении человека с чужой, враждебной ему волей, о превращении живой энергии человеческой мысли и мышц в тяжелую, неподвижную материю. Конечно, углубившись в сравнение размышлений Корнилова и «проблемы», как она сформулирована в стихах Тютчева, можно найти между ними немало расхождений, но общий мотив — брошенного неведомо кем камня — остается. Он своего рода опознавательный знак натурфилософской традиции, к которой принадлежат оба произведения. Да, в многоплановом, многоактурном романе Залыгина натурфилософия является, на наш взгляд, основой всех наиболее существенных обобщений, каких бы сторон действительности они ни касались.

Конечно, другие критики могут прочитать «После бури» в ином ракурсе, например как исторический роман, воссоздающий в социальных типах, в звучании голосов и на языке документов один из интереснейших периодов в жизни нашего государст-

ва — первые годы его существования: гражданская война, военный коммунизм, нэп... Можно сосредоточиться на постановке в романе нравственных проблем, над которыми бьется литература XX столетия: самоопределение человека и утрата им собственного «я», личная ответственность и власть обстоятельств.. Наконец, сам Залыгин в одном из интервью не без лукавства назвал свой последний роман детективом. Но какие бы жанровые дефиниции ни применялись к «После бури», нельзя не увидеть, что художественное единство романа возникает из согласования всех его тем и проблем с общей мыслью писателя о «законе Существования», едином для природы и человека, об органичной целостности мира, восстановление которой должно стать конечной целью исторического развития.

Публикация второй, заключительной книги романа «После бури» в номерах 7, 8 и 9 «Дружбы народов» за 1985 год — ее долго ждали читатели, журнальный вариант первой книги увидел свет пятью годами раньше — позволяет по-новому взглянуть и на творческую эволюцию Сергея Залыгина, и на место так называемой натурфилософской прозы в современном литературном процессе.

Словосочетание «натурфилософская проза» появилось на страницах статей, посвященных современному литературному процессу, сравнительно недавно (кажется, чуть ли не первым его использовал Ф. Кузнецов в 1976 году в рецензии на «Царь-рыбу» В. Астафьева). Тем не менее оно успело прочно войти в критический обиход, хотя границы и содержание понятия еще не вполне определены — иначе не стали бы иные авторы подвергать его сомнению,

видеть в нем лишь попытку претенциозного переименования деревенской прозы. И впрямь круг имен, фигурирующих в критике по ведомству натурфилософской прозы, мало чем отличен от круга имен прозаиков-деревенщиков. Между тем здесь есть различие, и различие существеннейшее. Художественное видение писателей-деревенщиков состоит, по определению Г. Белой, в том, что они, как и любимые их герои, «не вне природы, а как бы внутри ее», там, где мир ощущается «не слухом, не телом, а душой природы, присутствующей... во мне». Именно позиция внутри природы обуславливает мощное органическое звучание прозы того же В. Распутина, сообщает его художественному миру трагедию законченности и завершенности. Для натурфилософа же природа — «объект созерцания, анализа, размышления».

Натурфилософия — это умозрительное осмысление природы, а расцвет ее на всех витках движения культуры совпал с распадом, разрушением мифопоэтической картины мира: так было на закате античной цивилизации, так было и в Западной Европе после крушения ренессансно-неоплатонического универсума. Натурфилософская проза в строгом значении слова может начаться только «после сказки», после «прощания с Матерой», когда мысль уже оторвалась от природы и, хотя страстно жаждет к природе вернуться, прежде должна выработать отношение к себе самой, научиться понимать себя, осознавать свои пределы и свои возможности, или, как сказано в последнем романе Залыгина, натурфилософия — это жажда «учения о слиянности природы и мысли». Именно учения.

Нужно ли это учение кому-либо из героев, наделенных «почти иррациональным, языческим чувством нераздельного единства человека и природы» (Г. Белая)? Нужно ли оно Ивану Африкановичу? Или старухе Дарье? Или даже Николе Устинову в те часы, когда он идет по пашне, налегая на лемех плуга, всем телом и душой ощущая свою слиянность с окружающим миром? Впрочем, в жизни героя романа Залыгина «Комиссия» бывают и другие часы, когда он пытается выстроить для себя что-то вроде модели вселенной, но и тут Никола не отрывается от телесного переживаемого образа мира, отыскивая круг — символ завершенности, упорядоченности мироздания — в доступных взору и осязанию предметах: лепестке, бочке, солнце на небе..

Напротив, герой «После бури» — натурфилософ-профессионал, оперирующий абст-

ражциями, которые выработаны веками развития философского знания, «человек уже не натуральный, а подражательный», утративший и образ мира как целого, и чувство собственной связи с этим целым, переставший даже ощущать реальность собственного бытия. И вот в ракурсе восприятия такого героя выстраивается в новой книге Залыгина основной — собственно романический — план повествования.

Если в «Комиссии», как вообще в произведениях писателей, ставящих в центр своего художественного мира природного человека, позиция автора и точка зрения героя максимально сближены, то отношение автора «После бури» к Петру Николаевичу-Васильевичу Корнилову двойственно-противоречивое. С одной стороны, ему передоверяются многие из заветных мыслей писателя, с другой — автор подчеркнуто иронически дистанцируется от своего героя (ирония — едва ли не основной стилиобразующий фактор залыгинской прозы 80-х годов, что самым неожиданным образом сближает его, известного мастера современной русской словесности, с прозаиками «поколения сорокалетних»). Главное же отличие «После бури» от всех книг, решающих проблему «человек и природа» в традиционном, выработанном деревенской прозой ключе, в том, что драматический раскол мысли и природы — не просто тема размышлений героя, но качество авторского сознания, определяющее все особенности художественного строя романа.

Мотивы «раскола», «осколков», «расколотого мира» проходят через всю книгу начиная с раздумий Корнилова о том, что «нынешний год — не год и не время, а только осколок времени». Конечно, «расколотый мир» — прежде всего порождение исторического катаклизма. «После одной войны, после другой войны, после военного коммунизма все реальное и воображаемое вокруг уже не может быть без осколков, осколки теперь явление естественное», — философствует Корнилов, пытаясь осмыслить свою «осколочную» судьбу и участь себе подобных. Но для Залыгина важно не только это и впрямь естественное «после бури» состояние вещей. Не менее существенно для него состояние умов, судьба мысли, лишившейся своей монологической монолитности: «Нынче мира как такового, божьего и вечного, уже ни у кого на уме и в помине нет, зато у каждого свой собственный рисуночек мирового устройства...» Впрочем, уже задолго до революций человечество, по наблюдению будущего приват-додента, начало утрачивать ту единую об-

щечеловеческую мысль, без которой не может быть на земле порядка, поделило эту мысль «между точками зрения, между авторами и авторитетами», растащило на «обрывки и клочки общечеловечности».

«Расколотый мир», «осколки судеб», «осколки мысли» — не требует ли рассказ обо всем этом нового художественного языка? Осколки традиционной романной структуры — вот с чем недоуменно сталкивается читатель «После бури», привыкший к обстоятельным повествованиям о судьбах людей, характеры которых развиваются и раскрываются в сцеплении событий и поступков. Сюжет может быть сколь угодно сложным и запутанным, но действие романа все равно движется от некоей первоначальной точки к развязке, финалу. Классический тому пример, и пример тем более показательный, что по исходному историческому материалу он во многом совпадает с романом Залыгина, — трилогия А. Толстого «Хождение по мукам»: сквозь все перипетии драматической истории сестер Булавиных, Телегина, Рощина четко просматривается проверенная веками фабула позднегреческого романа странствий: любящие, пройдя все испытания, должны в конце концов соединиться. У Залыгина такого сцепленного и законченного сюжета нет, есть лишь отдельные завершенные сцены, эпизоды — «осколки» сюжета. И автор отдает себе в этом полный отчет. Более того, бессюжетность как структурообразующий принцип входит в его замысел. «Среди такой и сякой, среди неопределенной нынешней жизни с ее утомительно бесконечными событиями, — раздумывают Корнилов и солидарный с ним писатель, — почему-то случалось очень мало определенных линий и законченных сцен. Чтобы и завязка была, и развязка, и кульминация — по классическому образцу... Какой сюжет был в отношениях Корнилова с Ниной Всеволодовной? Да никакого, ни малейшего. Было, было и было, переживалось, а потом ни с того ни с сего кощунственно кончилось ничем — страхом, нелепостью и неизвестностью! Ведь сюжет — это истинная развязка. Это вывод. Заключение, резюме...»

И впрямь, выводов, заключений нет не только из отдельных событий жизни Корнилова, но и из его жизни в целом. Сообщение то ли о мнимой, то ли о настоящей смерти Корнилова затеряно где-то среди газетных сообщений, среди документов повествующих о судьбе нации на решающем повороте ее истории. Чтобы все же закончить роман и одновременно соблюсти закон «отсутствия развязки», Залыгин весь-

ма остроумно создает второй финал, финал-эпилог, где герой окончательно перестает подчиняться автору и сам делает нравственно-философские выводы и заключения из прожитой жизни.

Сюжетно не разрешены и жизни других персонажей «После бури». Возможно, чтобы как-то компенсировать в читательском восприятии эту бессюжетность, Залыгин подделывает свое повествование под детектив. Только очень уж странный детектив получается. Детектив наизнанку. Детектив, в котором люди исчезают и их никто не ищет. Детектив, в котором Корнилова, присвоившего себе чужое отчество и чужую судьбу, изобличают довольно скоро, но ничего в его жизни от этого не меняется.. Очевидно, детективная интрига может быть для Залыгина только вспомогательным, формально-игровым приемом. Что же тогда организует «После бури» как художественное единство? Что помогает писателю превратить хаос расколотого бытия в романский космос? Здесь нужна мысль, создающая в художественном мире романа такие полюса напряжения, по отношению к которым полярно сориентируются все его «осколочные» фрагменты, мотивы и образы. Такая антиномическая мысль в романе есть. Она очень точно сформулирована самим Залыгиным, естественно, не по отношению к себе самому, а в контексте раздумий о творчестве Андрея Платонова: «Большого и философствующего писателя никогда не покидают два понятия, одно из них о конце мира, другое — о возможности переустройства мира на новых и справедливых началах». Между этими понятиями и выстраивается образный мир «После бури», мир, организованный как целостная система противопоставлений.

Их нагнетание бросается в глаза с самого начала, с того момента, как Петр Корнилов появляется на улицах Аула — города, расположенного на берегу Реки, разделяющей пространство на две стороны — «эту» и «Ту» (Образ реки как границы посюстороннего и потустороннего мира относится к числу древнейших, но художники вновь и вновь обращаются к нему; так, создатели фильма «Парад планет» взывают к нашей образной прапамяти, изображая купание героя в реке как путь в «тридевятое царство»). Залыгин на прапамять не рассчитывает, прямо и недвусмысленно растолковывая архаическую символику образа и одновременно сохраняя за ним его посюстороннее значение: река как река, на том берегу ягоды собирать можно.. Но случайно ли корниловское видение конца света —

это видение моста, переправы?) По принципу противопоставления, контраста развертываются на первых же страницах романа и две судьбы: возвышение мастера Казанцева и гибель полковника Махова. Даже внешность Евгении Ковалевской, женщины, к которой Корнилов пробирался в Аул, поражает соединением несоединимого: черт античных с монгольскими, «почти геометрически правильных очертаний с неверностью детского рисунка». И сам Петр Корнилов ощущает постоянное присутствие в себе двух враждующих друг с другом людей.

В ряду взаимопротивопоставленных образов и мотивов романа следует, однако, выделить важнейшие — те, что создают его пространственно-временные координаты. И в первую очередь уже упомянутые мотивы «этой» и «Той» стороны, мира этого и мира иного, которым соответствуют два временных образа: подвижного, изменчивого, текучего времени и застывшей вечности, мира «без эволюций, развитий, процессов». Приобщение к вечности с предельной выразительностью передано в описании фантастической лунной ночи накануне самоубийства полковника Махова, ночи «неземной», заимствованной «из иного мира». «Истинно нынешний мир перестал быть нынешним, он был не от самого себя, не от мира сего, он весь явился из какого-то невероятного далека, из другой Вселенной. Стечением каких-то обстоятельств и законов небесной механики эта ночь проникла отсюда сюда. Оттуда — из прошлого или из будущего, или из того и другого сразу, не имело значения, потому что Настоящее оказалось лишним, исчезло бесследно и стало так, как будто бы и не бывало никогда никакой Середины, а были только такие же лунные, ничем не различимые друг от друга Начало и Конец... Тишина этой ночи была наполнена музыкой еще не родившегося Чайковского».

Поддавшись магии залыгинского описания, читатель может воспринять его в привычных терминах романтической эстетики, в которой принцип двоемирия играет, как известно, решающую роль. А для романтизма мир иной — тот идеал, к которому устремлена душа, взыскующая совершенства. Подобное прочтение Залыгина было бы, однако, ошибочным: мир иной в представлении писателя — не только торжественно-беззвучное начало начал, но и смерть, равнодушная вечность, которая взирает на землю мертвым оком луны, окрашивая все окрест в желтый, холодный, металлический цвет небытия. И перед лицом этой мертвой,

беззвучной вечности предельно остро переживаются мимолетная красота, подлинность жизни с ее неповторимыми звуками — хрустом морозного снега, женскими голосами, отголоском пушкинских строк.

Напоминание о пустой вечности с особой силой звучит в финале романа, в письме Корнилова автору «После бури». В нем, в этом письме, перечислены почти все катастрофические коллизии XX столетия, шаг за шагом приближающие человечество к последней черте: мировые войны, Хиросима, водородная бомба, угроза «звездных войн»... А в последних его строках сформулировано главное: к двум уравнениям, которые на протяжении веков решало человечество — «что такое хорошо?» и «что такое плохо?», — сегодня прибавилось третье: «Что такое ничего?»

Конечно же, духовное завещание залыгинского героя, относящееся к 80-м годам, проникнуто историческим опытом, которого еще лишены люди 20-х годов. Но сознание того, что ты живешь «на самом краешке земли этой», что рядом начинается уже «Та» сторона, присуще многим из персонажей «После бури», порождает у них мысль об относительности жизни, ее пространственно-временной ограниченности.

О конце света как о факте само собой разумеющемся говорит и полковник Махов, и полубезумный буровой мастер Глазунков, и энергичный кооператор Барышников... Но главное испытание этой мыслью выпадает на долю Петра Корнилова: «Любой звук, любое слово, любой предмет или понятие могли стать для Корнилова началом одной и той же мысли... о конце света». И самое знаменательное, что в мысли этой Корнилов не видит «ничего, кроме здравого смысла».

Ссылка на здравый смысл вполне органична в системе взглядов натурфилософа, который «больше всего на свете ценил, искренне любил и почитал естественность и природность». Его самая заветная мечта состояла в том, чтобы выработать новую мысль человека о себе самом, мысль, которая будет такой же «естественной и очевидной», как любое природное явление, мысль, которая вернет человека к его утраченной природной сущности, восстановит прерванную связь с целым. Как же, однако, уживаются в сознании Корнилова эта новая мысль, долженствующая спасти человечество от гибели, и проповедь неизбежного конца света, да еще со ссылкой на здравый — значит, естественно-природный! — смысл?

Думается, все дело в двойственном статусе натурфилософии, которая, с одной

стороны, взывает к природе как высшему началу и смыслу бытия, а с другой — как умозрительное учение о природе сама является порождением мысли, природность утраченной, не умеющей положить себе границы, не останавливающейся ни перед чем, в том числе и перед познанием того, «что такое ничего». Корнилов со всей ясностью осознает разрушительную силу мысли, выпавшей «из мира, из его порядка и примера», оторвавшей человека от его природности, превратившей его в существо проблемно-трагическое. Он осознает это и наблюдая за ходом истории, и задумываясь над тем, как складываются отношения человека с природой, и познавая самого себя: «Собственная мысль неизменно не только нарушала, но и разрушала границы его естественности. И вовремя приструнить свою мысль никак не удавалось, он спохватывался лишь тогда, когда слишком многое уже было мыслью нарушено, разрушено, иной раз без следа уничтожено».

Как только Корнилов оказывается во власти мысли, преступившей все границы естественности, он уже не может свернуть с пути, который закончился ледяной прорубью: возле нее 31 ноября 1929 года были найдены вещи Корнилова (в данном случае не столь важно, утопился ли залыгинский герой вьавль или только разыграл самоубийство). Стоило Корнилову возомнить себя «последним Адамом» — и тут же возникает цепная реакция отпадения его от людей, утраты всех самых дорогих человеческих связей: любви Нины Всеволодовны, дружбы с Бондариним, уважения сослуживцев по Крайплану. Окружающие один за другим вроде бы безо всякой на то причины начинают его сторониться, словно все чувствуют: Корнилов манит их в тот огонь, в который заманивал другой проповедник конца света, Кудеяр, Николу Устинова: «Вместе толкнемся! А? Просто-то как... через огонь человек от зверя отделился, через огонь же он и обратно с круга земного сойти должен! С чего начался — тем пусть и кончится!»

Мысль о конце света, овладевшая Корниловым, разрушает не только его связи с миром, но и его самого, его собственную личность (впрочем, это две стороны одного и того же процесса). Однако применимо ли к Корнилову вообще понятие — «личность»? Можно ли говорить о нем как о полноценном романном герое?

На этот счет в критике уже успели сложиться две диаметрально противоположные точки зрения. Так, П. Николаев в послесловии к первой части «После бури», поя-

вившейся в серии «Роман-газета», утверждает: «Корнилов — вполне романтический характер, герой, наделенный развитым самосознанием, духовностью» С другой стороны, автор монографии о Залыгине «Зрелость художника» А. Нуйкин считает, что, хотя писатель сделал все возможное, чтобы усложнить образ Корнилова, «цельной личности с психологически мотивированным поведением и неординарными философскими умозаключениями не получилось (и не могло... получиться) — ни реальные нужды сюжета это не требуют, ни предлагаемый вариант «натурфилософии» на это не тянет. Образ Корнилова внутренней убедительности и цельности так и не обретает». Корнилов, следовательно, трактован как персонаж с чисто служебной функцией: быть связующим началом отдельных эпизодов калейдоскопического по своему строению романа, быть героем, подобным героям плутовских романов, движение которых по жизни давало их авторам возможность создать социальную панораму действительности.

Конечно, Корнилов имеет много общего с героем авантюрного повествования, с которым, по определению М. Бахтина, «все может случиться и он всем может стать», у авантюрного героя «нет твердых социально-типических и индивидуально-характерологических качеств, из которых слагался бы устойчивый образ его характера, типа и темперамента». Действительно, кто такой Корнилов? Приват-доцент Петербургского университета? Офицер русской армии? Белогвардеец? Нэпман? Председатель артели «Красный веревочник»? Ответственный сотрудник Крайплана? Сельский учитель географии? Все эти положения, в которых оказывается герой, не могут стать твердой опорой для суждений о нем как об определенном социальном типе. Но Залыгин вслед за Ф. Достоевским, чью традицию автор «После бури» явно продолжает, обращается к герою авантюрного романа вовсе не для того, чтобы обозреть социальный рельеф современной ему русской жизни, а для того, чтобы создать роман и с п ы т а н и я и д е и. Стремясь испытать силу воздействия двух разнонаправленных идей (конца света и переделки жизни — на человеческую судьбу, с одной стороны, и судьбу самих этих идей в поворотно-драматический час истории — с другой), писатель и наделил Корнилова столь необходимой герою философского повествования свободой по отношению к традиционному биографическому сюжету. И если не видеть в «После бури» роман испытания

идеи, интеллектуальный, по определению П. Николаева, натурфилософский, как сказали бы мы, если не прочесть «После бури» как повествование о герое, склонном к интеллектуально-нравственному экспериментированию («Корнилов был по природе своей экспериментатором, а для природы существом подопытным»), то и впрямь нет в его образе никакой убедительности.

Было бы, однако, не вполне точно полностью отождествлять Корнилова с авантурным героем, который выступает не как «субстанция», а как «чистая функция приключений и походов» (М. Бахтин). «Субстанциональное», романтическое начало в образе Корнилова все же присутствует. Поэтому в отличие от авантюрного героя, «вечного и равного себе человека», герой Залыгина не просто меняет роли и положения, но всякий раз переживает своего рода личностное перерождение, как бы умирает и рождается в новом качестве. Отсюда столь часто возникающий в романе мотив «многих жизней» Корнилова, их «пестрого и непоследовательного ряда». И стоит ли сетовать на то, что писатель так и не создал «цельную личность», когда в его художественном замысле было изображение личности расколотой — размножившейся в двойниках, «раздвоенной, растроенной, раздесятеренной»?

Что же позволяет соотнести все эти облики-роли, все эти жизни Корнилова с судьбой одного человека, что дает возможность герою Залыгина в минуты прозрения как-то собрать воедино осколки своего «я»? П а м я т ь о д е т с т в е, о той поре, когда мальчик Петя жил ощущением своей полной слитности с миром, ощущал себя богом, центром мироздания, «новым Колумбом», а не подопытным природы. Способность отделиться от смены ролей, обозреть весь пестрый и непоследовательный ряд прожитых жизней со стороны как единое целое и тем самым как бы вернуться к себе самому Корнилов вновь обретает только в глубокой старости, на пороге смерти. Подобное сближение детства и старости как двух периодов жизни, неподвластных закону утраты человеком своего «я», мы находим и в ряде других современных произведений, к примеру в романе О. Чиладзе «И всякий, кто встретится со мной...». Оба романа объединены и мотивом узурпации героем чужого имени и чужой жизни. О каком-либо взаимовлиянии здесь говорить вряд ли возможно. Совпадение спровоцировано самой темой самоотчуждения личности. Потеря себя неизбежно начинается с отречения от

прошлого, с отрыва от родного дома и родных корней.

И еще один, мы бы сказали, архитипический мотив, мотив страха, который в конечном счете и толкает героя Залыгина на оборотничество (не случайно в предсмертном письме Корнилов будет каяться в своем бессилии и слабости). Впрочем, на первый взгляд впечатление человека трусливого он не производит, да и в споре с безумцем Глазунковым, исповедующим идею всеобщего страха как единственного средства направить человека на путь истинный, Корнилов выступает оппонентом бурмастера. Но страх, о котором твердит Глазунков, и страх, подсознательно владеющий Корниловым, имеют совершенно разное происхождение. Страх Глазункова — своего рода бесстрашие, желание заставить всех содрогнуться перед кошмаром и ужасом «искаженного» бытия, отвращение от жизни. Корниловский страх, напротив, — нежелание с жизнью расстаться, привязанность к жизни во всех ее проявлениях: «Жить хочешь любой жизнью — нэповской так нэповской, а когда встретится доисторическая, пещерная, и ею тоже не побрезгуешь, хапнешь обязательно...» Корнилов знает о себе, что он умеет «напрячься, изловчиться и и остаться жить там, где другой бы погиб запросто...».

Правда, в его приспособленчестве есть и нечто привлекательное: доверие к жизни, признание мудрости жизни, которой иногда стоит подчиниться... Вот только бы знать границы этого «иногда»! Сохранить четкое представление о том, когда протезизм, изменчивость поведения, диктуемые обстоятельствами, не затрагивают основ твоей личности, а когда ведут к утрате самого себя.

«Желание жить во что бы то ни стало», бывает, целиком переключает мировосприятие Корнилова в план настоящего, заставляя на какое-то время забыть и о «Той» стороне, и о своей «бывшести», и о чреватом событиями будущем... Он оказывается в числе «выдвиженцев»: его выдвигают то в председатели артели веревочников, то еще выше. И тут Корнилов-выдвиженец и Корнилов — узурпатор чужого имени и чужой судьбы вполне совпадают: «Выдвижение — это всегда чужая судьба. Чужая судьба всегда современна, она всегда — антипод „бывшести“». Неожиданно даже для себя самого герой «После бури» каким-то боком, какой-то стороной своей многосторонней личности вписывается в круг временщиков — временных людей, всплывших на поверхность русской жизни в годы нэ-

па. Мародер Сенушкин, уполномоченный промкооперации, «вычищающий» из партии своего товарища за любовь к дедовским песням, сверхбдительный Сеня Суриков, который готов отказать в доверии даже большевикам, делавшим революцию, — все «они были временны, и эта временность была ими безоговорочно признаваема».

А как же народ? Народ, ведь он тоже «живет днем сегодняшним». Но все дело в том, что сегодняшнее бытие народа не может быть настоящим, которое исповедуют временщики. Народ по самой своей природе — целое, в его жизни прошлое, настоящее и будущее неразрывны. Именно понимание этого коренного обстоятельства и побуждает Уполномоченного уголовного розыска, одного из замечательных оппонентов Корнилова, чем-то очень напоминающего Николу Устинова, так высоко оценивать нэп: в нем он видит возможность вставить в новую жизнь народный опыт общинного ведения хозяйства и управления. Разрыв же органической цепи бытия, напротив, порождает в кризисные периоды истории «бывших», «временщиков», а также теоретиков-прожектеров, готовых навязать народу свою головную модель будущего, не считаясь ни с его историей, ни с действительными житейскими потребностями, ни с его истинными духовными запросами.

Распадение связи времен — об этой угрозе Залыгин размышляет на всем пространстве романа. «Бывшие», «из бывших» — определения, которые часто фигурируют на страницах произведения прежде всего как чисто социологические дефиниции, как обобщенное название тех людей, которых революция лишила прежних привилегий, которые перестали быть теми, кем были раньше. Социологический групповой портрет «бывших», созданный Залыгиным, сам по себе представляет значительный интерес. Но в понятие «бывшие» автор романа вкладывает и более глубокое, философско-психологическое содержание, связывающее понятие «бывшесть» с глобальным натурфилософским замыслом. Бывшесть — это особое качество мироощущения, присущее людям, которые пережили самих себя, которые реально существуют в ставшем почти нереальностью прошлом и, напротив, воспринимают настоящее как нечто нереальное. «Бывшие» — уже побывавшие на «Той» стороне: главным в них «было ощущение причастности к миру уже прожитому, минувшему, бывшему... К мудрости и настроению, которые даются лишь тем, кто однажды потерял все и навсегда... Да, да — и земля умрет. И люди, само собой разумеется. Все и вся станет когда-нибудь бывшим, а «бывший»

это все и вся опередил. Он, бывший уже сегодня, сейчас, каждую секунду! Ради этого опережения всего на свете он и живет нынче». А раз так, то самым «бывшим» должен считаться полковник Махов, пускающий себе пулю в лоб в начале романа. «Бывшим» — более, чем «выдвиженцем», — является и Корнилов: он ведь тоже живет идеей «опережения»! Но рядом с «бывшими», своей бывшестью гордящимися, появляется в романе фигура, которая заслоняет всех своим величием и подлинной значительностью, — бывший генерал царской армии Георгий Васильевич Бондарин. И не просто генерал — Главковерх до установления диктатуры Колчака, получивший помилование от советской власти, являющийся перед читателями «После бури» в 1928 году в числе деятелей Красноябинского крайплана.

Именно Бондарин — один из главных людей в жизни Корнилова — наиболее убедительным для Петра Васильевича-Николаевича образом опровергает его мысль о конце света, противопоставляет ей свою — о крае света. «Владивосток — это был мне край света! Самый краешек! — вспоминает Бондарин об отступлении белой армии до Тихого океана. — Когда человек, когда множество людей до этого края доходят, им все нужно начинать сначала! От всего, что когда-то им было нужно, им пора наступает отказаться...»

Бесконечное пространство России, которое живет в душе всякого русского человека, на самом деле, ввявь имеет конец. Но переступить этот предел, шагнуть за край русской земли означало для Бондарина отправиться «на тот свет», перестать быть самим собой и «передельваться на какого-то другого человека», говоря словами Корнилова, эту возможность когда-то для себя прикидывавшего и этой участи в конечном счете не избежавшего. Бондарин в большей мере «человек пространства», чем «человек времени» (в противоположность Корнилову), и чувство принадлежности к земле, к народу, на этой земле живущему, к пространству, в котором можно раствориться, затеряться, но оторваться от которого немислимо, — это чувство никогда не покидает сына кузнеца из-под Сызрани.

Конец света или край света — спор может показаться простым филологическим спором о словах, но за ним стоит нечто гораздо большее: самоуничжительному бездействию Корнилова Бондарин противопоставляет мужественно-стоическое — использовать отсрочку в полной мере, чтобы постараться предотвратить конец. Распорядиться своей судьбой для него теперь означает при-

нять участие в строительстве социализма: «Социализм надо беречь! Ох как надо его беречь; другого-то случая человечеству, может, и не выпадет — спасти себя от гибели».

Бондарин осознает свою временность, понимает, что будущее, его личное будущее, обозримо, конечно. Но он верит в будущее своего народа и живет, как и народ, днем сегодняшним: работает «по направлению к будущему», которое настанет уже без него, старается привлечь к работе в Крайплане тех, чья интеллектуальная энергия пропадает зря.

«Поэма о Крайплане» — так можно было бы назвать многие страницы второй части романа. Наблюдая за взаимоотношениями большевиков Лазарева, Озолина, Вегменского, Прохина, сталкиваясь с редактором молодежной газеты Мартыновым, Корнилов, бывало, переживал «минуты потрясающе интересные, по-своему шекспировские, хотя спор никогда не касался личных судеб, а исключительно проблем советского строительства». Надо признаться, и читатель «После бури» этим чувством не раз оказывается захвачен. Но какое отношение названные страницы имеют к натурфилософской проблематике романа? Да самое прямое. Ведь именно руководителю Крайплана Лазареву принадлежат слова: «Сама природа — это уже социализм, и остается только достигнуть той же природы вещей в человеческом обществе!»

«...природа — это уже социализм...» Вот здесь самое время остановиться и еще раз уточнить: что же такое природа в контексте романа Залыгина? Символ высшей ступени развития сознания и сознательности. Нечто диаметрально противоположное тому, что под природой понимает, например, Бурый Философ Боренька, последователь «великого» Эммануила Енчмена, создателя «теории новой биологии», по которой и человек, и общество, и весь мир предстают как «система органических движений», лишенных разума, сознания, души. Своего рода иллюстрация этой идеи, ее, так сказать, применение на практике — драка веревочников, описание которой смонтировано в романе с ироническим изложением взглядов Енчмена. Средневековый роевой уклад жизни веревочников для Залыгина так же антиприроден, как и технократическая современность. Отсюда неожиданное, но столь меткое наблюдение: «Средневековье поставляет современности самых верных рекрутов».

Однако не о такой современности думают, не на такую современность работают Лазарев и его сподвижники. Им нужны не рекруты, а люди, готовые постоять за свои убеждения, сознательные, деятельные, глу-

боко ответственные. Только таким людям по плечу «сделать жизнь жизнью». Вот и Корнилов, служащий в Крайплане по ведомству учета и распределения природных ресурсов, впервые за долгие годы чувствует органичность перехода от одной своей роли к другой: от натурфилософа к «натур-распределителю». И сам Крайплан в годы, когда им руководил Лазарев, предстает неким прообразом такого организованного, разумно-упорядоченного человеческого общества, в котором мыслительная энергия каждого перерабатывается в общую, объединяющую всех мысль. Поэтому из множества одических определений и эпитетов, которые можно было бы применить к Лазареву, Залыгин выбирает, акцентирует производные от одного слова — «энергия» («энергичное лицо», «энергетический потенциал» и тому подобное). Энергия — жизнь, движение, борьба, борьба за жизнь...

Крайплан при Лазареве — словно осуществившееся пророчество о «тысячелетнем правлении праведников и мудрецов». «Где одна тыщонка, там пристегнем и другую, и третью! Было бы к чему пристегивать! — замечает Лазарев, казалось бы, мимоходом, на ходу, но таком важном разговоре с Корниловым. — А упустить момент — это, знаете ли, такое преступление, которому и наказания-то не выдумаешь!»

Так на страницах романа начинают вырисовываться контуры общечеловеческой мысли, которая объединит и революционера Лазарева, и бывшего генерала Бондарина, и уполномоченного уголовного розыска, и старика Корнилова, к которой, конечно же, присоединяется и автор, — мысли о необходимости безотлагательно отвести «человечество от преступления, которое оно совершает над самим собой и над огромным процессом жизни на земле», как несколько высокопарно сказано в проекте программы Мировой Культурной Эволюции — удивительном и столь характерном для духовной атмосферы 20-х годов документе, плоде воображения «Председателя Земного Шара» Пахомова.

Постижение этой общечеловеческой мысли должно положить конец «осколочной» раздробленности людского сообщества, индивидуалистическому своеволию и бесплодному умствованию одиночек, призвать народы к «большой наладке» огромной Машины Мира. Такую прямо-таки по-платоновски прочувствованную задачу ставит перед собой русский мастеровой Казанцев на первых же страницах романа. А чем иным как не наладкой взаимоотношений строящегося социализма и природы заняты сотрудники Крайплана? Мотив наладки прозвучит и в

рассуждении председателя кооператива «Смычка» Барышникова о нэпе: «Я налаживаю сегодняшнюю жизнь. Я нынче с Англией маслицем торгую...»

«Единая философия единого мира», о которой с таким восторгом говорит преемник Лазарева чекист Прохин, не может возникнуть на пустом месте. Вот и «партиец с подпольным стажем» Лазарев «выкапывает» «из-под осколков старого строя» — из архивов царских времен — проект постройки Южносибирской железной дороги. «Выкопал из-под осколков» — звучит, как и многое в романе «После бури», иронически-сниженно: вроде бы ничего героического не сделал. На самом деле в этих словах ключ к пониманию смысла созидательной деятельности Лазарева и его единомышлен-

ников, их работы по переустройству мира на новых началах, участвуя в которой даже Корнилов временами проникается ощущением, что будущего «много».

«Будущего много» и «не упустить момент» — два высказывания, дополняющие друг друга. Будущего много, если не упустить момент... Залыгин, очевидно, рассчитывал на то, что его роман не будет просто романом, творением изящной словесности, как говаривали в старину. Он писал книгу-исследование, книгу-диспут, книгу-предостережение, растворив в конце концов романическое в документах — газетных сводках 1929 года, письме героя автору, датированном 1984 годом, письме, в котором звучит все то же: «Не упустить момент». Пошел уже 1986-й...



К Н И Ж Н О Е О Ь О З Р Е Н И Е

СО Д Е Р Ж А Н И Е



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Б. Рунин. Книга памяти. — **Евг. Виноуров.** Присяга верности. — **Вадим Синорский.** Стихи и время. — **Б. Сарнов.** Дорога. — **Наталья Старосельская.** Ханамити Такэси Кайко.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Е. Савицкий. Отдать себя без остатка.

Литература и искусство

КНИГА ПАМЯТИ

Строка, оборванная пулей. Издание 2-е, дополненное. М. «Московский рабочий». 1985. 701 стр.

Снова и снова листаю эту уже дважды прочитанную книгу и никак не могу отложить ее, никак не могу отрешиться от воспоминаний. Она о московских писателях, которых давно уже нет среди нас. Все они ушли из жизни более сорока лет назад, все не вернулись с войны.

Можно с уверенностью сказать, что ни одна война прошлого не опустошала отечественную литературу столь безжалостно, как эта последняя: только столичные литераторы недосчитались в своих рядах более восьмидесяти товарищей. О них и рассказывает книга, рассказывает языком дневников и писем, очерков и статей, фрагментов из произведений и воспоминаний, фотографий и библиографических сведений. Рассказывает в том порядке, в каком эти имена высечены на мраморе в вестибюле Центрального Дома литераторов в Москве, то есть строго по алфавиту, независимо от литературной или воинской славы. Тут они все равны. Прозаики и поэты, драматурги и критики. Уже широко известные и еще только начинавшие. Строевые солдаты и военные корреспонденты. Пехотинцы и артиллеристы, моряки и авиаторы. Павшие в бою и замученные в плену, сраженные пулей и наступленные осколком. Похороненные под обелиском и пропавшие без вести. Некоторых из них я помню лишь издали, с некото-

рыми был знаком, со многими делил фронтную долю.

Литературное дарование всегда редкость. Оно всегда удивительно, всегда уникально. И то, что может сказать один художник слова, не дано сказать другому, даже во сто крат более талантливому. Тут каждый неповторим.

Сергей Диковский и Борис Левин. Писатели разные по возрасту, по материалу, по стилю. В 30-е годы мои сверстники с увлечением читали исполненные мужества повести о пограничниках Сергея Диковского, книги о любви и дружбе Бориса Левина: «Жили два товарища» и «Юноша». Военная судьба навсегда объединила их — писатели погибли на финском фронте в одном бою. Под Суоми-Сальми. В январе сорокового года. И начал я с них потому, что они, видимо, первые жертвы в длинном списке военных потерь, понесенных в 40-е годы московскими литераторами.

Мы уже никогда не узнаем, чем еще могли бы порадовать советского читателя эти талантливые прозаики. Так же как никогда не прочтем того, что могли бы написать о нашем времени военные корреспонденты «Красной звезды» Борис Лапин и Захар Хацревин. Эти два имени я привожу рядом, ибо неразлучные друзья Лапин и Хацревин и некоторые свои книги написали сообща,

Я помню их совместные корреспонденции еще со времен Халхин-Гола. Судя по приведенным в рецензируемой книге воспоминаниям Льва Славина, они и погибли вместе в боях под Киевом.

Примерно в те же дни сентября сорок первого года на Украине был убит автор «Танкера „Дербент“» Юрий Крымов. Военный корреспондент, он в трудную минуту смел перо на винтовку. Смерть настигла его в момент, когда он прикрывал огнем выход из окружения отряда наших бойцов.

Месяцем позже в Полтавской области погиб военный корреспондент «Комсомольской правды» Аркадий Гайдар, тоже с оружием, точнее — с трофейным автоматом в руках. Я познакомился с Гайдаром в редакции «Литературной газеты» на Сретенке и запомнил его именно таким, каким он выглядит на фотографии, помещенной в книге. Попав в окружение, Гайдар продолжал сражаться в партизанском отряде. Однажды на марше, опасаясь возможной засады, он заглянул в будку путевого обходчика, где партизан и в самом деле подстерегали гитлеровцы... Читая о гибели Гайдара, я невольно думал о том, какие мужественные, какие правдивые книги об этой войне мог бы подарить советской детворе автор «Тимура и его команды». Но это уже навсегда останется для нас тайной...

Никогда мы не увидим на сцене и двадцать седьмую пьесу Александра Афиногенова. В приведенных составителями книги отрывках из дневников Афиногенова есть запись, помеченная 5 октября: «Немцы взяли Полтаву. Этим самым завершено окружение нашей киевской армии... В окружении оказались Лапин, Хацревин... Гайдар...» А дней за десять до этого записано: «Снова тревога. И третью ночь — прожектора и зенитки... Едем до Арбата — ничего нового. Но на Арбате — вздрогнул. Вахтанговский театр. Половина снесена бомбой... Потом узнал, что там был убит Куза...» Это страшно читать. Ведь именно так, как погиб артист Куза, погиб вскоре и сам Афиногенов. Бомба с одиночного прорвавшегося к Москве фашистского самолета попала в крыло здания Центрального Комитета, где находился в это время писатель.

И еще о нескольких судьбах, о которых напомнила мне эта книга. Джек Алтаузен. Поэт армейской газеты с первых дней войны, он уже в сорок первом году, когда награждения военных были крайне редки, удостоился ордена Красного Знамени. Это вообще был один из первых орденов, полученных писателями на войне. Погиб Алтаузен, попав вторично в окружение весной

1942 года в районе Лозовой. Евгений Долматовский вспоминает: «Лишь один редакционный самолет «У-2», возивший газеты, выскочил из той мясорубки. Спасшийся журналист рассказывал, что улететь предлагали и Джеку, но он отказался:

— Я в своей части, мне надлежит разделить судьбу всех...»

Еще один известный поэт — Иосиф Уткин, корреспондент «Правды» на Брянском фронте. Мы были знакомы по Литературному институту, где я учился на отделении критики, но нередко посещал и семинары поэтов, в том числе и его семинар. Запомнилась наша мимолетная встреча в клубе писателей весной 1942 года. Он сидел за столиком не один, и мы поздоровались издали. Мне бросилась в глаза шерстяная варежка у него на руке: к тому времени Уткин был ранен, лишился нескольких пальцев.

Вспоминает Яков Хелемский: «Одни говорили, что немецкая мина разорвалась рядом с поэтом еще до начала контратаки. Другие утверждали, что он шел в атакующей цепи, подняв руку с зажатым в ней пистолетом. И осколок попал в эту руку».

Иосиф Уткин погиб, возвращаясь с фронта в редакцию 13 ноября 1944 года, когда потерпел аварию самолет, на котором он летел. Его смерть была одной из последних по времени. Еще позже, всего за три месяца до победы, на западном берегу Одера был убит поэт Александр Ясный, он же капитан Ясный, редактор газеты 304-й стрелковой дивизии. Литературным портретом Ясного сообразно алфавиту заканчивается книга. Но так совпало, что он должен замыкать этот список жертв войны и хронологически.

Впрочем, о такой хронологии можно говорить лишь предположительно, ибо обстоятельства гибели многих из названных в скорбном перечне не выяснены и по сей день. Особенно это касается пропавших без вести в дни нашего отступления осенью сорок первого года. И в первую очередь писателей-ополченцев. А их фамилии составляют половину, если не больше, всего списка. Поэты Александр Миних и Самуил Росин, прозаики Шалва Сослани и Константин Клягин, очеркисты Василий Бобрышев и Юрий Злыгостев, критики Александр Роскин и Борис Гроссман, литературоведы Владимир Тренин и Александр Фонь, переводчики Евгений Садовский и Марк Волосов, драматурги Павел Яльцев и Леонид Субботин, юморист Виталий Квасницкий, сценарист Василий Дубровин, редактор Николай Афрэмеев — все они погибли, сражаясь в ок-

ружении под Вязьмой осенью сорок первого года. Их могилы неизвестны.

Из этого далеко не полного перечня я остановлюсь на двух именах.

Евгений Садовский — студент физико-математического факультета МГУ, блестящий переводчик немецкой классики, чьи работы и сейчас восхищают знатоков. Он попал в плен на Смоленщине и был расстрелян за отказ стать лагерным осведомителем. Не могу не процитировать приведенное в книге высказывание известного немецкого поэта и крупного государственного деятеля ГДР Иоганнеса Бехера из его статьи «Мы, немецкий народ», где о Садовском говорится: «Кто был лучшим немцем — его убийца или он? Нет сомнения, что в данном случае именно русский, защищая свою родину, защищал вместе с тем и немецкую культуру».

Второе имя — Леонид Субботин. Снова и снова всматриваюсь в его фотографию, помещенную здесь среди других. Нет, честно признаюсь, никак не узнаю в этом бравом молодом человеке в кепке с широким козырьком того сутулого молчаливого ополченца в пилотке и обмотках, откликающегося на ротной поверке усталым глуховатым голосом. Ничего другого не могу о нем вспомнить. Мы были в разных взводах и почти не общались — очевидно, сказывалась разница в возрасте. Он был значительно старше. Но только теперь из этой книги я узнал, что ему тогда шел уже 53-й год. Видимо, среди погибших московских литераторов он был самым старшим.

А кто был самым молодым? Скорее всего Всеволод Багрицкий. Сын известного советского поэта, уже обративший на себя внимание стихотворец, он был сражен осколком бомбы на Волховском фронте, не дожив двух месяцев до своего двадцатилетия. Литературный сотрудник газеты 2-й ударной армии «Отвага» (где, кстати сказать, проходил службу и Муса Джалиль), Багрицкий пробыл на войне всего тридцать четыре дня. Его похоронили в лесу, неподалеку от памятной многим волховцам деревни со зловещим названием Мясной Бор, за которую шли тогда ожесточенные бои. Сотрудник той же газеты, известный впоследствии скульптор Е. Вучетич, вырезал на коре сосны возле могилы слова слегка перефразированной строфы Марины Цветаевой, так почитаемой убитым:

Я вечности не приемлю.
Зачем меня погребли?
Мне так не хотелось в землю
с любимой моей земли...

Вскоре эти места снова были заняты немцами, и мне за два года пребывания на

Волховском фронте так и не довелось побывать на могиле Багрицкого. До войны я видел его, кажется, один-единственный раз. И все же память сохранила фигуру невысокого вихрастого и бровастого паренька с близоруким прищуром, стоящего среди товарищей перед аплодирующим залом на авансцене какого-то клуба в районе Каретного ряда, где театральная студия Арбузова и Плучека показывала прессе и друзьям нашумевший спектакль «Город на заре». Песенки из этого спектакля, написанные студийцем Багрицким, сразу стала распевать тогдашняя молодежь. Да и сейчас я иногда слышу то по радио, то на улице:

...Утром звезды догорают.
Солнца выглянут лучи.
Никакая сила злая,
Никакая, никакая
Нас с тобой не разлучит...

Года на полтора постарше Багрицкого в этом списке Николай Отрада. Погиб он почти на два года раньше — еще «на той войне незначимой», на финской Хорошо помню, как мы, студенты Литературного института, в конце 1939 года провожали на фронт наших лыжников-добровольцев: Сережу Наровчатова, Платона Воронько, Мишу Луконина, Ваню Баукова, Арона Копштейна. (Почему-то запомнились только поэты). Среди них был и Коля Отрада, незадолго до того «вывезенный» из родного Сталинграда обосновавшимся в Москве Лукониным. Теперь друзья вместе уходили воевать.

На проводах говорили короткие речи, читали стихи. Большой, неуклюжий, необыкновенно добрый Арон Копштейн читал по-русски и по-украински. Он был старше других и уже член Союза писателей — в Киеве у него к тому времени вышло две книги.

А через три месяца, когда финская война кончилась, мы в той же аудитории встречали наших вернувшихся друзей. Однако Коли и Арона среди них не было. Луконин рассказывал, что в институте да и на фронте они не ладили между собой. Но воевать пришлось вместе. 4 марта сорокового года, когда их взвод прорывался из окружения, Коля был убит. Арон, узнав об этом, пополз к нему с волокушей, но на обратном пути попал под огонь снайпера.

Если уж зашла речь о самых молодых, то нельзя не вспомнить о других выходцах из Литинститута, составлявших перед войной его «гордость», — о Павле Когане, Николае Майорове и Михаиле Кульчицком. В лице Кульчицкого, я убежден, Россия потеряла по-настоящему большого поэта.

Но тогда все трое, как и Багрицкий с Отрадой, были известны лишь в студенческой среде, хотя «Бригантину» Павла Когана уже кое-где пели, а Кульчицкий даже успел кое-что опубликовать. Однако по-настоящему эти пятеро вошли в антологию советской поэзии уже в послевоенное время, когда друзья собрали все написанное ими, и все пятеро были посмертно зачислены в члены Союза писателей.

О людях, героях книги «Строка, оборванная пулей», наверно, можно рассказывать бесконечно. Будем благодарны составителям А. Когану и З. Корзинкиной за то, что по крохам им все же удалось собрать столько драгоценного материала. Тем более что с годами сведения такого рода становятся все менее и менее доступными. Как бы там ни было, несмотря на огромную трудность подобных разысканий, несмотря на все различие представленных здесь биографий и характеров, читатель сборника неизбежно проникнется той «скрытой теплотой патриотизма», которой

он согрет. Да, это были очень разные люди, в чем-то, наверно, даже несоизмеримые, как это бывает с яркими индивидуальностями, с художественно одаренными натурами. Но всех их роднит — и составители сумели это подчеркнуть самим подбором материала — безоговорочная готовность каждого шагнуть навстречу смерти ради правого дела.

Пользуясь случаем также отметить, что стараниями одного из составителей — Александра Когана — в последние годы изданы и другие весьма весомые сборники, посвященные теме: «Великая Отечественная война и советская литература». Я имею в виду два выпуска статей, диалогов и писем под названием «Слова, прошедшие из боя» (издательство «Книга») и четыре выпуска «Литература великого подвига» (издательство «Художественная литература»). Но эти издания требуют отдельного разговора.

Б. РУНИН.



ПРИСЯГА ВЕРНОСТИ

Н о й Р у д о й. Возраст. М. «Советский писатель». 1985. 94 стр.

Стихи участника Великой Отечественной войны. Это непосредственная лирика и строгий факт.

Поэт возвращается к своей молодости и уже с высоты нынешнего возраста видит себя находящимся в эпицентре мировой неслыханной войны, именно в эпицентре, ибо художник, где бы он ни находился, ощущает себя в самой гуще исторических событий, в центре истории. Это его право и долг — так чувствовать.

Люди еще не раз будут мысленно обращаться к тому времени. И совершенно закономерно, что Н. Рудой, солдат Великой Отечественной, снова в своей книге «Возраст» возвращается к прошлому, к тем дням и ночам, забыть которые мы не вправе и о которых будем вспоминать всегда.

Тема войны гудит в Н. Рудом, вернушемся с фронта с тяжелым ранением. Стихи его, собранные в новую книгу, — и документ и глубокие философские раздумья одновременно, это и живое, непосредственное, тогдашнее ощущение, и зрелый, сегодняшний (спустя четыре десятилетия) итог работы мысли. Жизненная, житейская мудрость является как бы основой, фундаментом стихотворений этой книги.

Много уже написано о минувшей войне, но многое еще не сказано... Н. Рудой пишет предельно искренне:

Мне было страшно на войне.
И билась ненависть во мне
И душу так нещадно жгла,
Что страх она превозмогла.

Тема страха, естественного на войне, так по-человечески понятного, и преодолевающего страх мужества — один из мотивов лирики поэта, который ничего не утаивает и ничего не сглаживает.

Воевврач Н. Рудой говорит о себе:

Я институт кончал в войну,
И вместе с клятвой Гиппократу
Я клятву дал еще одну —
Присягу верности солдата.

Видевший человеческие страдания, сам их перенесший, поэт многое понял в жизни. «Я врач и на войне видал немало. Но ад земной познал наверняка...» — такова война в представлении Н. Рудого.

В книге есть стихи о старости, о прожитой жизни, о трудной, но очень нужной людям и в высшей степени гуманной работе. Это стихи врача, откликающегося на человеческую боль, идущего на помощь ближнему, в любую минуту готового исполнить свой долг.

Н. Рудой раскрывает в стихах суть профессии врача, поэзию этой профессии:

Врач — он не бог. Об этом спору нет.
Да есть ли боги вообще на свете?
И все же должен ты держать ответ
Пред теми, за которых ты в ответе...

Ощущение этой великой ответственности своей врачебной профессии дано Н. Рудому, и он умеет передать его читателю. Как и свое отношение к делу, которому

автор «Возраста» посвятил жизнь и которое прекрасно даже тогда, когда бесконечно тяжело.

Так как же быть? На то один ответ:
Всю жизнь трудиться до седьмого пота
И знать, что в мире не было и нет
Такого счастья, как твоя работа.

И поэту веришь. А это дорогого стоит.

Евг. ВИНУКUROV.



СТИХИ И ВРЕМЯ

Однажды непременно. Стихи современных поэтов Турции. Перевод с турецкого Р. Фиша. М. «Радуга». 1985. 242 стр.

«Однажды непременно» — сборник стихов поэтов разных поколений Турции XX века. Среди них Назым Хикмет, Орхан Вели, Мелих Джевдет Андай, Октай Рифат, Фахри Эрдинч, Атаол Бехрамоглу, Озкан Мерт, Айхан Джан...

Когда я закрыл последнюю страницу этой книги, появилось чувство, словно только что побывал в Турции, многое понял и почувствовал. А гидами в этом своеобразном путешествии были поэты — исконные жители Турции, знающие и безмерно любящие свою страну, и сердцем и умом постигшие и запечатлевшие в поэтическом слове ее дух, жизнь, быт, нравы. Душу народа. Словом, то, что никаким фото- или киноаппаратом не схватишь.

Открывает книгу Назым Хикмет — его стихи, составившие знаменитый цикл «Письма из тюрьмы». Стихи, вместившие в себя столько боли, что, кажется, строчки натянуты, как нервы, и вот-вот лопнут.

Сегодня меня впервые вывели на солнце,
и я впервые в жизни удивился,
как небо от меня далеко...

Или из другого стихотворения:

Этой ночью, осенью поздней,
я полон твоими словами,
вечными, как материя и как время,
как глаза — нагими, как руки —
тяжелыми
и, как звезды, сверкающими словами.

Если хочется цитировать, это лучший признак высокого качества стихов (в данном случае и перевода) Вот, к примеру, еще одна цитата — из Рифата Ильгаза, поэта с ярко выраженным политическим темпераментом, тоже ставшего рупором борющейся Турции. Вчитайтесь в строки его стихотворения «А ты, интеллигент?!»:

Стань голосом!
Стань ветром!
Стань пятернею, сжатою в кулак!
Покуда крышу смерчем
Тебе на голову обрушить не успели,
Покуда пядь за пядью черным селем
Не унесло всю землю из-под ног.

Рифат Ильгаз неумен. Каждое его стихотворение похоже на удар в набат.

Тонок, лиричен Орхан Вели. Но и он, как, впрочем, большинство турецких поэтов, «становится голосом» своего народа. Тогда рождаются строки, подобные этим:

Интересно, какие желанья
Танки испытывают во сне?
А бомбардировщик о чем размышляет
С самим собою наедине?

Неужто жалости нет у винтовок,
Хоть такой, как у нас,
У людей?

При различии поэтических манер и индивидуальностей для поэтов — авторов сборника «Однажды непременно» характерно восприятие всего совершающегося на земле как чего-то очень личного, непосредственно входящего в их жизнь, формирующего лирическое самоощущение. Впечатление такое, что огромный мир (даже космос) и маленькая квартира в сознании этих поэтов нераздельны, взаимосвязаны. Отсюда естественный переход (подчас мгновенный) от описания подробностей быта или, скажем, утреннего настроения во время завтрака к картине планетарных гроз и катаклизмов.

Турецкая поэзия ассимилировала самые различные школы и направления. От традиций суфийской поэзии с ее самоуглубленностью и космоизмом до современной с ее новациями и головокружительными метафорами — такова палитра поэзии Турции.

Внимательно изучали турецкие поэты и достижения русской, советской литературы. Известно, например, что Назым Хикмет был лично знаком с Маяковским, Багрицким, Есениным, Сельвинским и высоко ценил их творчество. А поэт послевоенного поколения Атаол Бехрамоглу перевел на турецкий язык произведения русских классиков, очень популярных в Турции.

Современность предстала в стихах турецких поэтов во всем ее многообразии, во всей широте гражданских и политических интересов авторов стихов. Здесь и борющийся Вьетнам, и Чили, и многоэтаж-

ная Америка, и Альпы, и Япония, и советская Россия... Но для того чтобы читатели почувствовали это многообразие, почувствовали поэзию иноязычных авторов, переводчик должен обладать истинно поэтическим даром. Востоковед и знаток турецкой литературы Радий Фиш обладает им в полной мере. Сборник «Однажды непременно» — итог его многолетней переводческой работы, давшей нам возможность глубже познакомиться не только с поэзией Турции, но и с историей, особенностями жизни, психологией ее народа.

Вадим СИКОРСКИЙ.



ДОРОГА

Наталья Ильина. Дороги и судьбы. Автобиографическая проза. М. «Советский писатель». 1985. 559 стр.

А тебе дорога вышла
Бедовать со мною.

Э. Багрицкий.

Помню, когда впервые в жизни я оказался в Третьяковской галерее, меня там, как, вероятно, каждого не слишком интересующегося живописью человека, занимали не художники, а «что нарисовано» В особенности если на картинах были изображены люди, и люди знаменитые: Иван Грозный, боярыня Морозова, Меншиков Сильнее всего, помню, зацепил портрет Достоевского, написанный Перовым. «Так вот, значит, какой он был!» — пронзило меня. В том, что автор «Преступления и наказания» и «Братьев Карамазовых» был именно таким, каким изобразил его художник, у меня не было (да и сейчас нет) ни малейшего сомнения.

Нечто подобное испытываешь, читая мемуары, автор которых честно пытается остановить мгновенье, рассказать о своих встречах и отношениях с разными знаменитыми людьми, правдиво и точно зафиксировать реальность, какой бы далекой от хрестоматийности и даже неприглядной она ни была; при этом интерес к предмету повествования невольно оттесняет в второй план интерес к личности мемуариста. Именно такое произошло со мной, когда я читал автобиографические книги Натальи Ильиной «Судьбы» и «Дороги», собранные ею теперь в одну, озаглавленную «Дороги и судьбы». Произошло это, конечно, и потому, что люди, о которых рассказывала в этих своих книгах Н. Ильина, — люди необыкновенные.

Анна Ахматова, каждый новый штрих к портрету которой драгоценен.

Корней Чуковский, которому мемуаристы тоже отдали весьма щедрую дань, но чья колоритнейшая фигура представляет необычайно благодарный материал для каждого, кто наблюдал его хотя бы издали. А Натальи Ильиной посчастливилось войти в дружеские отношения с этим непростым человеком.

Александр Вертинский, человеческий облик которого нам знаком лишь по его собственным не слишком удачным воспоминаниям. А тут перед нами не только яркая, колоритная фигура, но и судьба Судьба. мягко говоря, не банальная. Если добавить к сказанному, что Н Ильина рассказывает и о своих московских встречах с Вертинским, и о своем знакомстве с ним в эмигрантском Шанхае, да еще отметить, что знакомство это и тогда отнюдь не было шапочным, сразу станет понятен тот жгучий интерес, который может вызвать у любого читателя книги глава «Мои встречи с Вертинским»

И наконец еще один портрет из этой картинной галереи: Екатерина Ивановна Корнакова, знаменитая в свое время актриса 1-й студии Художественного театра, а потом МХАТа 2-го. Была она женой Алексея Дикого, дружила с Михаилом Чеховым, Алексеем Толстым, Корнеем Чуковским Но главное не это, а то, что была она в 20-е годы любимицей театральной Москвы. А потом вышла замуж за богатого концессионера, уехала с ним в Лондон. Долгая, внешне благополучная, а по существу безрадостная жизнь на чужбине.

И смерть от рака летом 1956 года в Лондоне, в госпитале Святого Луки. С Корнаковой Наталию Ильину судьба свела в середине 30-х годов в Харбине, а потом, десять лет спустя, в Шанхае. Трагическая судьба этой незаурядной женщины обозначена на страницах воспоминаний с удивительной рельефностью.

К этим четырем портретам в новой книге добавился пятый — Реформатского.

Скромная известность этого замечательного ученого, само собой, не может идти ни в какое сравнение со всемирной славой Анны Ахматовой, с прочной, более чем полувекковой знаменитостью Чуковского, а уж тем более с эстрадной популярностью Вертинского. Даже Корнакова, имя которой сейчас мало кому известно, пережила период бурной и яркой театральной известности. Что же касается Александра Александровича Реформатского, то он по самому роду своей деятельности принадлежал к той категории незначительных знаменитостей, которую один поэт не без самоиронии обозначил формулой: «Широко известен в узких кругах».

Н. Ильина в своем портрете Реформатского слегка касается этой темы. Касается не без горечи и даже, я бы сказал, не без явственно звучащей нотки раскаяния:

«Однажды — видимо, года за два до кончины, — когда он вечером за ужином на кухне предавался устным мемуарам, а я их слушала из вежливости, слушала невнимательно, он, заметив мой отсутствующий взгляд, сказал:

— Ладно, иди, если тебе так некогда!

И добавил в спину мне уже радостно вставшей, уже уходившей:

— Вот я умру, и ты поймешь, что я был Дымов!

Какой он Дымов? Разве его можно вообразить в роли Дымова... кротко и бессловесно исполняющего прихоти легкомысленной Ольги Ивановны, в роли Дымова, предлагающего закусить ее гостям, людям для него чужим и непонятным? «Мой милый метрдотель!» — восклицала Ольга Ивановна. Реформатский, с его нелегким нравом, и Дымов — все сносивший, все терпевший! А я? Похожа я на эту бездельницу Попрыгунью? Ведь ничего же общего!

Да. Ничего общего. И все же. И все же».

Дымов тут, пожалуй, и в самом деле ни при чем. Во всяком случае, почти ни при чем. Но если не «Попрыгунью», то другой рассказ Чехова, связанный с «Попрыгуньей» несомненными кровными узами, тут припомнить более чем уместно. Я имею в виду рассказ «Пассажиры 1-го клас-

са», герой которого горестно сетует на то, что имя какой-нибудь безголосой певички у всех на устах, а он и ему подобные прозябают в безвестности.

Впрочем, у Реформатского слава была. Пусть «в узких кругах», но самая настоящая слава. Литературный институт имени М. Горького, в котором покойный Александр Александрович читал курс введения в языковедение (известный ныне каждому студенту-филологу учебник Реформатского еще не был написан), славился ярким созвездием блистательных профессоров. Теорию стиха нам читал Бонди. Он же вел спецкурс по Пушкину. Логику и историю философии — Асмус. Творческие семинары прозаиков вели Федин и Паустовский. Список красноречивый. Но ни на йоту не покривив душой, могу сказать, что в этом великолепном созвездии имен Александр Александрович Реформатский был звездой первой величины. Каждое его появление на кафедре было для нас праздником, несмотря на то, что давались нам лекции Реформатского нелегко.

Однако вернемся к книге Н. Ильиной.

Портрет Реформатского, я думаю, вызовет не меньший интерес читателя, нежели портреты Ахматовой или Чуковского. И не только потому, что тут Ильина рассказывает о человеке, ей особенно близком (без малого тридцать лет она была его женой). В портрете Реформатского, нарисованном Н. Ильиной, перед нами в полный рост встает фигура одного из последних могикан, последних отпрысков славного некогда племени интеллигентов российских.

В сегодняшних словарях слово «интеллигенция» определяется так: «Социальная группа, состоящая из людей, обладающих образованием и специальными знаниями в области науки, техники, культуры и профессионально занимающихся умственным трудом».

Раньше это слово объяснялось иначе и значило оно совсем другое. Словом «интеллигенция» в России с 70-х годов прошлого века обозначалось некое сообщество людей, имеющих свой неписаный кодекс чести, нравственности, свое призвание, свой идеал. Это было нечто вроде рыцарского ордена, хоть и без какого-либо регламентированного устава, но с весьма твердыми принципами и нормами общественного поведения.

Именно в этом значении слово «интеллигенция» из русского перекочевало в другие языки. В Оксфордском словаре на сей счет сказано: «Intelligencia (Russ. intelligentia f.)...» — что в дословном переводе означает: от русского «интеллигенция». Что

же касается сообщества людей, занимающихся умственным трудом, то для обозначения этого понятия в английском языке существует другое слово — intellectuals.

В те времена, когда слово «интеллигенция» употреблялось еще в старом своем значении, предлагалось множество дефиниций, пытавшихся определить, кого следует, а кого не следует считать интеллигентом. Отнюдь не претендуя на то, чтобы добавить к уже существующим определениям нечто принципиально новое, я бы предложил еще такое: интеллигентом называется человек, который будет с полной самоотдачей заниматься делом своей жизни, даже если ему не будут за это платить. Говоря проще, это человек, для которого главное занятие его жизни не профессия, а призвание, от которого он не откажется ни за какие блага. А все остальное имеет для него смысл или значение лишь постольку, поскольку помогает (или мешает) делать это свое дело, осуществить это свое призвание.

А А. Реформатский был именно таким человеком. И автор воспоминаний обнажает самую суть его личности, этой его духовной природы, даже когда рассказывает о пустяках, о казалося бы, совершенно незначительных, бессмысленных его чудачествах и привычках. Скажем, о том, как Александр Александрович не любил выбрасывать картонные коробки из-под обуви, всякий раз сгорая использовать такую коробку для какой-нибудь новой, очередной картотеки.

Чтобы не рассусоливать (а я мог бы говорить на эту тему долго), скажу только одно: читая страницы книги Н. Ильиной, посвященные Реформатскому, я поминутно испытывал жгучее чувство стыда. Мне было стыдно, что я слишком часто в жизни придавал значение вещам, для настоящего интеллигента не имеющим никакой цены. Тому самому комфорту, который Александр Александрович презрительно называл «комфорт». Каким-то предметам домашнего обихода, которые, как мне казалось, у меня недостаточно хороши. Вот скажем, часы. Ведь можно же довольствоваться старенькими часами «Победа», которые честно служат тебе уже тридцать лет. А можно считать, что в твоём возрасте и при твоём «положении» просто неприлично пользоваться такой устаревшей, давно уже вышедшей из моды вещью. И не приходила в голову простая мысль, что часы должны показывать время. И только. Это единственное их назначение. И если с

этой своей обязанностью они справляются хорошо, стало быть, и говорить не о чем, никаких других, более изящных, более модных, более престижных или там фирменных, как принято говорить нынче, часов тебе не надо...

Кажется, я опять ушел в сторону от книги Н. Ильиной. Впрочем, нет, не ушел. Ведь в конечном счете главная цель автора этой книги (во всяком случае, этой ее главы) как раз в том и состояла, чтобы вызвать у меня именно эти мысли, именно это жгучее чувство стыда...

Итак, мы остановились на том, что интерес, который пробуждает книга Н. Ильиной, в немалой степени вызван интересом к тем замечательным людям, о которых она пишет. Но не только этим. Не меньшую роль в создании этого интереса играет особый тон повествования, счастливо найденный автором. Тон этот можно определить словом «нелицеприятность». Даже, пожалуй, более резким, более жестким словом — «беспопачность».

Авторы воспоминаний о людях, чем-либо прославившихся, любят наводить хрестоматийный глянец, тщательно высветлять образ знаменитого человека, а тем более человека, уже опочившего от трудов своих. Тут, вероятно, действует еще и старинное, с древности известное правило: о мертвых либо хорошо, либо ничего.

Наталья Ильина ни в малейшей степени не руководствуется ни этим правилом, ни дурными традициями сахаринного мемуарного жанра.

Вот в какой тональности вспоминает она о Корнее Чуковском, человеке, которому была многим обязана, которым искренне восхищалась, властное обаяние которого действовало на нее сильно и безотказно:

«Идем мы с ним гулять. Навстречу пара — муж и жена средних лет, мне неизвестные, то ли переделкинские постоянные жители, то ли обитатели Дома творчества. Корней Иванович здоровается с мужем, что-то радостно восклицая, а жену прижимает к груди, целует, ласково и томно заглядывая ей в глаза... Расстались. Отошли. «Корней Иванович, кто это?» — «Это? Такой-то. Пишет плохо». — «А она?» — «Бог ее знает. Второй раз в жизни ее вижу»...»

Эпизод этот далеко не единственный в таком роде Подобных случаев Ильина припоминает множество. И ее точит мысль: а что, если и с нею он вот так же неискренен, лицемерен? В глаза расточает ей, а за глаза...

«Как быть с ним, с этим лукавым че-

ловеком? — терзается она. — Как узнать, когда искренне его слово, а когда нет?»

Впрочем, Чуковский человек особенный. О нем скорее нежели о ком другом можно сказать, что он был «живым, живым и только, живым и только до конца». Вряд ли удастся припомнить какого-нибудь другого литературного патриарха, которому так не пристало бы хрестоматийный глянец.

Но вот — Ахматова. Казалось бы, рисуя ее портрет, почти невозможно не сбиться на иконопись. Но Ильина и тут верна себе:

«Слышу: «Ахматова сказала...», «Ахматова считает...» Спрашиваю: «Откуда вы знаете?» «От такого-то. Он на днях у нее был». Имя «такого-то» мне знакомо и мною не уважаемо. Думаю: «Господи, его-то она зачем пустила к себе? И зачем ей вообще нужны эти разношерстные толпы?»...»

Облик Ахматовой даже в самые последние годы ее жизни был так величественно-прекрасен, что, рисуя ее портрет, трудно отделаться от соблазна следовать путем, которым шел Серов, создавая свой знаменитый портрет Ермоловой.

Но Ильина решительно выбирает другой путь:

«Я приезжаю за ней. Она меня ждет, она готова В передней я помогаю ей надеть пальто, и вот, натягивая перчатки, она говорит тем, у кого в данный момент живет: «Если будут звонить, отвечайте, что я уехала кататься!» И несоответствие этих отдающих девятнадцатым веком слов с ее одеждой, бездомностью, чужой передней и тем, что нет ни ландо, ни кучера, а есть только я, которая не так уж охотно пожертвовала своим рабочим утром, чтобы везти ее «кататься», каждый раз пронзало меня жалостью»

Эта трезвая беспощадность зрения свойственна Ильиной не только когда она рисует своих героев. Так же беспощадно умеет она взглянуть и на себя:

«Когда-то в моем отношении к Ахматовой было нечто от внимающего учителю робкого ученика. Затем, привыкнув и освоившись, решив, что и она не без слабостей, я стала чрезмерно свободно ощущать себя в ее высоком присутствии. Мало того. Уже мои дела, мои заботы нередко казались мне важнее ее общества. Исчезло постоянно жившее во мне желание что-то сделать для нее, чем-то ей услужить... Бывало, она звонила мне: «Не могли бы вы каким-нибудь чудом...» И чем бы я ни была занята, я все бросала и мчалась к ней. Позже — своих дел ради нее я бросать не собиралась. Она это

знала. Она знала все. И последние два-три года своей жизни уже ни о чем не просила меня...

Сейчас, перечитывая ее стихи, написанные в последнее десятилетие ее жизни, в период моего с ней знакомства, из ее уст впервые слышанные. — сейчас я остро понимаю, кто был рядом со мной и как недостаточно я это ценила. Но прошлого не вернуть. Содеянная не поправится»

Это умение взглянуть на себя тогдашнюю из сегодняшнего дня, ничем не обольщаясь и ничего не приукрашивая, еще больше укрепляет ту атмосферу достоверности, нет, больше чем достоверности — атмосферу правды, которой пронизаны нарисованные ею портреты. Мудрено ли, что портреты вышли живыми, верно передающими натуру. И мудрено ли, что интерес к натуре при этом оттеснил на второй план интерес к личности автора

Но так было, повторяю, при первом чтении. Две эти книги — «Судьбы» и «Дороги» — существовали еще раздельно, не были слиты в одну. А теперь, когда я перечитывал хорошо мне знакомые главы, объединенные под одним переплетом, у меня было чувство, что я читаю совсем другую, новую книгу. И совершенно особый смысл вдруг обрел не замеченный мною раньше подзаголовок «Автобиографическая проза».

Суть этого нового, до некоторой степени неожиданного для меня эффекта состояла в том, что книга воспринималась как повествование не о тех, с кем автора на разных поворотах жизненного пути свела судьба, а о себе самой.

Конечно, и раньше голос автора, мысль автора, личность автора нет-нет да и выступали на первый план, заслоняя на миг то, что представлялось мне основным предметом повествования. Это естественно. Ведь я теперь уже не тот, каким был при первом посещении Третьяковской галереи: сейчас, когда я гляжу на портрет Достоевского работы Перова, меня интересует уже не только Достоевский, но и Перов.

Нет, я не о том, что глаз писателя отлучается от объектива фотоаппарата, не о том, что, рисуя любую натуру, художник всякий раз невольно выражает, запечатлевает в картине себя. Речь о том, что каким-то таинственным образом в этой заново сложенной из старых глав книге изменился сам предмет повествования.

Возможно, это произошло еще и вследствие некоторой композиционной перестройки — более точной, более продуманной

перестановки глав. Это ведь только в арифметике от перемены мест слагаемых сумма не меняется. В литературе действуют иные законы: части лирического цикла взаимодействуют между собой, меняются, обогащаются от соседства. А в прозе не только обогащаются, но подчас и коренным образом переосмысливаются. Классический пример: тихий, заросший, освещенный неярким утренним солнцем пруд. А теперь представьте себе, как выглядит этот мирный сельский пейзаж, если в предыдущем кадре мы видели, что в этом пруду утонул человек. Такой монтажный принцип встречается не только в кинематографе.

Словом, новая книга Н. Ильиной воспринимается не как простое собрание разрозненных очерков и воспоминаний, а как связная, последовательная, внутренне завершенная повесть о жизни, о непростой, исполненной истинного драматизма судьбе автора. Н. Ильина написала наконец ту книгу, первым робким подступом к которой был ее давний роман «Возвращение». И надо сказать, что на сей раз она нашла более органичную для себя форму, более свободный, более художественный (хотя внешне и менее претендующий на художественность) способ повествования.

Дело даже не в подробностях быта (и эмигрантского, и на первых порах нового для нее советского быта), которые интересны и сами по себе. Дело, думаю, во внутренней, лирической теме, пронизывающей все главы этой единой повести — и те, что по жанру приближаются к мемуарам, и те, что стоят ближе к путевому очерку, и те, где автор прямо и непосредственно рассказывает читателю о различных обстоятельствах и перипетиях собственной своей судьбы.

Лирическая тема эта явственно звучит и в рассказе о совместном путешествии по Италии с другом юности — русским эмигрантом, некогда вместе с нею мечтавшим о возвращении домой, но волею обстоятельств прожившим всю жизнь во Франции; и в рассказе о встречах с ее парижскими родственниками — русскими французами или офранцуженными россиянами; и, как ни странно может показаться на первый взгляд, в таком далеком по содержанию от этих глав рассказе об Анне Ахматовой. Здесь даже, пожалуй лирическая тема звучит явственней, обнаженней, чем в других главах:

«Февраль — март 1956 года. Морозы в феврале до тридцати пяти градусов. Я живу на улице Обуха, в очередной снимаемой

комнате. Вокруг чужие вещи: легкомысленные шатающиеся столики, за которыми трудно писать, расстроенное пианино, пыльные ковры, на стенах фотографии в затейливых рамках и расписные, с золотыми ободками тарелки. И все же я довольна. Тихо, толстые стены старого дома, соседей не слышно, можно работать. Хотелось, чтобы друзья за меня радовались, и я была очень огорчена словами своей в те годы близкой приятельницы... Оглядев тарелки и рамки, она воскликнула: „Как вы можете тут жить? Я бы не могла!“

А Анна Андреевна, войдя, сказала: „Здесь божественно тепло!“»

Короткая реплика эта говорит о многом. В частности, о том, что царственная, надменная Ахматова прекрасно знала, что такое холод, пронизывающий до костей, и что такое бездомность.

«Она стала рассказывать мне о том, как ее навещил в больнице один швед...

— И была на нем рубашка ослепительно белая, как ангельское крыло. И я думала: пока у нас была война, революция, опять война, пока мы обагряли руки в крови, сидели в блокаде — в Швеции только тем и занимались, что гладили и стирали эту рубашку...»

Чужой быт? Чужие вещи? Неуют?.. Какие пустяки! То ли еще приходилось выносить...

Но в мире нет людей бесслезней,
Надменнее и проще нас.

Хотя ахматовский эпитет «надменнее» к мироощущению лирической героини Н. Ильиной, пожалуй, не подходит. На своих европейских родственников, друзей и знакомых она взирает без какой бы то ни было надменности. С сочувствием, с ясным пониманием, что у них (несмотря на ослепительно белые, как ангельское крыло, рубашки) тоже есть и свои беды, и свои сложности, и даже свои трагедии. Разве только еле заметный оттенок снисходительности нет-нет да и проскользнет в ее взгляде — так взрослый, повидавший кое-что на своем веку человек глядит на беспечного, наивного подростка.

«Под вечер сижу в саду с книгой. Тишина нарушается смехом, английским говором, доносящимся с площадки перед домом. Откуда-то вернулись Катя и Джон. Окликаю по-русски: «Катерина! Поди-ка сюда!»

Явилась. В теннисном облачении: белые шорты, белая рубашка, кеды, носки. (Как тут не вспомнить ослепительно белую рубашку ахматовского шведа! — Б. С.)

— Да, тетка? (Ей нравится так меня называть.)

- Скажи, кто он тебе, этот Джон?
 — О! Просто знакомый.
 — Давно ты его знаешь? Где познакомились?
 — Одна неделя. Встретила у друзей.
 — Замуж за него не собираешься?
 — О, нет, тетка. Он хорошо играет в теннис.
 — Ладно. Беги.

Итак: знакома всего неделю, притащила его сюда в качестве партнера для тенниса. Отплыли, значит, от меня Гонконг, где он родился, и Бангкок, где живут его родители. Ах, нет. Наоборот. Родился в Бангкоке, а родители живут в Гонконге. Впрочем, зачем я напрягаюсь? Теперь мне

это все равно. Эта география меня уже не касается. И, по-видимому, не коснется.

Но откуда мне известно, что коснется меня, а что — нет?..»

Так много географических понятий уже коснулось ее. Не просто коснулось, а стало частью ее судьбы: Омск 1919 года, Харбин 20-х и 30-х годов, Шанхай 40-х, Казань и Москва 40-х и 50-х, Париж 60-х... Все это веки одной дороги, длинной, извилистой, но — одной. Но тут уж речь должна пойти не о географии, а об истории, властно лепившей и судьбу автора книги и судьбы ее героев.

Б. САРНОВ.



ХАНАМИТИ ТАКЭСИ КАЙКО

Такэси Кайко. С высоты Токийской башни. Художественная публицистика и документальная проза. Перевод с японского. М. «Прогресс». 1984. 268 стр.

Есть в японском театральном искусстве термин «ханамити», который буквально переводится «дорога цветов». Своеобразный помост, как бы соединяющий сцену со зрительным залом. На него выходит актер в самые важные, роковые минуты жизни, чтобы поделиться со зрителями чем-то общезначимым, важным для каждого из сидящих в зале. Таким образом уже в сам поступок — восхождение на ханамити — заложен смысл долга, осознанной ответственности перед окружающими; актер становится как бы одним из многих, только театр дает ему особое право говорить от своего имени обо всех и для всех.

Образ ханамити возникает в памяти, когда читаешь сборник «С высоты Токийской башни» Такэси Кайко. Потому что во всем, что создано этим писателем за несколько десятилетий, отчетливо проступает авторская позиция: он один из многих, наделенный чувством высокой ответственности перед людьми и временем. И во имя этого чувства вступает Кайко на свою «дорогу цветов»...

Творчество Такэси Кайко хорошо знакомо советским читателям. В переводе на русский язык выходили его повести («Голый король», удостоенная, кстати, в 1957 году высшей литературной премии Японии — имени Акутагавы Рюноске, «Паника», «Гиганты и игрушки»), романы («Японская трехгрошовая опера», «Горькое похмелье»), в журнале «Иностранная литература» публиковались некоторые очерки из цикла «Токио как он есть».

Кайко дебютировал в 50-е годы вместе с целой плеядой японских писателей, ставших сегодня признанными мастерами. Среди них были Кобо Абэ и Кэндзабуро Оэ, однако буквально с первых шагов в литературе выявилась несхожесть творческих манер этих писателей.

Если у Кобо Абэ и Кэндзабуро Оэ жизнь предстает в мифологических ассоциациях и фантазмагорических обобщениях, то Кайко далек от подобных приемов. В его произведениях жизнь является во всей обыденности и неприукрашенности. Писатель не прибегает ни к популярному сегодня в Японии жанру романа-предупреждения, ни к фантастической заостренности образов. Он рассказывает о заботах и тревогах своего поколения просто и незашифрованно.

Для творческой позиции Такэси Кайко характерна одна особенность, которую точно подмечает в предисловии к книге журналист-международник В. Цветов: писатель взялся, «если следовать горьковскому определению литературы, помогать человеку понимать самого себя, поднимать его веру в себя и развигивать в нем стремление к истине, бороться с пошлостью в людях». Иными словами, Такэси Кайко всесторонне исследует жизнь современного капиталистического города во всех его противоречиях, постоянно чувствуя враждебность такой среды среднему человеку. А герой японского писателя, как правило, именно средний человек, обеспокоенный заботами и тревогами, понятными всем...

Такэси Кайко старается избегать ярких

образов, броских сюжетных переплетений, но его умение улавливать точные приметы времени неподдельно. В незаметных на первый взгляд штрихах и деталях быта, характера вырисовывается масштабно, крупно определенная эпоха. Это уже не только мастерство — это подлинный дар документалиста.

Показательна повесть «Потомки Робинзона» — образец художественной документалистики Такэси Кайко. В ней рассказывается о последних днях войны и первых послевоенных месяцах, когда люди устремились из разбомбленного Токио на неосвоенные земли острова Хоккайдо. Объединившись в «Группу освоения Хоккайдо», они подобно Робинзону начали борьбу за существование.

Старики, женщины, отцы семейств... Мелкие чиновники различных ведомств, врач, полицейский, штукатур, столяр, биржевой маклер, клерк, котельщик... Все они бросили родные места, дома, квартиры и, взяв самое необходимое, отправились на поиски новой жизни. И дело здесь даже не в том, что каждый из них уверовал в «райские кущи», о которых цветисто говорили вербующие поселенцев чиновники и красочные плакаты, — многие из них не отдавали себе отчета в том, что отправляются на поиски подлинной жизни. В ней могут быть и трудности и неудачи, но главное — не будет той бессмысленности, о которой говорит герой повести: «Мне опротивело протирать штаны в финансовом отделе. Шлепать по бумаге слепой печатью да выписывать колонки цифр — отдельно красными и синими чернилами — вот и вся моя работа... Трудился я безусловно, но ни радости, ни удовлетворения такая работа мне не доставляла... и нередко по вечерам, глядя из окна своего учреждения на лучи заходящего солнца, чувствовал, будто мои кровеносные сосуды становятся похожими на пропитанную водой солому. В такие минуты мне представлялось, что все пространство до горизонта устлано кипами новых конторских книг, а камень на моей могиле будет выкрашен синими и красными чернилами».

На деле новая жизнь оказалась лишь новой иллюзией. Легенда о Хоккайдо как «Украине Востока», где все «дикое и мощное» и где «можно надеяться только на собственные силы», оказалась правдой менее чем наполовину. Освоителей ждала здесь полная неустроенность и невозможность устроиться: «земля-людоед», на которой в ближайшие пять лет ничего не могло произрасти; необходимость собственными не-

умелыми руками возводить лачуги, где предстояло пережить жестокую хоккайдскую зиму; отсутствие продовольствия и семян; равнодушие и лживость чиновников, отвечающих за устройство и прожиточный минимум поселенцев...

«С нами, как говорится, поступили «наилучшим образом», — признается себе герой повести, — сбавив на Хоккайдо, как выбрасывают мусор в мусорный ящик».

Мучительная борьба за выживание. Трудно, кажется, понять, что ее делает такой суровой; виноваты ли в том бюрократы-чиновники или неумение измученного постоянным голодом человека начать жизнь заново?.. В этой борьбе, по мысли Такэси Кайко, каждому из героев суждено познать свое человеческое «я», свои возможности и свои пределы. И здесь, думается, своеобразно преломилась одна из существенных проблем современной японской литературы, знакомая советским читателям по роману Кобо Абэ «Женщина в песках». Одинокому, затерянному человеку противостоит жестокая, необузданная стихия — природа. Она враждебна или равнодушна, живет своей жизнью, никак не отзываясь на горести человеческие. И далеко не всегда возможно покорить ее. Перед лицом природы человек еще глубже ощущает свое одиночество, в чем-то намного глубже, чем в суетливой городской толпе... Герой Такэси Кайко лишь на Хоккайдо познал впервые страх перед наступающей ночью — величие дикой природы пробудило в его душе мысль о собственной затерянности, ненужности, подлинный «ад одиночества»...

В «Потомках Робинзона» никому не нужные, неопытные и беспомощные новые жители Хоккайдо вынуждены были познать в первую очередь не способ жизни, а способ выживания. Устремившись на незнакомые земли, они надеялись обрести там свободу. Но жажда свободы обернулась новой несвободой: человек живет в условиях постоянной зависимости от таких понятий, как отсутствие зерна и круговая ложь чиновников, гоняющих людей из кабинета в кабинет, как нехватка инвентаря и постепенная утрата веры в то, что все еще может как-то наладиться... Такэси Кайко выстраивает в повести эти причудливые ряды понятий, заставляя читателя задуматься над сложностью мира, в котором человек может рассчитывать только на собственные силы. И не все герои повести смогли осилить — многие потянулись обратно в Токио в тот момент, когда, казалось бы, все начало налаживаться.

Такэси Кайко зримо воссоздает первые

послевоенные месяцы, время, хорошо знакомое нам по его произведениям, по рассказам и романам Кэндзабуро Оэ и других японских писателей. Однако здесь проступает и то различие творческих индивидуальностей, о котором уже шла речь.

Если для юных героев Кэндзабуро Оэ поражение Японии в войне явилось трагедией, потому что они опоздали родиться и не успели умереть за императора (один из романов Оэ так и назывался — «Опоздавшая молодежь»), то для персонажей Кайко, по сути, поражение ничего не меняет. Герой романа «Горькое похмелье» воспринимает все случившееся просто и буднично. После выступления императора по радио «я ждал, что волнение нахлынет на меня. Я замер в торжественной позе. На мгновение мне показалось, что перед лицом крушения родины я и сам должен превратиться в ничто. Учитель, не стесняясь, дал волю чувствам, и мне думалось, что я тоже должен заплакать, закричать от душевной боли. Но сколько я ни ждал, волнение не захлестнуло меня; напротив, оставаясь холодным и равнодушным, я не ощутил ни малейшей взволнованности...».

И освоители Хоккайдо в повести «Потомки Робинзона» воспринимают известие о поражении Японии так же равнодушно, как школьник из «Горького похмелья». Они узнают об этом на пароходе; речь императора по радио еле слышна, непонятно, что именно произошло, но многие догадываются, и ни для кого не становится это событие катастрофой. Мир настолько обезображен войной, что все деформировано, осталась лишь одна последняя иллюзия — Хоккайдо.

Такэси Кайко создает портрет времени, стараясь сохранить запечатленные в памяти детали тех горьких лет, когда мир представлялся лишь игрой чуждых и недобрых сил. И, вероятно, поэтому одной из особенностей творчества японского писателя является удивительная плавность перехода от художественно осмысленного документа к яркой публицистике. Соединение под одной обложкой собственно прозы и публицистики не выглядит искусственным; те же проблемы человека и мира, личности и общества, что подняты в повести «Потомки Робинзона», волнуют писателя, когда он создает цикл очерков «Токио как он есть» или очерк «Сто миллионов самоубийц». И хотя в очерках речь идет не о послевоенных месяцах, а о близких нам годах, в подобном движении времени отчетливо, рельефно вырисовываются противоречия жизни японского об-

щества, скрытые за нарядным фасадом «экономического чуда».

Так, например, в романе Такэси Кайко «Японская трехгрошовая опера» речь идет об участии корейцев, живущих в Японии: о нищете и бесправии, о загнанности и беззащитности. Прошедшие почти три десятилетия практически ничего не изменили в положении корейцев. Кто же виноват в том, что по сей день эти люди не обрели под небом Японии своего дома? Из полученных ими за это время «прав» Такэси Кайко называет только возможность говорить друг с другом в переполненных вагонах электрички на родном языке и «с горделивым видом разгуливать по Гинзе в своих национальных одеждах — чхогори и чхиме»...

Очерк Кайко «Несчастливые корейцы, проживающие в Японии» — всего в несколько книжных страничек — воспринимается как большое документальное произведение о Корее благодаря своему пафосу и предельно отчетливо выраженной авторской позиции. Речь идет о Корее, которой не знают и не хотят знать ее ближайшие соседи — японцы. «...убедился, — пишет Кайко, — что не знаю о Пусане, Сеуле, Панмыньчжоне, Пхеньяне и десятой, сотой доли того, что мне известно о Латинском квартале и улице Сен-Жермен-де-Пре в Париже... Слушая рассказы корейцев (а они, надо сказать, говорили о своих бедах скромно и с достоинством), я чувствовал, как холодный пот струйками стекает у меня по спине, растерянно кивал головой и, противно улыбаясь, бормотал слова извинения».

На ханамити Такэси Кайко выводит высокое чувство ответственности за то, что происходит вокруг, в том числе и с народами-соседями. Это чувство ошутимо буквально во всем, что создано японским писателем, и, разумеется, не только потому, что речь везде идет от первого лица. Кайко никогда не остается в стороне — его писательская и человеческая позиция своеобразно преломляет национальную черту японцев: групповое сознание. «Я» — это всегда лишь часть того целого, которое обозначается понятием «мы». Писатель понимает, что и он среди тех «девяти процентов» японцев, которые ничего не знают о Корее, среди тех, кто участвует в тщательно инсценированной и продуманной избирательной кампании.

Очерки Такэси Кайко построены как путевые заметки; путешествую по Токио утреннему, дневному, вечернему и ночному, писатель фиксирует характерные черты города и его обитателей. В японской литера-

туре подобный жанр чрезвычайно распротранен с давних времен. Дзуйхицу (буквально «вслед за кистью») — это литературные заметки, каждодневные записи, пользовавшиеся большой популярностью, так как позволяли многое увидеть и осмыслить.

Оставаясь верным японской традиции, Такэси Кайко словно выворачивает наизнанку давнее понятие: праздники в Японии, одна из национальных особенностей, превратились сегодня в средство обогащения для определенной части общества («Меркнут праздничные огни»); молодежь теряет всякий интерес к жизни и думает лишь о том, чтобы как-то снять постоянное напряжение, перегрузку физических и нервных сил («Требуются... А как живут?»); бездомные бродяги, ночующие на вокзале Уэно и живущие тем, что подбирают в электричках брошенные журналы и перепродают их, за последние двадцать лет ничуть не изменились — они по-прежнему являются своего рода визитной карточкой токийского вокзала («Удивительная станция Уэно. Удивительна и загадочна»)...

Такэси Кайко ничего не пишет об отсутствии у современных японцев понятия корней, но все его творчество пронизано горечью утраты. И юный герой «Горького похмелья», и персонажи «Потомков Ро-

бинзона» надломлены и неспособны сохранить память. Кайко неподдельно озабочен этим: как можно противостоять забвению? Как помочь человеку восстановить живую связь времен?.. Ведь уходят не только праздники — уходят обычаи, традиции, скудеет духовный мир.

В предисловии к книге В. Цветов пишет об актуальных проблемах японского современного общества — о растущих военных базах, о неуверенности японцев в завтрашнем дне, об отношении к труду, об особенностях национального характера. Мысли Цветова, его собственные впечатления дополняют картину, нарисованную Такэси Кайко, картину тревожную, взывающую к действию. Ведь не только к экологической катастрофе можно отнести слова японского писателя, заключающие сборник «С высоты Токийской башни»: «На маленьком «аппендиксе», плавающем в Тихом океане, скучено живет сто миллионов людей. Велика общая сумма излучаемых ими знаний и энергии, но каждый из них в отдельности день за днем медленно, но неуклонно себя губит...»

Эти слова — прямое предостережение нам, сегодняшнему человечеству, напоминание о том, как разумно надо обращаться с миром и его обитателями.

Наталья СТАРОСЕЛЬСКАЯ.



Политика и наука

ОТДАТЬ СЕБЯ БЕЗ ОСТАТКА

Д. А. Волкоганов. Феномен героизма. Книга о героях и героическом. М. Политиздат. 1985. 263 стр.

Книга о героях и героическом адресована прежде всего молодому советскому поколению. Написанная живым, ярким и выразительным языком, она рассказывает об истоках героизма, его сущности и связи с такими понятиями, как долг, совесть, честь, любовь к родине, оптимизм, патриотизм и интернационализм.

Героические действия отдельной личности, группы лиц, общественного класса всегда привлекали внимание людей, особенно молодых, своей исключительностью, необычностью условий, в которых они протекают. Так было при любом строе, в любом обществе. Поэтому очень важно понять истинный смысл того или иного героического поступка, дать ему социально-классовую оценку. Не случайно Д. А. Волкоганов обращается прежде всего к обществен-

ным условиям, в которых формируется сознание людей, показывает коренные противоречия капитализма и социализма. В книге приведены убедительные доказательства того, что «лишь социализм, с его морально-политическим единством общества, не умаляя значения героизма индивидуального, создает объективные предпосылки для массового, всенародного героизма...».

Действительно, только социалистический строй породил невиданный по размаху ратный и трудовой героизм, ставший характерной чертой советского образа жизни. Зародившись в огне революционных битв, массовый героизм особенно ярко проявился в годы Великой Отечественной войны. Наша страна, как образно сказал Алексей Толстой, стала тогда колыбелью героев, огненным горном, где плавилась прос-

тые души, становясь крепкими, как алмаз и сталь. От первых часов войны до ее последнего залпа не иссякал, а все более нарастал этот вал героизма и отваги.

Ради победы над фашизмом, ради спасения своей социалистической родины советские воины смело шли на подвиг, презирая смерть. Около 300 бесстрашных сынов отчизны повторили подвиг Александра Матросова. 327 раз подобно Николаю Гастелло направляли герои свои пылающие машины в гущу вражеских войск и на другие наземные цели. 459 раз наши летчики применяли воздушный таран. В этой связи хочется отметить, что на протяжении всей войны нам не было известно ни одного случая подобного самопожертвования среди гитлеровских солдат и офицеров, даже когда они вели боевые действия на собственной территории, защищая свой фатерланд.

Разумеется, капиталистический мир не обделен яркими, талантливыми личностями. Мы восхищались и продолжаем восхищаться многими гениальными творениями в области науки и техники, произведениями литературы и искусства, созданными в условиях капитализма. То же можно сказать и о героических поступках. Поэтому трудно согласиться с автором, когда он утверждает, что буржуазный мир «не способен создавать подлинные духовные ценности, в том числе и готовность к героическому», что «героические проявления в социальной области присущи, как правило, лишь отдельным представителям и коллективам трудящихся, борющихся за свое социальное освобождение, участвующих в прогрессивных войнах, национально-освободительных движениях» Героизм могут проявлять и представители имущих классов. Достаточно вспомнить летчиков эскадрильи «Нормандия — Неман» или английских моряков, проводивших в советские северные порты не защищенные от вражеских самолетов и подводных лодок транспорты. А если обратиться к современности, разве нельзя назвать героями космонавтов из капиталистических стран?

Героизм не застывшая, а деятельная сторона личности, группы, класса. А герой — прежде всего борец с врагом и обстоятельствами. Этот вывод красной нитью проходит через всю книгу. Автор рассматривает «механизм» героического поступка, подробно рассказывая о поведении человека на каждом его этапе: осознание возможных последствий, формирование внутреннего решения, способность сделать правильный выбор. Интересны размышления Д. А. Волкогонова о соотношении роман-

тики и подвига. Каждый человек сопричастен всему, что происходит на нашей планете. Все совершенствования и обновления в человеческой жизни неизбежно окрашены романтизмом. Поэтому без романтизма невозможны ни героизм массовой будничной работы, ни героизм порыва. Романтик не знает состояния скуки. Но истинный романтизм не имеет ничего общего с псевдоромантизмом, поэтизируемым, воспеваемым и прославляемым на Западе. Как же отличить подлинный героизм от ложного? Вывод ясен и прост: только тогда мы можем назвать смелые и мужественные действия героическими, если они преследуют общественно значимые цели.

Любовь к родине... Эти слова мы повторяем часто и поэтому, может быть, не всегда задумываемся, как много они значат. Любовь к родине тесно связана у советских людей с преданностью коммунистическим идеалам. В них неиссякаемый источник силы и мужества, побед в труде и бою. Очень важно понять, что родина начинается для нас с рабочего места, с боевого поста. Люди, осознавшие это, редко говорят о любви к ней. Они просто идут и делают свое дело. Но делают его так, что и без слов становится ясно: дороже родины, ее чести и славы у них ничего нет.

Прослеживая историю развития нашей страны на конкретных фактах проявления героизма советским народом в грозные годы военных испытаний и в мирное время, автор перебрасывает незримый мостик, связывающий дела и свершения каждого поколения в единое целое. И это понятно: от отца и матери к сыну и дочери, от старших к младшим передаются знания, сила, опыт, все то, что было достигнуто в процессе их героического ратного и мирного труда. Именно так в летопись героических свершений нашей родины вписываются новые имена.

Когда-то очень давно услышал я старинную притчу. Рассказывал ее молодым летчикам седоусый солдат:

— В давние времена, еще при Илье Муромце это было. Спрашивают как-то у Ильи: «Скажи, богатырь, вот кончится твой век, уйдут из жизни и сотоварищи твои — богатыри. Что тогда будет? Не прекратится ли род богатырский?» Отвечает Илья: «Покуда есть земля русская — будет на ней и племя богатырское. Каждый из нас расскажет сыновьям про дела свои. Все это они себе на заметку возьмут, и сила в них сразу в рост пойдет. От отцов к сыновьям, от дедов к внукам, из рода в род будет эта си-

лушка переходить и будут всегда грозны для супостатов заставы наши богатырские...»

Преемственность героических традиций заключается не только в простом повторении ратных и трудовых подвигов, но и в их приумножении. В героическую летопись вписываются новые страницы, а в жизнь нашу входят новые герои, новые традиции.

Подвиги минувших лет — это как бы трамплин для грядущих подвигов, вдохновляющий стимул в повседневном труде. Боевая и трудовая слава ветеранов не просто история. Это наше сегодняшнее богатство, увеличивающее мощь нравственных сил советских людей, зовущее к новым вершинам ратного и трудового мастерства. Верность революционным, боевым и трудовым традициям Коммунистической партии и советского народа — одно из слагаемых в формировании героического сознания.

Отдельная глава книги Д. А. Волкогонова посвящена классификации героизма по видам свершений. Основное внимание в ней уделяется героизму трудовому, воинскому и героизму научного подвижничества.

В нашей стране труд давно стал внутренней потребностью людей. Ни одно государство в мире не имеет такой армии труда, как СССР. 135 миллионов человек каждое утро отправляются на фабрики и заводы, в конструкторские бюро, садятся за рычаги управления машин и механизмов. Миллионы тружеников сельского хозяйства ежедневно приходят на поля и фермы. Автор приводит слова М. Горького о том, что «именно в труде, и только в труде, велик человек». В книге показано, как советский народ, достигнув вершин трудового героизма, сделал его нормой нашего образа жизни. В процессе коллективного труда человек воспитывается, постигает азы профессии, становится мастером своего дела. Его духовный мир постоянно обогащается. Человек получает твердую моральную закладку. Трудовые подвиги — это, справедливо замечает автор, не что иное, как «неизвестное дотеле в истории: коммунистическое отношение к труду».

Социалистический воинский героизм особенно ярко проявлялся в годы войны. Однако и в мирное время воинская служба связана с крайне сложными экстремальными ситуациями, требующими воли, стойкости, мужества, предельного напряжения всех духовных и физических сил. В то же время воинская служба — это труд. Труд специфический, со своими особенностями. Поистине массовый героизм проявляют советские воины в ратных буднях: самоотвер-

женно трудятся, овладевая нелегкой профессией, зорко стоят на страже сухопутных, морских и воздушных границ нашей родины, охраняют мирный труд советских людей, завоевания социализма. Не остаются они в стороне и при решении народнохозяйственных задач: оказывают помощь колхозам и совхозам в уборке урожая, возводят жилые дома, строят промышленные и транспортные объекты (такие, как БАМ). Нашему воину-патриоту, воину-интернационалисту присущи твердый характер, отвага и мужество. Он всегда готов при необходимости пойти на оправданный риск, совершить героический поступок. В этом я не раз убеждался за свою многолетнюю службу.

Интересны размышления автора о героизме научного подвижничества. Вся история научной деятельности человечества — это история борьбы за истину. Сегодня наука стала созидательной силой общества. Общепризнано, что без нее невозможно преобразовать мир, достичь высоких социальных целей в ходе общественного прогресса. Но это могучее средство лишь тогда наиболее эффективно, когда многочисленная армия ученых, вдохновляемая высокими идеалами, трудится самоотверженно и беззаветно, отдавая свою работу без остатка.

Как же формируется духовно богатая, творческая, обладающая активной жизненной позицией личность, способная принимать самостоятельные высоконравственные решения в сложных жизненных ситуациях и нести ответственность за совершенные поступки?

Нельзя не согласиться с автором, когда он говорит, что готовых рецептов воспитания в человеке героического сознания нет. У советской молодежи готовность к совершению подвига вырабатывает сама атмосфера, в которой она растет и учится, весь наш образ жизни в целом. В книге приводятся слова матери Героев Советского Союза Зои и Александра Космодемьянских: «Откуда же взялись несгибаемое мужество и стойкость у этих вчерашних московских школьников, еще не имевших за плечами жизненного опыта?.. Ведь героями не рождаются, ими становятся. Зоя и Шура, тысячи и тысячи их сверстников стали героями, ибо их такими воспитывали школа, комсомол, семья, наша литература, вся наша жизнь». Точнее не скажешь. Героическое сознание как постоянная готовность людей проявить высшую социальную активность в классовой борьбе, в защите социализма, в напряженном труде является неотъемлемым

элементом духовной жизни советского общества.

Первые жизненные уроки ребенок приобретает в семье. Огромную роль в его воспитании играют родители. С них он берет пример, на них равняется в мыслях и делах своих. В семье ребенок познает азы доброты, чуткости, взаимопонимания, уважения к старшим, преодолевает трудности, принимает первые самостоятельные решения. Здесь он узнает значение слов «долг», «честь», «родина». И уже в раннем возрасте учится бороться, отстаивать свои убеждения. Горько сознавать, что некоторые излишне любвеобильные родители калечат своих детей, стремясь оградить их от любых жизненных трудностей. Из тех, кого в детстве растили в парниковых условиях, вырастают, как правило, самовлюбленные эгоисты, потребители, мещане.

Наши дети учатся в школах, ПТУ, техникумах, вузах. Наряду с разнообразными знаниями они получают там уроки жизни в коллективе. В эти годы происходит их нравственное, идейное, волевое мужание. Важно дать ребятам возможность определить свое место в жизни, умело, ненавязчиво направить их интересы, помочь разобраться в окружающем мире, отбросить все наносное, ненужное, не свойственное нашему обществу. Огромная роль в воспитании молодого поколения принадлежит педагогам и старшим наставникам, пионерским, комсомольским и партийным организациям. Но не следует думать, что на этом этапе воспитательные функции семьи заканчиваются. Родители и здесь должны сказать свое незаменимое слово.

Человек вступает в самостоятельную жизнь. И снова он в коллективе, трудовом или воинском, который оказывает на него огромное влияние. Коллектив — великая сила. Он воздаст должное передовику, строго спросит с бракодела, поддержит и направит оступившегося. Но взрослому человеку самому приходится принимать решения по жизненно важным проблемам. К тому же он теперь старший товарищ и наставник молодежи, воспитывает своих детей. Человек внутренне собирается, подтягивается, становится нравственно чище. Он осознает, что у него учатся, на него хотят быть похожими, так же как и он когда-то мечтал быть похожим на своих родителей.

Граней воспитательного процесса очень много. Важно помнить, что это процесс единый. Нельзя, к примеру, воспитывать твердую идейную убежденность и ничего не говорить о необходимости быть верным сво-

ему трудовому и воинскому долгу, любить родину. С другой стороны, идейно нестойкий человек вполне может допустить халатное отношение к исполнению своих прямых повседневных обязанностей. Ему незнакомы и такие понятия, как воля, нестигаемость характера.

Говоря о воспитании, нужно заметить, что оно не бывает односторонним. Воспитание и самовоспитание тесно взаимосвязаны. Это целиком и полностью относится и к воспитанию героического сознания. «Главное в самовоспитании,— пишет Д. А. Волкогонов,— сознательное стремление к нравственному самосовершенствованию, настойчивость и упорство в достижении благородной цели».

На формирование героического сознания заметный отпечаток накладывает образ жизни человека, работа, которую он выполняет изо дня в день. Среди многообразия профессий существуют такие, которые требуют от людей постоянного напряжения всех моральных, интеллектуальных и физических сил, ежеминутной готовности к самоотверженным действиям, мужественным поступкам. Романтическим ореолом окружены, например, профессии летчика, моряка, водолаза, пожарного, космонавта, горного спасателя, шахтера. Все они предполагают в человеке особую профессиональную подготовку и высокие моральные качества.

Взять хотя бы профессию летчика-испытателя, летчика-истребителя. Она требует от людей не просто мужества и высочайшей идейной закалки, но и железного здоровья, выдержки и, что немаловажно, любви к своему делу. Каждый полет летчика-испытателя с полным основанием можно сравнить с полетом в космос. Посудите сами: та же дорога в неизвестность на сверхвысоких скоростях (до 3000—3500 километров в час), на предельных высотах (30—35 километров) в специальном снаряжении. Кстати говоря, летчик на современном сверхзвуковом самолете выдерживает перегрузки, равные 9 единицам, а перегрузки, действующие на космонавта, равны 3 единицам. Если космический полет управляется и контролируется с земли Центром управления полетом, то летчик делает все сам: поднимает машину в воздух, управляет ею в полете, одновременно испытывая ту или иную систему, следит за показаниями десятков контрольных приборов; наконец, без его умения, без его профессионального мастерства нельзя успешно посадить машину. В случае отказа двигателя летчик де-

лает все возможное, чтобы снова запустить его и выполнить поставленную задачу. А если это не удалось и авария произошла над городом, он встает перед выбором высоконравственного порядка: покинуть машину и спастись самому или ценой своей жизни сохранить жизнь десяткам и сотням людей, как поступили летчики Юрий Янов и Борис Капустин в небе Германской Демократической Республики.

Как правило, в такую авиацию приходят люди идейно и физически стойкие, сознающие всю сложность и ответственность предстоящей работы. Ведь каждый полет — это выход за рамки усредненного, это в прямом смысле слова исключительный поступок. А он под силу только летчикам нравственно зрелым, обладающим высоким профессиональным мастерством, самообладанием, мужеством — важнейшими слагаемыми героизма и подвига как высшего его проявления.

Героизм для советского человека не отвлеченное понятие, а способность отдать себя без остатка великому делу коммунизма, которому принадлежит будущее. На ге-

роический поступок, на подвиг готов только тот, кто любит труд, стремится стать мастером своего дела, чьи золотые руки приносят людям радость и чье сердце любит все живое, человек-творец, человек — созидатель, патриот и интернационалист, ответственный за все, что происходит на земле.

Естественно, что наряду с молодыми читателями книга Д. А. Волкогонова привлечет внимание широкого круга специалистов в области философии, этики, педагогики, психологии, поскольку в ней содержится целый ряд интересных теоретических положений. Автор твердо соблюдает принцип партийности, классового подхода к оценке и анализу социальных явлений, широко пользуется высказываниями классиков марксизма-ленинизма и документами Коммунистической партии Советского Союза.

Книга обладает научной и воспитательной ценностью, она будет полезна читателям любых возрастов.

Е. САВИЦКИЙ,
маршал авиации,
дважды Герой Советского Союза.



ИЗ РЕДАКЦИИ ОННОЙ ПЛОЧЕТЫ

ПРОШУ СЛОВА

Дорогие друзья!

Очень прошу опубликовать одно мое стихотворение.

О его литературном качестве не мне судить. Тут просто — «не могу молчать!».

Оно адресовано Юрию Кузнецову.

В его стихах, статьях, выступлениях с трибун, порой весьма высоких, отчетливо стремление ниспровергать. В частности, литературные авторитеты. От Софокла до Пушкина, от Блока до Смелякова.

Ладно, сочтем это литературной полемикой. И ограничимся двумя строчками Пушкина из письма Рылееву по поводу непочтительного отзыва Плетнева о Жуковском: «Зачем кусать нам груди кормилицы нашей? потому, что зубки прорезались?»

О фронтовом поколении писателей публично, неоднократно Ю. Кузнецовым заявлялось категорически, что его нет и не было.

Приходится выслушивать, ибо дуэли отменены, а пощечины подсудны.

...14 января 1942 года «Правда» опубликовала стихотворение Константина Симонова «Жди меня».

Не стану в который уж раз говорить о том, что было дальше. Количество людей, переписавших эти стихи в солдатских треугольниках от первого лица, подсчету не поддается. Их сотни тысяч, если не больше. Даже из партизанских отрядов строки «Жди меня» во много раз увеличили так трудно доставляемую почту.

Есть явления, выходящие за пределы литературы. Рожденные ею, они становятся вехами, а то и символами времени, истории. Они достояние уже не читателя, а народа; оскорблять их — кощунственно.

Теперь цитата:

«„Жди меня, и я вернусь“... Это агрессивный эгоизм чистой заморской воды, он чужд и не имеет ничего общего с народным воззрением на любовь» (Ю. Кузнецов, «Союз души с душой родной». — «Литературная учеба», 1985, № 6).

Нет в живых К. М. Симонова, из его читателей время и война унесли миллионы... Для одних «Жди меня» было предсмертным глотком воздуха перед атакой, для других — памятью сердца.

А посмертные оскорбления исключают мужество и совесть. Нужен только палец, чтоб было откуда высосать.

Мне кажется, что редакция «Нового мира», которую много лет возглавлял Константин Михайлович Симонов, поймет меня.

Я пишу это поздней ночью и, честное слово, физически чувствую, как мертвые побратимы мои встали рядом и спрашивают меня и всех живых моих соратников: как вы, фронтовики, включая главного редактора «Литературной учебы», позволили? Как ты, лично ты посмел промолчать?

Поэтому я прошу слова.

НАСЛЕДНИЧЕК

Мне б эти строки желчью с уксусом
напитать — ему на торжество,
но спокойно

чуть приметным суффиксом
я квалифицирую его.

Этого, расправившего лацканы,
с выправкой гвардейской молодца,
сына, по его словам, солдатского,
пьющего из черепа отца.

Этого, с претензиями гения,
с воплями шестерок за спиной...
— Ваше,— говорит он,— поколение
выдумка:
растоптано войной.

Мы, мол, Аввакумовы, Зосимовы,
а для вас заморский волк — родня;
ведь не зря сострипал некий Симонов
по-американски «Жди меня»...

Кто-то ухмыляется: делириум.
Кто-то строит памятник из строк...
Ну а вдруг с отцом его делили мы
на двоих табак да котелок?

Я не то чтоб запоздало сетую —
многое случалось на веку.
На войне из одного кисета мы
всей страной хватили табак.

И когда по горло в жгучей щелочи
шли вперед —
спасти иль умереть! —
мы смотрели сквозь прицелов щелочки, —
где уж нам его предусмотреть.

Марк СОБОЛЬ,
*ветеран Великой Отечественной войны, сапер, на-
гражден медалью «За отвагу» в 1941 году; член
Союза писателей с 1947 года, лауреат премии име-
ни А. Фадеева.*

23 февраля 1986 г. Москва.

КОРОТКО О КНИГАХ



ЛЕВ НИКОЛАЕВ. Кабульские рассветы. М. «Советская Россия». 1985. 176 стр.

О событиях в этом крае, в этой горячей точке политической карты мира 80-х годов, где миллионы людей с братской помощью нашей страны строят новую жизнь, уже написано немало хороших, честных книг. Повесть Льва Николаева «Кабульские рассветы» пополняет ряд произведений, сделавших объектом художественного освещения непростую афганскую действительность.

...Маленький Али, сын бедняка из затерявшегося в горах кишлака, многое успел почитать в своей короткой жизни. Особенно запомнилось, как Мосхен, главарь душманов, расправился на глазах у толпы односельчан с человеком, у которого нашли радиоприемник; как больно высекли его, Али, на первом в жизни уроке в школе деревенского муллы за то, что, внимая священным проповедям, незаметно жевал лепешку, которую к этому торжественному дню испекла мать; или то, каким необыкновенно тихим было утро, когда умирала Анахита, его старшая сестра. Многие врезалось в память Али, кажется даже, что все эти впечатления вот-вот должны сложиться в нечто цельное, перерасти в понимание главного в окружающем мире — добра и зла, правды и лжи, справедливости и беззакония. Но, видно, так уж устроена жизнь: она открывается не вдруг и не сразу...

Писатель наблюдает за взрослением своих героев как бы со стороны, избегая категорических суждений, но и не скрывая своей позиции. Емкий документализм, выразительная лаконичность сочетаются в повести со сложностью сюжетных линий, конкретным содержанием наполняются те подчас абстрактно воспринимаемые нами политические события, которые составляют ныне социальную суть происходящего в Афганистане. А суть эта в том, что народ все решительнее и сплоченнее отражает натиск душманов, помогая новой власти, веря в нее.

Раскрывая этот процесс, писатель подчеркивает фундаментальность изначального восприятия жизни; показывает подвижный, насыщенный образностью мир детства, в котором новая жизнь оставляет благотворный след; еще и еще раз возвращает нас к мысли о том, как важно для афганского народа в жестоких классовых схватках сохранить и воспитать молодое поколение.

Повествуя об обычных случаях из жизни простых людей, автор умеет передать не только приметы сегодняшних суровых будней страны, ее традиции и обычаи, характеры главного героя и других действующих

лиц с присущей им самобытностью национального мышления, но и моральные ценности, взгляды на жизнь и — главное — неизбывный оптимизм народа, приподнятость в восприятии бурных социальных перемен. Качества эти афганские труженики стойчески сохраняют, несмотря на необыкновенно трудные условия жизни. Действительно, бедная крестьянская семья, стоящая в центре повествования, то и дело оказывается без куска хлеба, глава семьи становится объектом провокаций душманов... И тем не менее автор отмечает улыбки на лицах людей от удачной шутки, радостную надежду на получение земли, зародившуюся после услышанного по радио правительственного сообщения.

Длительное время работавший в Демократической Республике Афганистан, автор правдиво запечатлел и будни советских людей, выполняющих свой интернациональный долг, их героизм, честность, принципиальность, готовность к самопожертвованию ради правого дела. Один из эпизодов, с документальной точностью воспроизводящий черты советского гуманизма, рассказывает об участии советских врачей в спасении афганского населения от эпидемии холеры. Болезнь обрушилась и на душманов. В этой ситуации главарь банды видит только один путь к спасению — обратиться с мольбой о присылке... советских врачей. И вот горстка медиков отправляется в логово фанатичных убийц — только так, рискуя собой, можно полностью ликвидировать эпидемию и обезопасить мирных жителей.

Лев Николаев ищет свой творческий путь в русле традиций интернационализма, органически присущих литературе социалистического реализма. Наряду с другими реалистическими книгами об Афганистане повесть «Кабульские рассветы» способствует нашему пониманию жизни, проблем, настоящего и будущего братской страны, ее народа, борющегося за идеалы Апрельской революции.

Н. Демин.



КАРЭН СИМОНЯН. Микаэл Налбандян. М. «Молодая гвардия». 1984. 366 стр.

В истории каждого народа есть личности, жизнь которых сама по себе историческое событие. Жизнь-роман, жизнь-легенда. Символ определенной идеи... В этом ключе К. Симонян и строит жизнеописание своего героя. Как определить ту роль в современ-

ном ему обществе и в истории, что соответствует Микаэлу Налбандяну? Революционер, публицист, просветитель... Все верно. И все нуждается в объяснении, конкретизации, уточнении. Ибо недолгая жизнь Налбандяна и была поиском ответов на вопрос, как приложимы к армянам России второй половины XIX века понятия революции, просвещения, что должно составлять суть и цель общественной жизни этой нации в канун XX столетия.

«Это был гений, — пишет о Налбандяне автор, — и было у него лишь два предшественника, которые так же вели свой народ в будущее. Месроп Маштоц, который дал армянам алфавит и тем самым право иметь настоящее. Мовсес Хоренаци, который, возвратив армянам их истинную историю, дал им биографию и прошлое. Третьим был он сам — Микаэл Налбандян, несущий армянам национальное и политическое сознание, без которого немислимо будущее народа».

К. Симонян рассказывает о личности, характере Микаэла Налбандяна, демонстрируя при этом свободное владение жанром научно-художественной биографии. Отдельные деяния Налбандяна (каждое из них могло бы стать основой остросюжетной повести) складываются в процессе подробного, многомерного повествования в дело, которому герой книги посвятил всю свою жизнь. И хлопоты об «индийском наследстве» армян из Нахичевани-на-Дону, и перевод на армянский язык проклятого папой римским романа Эжена Сю «Агасфер», и передача носорога в дар Московскому зоологическому обществу, и выпуск прогрессивного армянского журнала, и встречи с Иваном Сергеевичем Тургеневым, во время которых обсуждалось, как помочь Михаилу Бакунину, находящемуся в Лондоне, соединиться с женой, пребывающей в Сибири, — эти и многие другие факты биографии Налбандяна становятся штрихами его обобщенного портрета, написанного с любовью и уважением.

«...когда мы сквозь плену более чем столетия пытаемся понять и оценить все сделанное им, нам понятнее становится он сам — Микаэл Налбандян, личность исключительного характера. И оказывается, что всю свою жизнь он прожил без той обыденной дипломатии, по которой люди чтобы не обострять отношений с окружающими, оставляют за собой «открытые двери». И поэтому безоглядно любили его друзья и люто ненавидели противники» — это и оценка автором героя и кредо писателя-биографа.

Друзья и враги... Их у Налбандяна было множество, они возникали в его поле, мгновенно поляризуясь. Постоянно погруженный в заботы о судьбе своего народа, Налбандян закономерно сближается с деятелями освободительного движения других народов: с Александром Герценом и Николаем Огаревым, Джузеппе Мадзини и Лайошем Кошутом. А среди противников те, кто паразитирует на идее национальных интересов, наживает политический и денежный капитал, присвоив себе роль «отцов народа».

Как соотносится национальное и интернациональное? С этим вопросом пришел к Налбандяну, узнику Алексеевского рavelина, бывший ученик, перешедший в стан

идейных противников. «Слишком легко хотел бывший ученик получить ответ на годами мучивший его вопрос! — восклицает автор. — Тот самый ответ, ради которого Микаэл Налбандян жил, страдал и боролся, казалось бы, целую вечность...» В действительности он умер, не дожив и до сорока лет, но навсегда войдя в историю как герой-интернационалист.

В. Лобачев.



ИСААК ФРИДБЕРГ. Арена. Пять новелл о человеческих странностях. Вильнюс. «Вага». 1985. 327 стр.

Первые книги этого писателя — сборник рассказов «Тихие праздники» и роман «Компромисс» — запомнились постановкой серьезных нравственных проблем, интересными характерами.

Подзаголовок новой книги («Пять новелл о человеческих странностях») настраивает на встречу с необычными персонажами. И в самом деле, насколько реален в живой жизни герой новеллы «Утешитель» Гуля Голосов с его неистощимой, почти фантастической добротой к людям? И не исключительна ли ситуация, когда молодожены, предоставив многочисленных гостей самим себе, прямо со свадьбы устремляются за сотни километров, чтобы приобрести долгожданный автомобиль («Ночные наездники»)?

Автор как бы говорит нам: вот клубок из реального и условного, смешного и печального, праздничного и будничного — распутать этот клубок интересно и поучительно. Но пока читатель размышляет, в новеллах И. Фридберга наступает вдруг момент, когда условное отбрасывается, будто карнавальная маска. Стоп! — говорит автор, пошутили, теперь поговорим всерьез.

Когда Александрас наконец-то становится обладателем новенькой, сверкающей никелем, лаком и стеклами машины, он глядит на нее такими влюбленными глазами, какими и на юную жену свою никогда не глядел. Ревность Эляны к автомобилю так же яростна, как и бессильна. С отчаянием молодая женщина понимает, что не она предмет любви Александраса, а мертвый металл и что отныне он будет определять их дальнейшую совместную жизнь.

Уже в одном этом эпизоде заключена самостоятельная, сильная новелла. Но И. Фридберг идет дальше. На обратном пути молодоженов подстерегает одна неожиданность за другой. Рисуя смену психологических состояний героев, автор как по спирали каждый раз выводит повествование на новый виток, раскручивая действие. Это дает читателю возможность наблюдать героев, говоря языком кино, с разных планов — дальнего, среднего, крупного, позволяет пристально вглядеться в развитие их характеров. Критические ситуации, в которые попадают молодые супруги, заставляют их задуматься о смысле жизни, в конце концов приводят к переоценке нравственных ценностей: ведь главное — духовное родство людей, главное — всегда и везде быть и оставаться человеком.

Та же идея питает и новеллу «Подозрение» — о расследовании героями, бывшими

партизанами, причин давней гибели их отряда. И четыре десятилетия спустя война мстит, возвращается памятью, живет занозой в сердцах людей — ничем не вытравить эту боль.

О вечном — о жизни и смерти, силе человеческого духа и человеческих слабостях, о вере и безверии — новелла-притча «Версия». И еще о том, что в каждом из нас дремлют свои потенциальные возможности и надо иметь немало мужества, чтобы проявить их в полной мере в решающий час. Собственно, это одна из основных тем и всего сборника. Новеллам И. Фридберга свойственна, если так можно сказать, серьезность смеха, элемент игры, действия, в котором автор приглашает принять участие и читателя, построение новелл не на одном, а на нескольких ключевых эпизодах. При этом писатель умеет рассказать так, что читатель не замечает затраченного автором труда, настолько текст выглядит естественным и цельным.

И. Лапин.



В. И. ФРОЛОВ. *Земной поклон. Стихи.* М. «Современник». 1985. 63 стр.

Малая родина... Замечательный советский поэт Александр Твардовский говорил: «Есть писатели, читая которых не удается почувствовать, распознать, откуда они родом — с юга или севера, из города или деревни, есть ли у них своя река или речка, было ли у них когда-нибудь детство. Но в творениях подлинных художников — и самых больших, и более скромных по своему значению — мы безошибочно распознаем приметы их малой родины... мест и краев, цвета и запахи их лесов и полей, их весны и зимы, жары и метели, отголоски их исторических судеб, отзвуки их песен, своеобразную прелесть иного местного словечка, звучащего отнюдь не в разладе с законами единого великого языка».

Убедительно подтверждает это очень точное высказывание и творчество донского поэта Владимира Фролова. Со страниц его книги веет рассветным запахом полыньковых степей, ароматом придонского разнотравья, звучит обыденная речь станичников, занятых исконными хлеборобскими заботами. Поэт с гордостью говорит:

Я оттуда, где ветра гневные
табунятся с гиком на буграх,
где с курганов облака седые
смотрят вдаль, привстав на стремях.

Живые, естественные образы, и легкий юмор, и раздольно льющийся ритм стихотворения — все здесь на своем месте, все работает на главную мысль. Она, в сущности, проста, но очень важна «Есть какая-то тайная сила в том, что родиной малой зовем: без нее мы, наверно, Россию до конца никогда не поймем!» — именно так считает автор «Земного поклона».

Рассказывая о сельских трудовых традициях, автор с любовью выписывает образы потомственных хлеборобов и рыбаков, матери, приехавшей погостить в город к сыну, здоровяка-дровокола, сказочницы бабушки

Дуни, молодницы Зойки, выходящей замуж за слепого баяниста Сашу Родина... По стихам «Земного поклона» разбросаны штрихи авторской биографии: и работа на заводе, и нелегкая профессия газетчика... Вот почему поэт от имени своего поколения «детей войны», стойчески перенесших безотцовщину, которая не сломала душу и характер лирического героя, уверенно обращается к потомкам:

Будет время иное.
Звонкое.
Затрубит.
Увлечет.
Закружит...
Я хочу, чтобы вы, потомки,
знали правду о наших душах.
И о наших суровых былях
как о лично своем судили.
Это правда — лопались жилы.
И Корчагины — вправду жили!

Атакующая справедливость поэта направлена прежде всего на самого себя. Но искренность его интонаций, философски насыщенные образы перерастают границы личного: «Вам, друзья, до земли поклонюсь: если в чем виноват — накажите. Я людского суда не боюсь. Только зла на меня не держите». Или: «Ведь если: «Нет войне!» — сейчас не скажем, потом уж будет некому сказать...», «В угрюмую пору надежд не иметь — преступное, в общем-то, дело...», «О жизни некогда подумать, всечасно думая о ней...» Афористичность подобного рода строк присуща поэтическому почерку В. Фролова.

Не все, к сожалению, в новой книге поэта равноценно. Есть стихи, написанные, как говорят, гладко, но не несущие оригинальной мысли или выражающие ее туманно, бездоказательно. Такими мне показались стихотворения «Вот в воду упало весло...», «Чья-то радость от выгона к бору...», «Пароход течением сносило...», «Как это скучно — никуда не ехать...» и некоторые другие.

И все же книга В. Фролова «Земной поклон» оставляет очень цельное впечатление, запоминается. Читатель закрывает сборник со светлым чувством благодарности автору за добрую встречу с лирическим героем книги, с живыми, интересными людьми, о которых так тепло сказал поэт в своих стихотворениях.

Ген. Сухорученко.

Ростов-на-Дону.



И. Г. САПЕГО. *Предмет и форма. Роль восприятия материальной среды художником в создании пластической формы.* М. «Советский художник». 1984. 302 стр.

Эдгар Дега был убежден: можно рисовать прямую линию искривленной, лишь бы она казалась прямой. «Искусство, — полагал он, — это то же, что и искусственность... Фальшивыми средствами оно должно добиться впечатления природы, — но нужно, чтобы это казалось правдивым».

Выражаясь фигурально, книга И. Сапего о том, как, какими средствами художнику удается убедить нас в прямизне этой искривленной линии. Автор ставит перед собой непростую задачу: проследить взаимосвязь

между восприятием вещественного мира художником и отражением этого восприятия в произведениях изобразительного искусства — живописи, скульптуры, графики. Иными словами, проследить, как художественное видение трансформируется в те или иные пластические формы. Сложность предпринятой работы еще и в том, что в ней автор попытался решить ряд вопросов с учетом достижений не только искусствознания, но и психологии художественного творчества.

Видение художника... «Творчество начинается с видения, — убедительно подтверждает И. Сапего тезис знаменитого Матисса, — видеть — это уже творческий акт». Кстати говоря, многие послышки автора получают документированную опору в высказываниях художников о специфике своего ремесла. При этом И. Сапего не ограничивается свидетельствами деятелей изобразительного искусства — анализ ведется на широком культурологическом фоне, что обеспечивает должную основательность оценок.

«Отношение любого художника, реалиста и нереалиста, к миру материализуется в его предметных представлениях, вне которых в изобразительном искусстве не может воплотиться творческий замысел». Таков вывод, которым И. Сапего завершает теоретическую часть своей книги, чтобы далее в ряде очерков на примере творчества художников различных школ и пристрастий убедить нас в большой «разрешающей способности» анализа формы художественных произведений, начинающегося с исследования индивидуального видения и мировоззрения их авторов. В книге рассматривается творчество ряда зарубежных и советских художников (К. Моне, П.-О. Ренуар, Э. Дега, Г. Эрн, Н. Крымов, С. Лебедева, А. Кравченко и другие)...

Известный американский специалист по психологии мышления Дж. Гилфорд как-то не без оснований посоветовал: «Ни один феномен или предмет, в отношении которого психология несет единственную в своем роде ответственность, не игнорировался столь долго и не стал изучаться столь оживленно, как творчество». Книга И. Сапего показывает, насколько продуктивнее становится искусствоведческое исследование, когда его дополняют данные психологии.

И. Дрейцер.

Кемерово.



АЛЕКСАНДР АСЕЕВСКИЙ. ЦРУ: шпионаж, терроризм, зловещие планы. М. Политиздат. 271 стр.

Читая книгу А. Асеевского о преступлениях, уже совершенных и совершаемых сегодня Центральным разведывательным управлением США, невозможно оставаться равнодушным. Вот неполный список руководителей государств, убитых или свергнутых при участии ЦРУ за тридцать с небольшим лет, — премьер-министры: Ирана — М. Мосаддык, Цейлона (Шри Ланки) — С. Бандаранаике, Конго (Заира) — П. Лумумба; президенты: Бразилии — Ж. Гуларт, Ганы — К. Нкрума, Чили — С. Альенде, Бангладеш — М. Рахман, Народной Республики Конго — М. Нгуаби...

Автор книги приводит выдержки из письма конгрессмена М. Харрингтона бывшему председателю сенатской комиссии по иностранным делам Д. Фулбрайту. Цель ЦРУ, констатирует конгрессмен, — «свергнуть негодные правительства».

Взять хотя бы идефикс — устранение, или, попросту говоря, убийство, Ф. Кастро. Его хотели уничтожить и до победы революции на Кубе и после нее. С помощью мафии (а ЦРУ для достижения своих целей не гнушается сотрудничеством с преступниками) пытались отравить Фиделя в ресторане, где он иногда обедал, собирались опырыскать специальным химическим составом помещение радиостудии, где он должен был выступить, планировали подсыпать особый порошок в ботинки, подсунуть отравленные авторучки и сигары. Не забывали и о старых, проверенных способах: пулях, минах и так далее. К счастью, все эти попытки успеха не имели.

Правда, агентам ЦРУ удавались другие террористические акции против Кубы: взрывы авиалайнеров, автомашин, поджоги. Однажды, к примеру, был подожжен крупнейший в Гаване детский сад — сотни ребятшек с трудом удалось спасти. Не останавливалось шпионское ведомство и перед использованием бактериологических средств. В 1971 году на острове Свободы свиная чума уничтожила сотни тысяч этих животных. «Операция» была осуществлена, после того как Соединенные Штаты вместе с другими государствами ООН выступили за запрещение этого вида оружия, после того как Белый дом официально запретил его использовать!

Книга А. Асеевского систематизирует факты, анализирует различные аспекты деятельности ЦРУ со времени его создания в 1947 году, показывает, на что способны его агенты. Короче говоря, они способны на все, потому что им все позволено. Лишь бы это отвечало интересам монополий.

Чего стоит стремление манипулировать психикой миллионов людей! В 1943 году «медики» СС и гестапо применяли в чудовищных экспериментах над пленными сильный наркотик мескалин. Целью опытов было подавить волю людей, превратить их в говорящие автоматы. И в том же году американцы исследовали ряд препаратов, в их числе и мескалин, с этой же самой целью! Позднее эти опыты приобрели в США большой размах.

Директор монреальского госпиталя, президент Американской ассоциации психиатров Э. Камерон нашел способ лишать людей памяти. «Пациенты, — писал сам Э. Камерон, — проходили три стадии курса. На первой они утрачивали большую часть памяти, но при этом понимали, где находятся и почему. На второй — они утрачивали представление о времени и пространстве, но еще старались удерживать что-то в памяти. Правда, они уже были не способны ответить на такие вопросы, как «где я?». Подобное состояние их волновало, вызывало сильное беспокойство. И на третьей — беспокойство исчезало. Наступало состояние полного забвения». Человек, таким образом, переставал сознавать себя как личность. Но ЦРУ и

этого было мало, оно ставило перед Э. Камероном новую задачу: стереть не только память, но и существующий стереотип поведения человека, чтобы затем ввести новый.

Сейчас трудно сказать, как далеко зашли опыты ЦРУ в этом направлении. По словам А. Асеевского, «многие свидетели умерли, другие боятся говорить, третьи просто лгут». Ясно одно: шпионское ведомство не останавливалось перед немедленным использованием своих «научных» достижений на практике, для проведения тайных операций в интересах самых реакционных империалистических кругов.

Да, о Центральном разведывательном управлении написано множество книг. И все же большая часть его деятельности пока остается в тени. Книга А. Асеевского ценна прежде всего обилием фактов, немалая часть которых до сих пор была неизвестна широкому читателю.

Ю. Лукасик.



Т. Н. ГУСАРОВА. *Воины в белых халатах. Документальная повесть.* Днепропетровск. «Промінь». 1985. 102 стр.

Вместе с бойцами, сражавшимися на фронтах Великой Отечественной войны, мужественно боролись с фашизмом советские люди, которые попали под пяту оккупантов. И тут следует особо сказать о медиках. Многие из них способствовали нашей победе, продолжая после прихода врагов на родную землю работать в тех же больницах, в которых работали до войны.

Сюжет книги Гусаровой в основном разворачивается вокруг одного учреждения — нынешней днепропетровской областной клинической больницы имени И. И. Мечникова. В годы оккупации ее главным врачом был хирург Михаил Алексеевич Бережной. Он сплотил вокруг себя большую группу медицинских работников, которые спасали раненых и военнопленных. Все два года оккупации Днепропетровска каждодневный риск, постоянная угроза быть разоблаченным и расстрелянным.

Вот один только пример. Как известно, фашистская медицина безжалостно расправлялась с душевнобольными. Человечески-ненавистнические законы об эйтаназии (насильственном уничтожении больных), принятые в Германии с приходом Гитлера к власти, особенно рьяно реализовывались на занятых нацистами территориях. Гитлеровцы требовали от врачей, чтобы те подавали им списки неизлечимых пациентов, а после этого на «законном» основании загоняли больных в душегубки. В Днепропетровске нацисты уничтожили 1300 больных известной на всю страну Игреньской психиатрической лечебницы, а на ее территории разместили лагерь для военнопленных.

В больнице, руководимой М. А. Бережным, тоже было много душевнобольных. Прочитав книгу, читатель узнает, как ловко провели фашистов советские патриоты, которым удалось спасти всех больных до единого.

В связи с этим хотелось бы рассказать еще об одном героическом поступке, пока еще недостаточно освещенном в широкой печати. В Эстонии благодаря мужеству главного врача психиатрической клиники Тартуского университета профессора Эльмара Юхановича Кару в годы войны не погиб ни один душевнобольной. В клинике были сконцентрированы почти все больные, жившие на территории Эстонии. Когда нацисты приказали Кару подготовить их к смерти, он вместе с женой и шестилетним сыном переселился в клинику и потребовал, чтобы заодно с пациентами уничтожили и его самого с семьей. Гитлеровцы решили подождать, чем это кончится. Они считали, что Кару долго не продержится. К тому же больных было всего лишь несколько десятков, они не создавали оккупантам особых трудностей, а профессор Кару был слишком известной фигурой.

Более трех лет Кару прожил в больнице и ни на минуту не терял бдительности. Когда нацисты эвакуировали университет, профессор Кару взял с собой пациентов, которым угрожала смерть. Лишь поздней осенью 1944 года он вместе со своими больными вернулся в родной город...

Много героических поступков совершили врачи в оккупации. Понятно, что днепропетровские медики М. А. Бережной, М. Е. Демко, Е. Г. Попкова и другие не смогли бы в таких больших масштабах помогать советским людям, если бы у них не было многочисленных помощников среди населения, тесных контактов с партизанами. Действовали они под руководством секретаря подпольного обкома партии Николая Ивановича Сташкова, которому посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

В предисловии к книге «Воины в белых халатах» министр здравоохранения УССР А. Е. Романенко делится своими воспоминаниями о некоторых ее героях — он знал их еще в годы учебы. Преподаватели, о которых идет речь, держались очень скромно, их студентам и в голову не приходило, какие героические поступки они совершали в годы войны...

Несколько слов об авторе. Участница Великой Отечественной войны, Тамара Николаевна Гусарова долгие годы работала в обкоме партии, а в последнее время руководит общественной приемной газеты «Днепр вечерний». Книга родилась в результате ее многолетних кропотливых поисков. Понятно, что разыскания далеко еще не закончены. Будет хорошо, если автор продолжит свою полезную работу.

Михаил Буянов,
кандидат медицинских наук.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТИЗДАТ

Атеизм и религия: вопросы и ответы. 1985. 208 стр. Цена 40 к.

О Сергее Кирове. Воспоминания, очерки, статьи современников. 256 стр. Цена 90 к.
Г. Прошин. Черное воинство. Русский православный монастырь. Легенда и быль. 320 стр. Цена 1 р.

М.-С. Яхьяев. Три солнца. Повесть об Уллубии Буйнакском. Перевод с кумыкского. («Пламенные революционеры») 426 стр. Цена 1 р. 50 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Ли Юй. Двенадцать башен. Повести. Перевод с китайского. 351 стр. Цена 1 р. 80 к.

Б. Олейник. Избранное. Стихотворения. Поэмы. Перевод с украинского. 366 стр. Цена 2 р. 20 к.

Б. Пастернак. Избранное. В 2-х тт. Т. 1. Стихотворения и поэмы. 623 стр., с илл. Цена 3 р. 10 к. Т. 2. Проза. Стихотворения. 559 стр., с илл. Цена 2 р. 30 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

В. Крупин. Во всю ивановскую. Повести, рассказы, 542 стр. Цена 2 р. 30 к.

Н. Панченко. Белое диво. 159 стр. Цена 50 к.

О. Резник. Экраны памяти. Воспоминания. 350 стр. Цена 1 р. 40 к.

И. Шамянин. Повести. Перевод с белорусского. 528 стр. Цена 2 р. 20 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

В. Астафьев. Всею свой час. 254 стр. Цена 85 к.

Ю. Бычков. Коненков. («Жизнь замечательных людей») 315 стр. Цена 1 р. 60 к.

Е. Евтушенко. Почти напоследок. Новая книга. 191 стр. Цена 95 к.

М. Ибрагимбеков. Несколько причин для развода. Повесть. 240 стр. Цена 65 к.

Паломничество на Землю. Американская фантастика. 399 стр. Цена 2 р.

«РАДУГА»

Б. Зупанчич. Набат. Роман. Рассказы. Перевод со словенского. 400 стр. Цена 2 р. 80 к.

Круг земной. Стихи зарубежных поэтов в переводе С. Шервинского. 231 стр. Цена 1 р. 10 к.

М. Этвуд. Постигание. Роман. Рассказы. Перевод с английского. 335 стр. Цена 2 р. 10 к.

ВОЕНИЗДАТ

Е. Гжимковский. Трагическая колыбельная песня. Повесть, рассказы. Перевод с польского. 256 стр. Цена 1 р. 70 к.

Г. Марягин. Стратег и зодчий. Роман-хроника. 332 стр. Цена 1 р. 50 к.

В. Шурыгин. Год неспокойного солнца. Повесть. Железный остров. Хроника плавучей батареи. 336 стр. Цена 1 р. 80 к.

«НАУКА»

В. Барахов. Литературный портрет. Историю поэта, жанр. 312 стр. Цена 1 р. 60 к.

Достоевский. Материалы и исследования. Вып. 6. 304 стр. Цена 1 р. 80 к.

Ахмад Ибн Маджид. Книга пользы об основах и правилах морской науки. Арабская морская энциклопедия XV века. Т. 1. 592 стр. Цена 5 р. 50 к. Т. 2. 268 стр. Цена 2 р. 40 к.

А. Формозов. Страницы истории русской археологии. 240 стр. Цена 1 р. 10 к.

«ИСКУССТВО»

Б. Алперс. Искания новой сцены. 398 стр. Цена 2 р. 20 к.

Г. Долматовская. Листки лунного календаря. Агрессия США во Вьетнаме и мировой экран. 255 стр. Цена 1 р. 60 к.

Культура и искусство России XIX века. Новые материалы и исследования. Сборник статей. 174 стр. Цена 1 р. 90 к.

В. Левинсон-Лессинг. История картинной галереи Эрмитажа (1764—1917). 407 стр. Цена 4 р. 40 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

А. Белый. Армения. Очерк, письма, воспоминания. Составитель Н. Гончар. Ереван. «Советакан грох». 208 стр. Цена 75 к.

В боях за Белоруссию. Песни Великой Отечественной войны. Составление, предисловие П. Ф. Лебедева. Минск. «Мастацкая литература». 223 стр. Цена 95 к.

Литература о войне и проблемы века. Редактор А. М. Адамович. Минск. «Наука и техника». 271 стр. Цена 2 р.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографию «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова: Москва, 103798, Пушкинская пл., 5.

Всеми вопросами подписки и доставки журнала занимаются местные и областные отделения «Союзпечати».

Главный редактор **В. В. Карпов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку (зам. главного редактора), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, А. Н. Жуков, В. Г. Казаков, А. И. Коваль-Волков, В. Н. Крупин, В. М. Литвинов, М. Д. Львов** (зам. главного редактора), **Д. Мулдагалиев, А. И. Овчаренко, Б. И. Олейник, Г. И. Резниченко** (ответственный секретарь), **А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин**

Адрес редакции: 103806 ГСП Москва К-6 Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29.

Сдано в набор 20. 02. 86 г. Подписано к печати 15. 04. 86 г. А 11617.

Формат бумаги 70×108¹/₁₆. Высокая печать. Объем 17 п. л. (23,8 усл.-печ. л.)

26,92 уч.-изд. л.

Тираж 423 000 экз (1-й завод 1—203 000 экз.). Зак. 855.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
103798 Москва К-6, Пушкинская пл., 5.

Отпечатано с готовых матриц ордена Ленина комбината печати издательства «Радянська Україна» (252047, Киев-47, проспект Победы, 50) в ордена Трудового Красного Знамени типографии «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 1 р. 20 к.

70636

Новый мир, 1986, № 5, 1 — 272.